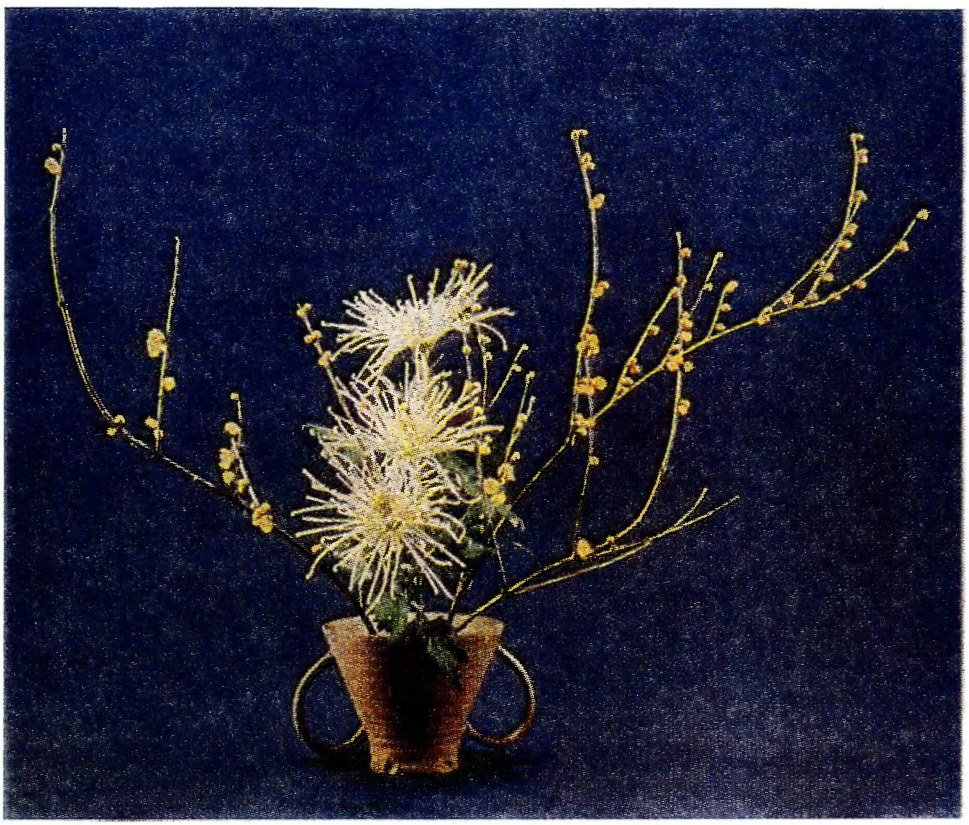
ISSN 0130 – 6545

3.1979

# Иностранная литература



*Искусство икэбаны*

# ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ С 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ». МОСКВА

3 Март 1979


## Содержание


ЮЗЕФ ОЗГА-МИХАЛЬСКИЙ — Стихи из четырех книг (1968—1977. *Переводы с польского З. Левицкого и В. Британишского)* 3

ХУЛИО РАМОН РИБЕЙРО — Рассказы *(Перевод с испанского Юрия Павлова)* 10

ЖАН КАРРЬЕР — Ястреб из Маё *(Роман. Окончание. Перевод с французского Тамары Ивановой)* 23

ДЖОН ФАУЛЗ — Башня из черного дерева *(Повесть. Перевод с английского К. Чугунова. Послесловие Е. Гениевой)* 115

**Критика**

Н. МАТЯШ — Новые явления в испанской драматургии 70-х годов 190

АТУКВЕЙ ОКАЙ — «День грядет...». Заметки о современной поэзии Ганы *(Перевод статьи и стихов с английского И. Гуровой)* 196

**Интервью**

Мицос Александропулос: «Сквозь призму литературы — движение русской истории» 201

## Заметки писателя

ДОЖООГИЙН ЦЭДЭВ — Время — человек — литература. *(Перевод с монгольского Е. Демидова)* 203

## Культура и современность

### Заметки на полях

В. Волжанин — Еще раз о «древности на службе современности» 206

## Публицистика

БОГУМИЛ РЖИГА — Целина на экране истории *(Перевод с чешского С. Пархомовской)* 210

### Когда писатель — журналист...

НГУЕН ТУАН — Монолог о войне и мире, обращенный к Льву Толстому *(Перевод с вьетнамского М. Ткачева)* 212

ГАБРИЭЛЬ ГАРСИА МАРКЕС — Название не пришло мне в голову. *(Перевод с испанского В. Гутермана).* Вместо послесловия. Из интервью польской «Культуре» 215

**Голоса Канады.** Два комментария к проблемам, вполне современным. МАРГАРЕТ ЛОРЕНС, ФАРЛИ МОУЭТ 222

### Традиции мировой культуры

НИКОЛАЙ ФЕДОРЕНКО — Эстетика икэбаны 226

## Антирубрика

Вечно новый Марк Твен *(Публикация и перевод с английского В. Лимановской)* 237

## Наши гости

И. Циколь — Костас Валетас (Греция) 248

## Из нашей почты

250

## Среди книг

### Издано в СССР

Борис Анашенков — Есть такой класс! ✦ В. Хорев — «Не сторониться мира...» ✦ В. Зайцев — Реализм фантазии 254

### Издано за рубежом

Ласло Иллеш — О проблемах современной литературы ✦ И. Попов — Давняя традиция ✦ Ю. Архипов — Моцарт Вольфганга Хильдесхаймера ✦ И. Левидова — Картина для рамы 258

## Из месяца в месяц

267

## Авторы этого номера

287

*На обложке: искусство икэбаны (к статье Н. ФЕДОРЕНКО «Эстетика икэбаны»).*

*На стр. 236, 249, 253 графические работы зарубежных художников.*

© «Иностранная литература», 1979.

# ЮЗЕФ ОЗГА-МИХАЛЬСКИЙ

## *Стихи из четырех книг (1968–1977)*

■

*С польского*

### *На смерть Владислава Броневского*

Подстрелила тебя
среди бела дня
пустоглазая,
когда ты перед солнцем
поэзии зеркало ставил.
Долг солдата
сражаться за славу
рабоче-крестьянской Отчизны,
пропаханной бороздой Вислы.
Не бояться смерти.
На посту стоять у горизонта,
где проходит линия фронта
земли и неба.
Поддерживать шпагой
зеркало правды,
в котором народа
лик отражается ясно,
и любить — чтобы лик становился прекрасней.
Пейзажи, пейзажи Польши,
вы все чудесней,
верность ему сохраняйте,
любил он вас, как свои песни,
будьте же для него бессмертны.
А сейчас
возьмем у него по стихотворенью
и понесем народу, который любил он верно.

### *Отчизна, которая будет*

Без устали ищем названья
новым вещам и явленьям.

Как назвать по-новому ясень,
как назвать по-новому небо,
как назвать по-новому отчизну,
Польшу-поле, ставшую Польшей-заводом?

Буря прошла по небу,
по соснам, по озеру,
зашумело народом
по Висле, по Одеру.

За круглый стол планеты
уселись континенты,
на стенах — зеркала звезд
и героев портреты.
Из чего сегодня границы?
Архитектор еще не знает,
даже поэт не видит
форм грядущей Отчизны.

Взглядов своих прекрасней,
выше мыслей своих она,
с нею ширится неба пространство,
углубляется тишина.

Хоть желтеют кроны зловеще
и шумит листва в непогоду,
песням ребра считает ветер —
я жду твоего прихода.

## *Нам с пшеницей*

Только в зеленое землю
обмундировывать можно,
урожая мундир — самый лучший.
Пехота же лучшая — зелень,
сильнее военной мощи.
Ракет хризантемы
отдадим облакам далеким.
Нам с пшеницей, с горохом
проще.

## *Поле люблю всегда*

Доброе поле скончалось,
лежит под покровом белым,
ездят по нему всюду
все, кто захочет.

Болит у меня каждый ком
земли оскорбленной,
болит у меня изъезженный
во поле белом снег.

*Перевод З. ЛЕВИЦКОГО*

## *Кортеж рек*

Есть ли кортеж прекрасней
кортежа воды струистой,
который торжественно, плавно
сквозь Польшу движется Вислой?
Участвует в нем и небо,
причем в любую погоду,
а рыбы, как души в небе,
в кортеже движутся молча.

## *В любую пору*

Люблю деревья лиственные зимою,
они бескомпромиссны.
Шуметь не могут —
вот и стоят бесшумно,
но на безумство
в любую пору готовы.

## *Змий*

Какое маленькое
было райское яблоко,
если змий тебе его подал в пасти,
какой же славный был этот змий,
если это яблоко
было сладкое.
Какие у нас яблоки
в Новом Сонче,
какие у нас вишни
в Плоцке,
какие черешни
в целой Польше,
аж гнутся ветки,
какая гданьская водка
в устье Вислы,
но есть ли у нас
такие славные змии?

*Перевод В. БРИТАНИШСКОГО*

## *Как из сказки*

Взлетал я выше туч,
на десять тысяч миль,
чтоб достать тебе шубу
с чистых, как снег, пастбищ.

Спускался на тысячу метров
в глубины черной земли,
чтоб нарубить угля
для печи твоей, белой, как снег.

Бродил по горам, по еловым борам
за гребнем для твоих волос.
А ты ничего не умела,
умела только любить,
и только из этого, как из сказки,
рождался огромный мир.

## *Привет из уральских далей*

Под окошком резным уральским
и на русской летящей тройке,
в свете люстр, сахарящих темень,
и над Волгой, вспоенной Русью,
думаю о тебе, как будто ты — это Висла,
единственная линия на моей ладони.

В свете снов, что плотно укрыли землю,
словно большие сугробы снега,
под серебряной короной,
сброшенной с головы царей,
под башней, на которой спит небо,
сброшенное с белых туч,
слышу, как звездная тишина
смертельно холодит уши,
и ты на огненной тройке
летишь по Руси современной.

## *Звон по Бахусу*

Стол под скатертью, белый, как санный путь,
от стены до стены раздвинутый,
и летят не восемь пар лошадей —
шестнадцать рюмок рябиновки.

Алость рябин придорожных
в рюмках подернута мглой,
морозный воздух
оседает свинцом на стекло.
Тогда для тебя говорю слова,
как будто серебро плавлю.

*Перевод З. ЛЕВИЦКОГО*

## *Кто же это сможет*

Были бы у меня жабры,
я спал бы в ручье прозрачном —
в этом чистейшем месте.
И тебе доказал бы,
что быть чистейшим я жажду,
чтобы тебя утешить.

*Перевод В. БРИТАНИШСКОГО*

## *Течение жизни*

Нет во мне глубины,
которой ты ожидала,
моя душа обмелела,
как под Краковом Висла
на исходе лета.
Жаль, я тоже, конечно, жалею,
что обнять тебя не могу
полноводным теченьем, как прежде.
В прошлом
высочайшие взлеты души,
только камни от намерений добрых
на дне остались.
Когда река отхлынет
и останется мощеное дно,
ты, плещущаяся рыбка,
ходить научишься быстро.

*Перевод З. ЛЕВИЦКОГО*

## *Не все, как надо*

Дым подымается к небу
не потому, что в небе
ждут его, не дождутся,
там место лишь для лазури,
но лезет вверх и щиплет очи
дым черный ангелам светлым.

Они утирают платочками очи,
у них там хватает платочков,
а нам, в свою очередь,
что выедает очи нам?
Небесные росы.

*Перевод В. БРИТАНИШСКОГО*

## *Только раз*

Интеллект должен быть пушистым.
Облако должно быть легким,
атлет должен быть мясистым,
ангел может быть бесплотным.

Доро́га должна вести к цели,
конь должен разбираться в сене,
дышло можно сломать только раз.

## *Попробуем примерить*

Тесен сапог для правды,
снимем его,
пусть правда будет нагая.
В этот тесный сапог
обуем ложь,
выясним,
не лгала ли правда.

## *Довольствуемся подкладкой*

Лицемерие — подкладка правды.
Правды,
такой огромной,
что ее неудобно носить наружу,
и довольствуемся подкладкой.

## *Пятки*

Голова выбегает всех дальше,
кружится всех выше.
Бедные пятки
позади остаются.
Но разве без них
можно бежать вперед?

## *А что от муравья?*

От дуба
останутся только опилки.
От гроз —
грязь по колено.
От орла —
пух для подушек.
От муравья —
город.

## *Чувство собственности*

Если бы я сказал:
не боюсь смерти,
могли бы подумать,
что не люблю жизни.
Смерть мне чужая,
а жизнь — моя,
пусть каждый держит в руках
то, что имеет.

## *Что ж это будет?*

Что ж это будет,
когда будет все
хорошо?
Море будет
подогреваться на пляжах,
ветер будет
охлаждаться на лицах,
реки будут
кристально чистыми,
трубы будут
дым выпускать
под землю,
чтобы там он снова
в уголь превращался,
девушки будут
любить нас так верно,
что змий
проглотит яблоко
от удивленья.
Седые бороды будут
сиренью цветущей.
А вместо неповоротливого,
разбухшего языка
каждый будет
во рту держать
майского соловья.

*Перевод З. ЛЕВИЦКОГО*

■

# ХУЛИО РАМОН РИБЕЙРО

## *Рассказы*

*Перевод с испанского ЮРИЯ ПАВЛОВА*

### *Разговор с понимающим человеком*

Я потягивал писко[1] в баре «У толстяка», а в голове у меня все время вертелся некий проект. Честно говорю, я пришел туда с пятьюдесятью солями[2]... Жена, понимаете ли, не хотела мне их давать, но под конец, знаете, как это бывает, я все-таки выманил их у дурехи... Я ей сказал: «Вирхиния, сегодня без работы домой не вернусь». Вот зачем я пошел в город — искать работу. Но не какую-нибудь, это не по мне... Вы полагаете, что мужчина с моими данными может согласиться на любую работу?.. Мне уже сорок пять, приятель, и я повидал мир... Знаю по-английски, разбираюсь в механике, могу руководить каким-нибудь предприятием... Я делал водонагреватели для ванн, понимаете? У меня есть опыт, наконец. На пустяковое дело я не согласен. Чтобы никаких начальников, никакого рабочего дня «от» и «до», никакого высиживания за столом... Со мной так не пойдет! Я ищу самостоятельную службу, чтобы сам мог все делать и переделывать, чтобы был простор инициативе! Вы понимаете меня? Вот такую работу я и пошел искать утром. Так же, как и вчера, и позавчера, и пять месяцев тому назад... Вы представляете, как надо искать работу? Вот я и заметил, что не знаете. Нет, сеньор, брать газету и читать объявления — это не дело. Там предлагают всякую ерунду: место подмастерья у сапожника, у портного, у книготорговцев. Тьфу!.. Чтобы найти работу, надо походить по городу, заглянуть в бары, потолковать с людьми, на строительство завернуть, почитать объявления на воротах... Вот моя система! Но главное — иметь нюх: ведь никогда не знаешь, что может ждать вот тут, за углом... Чему вы смеетесь? А ведь именно так и получилось!. Я свернул за угол и столкнулся с Симоном Барригой... Это было на авениде Ареналес, рядом с закусочной «Лескано», где торгуют вишневкой и бутербродами с ветчиной... Представляете?! Двадцать лет не виделись! А может, тридцать — после школы... когда-то вместе собак гоняли... Ну обнялись, рады, сами понимаете. Пошли в закусочную отметить встречу... Только куда это мы с вами идем? Ладно, я согласен, но при одном условии: вы должны меня внимательно слу-

[1] Виноградная перуанская водка.
[2] Денежная единица Перу.

шать... Значит, встретились мы, пропустили стопок по пять... Ах, ведь вы даже не знаете Симона! Сила — скажу вам! Человек старой закалки — с головой на плечах! Правда, в школе, помню, был балда балдой, и по субботам его всегда оставляли в классе лицом к стене... Все же люди с годами развиваются... Я ведь и сам букваря не осилил... Но это так, между прочим. Так вот, Симон, оказывается, тоже искал работу. То есть он ее уже почти держал в руках. Не хватало только кое-каких пустяков — компаньона, доверенного не хватало...

Мы с ним долго, обстоятельно разговаривали. И представляете, какое совпадение: его идеи полностью соответствовали моим! Я тогда сразу сказал себе, что эту встречу нам бог послал... Я не хожу в церковь, и вообще сутаны мне не по вкусу, но слепо верю в счастливый случай... Именно в случай! Представьте себе: я все время думал... это только вам говорю, по секрету. Какое замечательное было бы занятие — импортировать грузовики, чтобы развозить молоко. А вы знаете, какие планы у Симона? Импорт материалов для строительства мостов и дорог... Вы, наверно, скажете, что между тем и другим нет ничего общего. Другое дело, если бы он задумал импортировать коров... Это я пошутил. Так вот, есть общее, уверяю вас, есть. Где ездит машина? По дороге. А пересекает реку? По мосту. Яснее ясного, не требуется никаких доказательств. Вы, наверно, уже догадались, что мы с Симоном решили стать компаньонами. Минутку. А где это мы находимся? Случайно не на авениде Абанкай? Прекрасно! Итак, я сказал: компаньонами. Самыми настоящими! Как раз в это время мы шли в «Линсе», в ту закусочную, о которой я уже упоминал. Надо было хорошенько обмозговать наше дело. До мелочей. Верно?.. А для этого, я вам скажу, нет ничего лучше, чем столик под деревьями, кусок хорошей свинины и несколько бутылочек вина из Такны[1]. Что?.. Если б вы видели, какой я план разработал! Я его рисовал на салфетке... Ну это было уже потом. А сперва мы с Симоном пришли к выводу, что нам необходим миллион солей... Как вы говорите? По-вашему, многовато? Не делайте большие глаза, для нас с Симоном миллион солей — пустяк... Понятно, сейчас ни у меня, ни у него их нет. А у кого, скажите на милость, миллион солей лежит в бумажнике, как кинопрограмма? Да ни у кого... Но когда есть идеи, планы и желание, добыть их не трудно... особенно если идеи. Я так и сказал Симону: «Когда есть идеи — невозможного нет. Вот наш настоящий капитал...» И знаете, Симон тут же предложил принять в дело одного отставного генерала, своего знакомого. Вот так, одним махом, мы добыли верных сто тысяч солей... Потом привлекли его дядю, Фернандо-помещика, очень уважаемого человека. Я, со своей стороны, решил поговорить с аптекарем из нашего квартала. Он на прошлой неделе выиграл по лотерее... Кроме того, я вкладывал в дело пишущую машинку «Ремингтон», модель «универсал»... Мы уже на рынке? Правильно, держите меня за руку, а то в такой толчее потеряемся... Одним словом, к концу обеда мы уже сколотили капитал. Да, приятель, нелегкое это дело — основать компанию. Не советую вам... К этому времени нам не хватало только двух вещей: помещения и названия фирмы... Ну, разместиться можно в моем доме. Правда, у меня не особняк. Даже наоборот: маленький домишко в переулке Ика. Четыре комнатки. Но жену и пятерых ребятишек можно укладывать спать в чулане... В передней устроили бы контору, а в столовой — у нее окно выходит на улицу — демонстрационный зал... Все это временно, конечно. Однако для начала неплохо, не правда ли? Симон чуть не рехнулся от восторга... К этому времени мы уже ушли из закусоч-

[1] Город на юге Перу.

ной... Помню, я расплатился... Обед и четыре бутылки вина. Потом Симон пригласил меня в «Патио» выпить кофе. Я взял такси. Там Симон предложил по сигаре... Оттуда, что ли, я звонил? Да, точно помню — оттуда. Я, значит, позвонил Вирхинии и сказал: «Ну все, жена, плохие времена кончились. Только что мы с Симоном Барригой организовали фирму. У нас уже есть миллион солей. К обеду не жди, Симон пригласил меня к себе...» После кофе — писко. Симон все угощал и угощал, обалдеть можно!.. Но у нас оставался еще самый трудный вопрос: как назвать нашу фирму? О, не думайте, что это так просто. Поначалу я тоже так полагал... Но, поразмыслив, понял, что все хорошие названия уже разобраны... Сперва думали назвать «Эль порвенир»[1]. Обратите внимание, звучит совсем неплохо. Но в городе уже есть район «Эль порвенир», есть кино, страховая компания. И даже одну лошадь на бегах зовут «Эль порвенир»... Что ты будешь делать! Тут надо было помозговать... И знаете, какое название мы выбрали? Ни за что не угадаете! И придумал его я, клянусь честью!.. Это уже было под вечер. Мы назвали нашу фирму «Фруктифера»[2]. Акционерная компания «Фруктифера»! Представляете, как это звучит?! Такое название мне кажется необычайно привлекательным в коммерции... Только вы не торопитесь так... Где же это мы? А, на улице Куско... Ну вот, потом, после писко, рюмочку ментолового ликера. Одну, еще одну... К тому времени мы уже покончили с организацией фирмы и делили доходы. Симон сказал: «Я куплю себе гоночную автомашину». «А зачем? — спрашиваю его.— Это ведь пустое расточительство...» Я же сразу подумал о загородном доме с садиком... С электрической кухней, холодильником и баром, чтобы можно было принимать друзей... Да, еще я вспомнил о том, что дети пойдут в школу... Вы знаете, их выгнали,— три месяца я не платил за учебу. Впрочем, не будем об этом... Так вот, выпили мы ментолового. Рюмку, другую. Симон угощал не переставая... И вдруг мне в голову пришла колоссальная идея! Вы, может, обратили внимание: за той же колоннадой, где находится «Патио», работает гравер по визитным карточкам? У него там мастерская на ходу... И я сказал себе: «Вот будет сюрприз для Симона — сейчас пойду и закажу сто штук с названием и адресом нашей фирмы!» Каково придумано? Очуметь можно! Так и сделал. Заплатил за карточки последние двадцать солей и вернулся в бар. Мастер обещал принести визитки к нашему столу, как только они будут готовы. «Выходил подышать воздухом»,— сказал я Симону, и он, обормот, поверил. Как ни в чем не бывало мы продолжали беседовать... Наше дело все разрасталось и разрасталось. И понятно, машины для развозки молока, дороги — это бирюльки!.. Мы уже договаривались о пивоваренном заводе, о кинотеатрах, об огромных вкладах в индустрию... По рюмке, еще по одной... Что? Мы уже на площади Франсиско Писарро?.. Да, а тут является человек с визитными карточками. Если бы вы видели, что сделалось с Симоном! От радости он пустился в пляс. Клянусь честью, обнял меня и расцеловал! Пятьдесят карточек взял он, остальные пятьдесят — я... Выкурили по последней сигаре. Я объяснил Симону: «Хоть и остался без медяка в кармане, но очень уж хотелось тебе доставить такое удовольствие»,— это о карточках... Симон встал и пошел позвонить по телефону... Он решил предупредить жену, что мы едем к ним обедать... Я остался за столиком один. Вы знаете, что значит остаться в баре одному после того, как столько времени провел в разговорах? Все как-то сразу меняется, все кажется другим. Сразу замечаешь офи-

[1] Будущее *(исп.)*.
[2] Плодотворная *(исп.)*.

циантов, стены, посетителей, слышишь, что и другие о чем-то толкуют... чудно как-то. Неподалеку сеньоры с бакенбардами спорили насчет боя быков, другие были, по-моему, артисты, ничего я у них не мог разобрать... А официанты бегали мимо столика: туда-сюда, туда-сюда... Их лица мне, прямо скажем, не понравились, клянусь вам. «А как же Симон?»— спросите вы... А Симон все не возвращался. Я подождал его минут десять, двадцать... Стал приходить народ из театра «Сегура», поужинать. Я пошел в туалет искать Симона... Вы же знаете, если кто-нибудь пропал в баре, искать его надо прежде всего в туалете... Потом подошел к телефону, покружил по кафе, вышел на улицу — нет Симона... Тут на меня налетел официант со счетом... Что за дьявольщина — сорок семь солей?! «За что?» — задаюсь вопросом. Впрочем, в счете ясно было написано. Я сказал, что жду друга, а официант — ноль внимания и подзывает метрдотеля. Некто вроде нотариуса, только с салфеткой на руке... И понять его невозможно... Я показал ему свои визитные карточки — никакого эффекта! Сказал, что я Пабло Сальданья, а он хоть бы хны. Предложил вступить в нашу фирму, поделить с ним прибыль, но этот тип даже руки мне не подал. А тут как раз подошли вы. Помните? Мне просто повезло с вами. С властями легче договориться. Понятно, вы человек воспитанный — офицер, конечно. Я восхищаюсь нашими властями и всегда хожу на парады, чтобы похлопать марширующим полицейским... Вы меня, конечно, сразу поняли, догадались, что я не какой-нибудь проходимец, а человек солидный, ведь правда? Что, что? Куда мы пришли? Полицейский участок? И чего хотят от меня эти в форме? Отстаньте, отпустите мою руку, кому говорю! Вы что, с ума сошли? Вот мои визитные карточки! Я Пабло Сальданья, управляющий! Основатель фирмы! Я человек солидный, понимаете, я человек!..

# *Победители*

Спустя два дня после начала перуано-эквадорской войны [1] в Пайту [2] стали прибывать первые грузовики с убитыми. Мой брат Хавьер водил меня к воротам госпиталя — показывал их. Там грузовики ненадолго останавливались и к ним для осмотра подходили санитары. Иногда среди трупов обнаруживали еще живых. Их клали на носилки и быстро уносили в госпиталь, а грузовики отправлялись дальше — на кладбище.

— Кто в гетрах — эквадорцы, а в сапогах — перуанцы,— объяснял Хавьер.

Но такие подробности я пропускал мимо ушей. Мое внимание привлекали предсмертные улыбки убитых: их раскрытые рты и оскаленные зубы, даже если они были разбиты, а губы разорваны, почему-то казались мне вызывающими, как у людей, улыбающихся натянуто, безо всякого желания, просто чтобы поиздеваться над нами. Никакого другого впечатления мертвецы на меня не производили, быть может, потому, что их было слишком много и это само по себе разрушало ту гамму чувств, которую обычно вызывает вид одинокого покойника. Наваленные на грузовики, они уже не казались людьми. Скорее напоминали тараканов или рыб.

— А зачем их привозят сюда? — спросил я у Хавьера.— Оставляли бы в Тумбесе или хоронили прямо на границе...

[1] Речь идет о перуано-эквадорском вооруженном конфликте 1941 года *(здесь и далее — прим. перев.)*.

[2] Пайта, Тумбес — города на севере Перу вблизи границы с Эквадором.

— Не знаю,— ответил брат.— Наверно, их грузят еще живых, а умирают они в дороге.

Когда мы возвращались домой, Хавьер показал мне две лавки с наглухо закрытыми дверями. На обеих мелом было написано: «Обезьяна».

— «Обезьянами» дразнят эквадорцев,— объяснил брат.— Это их лавки. А закрыты они потому, что хозяева спрятались или убежали. В Пайте и Тумбесе много «обезьян». А нас эквадорцы прозвали «курами», потому что мы проиграли все войны: и с Чили, и с Колумбией, и какие-то там еще... Но уж на этот раз мы победим!

Дома наша сестра Эулалия плакала, получив известие, что ее жениха Маркоса, лейтенанта, перевели к границе. Сегодня от него, из Тумбеса, пришло письмо, в котором он рассказывал о бое под Сарумильей и о захвате Пуэрто-Боливара. Чтобы успокоить сестру, мама давала ей валерьянку, зажгла свечи у образов. А отец с утра до ночи крыл всех и вся. Занятия в Национальном колледже, где он преподавал, были прерваны из-за войны, и отец все время слонялся по дому, не зная, как убить свободные часы.

— Какое мне дело до войны! — кричал он.— Если бы все как следует знали то, что пишется в учебниках, и выучили таблицу умножения, незачем было бы убивать друг друга!... Как раз на этой неделе я только хотел влепить Пересу двойку по ботанике!

Вскоре мертвые уже не помещались на кладбище, а раненые — в госпитале. Трупы стали закапывать у реки, раненых же размещали в муниципалитете и Национальном колледже. Узнав об этом и тревожась за свою классную комнату, отец поспешил туда, и мы ждали, что вернется он злющим-презлющим. Но он пришел с важным видом, на рукаве его рубашки виднелась красная повязка.

— Теперь я введен в группу по реквизиции пустующих помещений,— объяснил отец.— Вечером нужно будет опять пойти в колледж, посмотреть, где еще можно разместить раненых. Сегодня прибыло семь санитарных машин.

В тот же вечер с фронта приехал Маркос. Его прислали в Пайту со специальной миссией. Однако он сразу же явился к нам и болтал до поздней ночи. Сестра то и дело, как бы нечаянно, дотрагивалась до него рукой, желая убедиться, не ранен ли он, и, по-видимому, ее поражало, что с войны можно вернуться, не потеряв хотя бы палец.

— Да хватит тебе! Щекотно! — отмахивался Маркос от сестры, продолжая рассказывать о бое под Сарумильей, о захвате Пуэрто-Боливара.

Послушать его собрались кое-кто из соседей.

— А правда, что мы забросили парашютистов? — спрашивали у лейтенанта.

— Точно. Шесть человек. Один упал в море, и его подобрал эквадорский катер. А остальные ворвались в порт.

— Но все-таки выиграем мы войну или нет?

— Считайте, что мы ее уже выиграли!

— Да здравствует Перу! — выкрикнул кто-то, но его никто не поддержал.

На следующий день отец вернулся домой в отличном расположении духа.

— Сегодня я разместил семерых раненых в церковном доме и четверых — у Тимотео Веласкеса, знаете, у которого большой сад. И пусть не морочат мне голову, да, да! И не смотрят на меня косо за то, что я положил к ним раненых!

Скоро, однако, настал и наш черед. Это случилось как раз в тот вечер, когда Маркос уехал на фронт. Сестра вопила во весь голос,

ее кое-как успокоили, и в доме наступила, наконец, тишина. С улицы к нам постучали. Кто-то крикнул:

— Реквизиция свободных помещений!

Потом я услышал, как родители забегали по гостиной.

— Это ты заявил, что у нас есть свободные комнаты? — спросила мать.

— Я только сказал, что у нас есть пустой чулан,— оправдывался отец.— Наверняка раненых мне подослал Тимотео Веласкес, в отместку.

— Так или иначе, надо принимать. Но они хоть перуанцы или эквадорцы?

Хавьер спрыгнул с кровати и, приоткрыв дверь, стал подслушивать, я присоединился к нему. Вскоре мы увидели, как через зал прошли санитары с носилками. Отец в пижаме сопровождал их.

— Немного подожду и пойду посмотрю, кто они такие,— сказал Хавьер, надевая шлепанцы.— А ты чтобы ни шагу отсюда!

Убедившись, что санитары уже ушли, а родители легли спать, Хавьер с карманным фонариком вышел из спальни. Минут через пять он вернулся.

— Перуанцы или эквадорцы? — спросил я.

— Не знаю,— в замешательстве ответил брат.— На них нет ни сапог, ни гетр. Они разутые.

На следующий день я проснулся рано. Присутствие раненых солдат вызывало у меня какое-то беспокойство, словно уже после войны наш дом оказался вдруг захваченным неприятелем.

Как только мама отправилась на утреннюю молитву, я быстро вскочил и побежал к чулану. Даже не заглянув в щелку, сразу распахнул дверь и, увидев раненых, замер. Их положили на двух тюфяках, набитых соломой. Несмотря на ранний час, они лежали с открытыми глазами, уставясь на потолочные балки. У одного лицо было пепельного цвета и все в поту, другой, с впалыми щеками, свесил с постели забинтованную руку. Кроме этого ничего особенного я в них не заметил. Оба были похожи на пастухов-индейцев из-под Кахамарки или погонщиков лам — я раньше видел, как они шагают без устали по горным дорогам Анкаша.

«Перуанцы,— подумал я.— Эквадорцы должны быть лохматые».

Немного разочарованный, я уже собирался уйти, как вдруг один из раненых что-то сказал. Обернувшись, я увидел, что бледный шевелит губами.

— Воды...

Сказал и вытащил ногу из-под простыни, показывая коленку. На ней виднелась рана, круглая, фиолетовая, как гортензия в полном цвету.

Почувствовав приступ тошноты, я бросился на кухню. Сестра ставила на плиту кастрюлю.

— Что с тобой? — спросила она.— На тебе лица нет!

— Один раненый хочет пить,— ответил я.— У него на коленке вот такая рана!

— Никакой воды им не будет! — завизжала Эулалия.— Чтоб им сдохнуть от жажды! Чтоб чума их взяла! Это же эквадорцы, которые стреляют в Маркоса! И зачем только их сюда привезли? Если они останутся в нашем доме, я утоплюсь!

Не зная что делать, я заплакал.

— Кто тебе сказал, что они эквадорцы? — спросил я.

— Никто. Вчера вечером сама слышала, когда ложилась спать. Ай, пресвятая богородица! Убийцы Маркоса — и в нашем же доме!

Я налил стакан воды, но не знал, что мне с ним теперь делать: подать ли его Эулалии, чтобы успокоить ее, или отнести раненому. Кончил тем, что выпил сам. Тут на кухню вошел отец.

— Что ты стоишь здесь босиком? — рассердился он.

Потом отец увел с кухни сестру, а когда вернулся, я все еще продолжал неподвижно стоять с пустым стаканом в руке.

— Наверно, на раненых пришел посмотреть? Ну как, никто из них не умер за ночь?

— Тот, который хромой, хочет пить.

— Что ж, дадим ему напиться.

Когда мы вошли в чулан, раненые, похоже, дремали.

— Вот этот — перуанец,— сказал отец, показав на того, который просил воды.— А ну-ка, братец, открой глаза! Хочешь промочить горло?

Солдат посмотрел на него, и отец, уже протянувший было к нему руку, остановился.

— Нет, кажется, я ошибся. Это, пожалуй, эквадорец. Черт возьми, вчера же мне сказали, кто из них кто! Забыл... Слушай, откуда ты будешь?

Солдат не ответил. Он продолжал смотреть на стакан, который отец держал в вытянутой руке.

— Ну ладно, попей, потом скажешь.

Раненый напился, повалился на подушку, отвернулся лицом к стенке и закрыл глаза.

— Другого спроси,— подсказал я.

Второй солдат лежал с открытыми глазами и смотрел на нас, вернее, вглядывался так, словно мы были тенями или призраками. Щеки его ввалились под выступающими скулами, подбородок отвис, создавая некое подобие улыбки.

— Ты перуанец? — спросил отец.

Солдат чуть шире раздвинул губы, и теперь выражение его лица напоминало улыбки трупов с грузовиков, но произнес он только одно слово, которое мы не поняли.

— Что за тарабарщину он несет? — спросил отец.— Ну ладно, подождем санитаров и тогда разберемся с ними. Санитары должны знать, кто эти раненые.

Санитары появились только вечером. Они очень торопились и сообщили, что в городе уже не хватает лекарств. Мы провели их в чулан, они осмотрели раненых, поставили им градусники и измерили давление.

— Вот этот еще может поправиться,— сказал один санитар, указывая на солдата с раненой ногой.— Другой, думаю, уже не жилец.

С этими словами он раскрыл второго раненого, чтобы показать нам. Под мышкой у того торчал красный ватный тампон, а вся простыня под ним была залита кровью.

— Это перуанец? — спросил отец.

Санитары растерянно переглянулись, покопались в каких-то карточках и виновато уставились на отца.

— Понимаете, в этой суматохе, кажется, потеряли их документы. Но мы уточним в госпитале.

На следующий день радио сообщило, что Эквадор капитулировал. Война оказалась молниеносной. В городе состоялся парад, и всех школьников заставили выйти на улицы с перуанскими флажками в руках. Вечером в муниципалитете была организована торжественная церемония, на которой от имени гражданской обороны выступил мой отец. А всеми забытые раненые между тем умирали в нашем доме.

Из-за путаницы в бумагах эти два солдата не значились ни в одном списке, и власти, видимо, вообще хотели бы отделаться от них. Среди шумного веселья по поводу перемирия они были подобны бедным родственникам или уродцам, которых обычно стараются скрыть от посторонних, а то и вовсе забыть, дабы никто не мог поставить под сомнение прелесть жизни. Отец несколько раз ходил в госпиталь, просил, чтобы к нам направили врача, но оттуда посылали лишь санитара. Он забегал в дом, наскоро делал уколы и торопливо исчезал, будто стыдясь чего-то.

За неделю раненые стали привычным явлением в нашем доме. Брат уже потерял всякий интерес к ним и предпочитал носиться по берегу, гоняя птиц, а мать, смирясь с их присутствием как с еще одним божьим наказанием за грехи, беспрестанно молилась.

Но однажды утром меня ожидал сюрприз. Войдя в чулан, я увидел, что один из солдат поднялся; тот, у кого была ранена нога, стоял, держась за стену. Заметив меня, он показал на своего товарища:

— Он умирает, мальчик. Всю ноченьку проплакал. Говорит, что больше не в силах...

Его товарищ — с раненой рукой,— казалось, спал.

— А я, мальчик, хочу уходить,— продолжал солдат.— Я ведь из Эквадора, с гор... у Риобамбы[1]. От здешнего воздуха мне плохо. Я уже могу наступить на ногу. Пойду потихоньку пешком...

С этими словами он, хромая, сделал несколько шагов по чулану.

— Скажи, чтобы мне дали брюки. Жара у меня больше нет. Отпустите меня, мальчик...

Он приближался и приближался ко мне. Охваченный страхом, я выскочил за дверь.

Родители ушли в порт купить рыбы — вечером устраивался ужин по случаю приезда Маркоса. Солдат уже появился в коридоре, продолжая звать меня. К счастью, в этот момент домой вернулся Хавьер.

— А я знаю, какой из них эквадорец! — похвастался я и показал в коридор.— Он хочет уходить домой.

Увидев раненого, Хавьер вытащил из кармана рогатку.

— Ты наш пленный! — крикнул он.— Разве ты не знаешь, что мы победили? А ну пошел назад в комнату!

Солдат постоял в нерешительности и, держась за стену, возвратился в чулан. Хавьер подошел к двери, запер ее на засов и посмотрел на меня.

— Я буду часовым,— сказал он.— От нас тут никто не убежит!

На ужин к нам было приглашено много важных персон города, среди них командующий военной зоной, а также один эквадорец, хозяин «Чимборасо»— самого крупного бара в Пайте. Маркос частенько наведывался туда и настоял, чтобы тот тоже был приглашен, поскольку, дескать, этот вечер будет «праздником братства».

В разгар ужина из чулана донеслись крики. Гости было умолкли, но вскоре снова продолжили разговор. Крики возобновились, и отцу пришлось подняться из-за стола.

— Там у нас раненые,— извинился он,— пойду посмотрю, что с ними случилось.— И, взглянув на хозяина бара, добавил: — Один из них, как я выяснил сегодня утром, ваш соотечественник.

Эквадорец сделал вид, будто не слышит, и стал наливать вино в бокал командующего. Беседа за столом оживилась. А я встал и пошел вслед за отцом.

Войдя в чулан, мы зажгли свет. Перуанец разметал постельное белье и лежал поперек матраса, двигая ногами так, будто занимался гимнастикой. Но достаточно было взглянуть на его лицо, чтобы убе-

[1] Административный центр эквадорской провинции Чимборасо.

диться, что эти движения совершались помимо его воли, будто внутри него был спрятан другой человек.

Отец наклонился над ним, пытаясь удержать за ноги, но раненый здоровой рукой схватил его галстук и с ужасом глядел в лицо отца. Губы раненого зашевелились, начали прорываться слова, неясные и монотонные, складывавшиеся в некую бесконечную песню.

— Тебе чего-нибудь надо? — спросил отец.— Воды? Или хочешь, чтобы я открыл окно? Только говори по-испански, а то я тебя не понимаю. Из Хаухи?[1] Ну понял, понял — ты из Хаухи, но чего ты хочешь?

Раненый продолжал говорить на кечуа[2]. Тогда отец быстро вышел, направляясь по коридору в столовую.

— Кто-нибудь из вас знает кечуа? — донесся его голос.

Маркос что-то ответил, и раздался общий хохот. Отец вернулся в чулан. Раненый уже перестал двигать ногами, а речь его затихала. Эквадорец, лежавший под простыней, высунул голову и сказал:

— Он хочет послать письмо.

— А ты откуда знаешь?

— Я понимаю кечуа, сеньор.

Отец посмотрел на него с удивлением.

— Мы говорим с ним на одном языке, сеньор.

Отец послал меня за карандашом и бумагой. Я все принес, и отец сказал эквадорцу:

— Переводи. Только говори внятно, чтобы я мог записать все до последнего слова.

И начал писать. Нос у отца заметно покраснел, как бывало, когда он изрядно выпьет. Солдат диктовал:

— В конюшне три лошади, говорит... лошадь лейтенанта, говорит... у нее круп стерт, у лейтенантовой лошади, говорит... на кухне...

Отец перестал писать и посмотрел на эквадорца. Тот сидел на своем матрасе и неотрывно смотрел в рот раненого товарища.

— Говорит, у него заболел живот... понос у лейтенанта... колодец у реки... лейтенантова лошадь упала в колодец, говорит... Тулио, говорит, Тулио...

— Какой Тулио? — спросил отец.

— Да здравствуют наши славные воины! — донеслось из столовой.

— Закрой плотнее дверь! — приказал мне отец.

— Тулио — это его брат,— сказал солдат.— Дальше, значит, говорит: больше не могу терпеть... в поле лошадь лейтенанта, говорит... мчится галопом... пестрой масти лошадь, говорит... красивая лошадь... ой, как живот болит... ой, у лейтенанта тоже живот заболел, говорит... я, говорит, лечу галопом... через поле, говорит... через поле, говорит... больше, говорит, не могу... понос, говорит... у лейтенанта понос, понос, говорит... понос...

Умирающий умолк и опять задвигал ногами. Отец тщетно хотел сдержать их. И сразу разнеслось зловоние. На матрасе расплылись какие-то грязные пятна. Солдат перестал двигаться. Отец за волосы приподнял его голову, и мы увидели, что лицо солдата улыбается. Уже мертвое. Мы оторопели. Отец опустил голову покойника и накрыл одеялом. Потом взглянул на исписанную бумажку, взял ее и несколько раз перечитал.

— Я обещал ему отослать это,— сказал он.— Но кому? И зачем? — Сложив вчетверо листок, он сунул его в карман.

---

[1] Город и департамент на севере Перу.

[2] Язык индейцев кечуа, проживающих в горных районах Перу, Эквадора и Боливии.

В столовой кто-то провозглашал здравицы в честь Маркоса.

— А мне когда можно будет уйти отсюда? — спросил раненый эквадорец.— Этот воздух меня душит, сеньор. Я теперь могу ходить.

Отец не ответил. Мы возвратились в столовую, где уже начали подавать сладкое. Хозяин бара откупоривал бутылку шампанского, которую принес в подарок.

— Что там произошло? — спросила мама шепотом, увидев, что отец остановился возле стола, а нос его еще более покраснел.

— Ничего,— ответил он и сел на свое место, не сводя глаз с новой медали, сверкавшей на груди командующего.



# *Ночное приключение*

К сорока годам Аристидеса с полным основанием можно было отнести к тем людям, которых праздник жизни обошел стороной. У него не было ни жены, ни любовницы, работал он в подвальном помещении муниципалитета, регистрируя метрики в книге актов гражданского состояния, а жил в старой части Лимы на авениде Ларко. Его тесная квартирка была захламлена грязным бельем и поломанной мебелью, но стены украшали приколотые булавками фотографии артисток. Когда он стоял в очереди на автобусной остановке, его бывшие однокашники проносились мимо на собственных автомобилях, а нечаянно встретившись с ним в общественных местах, ограничивались торопливым рукопожатием, в котором чувствовалась некоторая брезгливость. Это объяснялось тем, что Аристидес стал не только символом вечного неудачника, банкрота, но и олицетворением полной утраты пристойного облика: всегда плохо одет, нечисто выбрит, пропах дурным обедом из дешевой закусочной.

Ведя такой образ жизни — без знакомств и воспоминаний, Аристидес был завсегдатаем ближайшего кинотеатра и парка, где знал каждую скамейку. В кино, под покровом темноты, он чувствовал себя невидимым, но не одиноким — частицей массы живых, смеющихся или всхлипывающих теней. А в парке он мог завязать разговор с каким-нибудь старичком, инвалидом или нищим и таким образом приобщиться к огромной семье людей, тайно несущих крест одиночества.

Как-то вечером, изменив своему излюбленному маршруту, Аристидес решил прогуляться по улицам Мирафлореса[1]. Продефилировал по авениде Пардо, вышел на набережную, свернул на Костанеру. Побродил вокруг казармы Сан-Мартин по прилегающим к ней переулкам, становившимся все безлюднее. Потом направился к новым, только что появившимся на свет кварталам, не видевшим, пожалуй, еще ни одних похорон, миновал церковь, строящийся кинотеатр, снова очутился возле церкви и, наконец, сообразил, что заблудился. Было уже за полночь, а он все кружил в незнакомом районе, где едва лишь начинали подниматься первые дома. Его внимание привлекло кафе с множеством столиков на безлюдной террасе. Он подошел и, прижавшись носом к стеклянной двери, заглянул внутрь. Стрелки стенных часов показывали час ночи. В зале не было ни одного посетителя, только за стойкой возле кассы восседала довольно полная женщина с двойным подбородком. Она курила сигарету и рассеянно просматривала газету. Неожиданно женщина подняла глаза и бросила взгляд

[1] Аристократический район г. Лимы.

на Аристидеса, как ему показалось, зазывной. Растерявшись, он отпрянул от стекла и пошел было дальше, но, пройдя шагов сто, остановился, осмотрелся. Вокруг крепко спала едва народившаяся и еще не имевшая собственной истории недвижимость. Аристидесу показалось, что он очутился на какой-то неведомой, загадочной и волнующей земле. Повернув назад, он опять осторожно приблизился к кафе. Женщина сидела на том же месте. Увидев его, она вроде бы чуть заметно улыбнулась. Аристидес замер. Постоял в нерешительности, а затем еще раз заглянул в зал. Наконец, толкнув стеклянную дверь, вошел и сел за красный столик, не смея поднять глаз. Так он просидел некоторое время, ожидая сам не зная чего и разглядывая муху с оторванными крыльями, медленно подползавшую к пропасти — краю стола. Потом робко покосился на женщину. Она наблюдала за ним поверх газеты. Подавляя зевок, женщина низким, мужеподобным голосом сказала:

— Официанты уже ушли, кабальеро.

Аристидес воспринял ее слова с радостью: незнакомая женщина сама заговорила с ним ночью. Но тут же понял, что, в сущности, она предложила ему уйти. Он смутился и встал.

— Но я могу обслужить вас сама. Что вам угодно?— Женщина направлялась к нему тяжелой, хотя и не лишенной величавости походкой.

Аристидес опять присел.

— Кофе. Я хотел только...

Женщина уже подошла к столику, оперлась о его край полной рукой в кольцах и браслетах.

— К сожалению, кофеварка остыла. Но стопку чего-нибудь крепкого я могла бы вам принести.

— Тогда лучше пива.

Женщина вернулась к стойке. Аристидес воспользовался этим, чтобы повнимательнее рассмотреть ее. Несомненно, она — хозяйка кафе, и, судя по всему, денег у нее было немало. Торопливым движением Аристидес поправил свой старый галстук, пригладил волосы.

Женщина принесла не только пиво, но еще бутылку коньяка и рюмку.

— Я составлю вам компанию,— сказала она.— У меня вошло в привычку выпить с последним посетителем.— Аристидес в знак согласия кивнул. Женщина прикурила новую сигарету.— Прекрасная ночь,— сказала она.— Вы любите прогуливаться? Я, знаете, тоже немножко полуночница. Но в этом районе народ укладывается рано, и к полуночи я остаюсь совсем одна.

— Печально...— пробормотал Аристидес.

— Я живу здесь же, над баром,— ее рука указала на дверь, едва видную в глубине зала.— В два часа закрываю заведение и иду спать.

Аристидес осмелился взглянуть ей в лицо. Женщина ловко пускала кольца сигаретного дымка и с улыбкой смотрела на него. Ситуация показалась ему щекотливой. Он с удовольствием бы расплатился, чтобы, выйдя на улицу, поделиться с первым встречным чудесной историей о том, как среди ночи женщина делала ему многозначительные намеки. Но она уже встала.

— У вас не найдется монетки в один соль? Мне хотелось бы поставить пластинку.

Аристидес торопливо протянул ей монету.

Женщина включила негромкую музыку и возвратилась. Он посмотрел на улицу: там не было ни души. Ободренный этим обстоятельством, Аристидес отважился пригласить ее потанцевать.

— С удовольствием,— сказала женщина, положила свою сигарету на край стола и сняла шаль, обнажив округлые плечи, усеянные веснушками.

Но только обняв ее за талию — налитую и упругую — своей неопытной рукой, Аристидес поверил, что наконец-то сбывается одно из давнишних мечтаний бедного холостяка — неожиданное приключение с женщиной. То, что она была уже немолода и очень даже «в теле», значения не имело. В его воображении никаких недостатков у нее не было. Глядя на кружившиеся полки с бутылками, Аристидес вдруг почувствовал вкус к жизни, воспрянул духом и уже посмеивался над тем, другим Аристидесом, теперь далеким и нереальным, который мог неделю подряд чувствовать себя счастливым только от того, что какой-то человек подошел к нему на улице и спросил время.

Закончив танец, возвратились к столу, немного поговорили. Женщина предложила Аристидесу выпить с ней рюмочку коньяку. Он даже и сигарету у нее взял.

— Вообще-то я не курю,— сказал он,— сейчас делаю это сам не знаю почему.

Такое объяснение, правда, показалось ему глупым. Женщина тоже рассмеялась.

Аристидес снова пригласил ее танцевать.

— Только сначала я закрою окна,— сказала она.

Танцуя, Аристидес заметил, что стенные часы показывали уже два. Однако женщина не собиралась прощаться. Это показалось ему прекрасным предзнаменованием, и в свою очередь он подлил ей коньяку. Аристидес — уверенность его все крепла — начал расспрашивать женщину о ее личной жизни: ему хотелось придать беседе более интимный тон. Он узнал, что она одинока, с мужем развелась... Аристидес взял ее за руку.

— По-моему, уже пора закрывать бар,— сказала она, поднимаясь, и, едва сдержав новый зевок, направилась к двери.

— А я еще посижу,— сказал Аристидес решительно, что удивило его самого.

Женщина на ходу обернулась.

— Разумеется.

Аристидес вытянул было манжеты своей сорочки, но тотчас же спрятал их — слишком они обтрепались. Выпил еще рюмку коньяку, зажег сигарету, погасил и снова зажег. Сидя за столом, он наблюдал за хозяйкой — плавность ее движений волновала его. Вот она взяла стакан и отнесла его к стойке, потом проделала то же самое с пепельницей, с кофейной чашкой... Когда все столики были наконец убраны, Аристидес почувствовал огромное облегчение. Но женщина подходила не к нему, а к двери. Вместо того чтобы закрыть ее, оперлась о притолоку и стала молча смотреть на улицу.

— Что вы там увидели?— спросил Аристидес.

— Надо бы еще убрать столики с террасы.

Выругавшись про себя, Аристидес поднялся. Потом, сделав равнодушное лицо и бросив: «Это мужская работа», пошел к двери.

Выйдя на террасу, он ужаснулся: там было не менее тридцати столиков, не считая стульев и пепельниц. Он прикинул, что уборка всего этого займет не менее четверти часа.

— Если мы оставим их снаружи, растащат,— пояснила хозяйка.

Аристидес принялся за работу. Сначала собрал все пепельницы, потом стулья.

— Не валите их как попало,— предупредила женщина,— нужно все сложить аккуратно, чтобы утром официант успел навести порядок.

Аристидес повиновался. До окончания работы было еще далеко, а пот с него катил градом: столы были железные, тяжелые, как лошади. Хозяйка, стоя у порога, с явным удовольствием наблюдала за его мучениями и всякий раз, когда Аристидес, тяжело дыша от натуги, проходил мимо нее, ласково проводила рукой по его волосам. Но теперь этот жест не волновал его: вообразив себя ее супругом, он был уверен, что, покончив с обязанностями, без сомнения осуществит и свои права...

— Больше не могу,— в конце концов простонал он, хотя на террасе оставалось еще много столиков и словно по какому-то волшебству количество их не убавлялось.

— А мне казалось, что ты гораздо здоровее,— заметила женщина с подчеркнутой иронией.

Аристидес посмотрел ей в глаза.

— Ну поднатужься, остался ведь совсем пустяк,— добавила она, подмигнув ему.

По истечении получаса Аристидес перенес все с террасы, вынул платок и отер пот. Он боялся, как бы такое перенапряжение не отразилось на его мужских способностях. Благо теперь весь бар был в его распоряжении и он мог подкрепиться добрым глотком. Аристидес уже возвращался в зал, когда женщина воскликнула:

— А цветочница! Что же ты оставил ее на улице?

Только цветочницы ему не хватало! Аристидес с ненавистью взглянул на огромный глиняный вазон, стоявший у входа на террасу, в котором чах жалкий кустик герани. Подавив возмущение, он подошел к цветочному вазону и с усилием поднял его. Сгибаясь от тяжести, Аристидес поплелся к двери, но, подняв глаза, увидел, что хозяйка захлопнула ее. Через дверное стекло она посматривала на него все с тем же лукавым выражением.

— Откройте,— еле выдохнул Аристидес.

Хозяйка кокетливо повела пальчиком.

— Откройте! Не видите, я едва стою?

Женщина повторила свой жест.

— Пожалуйста, откройте, мне не до шуток.

Хозяйка манерно поклонилась и повернулась к нему спиной. Все еще держа вазон в объятиях, Аристидес видел, как она прошла по залу, собрала со стола, за которым они сидели, рюмки, погасила свет и... скрылась во внутренней комнате. Когда все стихло и погрузилось во тьму, Аристидес приподнял вазон над головой и с размаху обрушил его на пол. Звук расколовшегося вдребезги огромного горшка привел его в чувство: каждый черепок был для него осколком несбывшейся мечты...

■

# ЖАН КАРРЬЕР

# *Ястреб из Маё*

РОМАН

*Перевод с французского ТАМАРЫ ИВАНОВОЙ*

## X

Быстро темнело; лес, которым он проходил утром, уже погрузился во мрак, но, выйдя на открытые склоны, он снова увидел светлое небо и звезду, мерцающую на западе. Камни скрипели за его спиной под копытами лошади; он не различал других звуков, кроме этой сопровождавшей его медленной, тяжелой поступи. А ведь наступил час, когда звучит стрекотание ночных насекомых, в особенности если вечер столь тих. Но он не слышал ничего, кроме глухого стука подков, от которого содрогалась земля и катились в разные стороны камни. Он чувствовал, как по шее стекает пот, как выступает он на лбу и, испаряясь, дает ощущение свежести. Вдруг он остановился, испугавшись, что забыл свой ягдташ у Деспека. Да нет, что за голова! Вот же ягдташ висит у него на боку, полный дичи, которая пришлась на его долю при разделе, хоть сам-то он убил на рассвете всего лишь одну сойку; теперь у Рейланов несколько дней будут пировать. В особенности Абель. Жозеф почти ничего не ест. Жозеф. Он попытался думать о Жозефе, но, странное дело, это ему не удавалось: образ младшего сына никак не желал складываться в его сознании. Создавалось очень странное впечатление: будто незаметным, но уверенным движением ластика кто-то стирает из его памяти облик сына. Даже сама мысль, что у него есть сыновья, показалась ему абсурдной.

Какое-то время он шел, ворочая в уме другие, не менее странные мысли, совершенно отрешенные, как если бы его сознание ошиблось в пути и по его, Рейлана, неосмотрительности перекочевало в другое тело, покинув прежнее за полной его бесполезностью. Что это обозначает — иметь сына? Или жену? Ни у кого ничего нет. Белые точечки мелькали перед его глазами со все убывающей скоростью трассирующих пуль.

Испытывая чудовищное сердцебиение, вызванное тяжелым подъемом, он остановился на вершине горы передохнуть. Рот, наполненный вязкой, горькой слюной, двигался сам по себе, как некий предмет, имеющий собственную независимую жизнь. В это мгновение

Окончание. Начало см. в № 2 за 1979 г.

лошадь споткнулась о пень; он оглянулся и подумал: какое все же странное животное — голова похожа на футляр от музыкального инструмента. «Эта лошадь мне принадлежит»,— сказал себе он, но и мысль эта не имела веса. У него было такое чувство, словно он отвечает вызубренный урок, в котором ничего не понял. С упрямством пьяного человека он все возвращался к нему и заново пережевывал — тщетно: слова скользили и, казалось, разбегались от усилий мысли, которая топталась на месте, тупо перемалывая пустоту.

Вдруг, будто протрезвев, он открыл глаза и увидел перед собой пустынный простор, который не узнал с первого взгляда; на какое-то мгновение он ощутил панический страх и попытался собраться с мыслями, остановить это головокружительное выпадение из привычного для него порядка вещей; возможно, он заблудился, затуманив себе мозги всеми этими странными проблемами, сам того не заметив, сбился с пути. Он помнил, что останавливался отдышаться на вершине горы, а дальше ничего — черная дыра. Должно быть, машинально пустился в путь. «Но что же все-таки я здесь делаю,— спрашивал он себя,— куда и зачем иду?» Страх убывал; он был всего лишь озадачен, что находится тут — в незнакомом месте, освещенном мирной луной. Вокруг царила тишина; слабый, почти теплый ветер ласковыми порывами шевелил стебли злаков, среди которых он очутился; далее поднималось, слегка фосфоресцируя в ночи, огромное поле, покрытое жнивьем. Ни деревца, ни кустика, один лишь разворот земли, вздымающейся к небу, как огромная гладкая волна, по которой скользит ночь.

Он замер, отдаваясь этому ночному покою, который постепенно захватывал его, даря то, чего он смутно жаждал весь день; он мог теперь не думать ни о чем, отдохнуть от усталости, освободиться от любых планов, плавать в этом завороженном свете, словно барка в уснувшей воде.

Потом что-то начало мало-помалу проясняться в его сознании, и окружающее приняло знакомые очертания, серое жнивье заняло свое обычное место на краю плато, пейзаж обрел неуловимую глубину. И по мере того, как он узнавал местность, он вспоминал и пройденный путь, который неосознанно привел его к Большой Земле. «Свершилось — я пришел, что же теперь-то делать?» Но разве имело хоть какой-то смысл делать что бы то ни было? Он продвинулся на несколько шагов и почувствовал, как трещит под ногами жнивье; голова его была опустошена, словно выпотрошенный кокон. Он ощущал раскаленную докрасна боль, которая билась где-то в глубине его существа, но где именно, он не в состоянии был определить. Интересовало его еще только одно: этот шум, похожий на жужжание высоковольтной линии, который постоянно наполнял ему уши.

Детская мысль взбрела ему на ум: сесть верхом на лошадь, подняться на самую вершину горы и обозреть оттуда всю ширь земли. Он оглянулся. Лошади не было. Его охватил тоскливый страх, однако он быстро, с мальчишеской беззаботностью отогнал его. «Мама,— подумал он,— что мне за это будет?» Он шел дальше серединой поля; кузнечики смолкали при его приближении: в ушах у него продолжались непрестанные электрические разряды. На краю жнивья, справа, вырисовывался черный овальный вход в туманно-серое каменное строение. Как все было просто. (Почему не понял он этого раньше?) Подумать только, что понадобилось прожить полвека, чтобы прийти к этому — или, точнее сказать, вернуться к этому!

Им овладела страшная слабость — до тошноты; от усталости ноги у него совсем отнялись, казалось, он передвигался без их помощи. «Животное вышло из строя»,— подумал он с таким ощущением, буд-

то его изнуренное тело уже не принадлежит ему и единственное, что еще уцелело в нем, было стремление дойти до нагромождения камней, а уж там рухнуть. Достигнув цели, он прислонился к стене, поджал ноги и, почувствовав, что сидит на земле, испытал невыразимое наслаждение. «Совсем даже недурно»,— произнес он вслух, однако с несколько встревоженным горловым смешком. «И все же какая странная история!» Смутное ощущение вины, вроде как у прогулявшего школьника, несколько омрачало его душевный покой, но простым пожатием плеч он сбросил с себя все эти бесполезные угрызения, словно космонавт, избавляющийся от земного притяжения.

Подобная почти недвижному морю, припудренная голубоватой пыльцой, мерно дышала ночь; ее теплое дыхание, насыщенное запахами земли, пропитанное ароматами растений, ласково, по-матерински овевало ему лицо. В стороне от луны мерцали звезды; постепенно они зажигались повсюду, словно огни ночного города.

Перед глазами его обширная поверхность жнивья поднималась вверх, вызывая неотвязное представление об уходе, об отрыве от земли и скольжении туда — в бесконечность, к этому необъятному, сиявшему поверх всех веков мирозданию. Дожидаться здесь — но чего? Возможно, ухода за пределы этого длинного доисторического хребта, созданного словно бы для приема и отправки, застывшего в настороженной неподвижности набережной, сходней, трамплина.

Неумолчный свист у него в ушах постепенно стихал; с тех пор как он уселся, ему казалось, что и мысли его прояснились, улеглись и он избавился от непонятной, давящей тяжести. Сейчас она едва ощущалась, уступив место приятной беспечности. Всплывали воспоминания о недавнем, но тут же рассеивались, хоть он и пытался удержать их — лепестки, уносимые ветром. Как раньше Жозеф, стерлись из его памяти и другие люди; он не мог представить себе их лиц. Все пережитое за последние годы — вплоть до сегодняшнего дня — казалось ему далеким, расплывчатым, невероятно неустойчивым. Какая дорога пройдена! У него было впечатление, что он покинул своих близких целую вечность тому назад. Они ему уже чужие: перед его мысленным взором проходили чередой лица, увиденные на протяжении всей жизни, но взбаламученное море памяти поглощало их без остатка. Словно они давно уже мертвы. Теперь он касается самого дна моря — прибыл к месту назначения. Уже ничего и никого не надо более ждать. Эта неизбывная, столь благостная ночь, распростершаяся над ним, эта спокойная луна — серые пятна на ней делали ее похожей на лицо, печально взиравшее на землю, эти фосфорисцирующие просторы, эти белые камни — вот что утвердилось незыблемым фоном его жизни, как если бы он никогда и не двигался с этого места.

Да и двигался ли? Он не был в этом уверен. До чего все это трепыхание во имя жизни или возможности выжить бессмысленно! Доказательство: от этого почти ничего не осталось. Словно украдкой увидел он вновь туманный рассвет в Мозеле, где солдаты жгли во дворе заброшенной фермы мазут, разрезав бидоны из-под масла в длину на две половины; война, броневики, поражение; его возвращение, счастье вперемежку с разочарованием, которое ощущают, вернувшись к тому, что оставили за собой и что шло без вас не совсем так, как вам издали казалось; странное удовлетворение от многочасовой обработки земли, когда проводишь борозду за бороздой не во имя жатвы, а во имя чего-то совсем иного; а надо всем тишина; пятьдесят лет тишины, стоявшей за всеми поступками и гримасами судьбы; а сегодня пришло осознание этой тишины. Но почему, бог ты мой, почему?

Внезапно он выпрямился, упершись локтями в каменную стену: резко всплыло воспоминание — он увидел свою мать, она жала малень-

ким серпом рожь возле этой вот стены. «Мама!»— закричал он и, ощутив у себя под носом какую-то тонкую теплую струйку, вытер ее тыльной стороной руки. Он увидел себя сидящим на этом же месте, возле входа. Было ему тогда три или четыре года, а может, и пять лет; поскольку мать жала, дело происходило в конце августа, я смотрел на воронов, круживших с карканьем над уступами в форме башен, которые замыкали горный амфитеатр; я был необыкновенно... как бы это сказать? Что за странное мгновенье! Удивительно счастлив, нет, не то, дело не в чувствах, не в воспоминаниях — нечто совсем другое; все было необыкновенно прекрасно в тот день! Глубокая синева скалы, полет воронов и мать, склонившаяся среди колосьев,— вот что таилось за этими пятьюдесятью годами поступков и гримас судьбы, вот в чем сущность тишины. Нет-нет, это не воспоминание. Это — тут, всегда было тут, как незавершенное начало, как непроросшее зерно, невыполненное обещание... А теперь надо умирать. Умирать, когда однажды было ЭТО.

Он испытал подлинное внутреннее озарение, такое ощущение, будто резкий свет осветил изнутри темную комнату, обнаружив голые стены, голый потолок, голый пол: пустая комната.

Это собственная голова его опустошилась. Она становилась все легче и все опустошеннее. Ослепительный свет ничего не мог осветить. Возвращаешься через пятьдесят лет к исходной точке, чтобы обнаружить пустую комнату. Полвека пустоты, ничего внутри, ничего снаружи, нигде — ничего; а в начале существования, словно притулившийся в пустыне пучок травы, мальчуган, сидящий вот у этой стены и смотрящий на полет воронов над горными склонами. Все произошло так, как если бы всего за несколько секунд он познал реальность мира. Иногда, на каком-то повороте борозды, когда он уставал, ему казалось, что он начал нечто постигать. Но жизнь наваливалась на него, как цементная плита, укрывающая могилы.

Он хотел согнуть ногу, но она уже не подчинялась ему, теплая струйка, стекавшая у него из носа прямо в рот, имела соленый вкус. Но он не в состоянии был шевельнуть руками и поднести их к лицу. Шум в ушах прекратился. Он сползал в безмятежную летаргию, которая была для него столь же благодатна, как убежище для раненого животного. Он еще раз сказал себе самому, что умирает, но интересовало его превыше всего, как не сбиться с едва различимого и все же нащупанного им следа, ведущего в таинственный рай.

Жажда вновь найти этот рай охватила его с такой страстью, что он собрал последние силы, как бы стремясь выбраться из тисков своего тела и сознания. Начался бред: быстро сменяющееся чередование картин беспощадной красоты. Фиолетовый, вечерний августовский ветер кидал ему в лицо восхитительно острые запахи земли. Они — тут и всегда были тут, сказал он себе; вечное солнце тоже тут, со своими золотыми хлыстами и горькой свежестью растертой в ладонях полыни. Единение, непостижимая тайна единения со всем этим. Так вот зачем пришел он сюда. Он отыскивал первый день своей жизни, в который укрылся со спокойствием самоотречения, погружаясь в неподвижность эмбриона.

Именно в тот момент, когда его жизнь предстала перед ним в форме странного, маленького предмета, угрожающе бессмысленного, а всякое представление о времени и пространстве исчезло, и он уже не был уверен, жил ли вообще, и покидал ли когда-либо это место, и мог ли избегнуть непреодолимого наваждения, не простиралось ли оно над ним вечно,— тогда-то он и освободился ото всех чудовищных тягот существования.

Он тихонечко клонился на бок, один глаз у него закрылся, другой неестественно расширился, из носа текла черная струйка, блестевшая в лунных лучах. Он еще ловил воздух ртом, открывая и закрывая его, словно лягушка на поверхности пруда перед наступлением грозы.



## XI

На рассвете следующего дня Деспек был разбужен глухим сотрясением почвы у себя под окном; услышав ржание, он поднялся. То была лошадь с болтающимся между ногами поводом; несомненно, она сбежала, но раз она так быстро нашла свою конюшню, значит, вернулась не издалека. «Не дальше чем от поворота»,— подумал Деспек и, сказав себе: «Ясно, что следует делать», свистнул собаку и пустился в путь.

— Что происходит, что это еще за выдумки? — набросилась на него дочь, когда он через час вернулся обратно, усталый и озабоченный. Она уже обнаружила лошадь в конюшне.

— Откуда же я могу знать? Придется спуститься в Сен-Жюльен. Напои-ка меня кофе.

Стулья гостей еще не были отодвинуты от стола; помимо воли Деспек уставился на тот из них, на котором вчера рядом с ним сидел Рейлан. «Вид-то у него был странноватый»,— подумал он и направился в Сен-Жюльен, где оставил свою повозку. Пеший подъем до Маё показался ему чрезвычайно длинным; еще не было и девяти часов, а солнце уже палило, можно было подумать, что сейчас самый разгар лета; он не мог припомнить, чтобы в сентябре было когда-либо так жарко. Эта жарища вызывала неприятные мысли. Он мало надеялся, что, открыв дверь — там, наверху,— застанет своего друга преспокойно завтракающим и скажет ему: «Сыграл же ты со мной шуточку!» А возвращение лошади окончательно разрушало всякую надежду, и ему рисовалась уже совсем другая сцена: «Как, он не с вами? А мы-то думали, что он остался у вас ночевать...» И так далее... Возможно, он просто уснул там, наверху, успокаивал себя Деспек, оглядывая леса, простиравшиеся между Маё и Мазель-де-Мор. Когда он преодолевал последний километр, эта мысль его несколько приободрила, вопреки всем дурным предзнаменованиям, включая возвращение лошади. Во всяком случае такое предположение смягчит удар. Поравнявшись с маленьким кладбищем, он не смог удержаться и бросил взгляд на заросшие крапивой могилы; их безобидная заброшенность его несколько успокоила; казалось, что ничто в мире не способно нарушить это безмятежное царство крапивы; и тем не менее он ясно представил себе кого-то, вонзающего туда лопату.

— И тряпка же я, однако,— произнес Деспек вслух.

Возле фермы — ни души. Все молчаливо и спокойно. Возмутительно спокойно.

«Он — там, за этой дверью, попивает кофе»,— уговаривал себя Деспек.

Перед входом он заколебался: не повернуть ли вспять,— словно уйдя, возвратясь домой, разыграв беспечность и равнодушие к судьбе, он мог втиснуть ее в прежние рамки, вернее, заставить не выходить из них, словно можно было переделать прошлое, а открыв эту дверь, неминуемо развяжешь неотвратимое — сцепишь воедино мелкие звенья, начавшие разрываться еще вчера, и одним ударом все приведешь к катастрофе. Но куда денешься? И Деспек кинулся очертя голову.

— Привет всем! — крикнул он, всовываясь в приоткрытую дверь; хоть он и постарался принять тон, который не вызывал бы сомнения в душевном его равновесии и добродушии, ему показалось, что выкрикнул он свое приветствие чересчур громко и сразу себя выдал; ему потребовалось напрячь все силы, чтобы придать лицу нормальное выражение: в кухне находилась одна лишь мать, она резала дикий цикорий для салата.

Деспек сделал два-три шага. Он так страстно желал увидеть за этим столом Рейлана, что его отсутствие сразу наполнило комнату неотвратимостью чудовищного подтверждения.

«Он мертв,— подумал Деспек,— бесполезны какие бы то ни было уловки: он умер вчера вечером, где-то в горах, на дороге между моим и его домом».

Мать тихо опустила нож в салат; Деспек строго, почти беспощадно смотрел на нее, и она почувствовала в этом взгляде пугающее беспокойство.

Поиски начались около полудня.

Тем временем женщины со всей округи собрались на кухне для пересудов: каждая старалась перещеголять другую в оптимизме, оглушая самое себя и всех пришедших немыслимыми предположениями. Некоторые утверждали, что сегодня утром, как раз на рассвете, видели человека, блуждавшего возле Эгуаля; возможно, Молчальник потерял память и заблудился в тамошних непроходимых лесах; ведь в конце-то концов, разве не был он всегда человеком несколько странным? Другие полагали, что на него напали воры или цыгане, которые раздели его и бросили связанным где-нибудь в кустах. Нашлись и такие, кто заговорил о внезапно вспыхнувшей страсти и преднамеренном исчезновении: пока они тут беспокоятся, не уплывает ли он как ни в чем не бывало в Америку? Видывали и не такое: безукоризненные до пятидесяти лет отцы семейств в одно прекрасное утро, словно бешеные козлы, бросали все к чертям собачьим ради первой подвернувшейся юбки, да-да, подобное стрясается именно с самыми что ни на есть тихонями...

Но по мере того, как проходил час за часом и время близилось к вечеру, от этого тщетного ожидания воображение истощалось, меркло; каждая из собравшихся женщин в глубине души находила положение вещей все более тягостным и подавляющим; тогда по какому-то инстинктивному взаимному соглашению установилось прерываемое лишь вздохами, посапыванием да скрипом стульев молчание, которое никто не решался нарушить; оно навалилось на дом, чтобы подготовить его к приятию несчастья.

## *XII*

Тело нашли лишь на третий день. Кто мог бы предположить, что он, умирая, заберется на эдакую вышину, так далеко от своего дома, так далеко ото всех? На него там наткнулись почти случайно.

Стояла жара; тело, пролежавшее на солнцепеке целых три дня, чудовищно воняло.

Принесли его на носилках, укутав голову мешком.

Кортеж остановился перед дверью; увидев мешок, Мари вопросительно посмотрела на отца.

— Вороны,— ответил он вполголоса.— Пусть все остаются на кухне. Ей нельзя его видеть.

Люди, ожидавшие у порога, юркнули в дом.

Чтобы поднять труп в спальню, надо было пронести его через кухню. Когда мать, сидевшая в кресле, где ее удерживали две женщины, услышала шарканье ног мужчин, с усилием поднимавших эту тяжкую ношу по лестнице, она попыталась встать; вокруг нее произошла настоящая свалка. «Держите его, держите»,— кричал один из запыхавшихся носильщиков: лестница была настолько крутая, что тело сползало с носилок вниз. Упал стул; среди всей этой сумятицы — тяжелого дыханья, шарканья ног, трения носилок о перила — падение стула показалось чудовищным. Можно было подумать, что происходит схватка с мертвецом, а то так и с самой смертью. В этой молчаливой борьбе было что-то зловещее, потрясшее всех присутствующих.

По комнате распространился запах гвоздичного масла: одной из женщин взбрело на ум бороться со смрадом, полив пол духами, аромат которых произвел отталкивающее впечатление, еще усилив запах тления и как бы нагнетая нагромождение ужасов. Сочетание аромата мертвых цветов с вонью разлагающейся плоти было настолько омерзительно, что одна из присутствовавших молодых женщин в припадке рвоты выскочила во двор; побледневший Жозеф, которого тоже мутило, последовал за ней. Всего больше он опасался, что его могут заставить взглянуть в последний раз на отца. Кто-то прошептал: «При такой жарище хоронить надо немедленно». Сжав голову руками, Жозеф присел во дворе; он был потрясен отталкивающим зрелищем смерти, перед которой реальность жизни представлялась временной, едва ощутимой; за каких-нибудь несколько секунд он во всем изверился. Со страхом рассматривал он свои руки; так вот, оказывается, какова она, смерть: легкая потеря равновесия — и вот уже живое тело подвластно иным законам, чем правившие им дотоле; все связи разорваны, родственные черты уже не притягивают, а отталкивают от останков человека тех, кто его любил. Непонятная эта стремительность, близость совершенно непонятной опасности, битва с невидимым и сверкающим врагом, а эта вонь властно заявляла о своем чудовищном владычестве, настораживала даже сквозь отвращение — стоит, казалось, напрячь внимание и различишь внутри трупа не только отталкивающий физико-химический распад, но и коренную торжественную метаморфозу, какое-то неясное, но извечное отстранение от жизни.

Пока на втором этаже продолжалась молчаливая схватка, сотрясавшая одну балку за другой, мать, закрыв лицо руками, раскачивалась вперед-назад в каком-то ужасающем самоубаюкивании; как будто от этого движения горе уменьшалось; раскачиваясь, она изгоняла из сознания некоторые картины; поддавшись беспощадной жестокости этих картин, которые ей представились с такой силой и отчетливостью, как если бы беспощадная интуиция помогла ей увидеть воочию то, что пытались от нее скрыть, она вдруг застыла; ужас пересилил ее горе и даже как бы изменил его характер, превратив усопшего в непреодолимо отталкивающий предмет; произошла какая-то жестокая подмена, с которой ум отказывался смириться; там заворачивают в простыню и укладывают на кровать нечто зловещее, смрадное — обезображенный труп, несомненно, уже кишмя кишащий червями; ум отказывался это осознать, забвение еще не примирило со случившимся, и сейчас враг покинул свой обычный вертеп и нагло обосновался в доме живых людей, выставив на всеобщее обозрение самые непристойные свои свойства.

Последовали звериные вопли, прерываемые лишь короткими фразами, произносимыми скороговоркой, в которых практическая сметка хозяйки дома брала верх: «Закройте окна спальни от мух, кофе — в

глубине шкафа слева, на него надо надеть его старый черный костюм, животные не кормлены со вчерашнего дня...» — и так далее; этот контрапункт низводил на некий пародийный уровень ее вдовий плач, превращая его при всем драматизме ситуации в почти профессионально обязательные причитания.

— Если она не прекратит своих воплей, со мной случится истерика,— предупредила одна из женщин.

Тут она вышла во двор и расплакалась, зажимая себе уши руками: она не была уроженкой этой местности.

Только к ночи появился доктор, чтобы дать разрешение на захоронение.

— Невеселая вам предстоит работка,— сказал доктору Деспек, провожая его в спальню; уже в коридоре вонь стояла непереносимая.

— Почему его понесло на самую вершину? Не мог, что ли, он умереть как все люди, в своей постели?

Заткнув нос платком, доктор подошел к кровати. За всю жизнь ему еще не привелось видеть подобного: зрелище было тягостным.

— Омерзительно,— пробормотал он вполголоса; за отвращением сквозило презрение; а за презрением ужасающее равнодушие: в какую-нибудь десятую долю секунды три ступени сознания.

Не считая ран, испещривших лицо (но которые сами по себе не могли явиться причиной смерти), тело не носило никаких следов насилия; к тому же все раны были нанесены уже посмертно. Однако у ноздрей доктор обнаружил следы крови. «Самопроизвольное кровотечение из носа, но недостаточно обильное для спасения жизни,— констатировал доктор,— кровоизлияние в мозг. Вероятная причина — повышенное кровяное давление (к тому же он питался одними каштанами), а мог быть и аневризм: апоплексическому шоку, возможно, предшествовали затемнение сознания, потеря ориентации, мгновенное выпадение памяти, а то так и бредовое состояние, паралич, прекращение сердечной деятельности... Он, вероятно, потерял голову и преспокойно отправился умирать на самую высокую ветку древа своей жизни».

Доктор обильно полил труп, а также кровать и пол комнаты формалином, затем он спустился вниз вымыть руки и выпил стаканчик водки. Все смотрели на него с некоторым страхом. Он отозвал в сторону Деспека и Абеля Рейлана.

— Не следовало вносить его в спальню. Но что сделано, то сделано; потом надо будет все продезинфицировать и сжечь тюфяк. Пусть никто не входит в спальню до похорон; я постараюсь оформить их на завтра.— И, повернувшись к Жозефу, добавил: — Ты идешь со мной, эту ночь будешь спать у нас.

Тот не заставил себя просить; каждую минуту он ожидал, что изуродованный труп отца поднимется и под этим ужасающим трупом заскрипят ступени лестницы. Он воображал устрашающее преследование. Провести ночь под одной крышей с этим жутким предметом, распростертым там, наверху, на постели, было выше его сил.

Во Флораке, у доктора, в кокетливо обставленной незнакомой комнате, он мгновенно уснул и спал без сновидений; лучше он и не спал за всю свою жизнь — так подействовали на него волнения, усталость и перемена обстановки. На окнах висели розовые занавески, похожие на принаряженных девочек. Как далека отсюда — от этих книг, ковров, гравюр, порядка, чистоты и розовых девочек — смерть. Семья — это смерть.

Похороны были назначены на после полудня; они пустились в путь утром. Все еще стояла прекрасная, теплая погода, необычная для этого времени года. Доктор был вынужден останавливаться через каждые десять метров, поджидая Жозефа, который жалобно ковылял по камням; время от времени доктор терял терпение: «Вперед, вперед, поторапливайся!» — и двигался дальше, проклиная жару, солнце и медицину; он весь вспотел; мысль о том, что еще будет вершиться над трупом, до последней степени выводила доктора из себя.

Сидя в том подобии грота, какой представляла из себя кухня, несколько человек молча пили кофе вместе с хозяйкой дома, для которой смерть мужа уже являлась теперь свершившимся фактом. При входе своего младшенького она простерла к нему руки и, закрыв глаза, обняла, прижала к себе. «Самое тяжелое уже позади,— подумал доктор,— вот и главное заинтересованное лицо не может больше плакать — ей предстоит осмыслить свое существование в новом свете; смерть подобна тем катаклизмам, которые оживляют потускневшие краски вселенной, придавая всему своего рода молодость. Никому не устоять против этого странного феномена». Его раздражали эти «приличествующие случаю» объятия, претила их театральность. Что касается вони, то с помощью формалина, а также тмина, который время от времени бросала в огонь какая-то добрая женщина, не так уж, бог ты мой, она непереносима; и все же надо быть начисто лишенным воображения, как все эти женщины, чтобы не различать за фармацевтическим запахом формалина и более неопределенным — тмина жуткую вонь разлагающейся крупной дичины, которая на все накладывала свой отпечаток.

Но самое тягостное еще ждало впереди: до сих пор не доставлен гроб, изготовление которого было поручено старику столяру из Сен-Жюльена; тот должен привезти гроб на тележке. «Может, и он сыграл в ящик»,— подумал доктор, и эта, пусть и дурного тона, шутка несколько подняла его настроение. Он взглянул на часы.

— Уже одиннадцать,— процедил он сквозь зубы,— надо, пожалуй, пойти на разведку.

Ему не хотелось оставаться дольше в обществе этих, одетых в черное, молчаливых женщин, которые пили кофе, поджидая гроб с обезоруживающим спокойствием, хотя над их головами «дорогой усопший» был на пути к полнейшему распаду; доктор подумал, что и свой собственный гроб они поджидали бы столь же спокойно. Это спокойствие — как, впрочем, и весь похоронный народный обряд — казалось доктору весьма подозрительным и весьма тревожным, быть может, куда более выразительным, чем самый изощренный бунт разума против загадки смерти. (Возьмем, например, возмущение... Вряд ли оно потянет против мирного, плотского приятия, которое угадывается под скорбью этих простых существ и которое знаменует подспудное обручение со смертью, не имеющее ничего общего ни с культурой, ни со всеми претензиями христианства.)

Доктор вышел и направился к кладбищу, откуда раздавался стук заступа. Этот мерный, обыденный звук не нарушал тишины, лишь прибавлял к ней ни с чем не сравнимый покой огородных работ крестьянского утра,— на слух он совсем не вязался со скорбными приготовлениями.

Приготовления к погребению были в общем уже закончены: Абель, еще утром, по холодку, выкопал яму, в которой стоял теперь скрытый по пояс и, как всякий уважающий свой труд человек, тщательно выравнивал дно. Он относился к этой работе как к чему-то привычному, словно бы сажал овощи или строил дом. Бутылочка шипучки, врытая в землю на уровне его головы, придавала всей кар-

тине несколько условное театральное благодушие; лишь одежда производила странное впечатление — ввиду предстоящей церемонии он приоделся. На нем были черные ботинки со шнуровкой, черные брюки (слишком узкие и короткие, оставлявшие лодыжки неприкрытыми), белая рубашка с отложным воротом и, разумеется, черный галстук; он засучил рукава рубашки (которая насквозь пропотела и прилипла к спине), а пиджак от костюма повесил на кладбищенскую калитку. Походил он одновременно на новобрачного и на палача. Хотя из-за усиков мексиканского бандита напоминал и приговоренного к смерти, которого из садизма самого заставили рыть себе могилу.

Сейчас он был занят отделкой: места для его отца среди старых могил оставалось так мало, что заступ часто натыкался то на череп, то на кости; тогда он останавливался, собирал останки своих предков и складывал их в одну кучу — в уголке свежей могилы. Заметив доктора, он отложил заступ и своими ручищами грузчика скрутил сигарету; подобие улыбки обнажило его кровоточащие старческие десны.

— Видите, в компании ему будет веселее,— сказал он, показав подбородком на собранные им кости.

Доктор ничего не ответил, удовольствовавшись, как бы в знак согласия, покачиванием головы: что тут можно еще прибавить, когда и без того все очевидно. Он впервые заметил, что Абель слегка заикается: начало каждой фразы давалось ему с трудом, а дальше он выпаливал все одним духом, с какой-то внезапной, почти злобной стремительностью (возможно, он и впрямь постоянно озлоблен — хотелось бы знать, на кого и на что,— в особенности если он и сам не отдает себе в этом отчета).

— Хватит на сегодня земляных работ,— сказал доктор,— надо взять за загривок этого столяра. Если хочешь, пойдем вместе.

Столяра они встретили на полпути; впрягшись в тележку, к которой был привязан гроб, он совершенно изнемог на подъеме.

— Хорошо сделали, встретив меня,— сказал он,— я уж изверился. что когда-нибудь доберусь; взвесьте-ка это: чистый дуб — остатки от одной спальни.

Он с нежностью погладил гроб.

— В последний раз я смастерил такой гроб для мясника из Веброна: великана, обжоры, ненасытного поглотителя пива.

— Я вас понял,— лукаво сказал доктор.

— Заранее снял с него мерку; но когда закрывали гроб крышкой, мертвец оттолкнул ее своими плечищами и животом; за ночь его еще разнесло.

— Вспучило,— уточнил доктор.

— Если вам так угодно — вспучило. Чтоб закрыть гроб, пришлось всей семье, мне в помощь (я-то сам чересчур легок), усесться на крышку, как делают, закрывая чемодан.

— То-то веселое было зрелище,— негромко заметил доктор.

— Ну с нашим стариком хлопот у тебя не будет,—сказал Абель,— от него мало чего осталось для твоего ящика.

Он встал впереди, взялся за ручки тележки, и процессия двинулась.

— С тех пор я всегда накидываю в ширину,— сказал столяр,— в особенности летом.— Он сопроводил «лето» округлым жестом возле живота, словно бы изображая обжору или беременную женщину.— Таким образом я избегаю неприятностей.

— Великолепная предосторожность,— похвалил доктор со вздохом, вытирая себе лоб.

Послышалось карканье воронов; он поднял глаза и увидел, как они кружили в вышине над скалами. Небо было ярко-голубое; утесы, леса, осыпи — все было залито ярким светом, даже склоны, покрытые порыжевшей травой, сверкали, точно кремень. Доктор с самого утра чувствовал себя не в своей тарелке. А тут его куда-то понесло, оторвало от земли: усталость, наверное, или недосып. Он едва прислушивался к мрачным разглагольствованиям неунимавшегося столяра (тот рассказывал с профессиональным смаком, тем более что гробы приносили ему куда большую выгоду, чем изготовление дверей и окон). Решительно все представлялось доктору какой-то абстракцией; реальным оставался лишь полет воронов, утопавших в голубом сверкании этого совсем летнего дня. Тут случилось вскоре происшествие: из-за узости тропинки на крутом повороте, заросшем папоротником, тележка опрокинулась вместе со своим грузом, и Абелю со стариком пришлось спуститься за гробом, помогая себе отборнейшей руганью; на доктора это необычное зрелище произвело впечатление чего-то ирреального (тут он не мог не вспомнить Бодлера); гроб, словно тобогган, с неслыханной скоростью катился вниз, подминая папоротники, пока с глухим стуком не натолкнулся на ствол бука, который содрогнулся всеми своими ветвями. Гробовщик пришел в совершеннейшее отчаяние от урона, причиненного его творению, в особенности крышке, треснувшей во всю длину; он печально кружил вокруг, изучая следы от ударов, царапины на боковых досках с выражением такого острого страдания, как если бы дело шло о повреждении его собственной кожи: «Тридцатилетний дуб! Сушился пять лет! Ну не несчастье ли?..» Всего больше его огорчала трещина на крышке. Он заговорил даже о необходимости вернуться в Сен-Жюльен и смастерить новую «за ту же цену». На что Абель зарычал: «В следующий раз обойдемся вообще без гроба...»

«...Пастор появился (однако, черт побери, как его звали? Что-то вроде мосье Бартелеми, ну, разве такое имя не шикарно для пастора?)... появился к часу дня; на пороге он закрыл зонтик, в тени которого совершил подъем. Когда он раздвинул занавеску от мух, все отчетливо расслышали потрескивание насекомых, которых солнце как бы поджаривало в кипящем масле. Он сделал извиняющийся жест, указав на зонтик, и вполголоса сказал доктору и двум-трем посторонним семье людям: «Право же, в долине Иосафата не было столь тягостно! Что за непереносимая жара...»

Завидев господина пастора, мать вновь начала плакать: со вчерашнего дня у нее не было новых посетителей, и она имела время свыкнуться со своим горем; но прибытие пастора возвратило ее назад на несколько недель, а то и месяцев, и все вновь было так, как если бы ее муж умер именно в это мгновение. Надо бы нашим любимым умирать в присутствии всех тех, кого мы знаем, чтобы нам не пришлось всякий раз страдать заново при встрече с людьми, которые были с ними знакомы, но с которыми мы еще не виделись со дня смерти. «Мосье пастор, мосье пастор! О! Мосье пастор!» — «Бог ниспослал вам, мадам, тяжкое испытание...» Она несколько смешалась от этого педантичного, пустого голоса и, когда пастор склонился над ней, почувствовала, вероятно, запах мяты или пальмового сока, увидела его скрещенные руки с ухоженными, блестящими ногтями, ее смутило такое шикарное милосердие, которое было выражено слащавым, искусственным тоном, поблескивание очков, ногтей, безукоризненных зубов, начищенных ботинок и даже лба, усеянного неприметными капельками пота; пастор иногда распрямлялся, чтобы окинуть

присутствующих взглядом, благосклонность которого мгновенно видоизменялась, становясь взглядом человека, слегка обескураженного крутым подъемом, длившимся три четверти часа, под раскаленным солнцем, а также, конечно, ударившим ему в нос прогорклым запахом лака, который распространял разогретый солнцем, свежеотполированный гроб,— этот запах, как отметил доктор, странно совпадал с чудовищной вонью, сконцентрированной там, наверху, за дверями спальни».

«...Дочь Деспека (о котором он знал, что тот вот-вот скончается от цирроза, если не бросит пить) достала стаканы и перед тем, как поставить на стол, остервенело вытерла их; эта маленькая, подвижная, как муравей, чернявая женщина расхаживала по дому как по своему собственному. Пока муравьиха наливала в стаканы смесь из воды и холодного кофе, мосье Бартелеми продолжал расточать вдове метафорические утешения все тем же сладким, шепчущим голосом, словно бы рассказывая ей непристойности или стыдясь громко произносить при всех некоторые слова. Большинство людей всегда кажутся смущенными, когда им толкуют о царствии божием; им хватает и земных гнусностей, чтобы еще вдаваться в более или менее зыбкие рассуждения о воздаянии или возмездии, которые якобы их ожидают по ту сторону могилы. Вот, очевидно, почему божьи министры избегают распускать слюни в местах, специально для этого не предназначенных и где они рискуют, неся свой несусветный вздор, быть осмеянными, а то так даже и линчеванными».

«...Потом наступило довольно длительное молчание, сквозь которое постепенно, как глаз, привыкающий к темноте, ухо вновь начало улавливать концерт насекомых, несколько приглушенный занавеской от мух. Никто не двигался. Можно было об заклад побиться, что эти люди дожидаются чего-то или кого-то; во всяком случае, не было никакой видимой причины, чтобы сидеть вот так, не двигаясь и не разговаривая, пристально глядя в пол или в пространство. Несомненно, это был их способ в последний раз попрощаться с усопшим, вызвать в памяти воспоминания о нем, инстинктивно посвятив этому минуты молчания. Неподвижность и молчание были так впечатляющи, что сам мосье Бартелеми не осмеливался больше ни рукой шевельнуть, ни слова сказать, как будто присутствие мертвеца, сделавшееся столь ощутимым из-за этого необычайного молчания, моментально уничтожило духовный авторитет пастора. Он держал Библию в руках, скрещенных на уровне живота, но, как и все, смотрел в землю. Наконец Деспек медленно поднялся, и все поняли по его устрашающе вытянувшемуся лицу, что момент наступил. Поднялись один за другим и все остальные, а мосье Бартелеми, который, казалось, внезапно опять осознал свою значимость, положил обе руки на плечи вдове, как бы стремясь магнетически передать ей веру и высшую благодать, которые сосредоточены в его особе, вплоть до безукоризненности одежды, блеска очков, отутюженных складок на брюках и даже пота, как-то особенно деликатно оросившего его лоб. «Одно лишь страдание способно придать смысл нашей жизни, ибо даже счастью этого не дано...» Абель Рейлан и столяр из Сен-Жюльена, сопровождаемые Деспеком, вышли, доктор, сам не зная почему, тоже присоединился к ним. «Ваша помощь пригодится»,— сказал ему, поднимаясь по лестнице, гробовщик, которому перекинутая через плечо сумка с инструментами придавала обыденный вид слесаря, вызванного исправить водопровод; на самом пороге спальни доктора посетило некое прозрение. Он спросил себя, не заключено ли в трупе,

разлагающемся в фармацевтическом, влажном смраде, куда больше смысла, чем во всех тщетных умствованиях, которые вызваны отказом смириться с безжалостно очевидной, но нестерпимой реальностью. «Пройти по этому пути до конца»,— сказал он себе, но тотчас же все затмилось, и он осознал, до какой степени тщетны усилия разума, неизменно толкающие мысль в старую, избитую колею».

«...Гробовщик во что бы то ни стало хотел заделать трещину крышки — тут была затронута его профессиональная честь и еще боязнь «обидеть покойника». Ничего не поделаешь — чтобы дать возможность старику приняться за дело, пришлось приоткрыть ставни и хоть немного осветить комнату; но если от этого кое-что выиграли в отношении вони, которую слегка развеяло сквозняком, то зато обнаружились вещи, которые лучше бы было вовсе не видеть: несмотря на то что покойник был завернут в простыню, матрац и валик испещрили коричневые пятна, что стало заметно, вернее, угадывалось на свету (ведь кроме этого вообще ничего не было видно); и, глядя на запеленутое тело, «раздувшееся от важности», как все трупы, которым зловонное внутреннее сгорание придает на время царственную напыщенность, невозможно было унять дикий разгул воображения. Когда крышка была починена, на два стула, придвинутых к кровати, поставили гроб, чтобы, потянув за простыню, сразу перевалить в него труп. Требование гигиены. О переодевании, на котором настаивала вдова, и речи быть не могло — разложение, частично приостановленное формалином, зашло слишком далеко. Тело влажно шлепнулось в гроб. Именно в этот момент открылась дверь кухни и лестничная клетка огласилась шумными пререканиями: отчетливее всего выделялся голос пастора, неузнаваемо визгливый, почти по-женски высокий, явно противоречивший его профессиональному хладнокровию, священнической безупречности и очкам в золотой оправе, сверкание которых служило как бы символом его непогрешимости. «Мадам Рейлан, прошу вас! Нельзя этого делать, мадам Рейлан! Мадам Рейлан, это неразумно... вы мне обещали...» Видимо, чтобы помешать ей пройти, он раскинул руки крестом, преграждая вход в коридор и пытаясь урезонить ее испуганным кудахтаньем, выдававшим в этом вершителе Славы и Всемогущества Божьего слабонервное трепыхание старой девы, подверженной обморокам. Во всяком случае на вдову его кривлянье не подействовало, и она очень быстро справилась с распростертыми руками мосье Бартелеми (а у того во время этой стычки упали на пол очки); она во что бы то ни стало хотела присутствовать при положении во гроб, и ничто в мире не отклонило бы ее от этой навязчивой мысли. Это не проходит даром — когда живешь бок о бок с кем-то треть века; даже если и не все шло гладко, что-то да остается. Те, что находились наверху, не могли не понять происходящего и поторопились закрыть гроб; но, проникнув в комнату, вдова, черная и столь согбенная, как если бы в довершение тридцати лет каторжных работ эти горестные три дня и три ночи одним махом скрючили ее, потребовала поднять крышку и дать ей взглянуть в последний раз на того, кто так долго делил с ней невзгоды жизни. Само собой разумеется, этого происшествия и его последствий можно было бы избегнуть, если старый маньяк не задержал бы заколачивания гроба, желая замазать щель из боязни, что она произведет дурное впечатление на его возможных заказчиков. Семь или восемь человек, ожидавших на кухне, в свою очередь тоже поднялись вслед за мосье Бартелеми, а позади него, за порогом комнаты, белый как полотно и почти мертвый от страха, стоял молодой хромоножка. Наступило немое молчание, как недавно внизу; а снаружи — оглушительный концерт насекомых: миллионы обладателей надкрылий возвещали мрач-

ное жертвоприношение лету (на огромных пространствах, раскаленных, как высокое плато Эфиопии, меченосцы, клещевидные, пилообразные, челюстные — орудия истребления, беспощадные рыцари, способные сражаться насмерть во славу божества Минотавра). Мосье Бартелеми, несколько помятый в стычке на лестнице, уязвленный в своем престиже, казался внезапно постаревшим на несколько лет: он протирал очки, и всем были видны его уменьшившиеся близорукие глаза со сморщенными, слегка воспаленными веками. Лишенный эмблемы своего авторитета, он казался обнаженным, поблекшим, уязвимым: устрица без раковины. Наконец доктору удалось взять вдову за руку, уговаривая ее: «Полноте, хватит!» — и он распорядился, чтобы закрыли гроб. Но, едва старик взялся за винты, вдова склонилась к нему и сказала на ухо нечто, что его, видимо, потрясло,— он смотрел на нее совершенно обескураженно, а она опять зашептала ему в ухо; тогда он, покачав головой, ответил: «Ладно, попробую» — и стал откручивать винты один за другим; собравшиеся затаили дыхание и недоуменно переглядывались — никто не мог взять в толк, что происходит и уж не сошла ли вдова с ума. Нет, она всего лишь хотела спасти простыню, и старик подчинился на глазах у потрясенных зрителей: к счастью, предприятие облегчилось тем, что простыня почти целиком вытащилась кверху, когда тело перекладывали в гроб, старику только и понадобилось, приоткрыв крышку, потянуть за край простыни: вдова тотчас же выхватила ее у него из рук, как это делают при внезапном появлении гостя, когда грязное белье валяется на виду; скомкав простыню, она запихала ее под кровать. Мосье Бартелеми вынул носовой платок и незаметно прижал его к нижней части лица; да и другие сделали то же самое. С уверенностью можно утверждать, что только у самых стойких не было рвотных позывов. Доктор, находившийся возле окна, машинально смотрел на скат крыши, сверкавший под тяжелым послеполуденным солнцем серой сланцевой чешуей; ему вспомнились пустынные улочки всех маленьких поселений, зажатых между высокими горными склонами, где вот уже двадцать лет посещает он своих пациентов, ни разу не встретив среди них ни одного, обуреваемого тем, что доктор называл на своем жаргоне философа-любителя «стремлением к свободе» — то есть стойкой волей все отрицать, все подвергать сомнению и не искать этому отрицанию ни духовных, ни метафизических оправданий.

Глядя на этот пустой, раскаленный двор, доктор думал о жалких фермах, пустых и безмолвных, как сейчас вот эта, обо всех обветшалых домах, где жизнь плесневела, как и вода в цистернах, где скука царила одесную смерти, а ошую — бессмыслица, ирреальность, к которой он, как ни странно, старея, делался все чувствительней. Завораживающая, смутная ирреальность этих склонов, этих покинутых горных плато, этих доисторических скал, этих безжизненных ланд, которым разве что табуны казачьих лошадей да величавые зарева пожаров могли бы придать предначертанный им смысл. Трагическая ирреальность существования здешних мужчин и женщин, сообщников своей собственной смерти; он воссоздавал в воображении часы их рождения, тяжелого забытья, сексуальные отношения, возникавшие между существами, не умеющими побороть естество, а то и того хуже — во имя продолжения рода, старость и агонию в этих мрачных, огромных постелях, в глубине темных, сырых, словно погреб, комнат. Скандальная ирреальность современных религиозных обрядов, чаще всего сводящихся к едва внятному бормотанию и к неизбежному выражению законного гнева по отношению к большинству, преуспевающему в политическом ли, религиозном ли смысле (демографические исследования это подтверждают). Ирреальность

этой местности, непостижимой в своем трагизме и возмущающей мнимыми фольклорными, лирическими, народными качествами, которых здесь и в помине нет,— есть всего лишь тяжкая связь с землей; стоит взглянуть на гнетущие стены, продырявленные отверстиями, столь же узкими, сколь и глубокими, равнодушные к окружающей местности или же давящие на нее этой настороженной слепотой зданий, словно бы слепленных из африканской глины, испещренных дырами, похожими на ячейки гигантских насекомых, и сам собой напрашивается вывод, что жители здешних гор вряд ли свободнее духом или более способны разобраться в темных загадках мирозданья, чем вот эти извечные насекомые, которые, казалось, готовы сгореть дотла в неистовстве своего стрекотания. И те и другие подчинены одним и тем же жестоким законам, вращаются вокруг того же центра притяжения; иллюзия жестов, слов и одежды — церемонии вроде вот этой — никогда окончательно не скрывали от доктора беспощадного предначертания, таящегося за всем этим и управляющего большими насекомыми с трагическими лицами и одетыми в черное, как бы для полного слияния с господствующей в этих горах чернотой; искусственность, доведенная до предела, может еще сойти за истину на Елисейских полях в Париже, или среди небоскребов Нью-Йорка, или даже в тысячелетних католических соборах, несмотря на чудовищные надкрылья жесткокрылых служителей культа; но здесь, именно из-за того, что искусственности и бесцельности отпущено очень уж мало места самою «силой обстоятельств», причины коих легко перечислить: экономические, исторические, климатические,— слепые законы, предписанные вселенной, инертность, бесчувственность, непреодолимая фатальность давят здесь на жизнь людей куда тяжелее, прямее, чем где бы то ни было, и они командуют поведением людей, подавляя их тишиной, навязывая суровую аскетичность, ярко выраженную даже в этих высоких, словно катафалки, постелях, которые куда легче ассоциируются со смертными муками, чем с любовными ласками. Дыхание смерти ощущается повсюду, не только в такой вот бредовой мистической форме, жестоко замкнутой и подчеркнутой, а потому вполне контролируемой всеми установлениями земных цивилизаций, но и в иной, неясной и смутной форме, напоминающей некую зловредную эманацию, к которой обитатели дома уже потеряли чувствительность; давящая неловкость, которую доктору всегда внушали эти ледяные комнаты, эти мрачные, высеченные в скале кухни, где жизнь скорее истлевала, чем проживалась, эти слепые дворы, окруженные ветхими стенами, за пределом которых взгляд упирался в отвесные склоны, неотвратимые как судьба,— все это казалось ему порождением чего-то более глубокого и угрожающего, чем просто неудобства, нищета, одиночество.

Доктор был местным уроженцем — уезжал он отсюда, только когда учился и во время войны,— но еще совсем молодым он часто испытывал то же смутное ощущение, когда входил в эти примитивные, суровые жилища и соразмерял их ограниченное пространство с тем, что все-таки заставляет людей бороться с трагической неустроенностью своего существования, что поднимает их над животными, что делает их неким непревзойденным феноменом вселенной, противостоящим всем объективным законам. Ему казались непостижимой загадкой их мысли, намерения, их одержимость, он не мог устоять перед желанием, пусть и рискуя вызвать подозрения, задавать им порой вопросы, противопоказанные в среде, поглощенной чисто материальными заботами; получаемые ответы в большинстве случаев обнаруживали не столько безразличие этих существ к зыбкости человеческого существования (это можно бы еще объяснить их измучен-

ностью, непосильными конкретными тяготами), сколько некую пассивность, которую даже не назовешь смирением; но тут поражало наряду с пошлостью добровольное подчинение и с какой-то точки зрения почти упоение самыми что ни на есть ничтожными, и гнусными, и корыстными условностями маленького буржуазного западного мирка, близоруко-рационалистического, начисто лишенного каких-либо метафизических сомнений; но то, что может сбить с толку и обмануть в Париже или Бордо (где он проходил курс медицинского обучения), становилось откровенно чудовищным в среде этих трудяг, которым не хватало аксессуаров социальной респектабельности и тщеславия: буржуазные сынки не возились бы с костями своих предков, как это только что проделал с такой беззастенчивой непосредственностью Абель Рейлан; да и вдовы не заботились бы о сбережении испачканного савана; в семьях, где дважды два всегда точно четыре, перед лицом смерти скорее всего беззастенчиво возились бы с завещаниями (что в конечном-то счете одно и то же).

Здесь, разумеется, существовало и то, что не так уж бросалось в глаза: странные, необъяснимые самоубийства, чудаки, чье чудачество иногда заключалось в молчании на протяжении восьмидесяти лет; но как узнать, что таилось за этим молчанием? Возможно, ничего или же смешные, бессмысленные обиды; он пытался разуверить себя, будто эти мужчины и женщины скрывают в себе нечто, чего они и сами не подозревают...

Двадцать пять лет наблюдая за жизнью и смертью горцев, он отлично понимал, почему приходилось им, чтобы выжить, подражать самому что ни на есть отвратительному в прогрессе и отказываться ради этого от самого дивного в здешних традициях: отсюда он заключил, что между сутолокой больших городов и молчанием этих пустынных плато разница не столь уже велика, как можно было бы думать; здесь, как и в Нью-Йорке, животное в человеке тянуло его в ту же сторону. Фотография, снятая на рассвете в гигантском городе, обнаруживала ту же внутреннюю опустошенность, ту же слепую настороженность насекомого, как будто обезлюдевшую землю населяли повсюду одни лишь автоматы. А когда он присутствовал при электрификации этого края, ему приходила неблаговидная, даже постыдная мысль, которую можно бы сформулировать примерно так: «Ну, вот... и здесь тоже промашка...». Перед несправедливостью и нищетой подобное его размышление было совершенно недопустимым, но он-то больше всего ненавидел в потребительском обществе даже не столько порождаемую им несправедливость, сколько то, что оно поставило под сомнение, и, возможно, уже навсегда, все поступки и мысли, которые не направлены к самоуничтожению.

Но ведь не только люди...

Была эта страна каменных руин, высокие кельтские ланды, доисторические скалы и пропасти, где ухо невольно ловит вопли ланей в период течки; да еще резкий климат, весь из контрастов, и эти зияющие зимой черные расщелины, эта непереносимая жарища, как вот сейчас, и жалкое подобие индустриализации — городки с их единственной улицей, по обе стороны которой разваливающиеся дома с резными наличниками, загаженными ласточками, цепенели в мертвом молчании, неотрывно связываясь в его воспоминаниях с томительными днями первых школьных годов; даже когда на улице царило оживленное движение, зубчатые, покосившиеся каменные украшения этих домов хранили вневременное спокойствие, и его зачаровывала такая невозмутимость скольжения вечности над эпохами. Здесь повсюду — на фермах, в поселках — давил каменный гнет. С тем же правом, что и смерть, вечная скала проникала всюду, включая стены домов; она

прорезалась сквозь вспаханную землю, обрамляла очаг — тяжелая, монолитная, враждебная... Когда он был подростком, эта близость между людьми и первобытной природой, неизменной от дней творения, действовала на него удручающе: он постигал несовместимость человеческого разума и этого горького вторжения первозданной материи; такое противоречивое сопоставление хрупких, колеблющихся законов, руководящих одним, и незыблемой власти другой в конце концов возмутило его и привело в отчаяние, вопреки любви именно к этому заброшенному кусочку планеты, каким ему представлялся его родной горный край; он любил его, как сам над собой подшучивал, несчастливой любовью: странной любовью жертвы к тому, кто ее подавляет. Но с годами все это кристаллизовалось и затвердело вокруг одного наваждения: точно так же, как в юности, ему иногда мерещилось, будто он очнулся среди дня от сна, внезапно охваченный мыслью о смерти и теми недостойными видениями, которые она в нем вызывала, как если бы было в нем нечто, что делало факт смерти неприемлемым и абсолютно ирреальным; точно так он иногда ощущал и теперь головокружительную нереальность жизни и мироздания, тем более неприемлемых и неподвластных разуму, что их уже объяснила наука,— однако попробуйте растолковать все это дуракам! И он чувствовал себя как бы вовлеченным в приключение, которое лично его не касается и связь с которым у него совершенно случайна и ненадежна, и не было ни малейшей уверенности, что чередование событий — «все это» — не окажется чем-то иным, не тем, чем оно представлялось, и что есть в нем (и во всех людях, но) нечто незыблемое, чуждое и жизни, и миру, и смерти, и оно-то и было его несомненной сущностью, нечто противостоящее незыблемости мира, жизни, смерти — тому, что в человеке неумолимо подчинено слепым законам мирозданья: порче, усталости, бренности, одряхлению, отмиранию. Сколько раз он разглядывал в зеркале свое испещренное морщинами лицо и видел за этой маской, выдерживающей натиск времени вот уже скоро полвека, нечто не признающее разрушения, над чем ни время, ни все пережитое не имели ни малейшей власти. Вот что в нем сталкивалось с ирреальной реальностью мира: воля к духовной и умственной деятельности отчаянно боролась с его ирреальным и бренным телом, словно человек, запертый в горящем доме. Мечты, иллюзии? Неважно... Он готов поклясться, что зависимость человека, всех людей от реального вопроса «как жить?» в нем лично преломлялась иначе: «зачем жить?». Практикуй он в Париже, несомненно, перенял бы повадки своего окружения, ибо там мечта людей воплотилась в постройки и установления. Но здесь, перед этим каменным молчанием, где человеческие жилища только усугубляли неприязненность тишины, вовсе не противопоставляя ей жизненные удобства, словно бы эти люди в своем зачаточном существовании лишь слепо подчинялись толчку, полученному от предков сто тысяч лет тому назад, здесь драматическая ирреальность торжествовала, в чем он только что имел случай убедиться: все эти мужчины и женщины вдруг произвели на него впечатление разыгрывающих довольно-таки странное действо вокруг разложившегося трупа одного из своих ближних; вот нечто таинственное и развязалось в нем, привилегированном свидетеле,— для доктора поведение этих существ и форма их тел были не менее странны, чем абсурдный труп, вокруг которого они кружились.

Мечта или иллюзия — эта... «реальность разума», в ней тоже в конце концов есть нечто весьма неясное, весьма смущающее...

Он закурил сигарету: чересчур много выкурил он за вечер; тем хуже для сердца (когда он вспоминал о сердце — вот так, ни с того ни с сего, после того как столь долго и глубоко предавался течению величавых мыслей,— это неизменно вызывало в нем не страх, но удивление. Оно было той же природы, что и все остальное; когда тело его не блаженствует, не страдает, ум — то есть то, что приходит в голову,— предоставленный сам себе, своим собственным законам, очень быстро пускается вплавь, выпрыгивая из лодки бытия: не без удивления находит он ее вновь, с веслами и всей оснасткой). Даже еще и в коротких штанишках я был удивлен; удивлен миром, удивлен, что нахожусь в нем; единственное, что не удивляло меня тогда, это как раз способность моя к удивлению, как если бы лишь она одна и оказывалась неоспоримой, оправдывая меня должным образом. С тех пор, увы! Ничего уже не было проще, и эта способность удивляться, эта склонность все отрицать, все подвергать сомнению казались порою такими же странными, такими же ирреальными, как и то, что подвергалось сомнению; подвергнутая им в свою очередь, эта способность словно сама себя пожирала, перенося на себя самое свои же собственные отрицания, и все запутывалось, как в лабиринте, где всегда возвращаются туда, откуда пошли, или как в беличьем колесе, где белки изнемогают от изнурительного бега на месте.

Но с какой же легкостью то, что принято называть жизнью, оставляет за собой последнее слово... С какой легкостью все становится на свое обычное место и принимает свой непреложный, убедительный вид — как эти, похожие на гигантские гнезда термитов, доминирующие над городком скалы, на которые он смотрел при заходе солнца с террасы своей виллы. Совсем как его жена, накрывающая на стол к ужину: возможность жить на поверхности вещей — вот что сулили умиротворяющие жесты снующей в сумерках женщины.

Он отбросил сигарету в темноту сада, где благоухали сентябрьские розы; искорка проделала длинный полукруг и замерла в гравии; запах роз, эта искорка напомнили ему ушедшие весны и розы, исчезнувшие вместе с теми, кто упивался их ароматом, собирая в мокрой траве голубоватых светлячков. Дети умирают, став взрослыми, от детства, возможно, только и остается этот страстный вопрос: не может быть, чтобы и страдание и счастье ни к чему не вели!.. Есть в этом жестокая реальность, основанная на всем, что ее отрицает: время, старость, смерть. Положение непереносимое. Но, по-видимому, не существует непереносимых положений, к которым человеческая судьба не могла бы приспособиться. Жить на поверхности вещей... Но даже исконные жесты этой хозяйки, такие, как у любого очага при зажженной лампе, таили в себе нечто, делавшее ее похожей на плавающий в водах обломок кораблекрушения, и порождали душераздирающее воспоминание о счастье, куда более значимое, чем само счастье... Ибо на земле нет ничего невинного: к какому чудовищному затмению приводит в конце концов наш жизненный опыт, наша страшная, все заражающая память — не она ли виной всему?.. Все уже когда-либо хоть единожды совершалось: как жить на поверхности вещей, если жизнь принуждает нас ежесекундно отыскивать утерянную тайну.

Несомненно, отсюда его ярко выраженное пристрастие к казачьим лошадкам, интерес к нашествиям марсиан, катастрофическим эпохам, которые как по волшебству делают взрослых похожими на детей. Его лучшее воспоминание: зимние утра на немецкой ферме, где он в качестве военнопленного вывозил навоз. Военный ад — само собой разумеется. А ад мира? Никто об этом не заикается, лицемерные на-

ции! Ведь мир-то полон грозовыми разрядами, и ничто не спасает нас от сгорания на медленном огне. А вы разве не отменили искупительные страдания, уподобляясь басенному дураку, который рубит тот сук, на котором сидит? Гротескно.

— Гротескно?

Она замерла, перестав перемешивать салат, пикантный чесночный запах которого доносился до него,— весь юг пропитан этим вот запахом, чуть вульгарным, волнующим, слегка ироничным. Сколько реальности в ирреальном!

— Этот спектакль. Все это театральное действо вокруг трупа. Ты не можешь себе представить. В двадцати километрах отсюда. Как во сне.

Перед его глазами еще стоял жест женщины, комкающей грязную простыню и запихивающей ее под кровать. Беспощадное самоутверждение жизни перед лицом смерти... Этот жест отлично сочетался с актами насилия, которые со слепой, устрашающей последовательностью жизнь вершила на протяжении нескольких сотен миллионов лет, обеспечивая развитие рода, эту абсурдную земную безостановочность, чтобы неким сентябрьским днем прийти к стрекотанию насекомых снаружи и к жесту этой женщины в погребальной христианской комнате...

— Узость мышления простых людей,— можешь ли ты ее понять? — их способность к забвению, почти мгновенному... Несоответствие между этим покойником — для которого земная сфера взорвалась, как того желал Шекспир,— и... той простыней, которую из-под него вырывали... это отрицание самоценности жизни куда сильнее ее утверждения, ведь то, что она пресеклась, почти не имеет значения для этих людей, может быть, и для меня... а жест этот был куда более разрушителен, чем разложение несчастного мертвеца... Я-то знаю лучше, чем кто-либо! Мертвец — ничто, но кто еще может похвастать столь чистой в своей отвлеченности объективностью? Жест этой женщины означал полное примирение со смертью мужа, а она любила его!

Такое же точно впечатление создавалось у него, когда хотели или ожидали рождение второго ребенка в одном из множества этих семейств, где он слышал, как отец или мать говорили про первенца: «Никогда не знаешь, что может случиться», словно бы собираются машину заменить. Не одна только деревенская примитивность подобных рассуждений возмущала его. У него создавалось впечатление, словно бы его самого в чем-то грубо одурачивали или оскорбляли.

Одурачивали прежде всего... Так иногда, в период своего религиозного «возмужания» (он был рожден католиком), просыпался он внезапно, столь же резко потрясенный какой-то мыслью, как если бы кто-то разбудил его, потормошив за плечо; один-единственный труп азиатского младенца (или негритянского, или неолитического) полностью уничтожал для него вероятность божественного сотворения мира, где человек занимал привилегированное место, где каждый волосок на его голове был учтен... Нет, вовсе не о волосах шла речь в мировой истории, но о миллиардах трупов промежуточных существ, которым ни случай, ни провидение не дозволили приобщиться к сознанию, которые не имели времени стать людьми и тем не менее были людьми... Есть тут от чего испытать возмущение чудовищностью обмана со стороны бога, который, если он существует,— довольно скверный шутник; а творение его, по словам Ницше, не что иное, как «сонмище горестей и алогизмов, снижающее общую ценность существования».

Только случай, нелепый случай может быть ответствен за малую ценность человеческого сознания и существования, которые и в глазах самих-то людей уже мало чего стоят...

Сегодня его всего больше потрясло ощущение ирреальности, которое он и сам не мог себе объяснить, как если бы прибыл с иной планеты, где все происходит по-иному, о чем у него сохранилось лишь смутное воспоминание.

— Меня потрясла естественность, с которой эти люди хоронят одного из себе подобных... Все было просто-таки непристойно: полное бесчувствие. И этот принаряженный дровосек... у меня было ощущение какого-то огромного недоразумения... Какой-то бессмысленный фарс: я заговорил, сам того не желая, о театральном действе. Если б один из них принялся... делать нечто совсем уж абсурдное — помочился бы в гроб, оторвал бы ухо соседу, чтобы съесть его,— вряд ли бы я был более поражен...

Он так и видел этого принаряженного лесоруба, который собирал в кучку кости своих предков на дне вырытой им могилы («в компании ему будет веселее»), гроб, безумно катящийся среди папоротников (самому Бюнюелю лучше бы не придумать), символические очки пастора, начищенного до кончиков ногтей (и звался-то он — мосье Бартелеми), его отчужденный, дрожащий голос, которому аккомпанировало стрекотание насекомых: «Смерть, где жало твое? Ад, где твоя победа?» — и слова эти, улетающие в раскаленное пространство, наполненное торжественными запахами; но вот могила засыпана, и Абель Рейлан отрывает от крыши старой пристройки плиту шифера, отверткой выцарапывает на ней инициалы усопшего, даты его рождения и смерти и вколачивает ее ударом каблука в изголовье могилы — мистическое удостоверение личности, предоставленное равнодушию крапивы, солнца, дождя...

— Я задал себе вопрос, каково наше место во всем этом: смерть, жизнь,— я упал с луны; за несколько часов я, должно быть, все позабыл; словно видел вещи впервые: ни трагические, ни комические — непостижимые.

Не впервые с ним такое случалось, иногда он в шутку вызывал у себя подобное ощущение, пробуя, например, отыскать за пределами памяти и благоприобретенных привычек нечто простое, но неразличимое (как все великие изгнанники, одержимые поисками утерянных ощущений). Но в данном случае все произошло помимо него и с неистовством откровения.

— Там — в комнате покойного — я испытал словно бы головокружение, несколько рассеившееся, когда я высунулся из окна и машинально взглянул на крыши, которые под солнцем выглядели свинцовыми... а до этого произошла история с простыней... Потом нечто вроде провала в моем сознании, знаешь, как бывает от перенапряжения, бессонницы или еще там чего-нибудь...

Теперь его больше всего смущало, что это ощущение ирреальности, это головокружение относилось по существу не меньше к ему подобным, чем к трупу, изуродованному воронами, и что не столько к смерти почувствовал он себя непричастным, сколько к жизни, земной жизни, являющей собою сцепление случайных обстоятельств, то и дело возникающих из-за ее закоснелой грубости: осознание собственного существования, подавляющие и неопровержимые доказательства, которые оно ему предъявляло, которые он сам себе предъявлял, которых могло бы и не возникнуть, но которые возникали — и бесповоротно.

— Почему ты так глядишь на меня?

Расставив локти, зажав над тарелкой двумя вилками листья салата, жена смотрела на него насмешливо и обеспокоенно, как смотрит опытная сорокапятилетняя женщина, для которой лицо собеседника является, как и ее для него, неким неумолимым зеркалом; но на этот раз не слишком ли пристально он в нее всматривается — тем пугающим взглядом, который словно бы проникает за вашим лицом во что-то другое, как если бы он прозревал, что она больна раком.

Он опустил глаза, медленно развернул салфетку и наконец улыбнулся:

— Я думал о нашем последнем предвоенном отпуске. Октябрь в Венеции, туманные утра на лагуне, последние туристы, разумеется англичане; я достиг возраста, когда начинают нуждаться в условностях. Десять лет прошло, и потом война... Как ты думаешь, там еще существуют эти прелестные, вышедшие из моды оркестрики?

Венеция... Он подумал о ней, как недавно о своем сердце: сперва заинтересованно, потом как об очередной ерунде. Италия — словно бы нежное вторжение в его ум удивительной констатации, что он живет на свете и радуется этому.

Через две недели они выехали в Венецию: там было много американцев и мало туманов. От самого Лидо они различили вдалеке Венецию; доктор разглядывал в бинокль морских птиц.

Вернувшись, он узнал, что младший Рейлан поступил в услужение к пастору в качестве секретаря или чего-то в этом роде.



## XIII

Первое время каждую субботу Жозеф ездил к матери повидаться: садился в одиннадцатичасовой автобус, потом три четверти часа шел в гору пешком и успевал как раз к завтраку.

Эти несколько часов в неделю, проведенные им с матерью, были единственным утешением в ее отныне опустошенной, одинокой жизни: она — вдова, он — во Флораке, Абель, все еще холостяк, вечно отсутствует: осенняя рубка леса не давала ему роздыха, в лесу с утра до вечера, если только не заночевывал там, в одном из лесных бараков...

В дождь ли в ветер ли мать неизменно спускалась вниз по тропинке, поджидала прибытия горного автобуса, прислушиваясь к дорожным шумам, и рев потока то и дело сбивал ее с толку, всеми фибрами своего существа тянулась она к автобусу, лишь только показывался он из-за поворота, находившегося за двести — триста метров от остановки; слабосильный мотор едва тащил на малой скорости эту тарахтелку, которая, казалось, и с места не двигалась, но и затормозить не решалась (остановка была необязательной); мать тревожно всматривалась в окна, пока не замечала своего отпрыска; тогда, словно бы потеряв ко всему интерес, она резко отворачивалась, прижимала руки к груди, скрещивала концы шали и в одиночестве начинала подниматься по тропинке, отчасти во имя приличия, отчасти по не вполне осознаваемой ею злопамятности, которую она позволяла себе роскошь проявить, удостоверившись в несомненности прибытия сына,— как будто он должен был искупить все то, чего ей стоило его отсутствие. Но, играя для себя, а также и для него эту маленькую комедию встречи, мать ощущала, как в результате игры ее охватывал холод некой досады или усталости: с момента его отъезда она не жила, а лишь дожидалась этой минуты, отсчитывая дни, чтобы не сказать часы, которые ее отделяли от встречи, а когда наступала минута встречи, радость от его присутствия почти тотчас

переходила в несказанное разочарование, в странную невозможность насладиться его присутствием, как если бы к мукам недельного ожидания сразу же прибавлялось еще и непоправимое отчаяние из-за неизбежности отъезда. Можно бы было сказать, что ей уже не хватало жизненной силы, чтобы питать хоть какую-нибудь иллюзию.

Поднявшись наверх, она наклонялась, вытаскивая из-под камня ключ,— он казался тем более огромным, что украсть в этой комнате было нечего; а сын ее вспоминал надежный маленький ключик, который господин пастор носил на весьма красноречивой цепочке. «Могла бы и в двери его оставлять»,— брюзгливо сказал он однажды матери, открывая дверь в дом навстречу запахам, ставшим для него после недели, проведенной в изысканной атмосфере, неприятными, почти непереносимыми... животным запахам людей, живущих рядом с животными или даже, почему бы и не сказать, как животные,— он подумал о брате. Эти горские кухни пахнут стойлом, какая бы ни царила в них чистота... одежда пропитана буковым дымом, все провоняло дичиной и навозной жижей; теперь, когда к его услугам была ванная комната, он разглядывал свою мать с некоторой тревогой, спрашивая себя, как она моется.

— Садись же, садись... давай сюда твой мешок...

Она суетилась, надеясь обрести прежнюю радость в заботах о нем, напоминающих о длительном их сообщничестве; накрывала на стол, угощала его до пресыщения; хоть его тарелка и была переполнена, со всей обнаженностью в ней непристойно проглядывала нужда, подобная слою желтого жира, покрывавшего без различия все кушанья; налицо были все ее глупые предрассудки: плачевная щедрость, раздражающая, душераздирающая наивность... Он отлично знал, что она из кожи вон лезет ради этой единственной за неделю трапезы, что она ее задолго комбинирует: у него было впечатление, будто он поглощает частичку ее самой, не только потому, что она продолжала лишать себя ради него всего, тратя, возможно, даже и все свои сбережения, но также из-за бросающегося в глаза несоответствия того, что́ она, как он догадывался, наивно вкладывала в изобилие этой пищи с ее сдержанностью и скаредностью старой крестьянки.

— Но послушай, не могу же я все это съесть!

Она делала жест, как бы говоривший: «Люди, подобные тебе, не обязаны доедать все, что лежит у них в тарелке». Застыв у очага, с которым за тридцать лет общей жизни она, казалось, приобрела какое-то сходство, во всяком случае тут ее энергия еще могла проявляться, смотрела она, как сын ест, слушала рассказы о новой его жизни, мало-помалу помимо воли заинтересовываясь, вопреки своей досаде и внутренней отчужденности; после недельного затворничества она жадно впитывала его слова, хоть ее и продолжали раздирать противоречивые чувства: безусловная преданность ему с одной стороны, а с другой — подспудное отвращение ко всем этим интеллектуальным странностям, столь же тщетным, как и раздражающим и, главное, скандально отвлекающим от стремления к богатству, которое тем не менее было, как ей казалось, непосредственно с ними связано... Для ее муравьиной головы эта неразрешимая загадка представлялась чудовищной. Хоть и захваченный своим разглагольствованием, он вдруг озадаченно останавливался с набитым ртом:

— А ты почему не ешь?

— Я уже поела, поела... Продолжай...

У нее хватит времени на еду, когда он уедет.

Иногда в непогоду он оставался ночевать и спускался во Флорак только на следующее утро, поспевая за полчаса до начала службы: среди прочих его обязанностей он должен был также звонить по во-

скресеньям к обедне и подметать храм; но матери он рассказывал главным образом о работе по разбору корреспонденции и рукописей, к которой готовил его пастор, мосье Бартелеми, образованный и влюбленный в историю — в узком смысле этого слова,— посвящал свой досуг изучению местных знаменитостей, прославивших себя боевыми подвигами и влиянием в эпоху религиозных войн; время от времени он публиковал на эту тему монографии, которые обеспечивали ему уважение эрудитов и выход которых в свет он любил отметить небольшим приемом, собиравшим лучшее общество департамента.

В настоящее время он работал над более значительным трудом «Мистерии в Севеннах», ожидавшимся с большим интересом в этих кругах, которые были весьма чувствительны к оживлению героического прошлого и в которых авторитет пастора, используемых им источников, так же как и ясность его позиции, превозносились множество раз. Альтруизм придавал законченность его репутации, в особенности после того, как он вновь продемонстрировал свое человеколюбие, приютив у себя юного калеку, чья семья претерпела несчастья, не жалея ни времени, ни трудов на его воспитание. Для самого пастора и речи быть не могло о том, что его подопечный посмеет когда-либо претендовать на роль, не доступную его слабым возможностям, зато он надеялся, расширяя и укрепляя его познания, сделать из него отменного секретаря; впоследствии всегда можно будет пристроить его в какую-нибудь протестантскую книжную лавку. О чем еще может мечтать молодой горец, ничего не имеющий за душой?

Осень вступила в свою триумфальную пору. Преображение лесов начиналось всегда сверху, где фейерверк пламенеющих красок, рассыпавшись искрами среди зелени, освещал склоны, кладя начало сгоранию краткосрочного лесного свечения.

Спокойные, не внушающие тревог дни, умиротворенные, точно созревшие плоды; чистое, без морщинки, небо; дым, поднимающийся над еще густолиственными лесами, где сливались воедино удары топоров и мягкий шелест падающих деревьев; травы и заросли крапивы трещали вдоль стен, как костры из виноградных лоз; укрывшиеся в них насекомые старались извлечь побольше пользы из того, что осталось от лета, которое, отступая, разбросало пылающие вехи, неугасимые до самых осенних дождей.

Стены с северной стороны, покрытые сыростью от укусов холода, налетавшего издалека и застаивавшегося в тени, дымились на солнце, искрясь всеми гранями своих слюдяных вкраплений. Дворы ферм, загроможденные всяческими сельскохозяйственными орудиями, развешанными по стенам или ржавеющими в закоулках, разломанные тележки, наполовину увязшие в навозе, древесные стволы, подготовленные к распилке,— все сверкало в умытом утренним свете, который любому предмету придавал особую волшебную вещность, бесхитростную четкость и в котором домашние птицы и животные, покорные общему настроению, блаженно бродили среди смачной хозяйственной неразберихи. Пора Изобилия, подготовляющая кто его знает к чему: возможно, к медленному, незаметному вытравливанию красочности — к приходу средневековой зимы, той же, что на фламандских равнинах или же кельтских ландах, как к конечной победе долготерпения, возрастной умеренности над весенним безумием и разорительной летней страстью.

Первые туманы заполняли долины, поднимались все выше и выше, навстречу все более красным закатам. Теперь и в садах долин опадали листья с деревьев, похожих на благородно бледнеющих, эле-

гантных аристократов; в летних резиденциях запирались ограды, закрывались ставни, отчего на них был патетический отпечаток жилищ, погруженных в траур; горестную растерянность вызывало зрелище агонизирующих парков: увядающие розы, аллеи, устланные золотом листьев,— все это наводило на мысль о недавнем исчезновении юного, прекрасного существа, которое умерло насильственной смертью, комкая руками простыни, в спазме, чудовищно похожей на судорогу сладострастия. В одном из уголков парка продрогшая экзотическая хурма с уже опавшей листвой упрямо выставляла напоказ свои рыжие плоды, и хотя большинство плодов испортилось, они все же производили феерическое впечатление среди всеобщего опустошения.

Каждое утро, еще до визитов к больным, доктор отводил какое-то время физическим упражнениям; раскрасневшийся, с каплей под носом и окоченевшими руками, он прочищал граблями гравий в своем саду и сжигал сухие листья: солнце еще не рассеяло туман, и дым улетучивался, почти невидимый в блеклом, холодном небе. Валявшаяся за скамьей пустая лейка придавала саду атмосферу некоей свойственной священническим угодьям меланхолии — меланхолии конца века, напоминая доктору сад коллежа Сен Станислас, где он в 1908 году был пансионером. Вот, рассуждал он сам с собой, как и чем кончается неистовство лета — неистовство жизни: этим обескровленным обнажением, колыбелью зябкого сознания — английского, захотелось ему уточнить, склонного к утонченному эгоцентризму и целомудрию, пока оно не затмится театральностью, причем пьеса может порой оказаться весьма сомнительного вкуса.

## *XIV*

Абель Рейлан почти закончил рубку деревьев: приближался декабрь. Скоро лес станет пустынным и гулким, как бальные залы, когда в них снимают все украшения, перед тем как запереть на зиму.

Подгоняемый непогодой, он старался вовремя закончить работу и все чаще и чаще проводил ночи на лесосеке, в одном из деревянных бараков, покидаемых лесорубами с первым снегом. Когда едва начинало светать и грязный квадратик маленького оконца чуть белел в темноте, он сбрасывал одеяла, вставал со скрипящей койки, разжигал огонь в старой, помятой чугунной печурке, на которой разогревал суп, приготовленный ему матерью на несколько дней, открывал дверь и, скручивая цигарку, вдыхал бодрящий, холодный, предрассветный воздух. В полумраке просеки аккуратно сложенные стволы буков с обрубленными ветками выглядели вполне надежно и противостояли всегда несколько тревожной тайне лесной тишины; в этот час еще не было ни малейшего ветерка. Усевшись на деревянную приступку порога, скрючившись, он, громко чавкая, маленькими глотками хлебал горячий суп; охотничью каскетку он нахлобучивал до самых ушей, длинный шерстяной шарф обматывал вокруг шеи; каждый раз его поражало, с какой быстротой обесцвеченный мир освещался, тьму рассеивал свет, наступая с постепенностью, которую никогда невозможно было предугадать; первый порыв ветра, относивший в сторону дым печурки, обычно являлся предвестником солнца; Абель брал топор, шел к лесосеке, и, лишь только красный, замороженный, горизонтальный свет зажигал горные вершины, он, медленно разогревая мускулы, еще не отошедшие от сна и ночного холода, вонзал топор в основание дерева, разбрызгивая его заболонь, которая рассыпалась звездами от каждого удара стали. Так, без передышки, почти без напряжения, неуязвимый для усталости, работал он до

полудня, опьяняясь непрестанным движением своих рук, которые, казалось, заимствовали ритм от его кровообращения,— он не осознавал ни течения времени, ни наступившего часа, слепой к окружающему, как бы отрешенный от него чередованием глубоких ударов, которые расшатывали остов дерева и колебали почву у него под ногами. К тому времени, когда солнце достигало зенита, он начинал ощущать, что его опустошенный желудок, как животное, существующее само по себе, требует пищи; регулярные взмахи топора придавали его рукам неистовую ярость, которая овладевала им мощнее голода. Наконец он распрямлялся, вытирал пот, струившийся по лицу, подставлял спину солнцу, впервые за весь день прислушиваясь к шуму, доносящемуся от других, затерянных в чаще лесосек, которые в этот час повсюду начинали затихать; теперь то тут, то там над деревьями поднимались голубые дымки, распластываясь неясным, совершенно недвижным туманным маревом. Еще раздавались удары топора какого-нибудь упрямца, но в лесном массиве эхо обманчиво и направление его трудно определимо; где-то трещала «Омелита» [1], подобно мотоциклу, берущему высоту на большой скорости; все еще падали деревья со звуком рвущейся ткани, сопровождаемым глухим ударом; наконец на лес опустилось молчание, спокойствие, похожее на странное перемирие среди битвы; голоса, иногда пение придавали этому покою оттенок счастливой беспечности, атмосферу племен, сложивших оружие, чтобы заняться хозяйством в предвидении больших холодов. Усевшись на кучу сухой щепы среди опавших листьев, которые пахли грибами, Абель прислонялся к скале, испускавшей почти человеческое тепло, и наслаждался солнцем, переваривая суп, куда он накрошил хлеба; так он дремал, пока лес вновь не оживлялся; иногда он наблюдал за неподвижной, как и он, ящерицей, прижавшейся к той же скале,— отогревая в последних солнечных лучах свое замерзшее тельце, она прилепилась к камню, едва отличимая от него, безмятежная, как и Абель, безразличная ко всему, кроме инстинкта самосохранения. Мелькала тень; человек поднимал голову, глядел на проплывающее по небу облако, и — будто это промелькнувшее облако вдохновляло его на нечто подспудно связанное с усилиями и движением,— он вновь принимался за работу и работал до темноты.

Наступление ночи любил он, пожалуй, больше всего; сложив штабелями бревна, подготовив их к перевозке (теперь уже лошадью, которую подарил ему будущий тесть: выигрыш во времени, меньшая затрата бесполезных усилий, не надо тащить на себе санки, удерживая одновременно то и дело скатывающийся груз), он убирал свои инструменты, разжигал печку — ночи становились ледяными; невзирая на усталость, он мастерил что-нибудь, кое-как чинил, приспосабливал, испытывая при этом, как и на рассвете, то же чувство душевной заполненности и защищенности, которое стало ему привычным еще шесть или семь лет тому назад, когда обстоятельства вынудили его скрываться и жить в полном одиночестве там, наверху, в заброшенной овчарне, где он делал, что хотел, и где никто не нарушал его привычек, не противоречил желаниям. Здесь было то же самое: свободный, счастливый, как король; никаких споров, никаких никому не надо давать отчетов — плюй, рыгай, сколько влезет,— славно, да и только. Перед самым наступлением ночи, взяв старый дробовик своего отца (он таскал его за собою повсюду), Абель шел побродить по лесу, надеясь подстрелить дрозда или какую другую птицу, угнездившуюся на ночлег: из дробовика можно было попасть лишь в близкую и неподвижную цель. Эта прогулка в глубоких сумерках обо-

[1] Пила с мотором, работающим на бензине *(прим. перев.)*.

стряла его охотничий инстинкт; дойдя до опушки леса, он прятался за куст дрока, садился на корточки у самого края едва различимо сереющей ланды и зорко всматривался в пространство, где вырисовывалась чернильно-черная сетка ветвей высоких деревьев, на которой не менее четким силуэтом будет маячить его добыча; в темно-синем, чистом, закатном небе сквозь деревья начинали мерцать точечки звезд. Постепенно он до того проникался ночной тишиной, что даже шум потока воспринимал как единое целое с ней. Лишь изредка врывалось пыхтенье мотора и сразу же глохло, как только машина попадала в петлю виража. Еще менее различимо доносился издалека собачий лай — видно, какой-нибудь фермер возвращался с охоты в свой затерянный среди горных склонов дом... Лай, который холод и темнота, казалось, еще отдаляли, прибавлял к этому платоническому ожиданию совершенно условной дичи какую-то сладкую таинственность, возникавшую из глубин детства. Вопреки шедшему от земли холоду он ощущал странное, приятное смятение, природу которого он совершенно не способен был понять и, однако, постоянно его испытывал, когда прислушивался вот так — в ночи — к собачьему лаю.

Возвращался он почти всегда с пустыми руками, зажигал свечу и, усевшись в тепле возле печурки, съедал кусок хлеба с сыром; поза, которую придавала ему усталость — локти уперты в колени, голова втянута в плечи,— могла показаться задумчивой. Прислушиваясь к ночному дыханию леса и вздохам огня, он выкуривал последнюю самокрутку, потом заворачивался в одеяло и мгновенно засыпал — столь крепким сном, что его можно назвать бы мертвым.

Иногда среди ночи поднимался порывистый ветер, сотрясавший легкие стены барака и ветви распростершегося над ним бука; скрежет веток по шиферу будил Абеля, он вставал и выходил взглянуть, что творится снаружи; помимо воли его захватывал этот мощный шум, придававший ночи величие океанской необозримости; едва он открывал дверь, в лицо ему ударяла, словно брызги в люк корабля, пронизывающая сырость леса, которую этот смоляной ветер вздымал в преддверии дождя.

В такие ночи небо бороздили бесчисленные тучи; они шли с юга и брали приступом горы, в их разрывах показывалась луна, она словно шла впереди этой молчаливой кавалькады, перескакивая из одного разрыва в другой посреди неба, черного, как воды ночного озера. Этот вздымавшийся морской прилив предвещал горному району дождь на многие дни, а то и недели, приближая зиму куда вернее, чем сухой холод, который зачастую сулил хорошую погоду до самого конца года.

Абелю не претила работа среди мокрой листвы и туманов, окутывавших все окрест, так что видимость ограничивалась всего какими-нибудь метрами. Эти дожди не походили на весенние ливни или на те, которые проливаются в начале осени,— тогда выходят из берегов потоки, размывают склоны, разрушают дороги, исхлестывают стены, барабанят в окна и так затопляют окрестность, что и самые упорные принуждены укрываться у своих очагов; теперь же лес медленно набухает, пронизанный моросью, не более плотной, чем туман; Абелю даже приятно было ее вдыхать, когда от каждого удара его топора дерево над его головой обрушивало со своих веток волнистые струи. Дождливыми вечерами, когда темнота наступает раньше, Абель спускался в Маё, чтобы пополнить запас провианта на целую неделю вперед; несмотря на относительный комфорт, который ждал его дома, эти возвращения к тому, что в его представлении являлось цивилизованной жизнью, отнюдь не доставляли ему удовольствия;

и, невзирая на уговоры матери, он спозаранку отправлялся обратно в лес, запасшись хлебом, сыром, свежесваренным супом и шипучим вином; даже одной ночи, проведенной в нормальном доме, было достаточно, чтобы он остро почувствовал, как не хватает ему свежего воздуха, который он жадно вдыхал, пустившись в обратный путь.

— Право же, он неплохой парень,— говорила о нем его мать, встречая знакомых по дороге на остановку, где она поджидала Жозефа; все интересовались судьбой вдовы и, зная, что ее младший сын во Флораке, всегда распрашивали о старшем; а она добавляла: — Он очень похож на своего беднягу отца. Никогда не знаешь, о чем он думает, доволен ли он и вообще как... с малолетства такой, всегда в лесу, как настоящий дикарь... Представьте себе, он ведь и из школы много раз удирал, но отец никогда не знал об этом — у него и без того забот хватало. Абель был таким силачом, таким грубияном, что учительница его побаивалась; да и другие тоже его боялись, а ведь он и мухи никогда не обидел. Но интересовали-то его одни только вылазки в лес, и с годами он не изменился. Когда приходит или уходит, не услышишь от него ни «здравствуй», ни «прощай» и за столом ни слова. Вот я и не знаю, есть ли у меня второй сын. Ему только нужен лес, ничего другого будто и не существует. Ему необходимо работать, вот и работает без устали, непрерывно в движении; дай ему волю, он во всей округе деревья посшибает.

— А как с женитьбой?

— А! Его женитьба... Лучше и говорить об этом не будем... Я-то знаю одну, которой долго придется ждать... Если бы он хоть в бога верил, как его бедный отец — тот за все тридцать лет нашей совместной жизни ни разу не сел за стол, не помолившись. Тут и гадать нечего; я уверена, что он и умирать-то забрался туда, наверх, чтоб очутиться поближе к богу.

Воистину христианская кончина...

Однажды, открыв глаза, Абель с изумлением обнаружил, что день давно уже занялся и, если судить по интенсивности света, проникавшего в барак сквозь оконце, час был далеко не ранний: непереносимое сверкание, в котором что-то белое неуловимо порхало перед глазами. Он обалдело лежал на койке, отяжелев от блаженства еще не соскочившего с него сна и какой-то сверхмерной тишины, которую не хотелось нарушать. Дыхание его клубилось больше обычного в цепком, лютом холоде; можно было подумать, что одеяло сверху заледенело и торчит колом, точно сырая одежда, застигнутая ночным морозом. Наконец, вдосталь понежившись в тепле, скопившемся под одеялом, он решился встать: немало пришлось ему потрудиться, прежде чем удалось приоткрыть дверь, которую удерживал снаружи какой-то валик, мягко поскрипывавший, словно льняные очески; небо было в тучах, но от сверкающей белизны, застилавшей землю, Абель невольно сощурился; потрясенный увиденным, он вдыхал холодный, искрящийся воздух, будораживший кровь и обжигавший лицо; он совсем позабыл, что надо закрыть дверь и надеть канадку; в лесах, на горах — повсюду раскинулась белизна, без оттенков и теней, на фоне которой каждое дерево выглядело сверхъестественным чудом, особенно черные ели — совсем как из рождественской сказки; под тяжестью снежных подушек их пирамидальные ветви сгибались одни под другими, и воображение невольно их украшало свечами и разноцветными игрушками.

Наконец он закрыл дверь, растопил последний раз в этом сезоне печурку, позавтракал, выкурил сигарету, чувствуя себя бездельником,— час поздний, а перемена погоды вынудила его немедленно прервать рубку леса, сняться с места и вернуться домой. Сворачивая

одеяла и собирая инструменты, он нет-нет да приостанавливался, бросал взгляд сквозь заиндевевшее окно или сквозь дверь, приоткрыв ее, будто все еще не мог понять, что означает для него перемена погоды, и будто, чтобы уяснить себе это, надо еще и еще раз выглянуть наружу. Перед уходом он внес в барак несколько охапок хвороста — на тот случай (весьма маловероятный), если ему придется заночевать здесь зимой. Да и барак с хворостом возле печки не кажется таким заброшенным...

## XV

После первого же снега Жозеф стал навещать мать все реже. У него не хватало мужества карабкаться каждую субботу туда, наверх, и погружаться после часовой ходьбы на ветру и барахтанья в грязи да сугробах в атмосферу нищеты с ее неизменными запахами супа и стирки, беспросветной скудостью, а главное — с заскорузлым мышлением, от которого трудно избавиться даже вырвавшимся из этой среды, словно их все еще разбирает тоска по родной грязи!

Стремясь компенсировать свое отсутствие, он довольно часто писал матери — ссылался в письмах на путаницу в расписании автобусов из-за плохого состояния дорог, на холод, грязь и сугробы, на то, что зимой больная нога утратила гибкость, наконец, на недосуг и усталость, которые могут самым плачевным образом сказаться на его продвижении по службе; этот неотразимый аргумент перекрывал все другие, менее уважительные мотивы, а для него самого не только зимние затруднения обращали семейные обязанности в непосильное ярмо. Неудобства, дорожная грязь, запахи, скудость, ледяная спальня — все это куда ни шло; он бы к этому приспособился из какой-то горькой и безнадежной преданности, той самой, что заставляла его — правда издали — растроганно думать о матери. Но вот косность ее мышления начала всерьез раздражать: довольно скоро он полностью исчерпал детское тщеславное опьянение, которое испытывал, удивляя мать своими рассказами, пуская ей пыль в глаза, хотя она — что его коробило — способна была проявить уважение лишь к результатам, втайне презирая способы, какими они достигаются, тем более что конечный смысл совсем ускользал от понимания бедной женщины; он пытался с болезненным смакованием представить себе, как ей видится его работа у пастора. Взяв за правило хитро подчеркивать возвышенную сторону своей деятельности, он тем не менее был убежден, что в глубине души мать считает, будто он там заколачивает ящики и пилит дрова, предоставляя Высшим Силам возможность парить над своей головой, высказывая по отношению к ним насмешливое безразличие машиниста сцены перед актерским кривляньем.

Тут крылось коренное несоответствие между тем, чего мать хотела бы для него, чего хотела всю жизнь для себя самой, чего он сам, как ей думалось, хотел, и тем, что существовало в действительности, а для него — тревожное познавание мира, все возрастающая растерянность перед его зыбкостью и противоречивостью за очень короткое время сделали совершенно непереносимым долгое общение с ней — в особенности там, наверху, дома, в ее логовище, где она с поистине неприличной бездумностью, по праву человека, его воспитавшего, выставляла напоказ свой образ жизни и мыслей, который, находись она в иной среде, возможно, и ей представился бы нелепым и который она по инстинктивной осторожности постаралась бы скрыть. Теперь, когда он жил в зажиточной буржуазной среде, где понятия не имеют о нищенских условиях жизни, не понимают их злополучия

и где, как он уже уяснил себе, несмотря на религиозность, а может быть, и благодаря ей, смотрят на бедняков с неким презрением, всякий раз, как он попадал домой, нищета представала перед ним со все возрастающей жестокостью: чересчур уж резок был переход из мира абстракций в мир самой низменной тирании бытовых мелочей. Он еще не так долго прожил в достатке, не так глубоко в него погрузился и не обрел еще нужной свободы и независимости мышления, чтобы обнаружить в богатстве куда более мелочную и мерзкую пошлость, чем в бедности.

Пока же он больше всего боялся сохранить на всю жизнь неизгладимую печать своего жалкого происхождения — навсегда остаться тем бедняком, которому некогда подали милостыню и от которого будет вечно разить нищетой, в ком не сегодня, так завтра непременно скажется нищий, что принимает совсем уж омерзительные черты при материальной удаче: бывшие крестьяне, преуспевшие в торговле или сумевшие извлечь выгоду из войны, всегда оставляют впечатление, что пройдет не менее двух-трех поколений, прежде чем исчезнет у них желание к моменту, когда на стол подают сыр, перевернуть тарелку (будь она хоть из лиможского фарфора), как делывали их предки,— он весь содрогался при мысли, что может сам так поступить.

Мать тоже боялась, как бы катастрофическое состояние дорог не ухудшило состояние ноги сына, поэтому поощряла его отступничество, советуя ему, хоть и со смертельной мукой в душе, подождать конца зимы, когда растают снега и улучшится его здоровье, чтобы вновь посещать ее по субботам. Нечего и говорить, что ловкач не заставил себя просить дважды: он стал появляться сперва в лучшем случае через субботу, потом через две и, наконец, не больше раза в месяц, не отказываясь переночевать и провести с матерью часть воскресного утра; надо же было как-то загладить прежние свои грехи и искупить неисчислимые будущие. Зима кончилась, пришли лучшие дни, а Жозефа все не было. Привычка установилась.

Что касается брата Абеля, с ним он практически никогда не виделся. И дома, и во Флораке он делал все возможное, чтобы избегнуть встречи с ним. Для него было истинной пыткой видеть брата, провести с ним хотя бы несколько минут; пыткой — представить себе, что их могут встретить вместе на улице. Делает же природа подобные подарочки! И какая только неожиданность вас не подстерегает! Разве было хоть что-нибудь общее между ними? Детство отошло вместе с его недолговечными связями, обманчивым единодушием; рано или поздно приходит сознательная оценка событий, очень скоро превращающаяся в сведение счетов. Со времени несчастного случая на мосту — и даже с более раннего — утекло столько воды, что они стали друг для друга совершенно чужими; хорошо еще, если этот непробиваемый мужлан — да простится столь унизительное определение — и самому-то себе не чужд, как это бывает с животным. Как знать, что же все-таки происходит у него в голове? Посещают ли его хоть какие-нибудь мысли? Способен ли кабан отдать себе хоть раз в жизни отчет в своем существовании? «Да он и не живет»,— убеждал себя ошеломленный Жозеф, но то, что его ошеломляло, не имело никакого отношения к личности его брата... Это было нечто более общее и смутное. Недавно возникшая беспокойная мысль. Когда он приближался к брату, чтобы поцеловать его, в лицо веяло чем-то могильным, зловонием зверя, никотинным и винным перегаром, терпким запахом дегтя, вечного букового дегтя, воняющего коровой,— Жозеф испытывал при этом не столько отвращение, сколько бешенство. Глухое, бессильное бешенство, которым он опьянялся за

случайными совместными трапезами или когда они сталкивались на кухне; он разжигал свое бешенство, наблюдая за тем, как его жертва свертывает цигарку, от усердия широко разинув рот, высунув дрожащий язык и обнажив блестящую мякоть беззубых десен, бледно-розовых, словно мясо освежеванной козы... а чего стоила фуражка, вечно нахлобученная на самые уши, багрово-лиловые, сморщенные, словно крылья летучей мыши; его лапы каменщика, потрескавшиеся от цемента и такие же загрубевшие, как и он сам, до того заскорузли, что в них не ощущалось никакого биения жизни, никакого тепла, пожимая ему руку, вы словно бы прикасались к обрубку статуи; с каким-то сладострастным ужасом Жозеф прислушивался к астматическому дыханию брата, отягченному частыми посвистами засоренных дегтем бронхов. Время от времени это животное харкало в огонь черными увесистыми плевками, что особенно разжигало бешенство младшего брата; в общем-то это бешенство никак не могло затронуть космического, первозданного простодушия старшего.

Зная, что Абель работает на лесопилке, Жозеф всю зиму старался не выходить из дому в такие часы, когда рисковал с ним столкнуться; его преследовал страх услышать за спиной громовой голос великана: «Здорово, Жозеф! Как ноги таскаешь?» А он, Жозеф, ответит громко, как говорят с неграми, не знающими языка, глухими стариками, детьми или слабоумными. Пятиминутный кошмар, когда надо вести жалкий, изматывающий разговор, сдерживаться изо всех сил, напрягать внимание, чтобы не выйти за рамки того представления, которое существует у брата на его счет,— хоть и не зная толком, каково оно,— все время боясь быть осужденным или показаться смешным этому лесорубу, в чьем словаре, наверное, не больше трехсот слов! Жозеф уже не раз был нынужден публично подчиняться этой изнурительной обязанности. Такие короткие встречи стоили ему огромного напряжения, подвергали нервы жестокому испытанию и выбивали его надолго из колеи; он чувствовал себя после них разбитым физически и морально, как если бы вынужденная акробатика ума требовала также и предельного мускульного напряжения. Он возвращался к своим обязанностям, чувствуя себя униженным и словно бы чего-то лишившимся, не владея ни жестами, ни голосом, в котором звучали несвойственные ему раскаты — следствие этой акробатики,— пока не обретал свой теперешний цивилизованный облик, тоже не столь уж для него естественный.

Он ложился на кровать и, стараясь прийти в себя, пытался вообразить, как бы держался на его месте пастор, хозяин и властитель его дум; но, к своему великому отчаянию, он понимал, что все его размышления — ни к чему, ибо ни мосье Бартелеми, ни какой-либо другой мало-мальски воспитанный человек не может быть обременен подобным братом. На весь остаток дня Жозеф впадал в беспросветный мрак. С ненавистью рассматривал он себя в зеркало: изучал шрам на губе, принюхивался к своей коже, безукоризненной, как у всех рыжих, ненавидел себя. Потом принимался за работу: писал, переписывал и ненавидел свой почерк. Читал. Не понимал прочитанного и ненавидел себя за это. Укрывался в храме и там яростно надраивал скамьи, наказывая себя этим и стремясь подавить ненависть,— только подобной рабской участи он и достоин. Лишь крепкий ночной сон мог вернуть ему хоть какую-то надежду на будущее. Понадобилось еще четыре сезона разлуки с родными (и отступничество от них), чтобы эти мерзкие раны несколько зарубцевались.

К пасхе следующего года Жозеф достиг больших успехов в расширении своего словаря и в умении себя вести; мосье Бартелеми,

имея на его счет определенные намерения, взял Жозефа с собой на две недели в Швейцарию, где у него жили родственники из эмигрировавшей туда ветви семьи, которые разбогатели на торговле шоколадом и религиозными книгами, благопристойно чередуя то и другое.

После двух железнодорожных пересадок они сели на дьявольски быструю автомотрису, за несколько часов покрывавшую расстояние между Испанией и Швейцарией. Когда они переехали границу, Жозеф, который путешествовал впервые в жизни, заметил, что в деревьях, облаках, дорогах, домах, мелькавших вдоль железнодорожного пути, появилось нечто швейцарское; поглядывая на их поезд, швейцарские коровы паслись на швейцарских лугах. Даже у солнца было швейцарское естество — его красный лоб с таким отменным благодушием появлялся из-за сахарных голов и увенчанных сбитыми сливками горных вершин, что казалось, будто высшие швейцарские власти аннексировали его. Пожалуй, и мосье Бартелеми тоже преображался, сиял новым ореолом — швейцарским. Когда они, выйдя из поезда, проехали на такси, вошли в холл гостиницы, почти такой же обширный, как вокзал, потрясенный Жозеф вдруг обнаружил, что мосье Бартелеми вовсе и не француз, а швейцарец: Жозефу казалось, что между деловитой роскошью этого города, сверхъестественной чистотой его улиц и особой его учителя существует какая-то мистическая связь. К его восхищению пастором прибавилось почтительное изумление; Жозеф подумал: уж не швейцарец ли и сам господь бог?

Утром, после роскошных завтраков,— конгресс, работа; пастор делал заметки, которые его фактотум переписывал и сортировал. Послеобеденное время было посвящено покупкам, светским визитам. Очки мосье Бартелеми отбрасывали тысячи искр; сам он так и светился. А Жозеф на глазах съеживался: вся эта бурная деятельность и встречи создавали у него ощущение, что сам-то он весит не больше соломинки; не перед Альпами он казался себе таким незначительным, но перед магазинами, отелями, банками, машинами, гармоничное функционирование которых было выше его понимания. Все это богатство унижало его, в особенности потому, что ему никак не удавалось представить себе, сколько же на протяжении веков пришлось совершить чудес для достижения подобных результатов.

Однажды после полудня они зашли в некий странный магазин-кафе, напоминавший агентство путешествий; всюду были развешаны фотографии арабских деревень и пальм; казалось, даже сама тишина здесь — плод высочайшей техники, создавшей эту лабораторию роскоши.

Среди клиентов (все они выглядели изумительно важными) расхаживали юные особы, столь же изысканные, как и вся обстановка,— своей бледно-голубой формой и лихими пилотками, словно вышедшими из рук самой Коко Шанель [1], они напоминали то ли стюардесс, то ли ратниц Армии Спасения; на самом же деле они являлись служанками божьими, и это «агентство», куда пастор неосторожно ввел Жозефа, в какой-то мере подготавливало души к Великому Переселению: здесь торговали религиозными книгами, и владельцем был один из кузенов пастора, чьи мистические порывы — словно роза среди нечистот — сконцентрировались на Священном писании и применении сверхприбылей, полученных от торговли шоколадом, с назидательными целями.

Владелец был на удивление высок, торжествен, благообразен, он обладал плоскими, широкими ногтями, завидным здоровьем и изрядным количеством плоти для вскармливания, гладкой и маловырази-

[1] Знаменитая французская портниха и законодательница мод.

тельной, как та добродетель, какую он внедрял; неподвижность кожного покрова придавала ему чрезвычайно торжественный вид, но общее впечатление создавалось такое, словно он вот-вот провозгласит Дурную Весть.

— Нам с кузеном надо поговорить,— сказал мосье Бартелеми Жозефу,— а ты пока поищи-ка здесь эти книги.

Он вручил ему список отсутствующих в магазинах или исчезнувших из обращения книг и заперся для конспиративной беседы со своим родственником в его кабинете американского бизнесмена.

Жозеф остался в одиночестве среди всех этих юных молочно-белых швейцарок, глядя на которых трудно было представить себе, что пищеварительная система у них такая же, как у француженок; округлые, восхитительно округлые, обтянутые шелком, сочные и мясистые икры, завитые головки, губки — все их прелести взрывчатой силы произвели революцию в его чувствах. Жозеф не знал, куда и на кого смотреть, до того все они были прекрасны с головы до ног. У него, как у пьяницы, начали дрожать руки, он ежеминутно вытаскивал платок и делал вид, будто сморкается, отчасти стыдясь шрама на губе, отчасти чтобы скрыть это дрожание пальцев. Пышная блондинка, обслуживавшая его, время от времени протягивала книгу с таким ласковым взглядом, словно бы в ней лежала записка, приглашающая на свидание, или ключ от ее комнаты. Жозеф чувствовал, что начинает потеть; ему казалось, что, если его младенческая кожа соприкоснется с кожей этой юной швейцарки, которая сновала у него под носом вся в электрических разрядах шелкового белья, он вспыхнет или даже взорвется. Когда урожай книг (из числа поименованных в списке и уже боготворимых, так как они побывали у нее в руках) был собран, она приняла у него всю стопку. Он ощутил ее пальцы на своих. Произошло как бы короткое замыкание, и если он не вспыхнул, то вовсе не потому, что сердце его и бедра не воспламенились.

— Соблаговолите пройти за мной, мосье...

До самой вершины Монблана! И неся ее все время на спине!

Он шел за ней по пятам, привлеченный райской прелестью ее походки, вдыхая все потаенные запахи ее существа, как охотничья собака, загипнотизированная пряным запахом зайца. Он пытался представить себе частную жизнь этой девушки; его воображению, возбужденному коврами и интимным освещением ее рабочего места, она и дома рисовалась среди роскоши, она отвергала мелких сошек, выставляла вон армию светских львов и дарила свои милости ему — молодому чудовищу, циничному, разочарованному и пресыщенному от рождения.

Когда с отбором книг было покончено, она тотчас же его покинула, перенеся свое изысканное внимание на другого клиента. Жизнь утекала из него, как вода, поглощаемая песком; вдали от этого родника все обезвоживалось. Он всерьез вознамерился вернуться на родную ферму и умереть там вдали от жестокой цивилизации.

— Как тебе понравился этот книжный магазин? — спросил пастор, когда они покидали *обитель* блаженства и страданий.

Жозеф, словно в изнеможении, произнес упавшим голосом нечто нечленораздельное.

— Я так и знал, что тебе понравится,— сказал пастор, истолковав жалобный писк Жозефа в устраивавшем его смысле. И безразличным тоном добавил: — Если все пойдет как надо, ты, возможно, вернешься сюда на стажировку в октябре и пробудешь несколько недель.

Звук, который услышал пастор в ответ, походил, как близнец, на предшествовавший, но внимательное ухо могло бы различить, что это было нечто диаметрально противоположное, словно кровь, вновь заструившись по жилам счастливого от этой дивной перспективы избранника, породила красноречивый комментарий.

Ночь прошла ужасно (завтра они возвращались во Францию). Каждый раз, как он представлял себе округлые икры, бедра, грудь — всю эту горячую плоть, которая наливалась и дышала,— это действовало на него как сладостный яд: кровь, нервы разносили по всему его телу желание вкупе с утонченными страданиями. Он не был способен при своих слабых познаниях по части секса (всего лишь печальные, одинокие попытки) вообразить себе нечто конкретное, связанное с девушкой; ему просто-напросто хотелось съесть ее.

Всякий раз, как он думал, лежа в постели: «Я проведу здесь какое-то время среди этих девушек», у него возникало такое чувство, словно бы кто-то пинком швырял его в бездну: неистовая спазма отчаяния, сведенный от страха живот, какая-то судорога внутри, нечто среднее между заворотом кишок и тем странным пощипыванием, двусмысленным и нездоровым, которое предшествует волне наслаждения.

Потом он чувствовал, как ледяная струя охлаждала его перенапряженный мозг, приглушала его восторги; пастор сказал: «Если все пойдет как надо»,— эти-то слова и гасили безжалостно все надежды и весь его пыл. Сейчас апрель. Он считал по пальцам. До восшествия в рай — целых шесть месяцев. Шесть месяцев на то, чтобы стать мужчиной и окончательно завоевать расположение мосье Бартелеми; надо удвоить усилия, не отвлекаться по пустякам, отделаться от некоторых тягостных обязательств, которые теперь уже вовсе не совместимы ни с новыми его знакомствами, ни с тем крутым поворотом, который наметился в его жизни. Брат. Мать. В особенности брат. Только представить себе, как он входит в это земное святилище, в эту бонбоньерку, наполненную такими конфетками! На ногах башмачищи, вид нелепо солдафонский: «Как ноги таскаешь, Жозеф?» Он весь покрылся холодным потом. Что он скажет своим, вернувшись? Сразу — ничего; лучше помалкивать, хранить все в секрете; зато потом его победа обернется неистовым скандалом. Конечно, его будет распирать от желания рассказать — рассказать о чем угодно, лишь бы это имело хоть отдаленное отношение к Ней; о Вильгельме Телле, Жан-Жаке Руссо, о молоке «Нестле»; столько ширм, за которые можно спрятаться и надышаться кислородом в этом презренном домашнем кругу, непереносимом для влюбленного, которому необходимы цветники и розы. Первое проявление воли — научиться превозмогать ребячество. В себе самом все эти полгода будет он черпать силу, мужество, волю, в себе самом улавливать Ее запах — Их запах, запах этого города, запах Швейцарии, потому что все это взаимосвязано; да еще прибавьте высочайшее наслаждение человека, который, найдя сокровище, хранит его для себя одного, а ведь это доказывает, что у него есть характер — залог успеха.

От нетерпения, как бы уторапливая события, он брыкался в постели, вертелся, переворачивался. Временами он прислушивался — ему казалось, что по коридору отеля кто-то бродит: разве нельзя предположить, что одна из продавщиц книжной лавки, блондинка (та самая), брюнетка или рыжая (не все ли равно), узнав его адрес и то, что он завтра покидает Швейцарию, пришла сюда среди ночи под каким-то благовидным предлогом... О, бог-вседержитель! Надо, чтоб вышло! И выйдет... Жозеф успокаивался. А все же эти девушки... Они другой расы, такие здоровые, юные. Видно, люди здесь не

стареют: они бессмертны, как и в Америке. Ах, отмыться, прижаться к этому божественному телу, поглотить его или быть им поглощенным... И все вращалось по тому же кругу.

## XVI

Вновь наступила жара, и первые ее волны разлились по селениям и городкам; кто проходил по саду благоуханным, теплым утром, тому думалось, что он все еще нежится в постели, а при взгляде на необъятность небес, широко разверстых навстречу миру и суливших исполнение всех желаний, обновленная кровь начинала по-юношески быстро струиться по жилам; но уже с полудня наступал смущающий и даже пугающий своей чувственностью обманчивый летний зной, а проникающий в окно острый запах разогретого асфальта как бы предвещал, что любое похождение заранее обречено на тщетное ожидание в одиночестве. Исполнения каких обещаний можно ждать от этих вымерших городков, от этих безмолвных гор? На какое похождение, какое приключение можно надеяться в жужжащей удушливости полудня, когда все ставни закрыты, а ты распростерт в полутьме, словно старая узница, которая лишь представляет себе объятия, лепет, задыхающиеся вздохи любви, тогда как сама горько и неколебимо уверена, что ничто в мире не сравнится с ее провалами и разочарованиями и уж во всяком случае со спесивой сухостью ее мыслей и опыта. Чуткое ухо следит за звуком приближающихся и удаляющихся шагов: хоть кто-либо остановится здесь когда-нибудь? Как умудряются, при непристойном, гугенотском своем пуританстве, встретиться и соединиться в постели все эти мрачные супружеские пары горного края? Рожденные для смерти, рожденные для разложения. И пока ты агонизируешь, лишенный ласки, существуют ведь люди, предающиеся любви,— до чего же несправедливо все устроено в мире!

Вокруг маленького городка, крыши которого приобрели под прямыми лучами свинцовый цвет, не отыскать и пятнышка зелени: ни одного вновь посаженного дерева, ни одной свежевскопанной, радующей глаз клумбы; из-за суровости и резкости климата этот обездоленный край, где и весна запаздывает, и урожай, как перезрелый плод, снимают не вовремя, тащится в хвосте у всех времен года, и характерны для него лишь желтые, лысые склоны, облезлые леса да необитаемые, похожие на ржавое железо кусты.

При нынешней преждевременной жаре горы с пятнами снега на вершинах и шелудивыми, обезлесевшими (или это только так кажется) склонами напоминают бесплодную скудость терриконов гигантских шахт, а придавленная желтая трава — злосчастную индустриальную зону с ее пустырями, угольными кучами, густо заселенными долинами и загрязненными водами; все усиливает впечатление нищеты и низменной утилитарности: обилие электрических столбов, беспорядочное переплетение проводов, уродующих пейзаж, обезображивающих поселки и фермы, искажающих фасады домов; огромные цистерны с гудроном марают кое-где уцелевшие по обочинам полосы дерна; кучи гравия громоздятся на пустырях и стоянках для машин; застывшие, словно трехногие чудища Уэллса, пораженные смертоносной эпидемией, стоят грейдеры, неподвижность которых объясняется всего лишь нехваткой смазочного масла; все это — неизгладимые меты, наносимые работами ведомства шоссейных дорог, которое превращает любую живую природу в строительную площадку; не будем уж говорить о валяющихся повсюду выкрашенных суриком канализационных трубах; а есть ведь нечто и похуже: крыши из толя, такие жалкие и столь же непристойные на вид, как человек, разгуливаю-

щий в подштанниках по улице. А чего стоят эти игроки в мяч, их майки и ночные туфли, а их развязный жаргон, их неряшливость, их фальшивое добродушие, которое не может скрыть ни подлости их, ни мелочности, ни эгоизма... От них самих и от их дыхания несет никотином и анисовой водкой... А их усатые старухи плетутся на рынок, шлепая стоптанными туфлями без задников, зажав в руке кошелек и вечную клеенчатую сумку — почему бы уж заодно не ночной горшок: ведь и то и другое неотъемлемая сущность их бытия. Что касается девчонок с их нелепыми именами, провонявшими нафталином, то они, затянув туго-натуго волосы, обряжаются в длиннющие черные юбки и наглухо прячут свои плоские груди... Все эти Терезы, Марты, Элизы с пяти лет — уже маленькие старушки, у них хилые икры, близко посаженные глаза и безгубые рты; налицо все признаки вырождения, свойственные детям от браков между близкими родственниками, а маленькие жемчужинки в проколотых ушах и вовсе делают их похожими на юных покойниц; до двадцати лет они еще могут на что-то надеяться — при условии, что их не тронут,— но остающуюся четверть века они тратят на двоих детей... Весна их быстротечна; надо видеть, как перебегают они улицу, заливаясь скотским смехом, который обычно свидетельствует о рабском подчинении сексу: голова вся в бигуди, жирные ляжки видны из-под распахнувшегося халата... До чего же ненавидел теперь последыш из Маё эту вымирающую, вырождающуюся расу, меченную базедовой болезнью и ранним выпадением зубов...

Швейцария, с ее первоклассными панорамами, разрекламированными озерами и горами, прославляемыми разными бойкими синдикатами, с ее аккуратненькими проституточками, представлялась ему торжеством жизни, попиравшим эту расшатанную, обесцвеченную, прокуренную провинцию, которую он едва узнал после двухнедельного отсутствия; понадобилось время, чтобы он к ней вновь притерпелся. Сейчас же все казалось ему здесь мелким, изношенным, жалким; то, что тут принимают за горы,— всего лишь скромное нагромождение холмов, издревле преувеличенных детски наивным воображением. Отели Нового мира с их кондиционерами изгнали из его памяти леса Старого мира, где в мистической бедности протекло его детство.

По ту сторону сада какая-то повозка проезжает улицей, скрипя, словно колесница смерти: в этот час послеполуденного сна ни одной живой души во всем городке, зажатом между крутыми склонами. Лишь через определенные интервалы раздавался скрежет пилы да майские птицы (не издавая ни звука), прыгая по краю желоба, стучали по нему коготками как раз над его окном. Внезапно издали раздаются резкие крики: дети выбежали из школы — перемена. Колокол — что это, мэрия, школа, церковь? — три удара, три протяжных, раздельных, зловещих удара, покорных судьбе, как то мертвое время, которое они отмеряют и дают о нем знать из долины в долину, из городка в городок,— три одинаковых, неизменных удара, неотвратимых, как похоронный звон, бессильных перед глухой, медленно надвигающейся катастрофой, которая влечет их за собой к гибели; три удара из безысходной вечности, душераздирающей, как кладбищенская безысходность, и вот, словно вызов, их подхватывает где-то в доме, скорей всего в кабинете, хрустальный звон часов, деловитых, бдительных, неутомимых, как сам мосье Бартелеми. Три быстрых, коротких позвякивания сразу берут все в свои руки и уж ни за что ничего не упустят, чего бы это ни стоило, раз так решено,— с барабанным боем,

коли на то пошло. Три маленьких ударчика, успокоительных и недолговечных, направляющих на мирские дела, как все, идущее от легковерия, которое быстро приходит к концу. А затем, напоминая о вечном покое, обнажая всю ничтожность этой глупой хрустальной живучести, снова звучат три медленных, неземных удара, будто связанных и с бессмертными скалами, и с высоким одиночеством волнисто очерченных гор четвертичного периода, где эра часов может быть исчислена всего лишь несколькими миллиметрами эрозии.

У садовой калитки послышался звонок, наваждение исчезло, как будто этот чистый тонкий звук поднял занавес над непреодолимой повседневностью. «Благотворительницы...» — подумал Жозеф Рейлан.

Мадам Бартелеми несколько раз в неделю принимала дам своего прихода, устраивая вместе с ними филантропические пикники и распродажи. Немного погодя постучали к Жозефу в комнату — это была сама мадам Бартелеми, вид у нее был таинственный.

— Вас спрашивают, Жозеф.— (Первое время она называла его не иначе как Жозеф-Самюэль — комбинация эта раздражала еще больше, чем его обычное имя, с которым он в конце концов примирился.) И добавила, доверительно подняв брови и как бы возвещая нечто ошеломляюще постыдное: — Это ваш брат...— А заметив, что Жозеф раздраженно нахмурился: — Нет-нет, успокойтесь, по-видимому ничего серьезного...— Потом ее лицо приняло выражение вполне естественного соболезнования: — Я и не знала, что у вас брат такой... в общем, много старше вас.

— Ему всего тридцать лет,— сказал Жозеф,— но, видите ли, тридцать лет в лесу...

«Тридцать лет, но чего же, бог ты мой! — подумала мадам Бартелеми.— Эти пастухи — настоящие волки!» Жозеф в ярости прошел следом за ней: «Этого еще откуда нелегкая принесла — только его и не хватало...»

Вход в коридор целиком загораживал Абель — вырядившийся, навьюченный, волосатый, но, чудо из чудес, фуражка снята с головы и кажется крошечной в огромных, как кирпичи, ручищах. Жозеф стиснул зубы. Он ждал неизбежного: «Здорово, Жозеф! Как ноги таскаешь?» — и приготовился поставить этого мужлана на место, как вдруг вспомнил, что вот уже четыре месяца не видел матери, и это тотчас отбило у него охоту грубить брату, тем более в присутствии мадам Бартелеми.

— Что случилось? — спросил он, символически троекратно прикоснувшись щекой к щекам Абеля с таким ощущением, словно облобызал терку.

Гигант смотрел на него, мотая головой и твердил: «Ах... ах...» — как если бы Жозеф совершил какой-то проступок, а он собирался его наказать.

— Ну чего разахался? — выйдя из себя, огрызнулся Жозеф.— Говори, в чем дело...

— Я вас оставлю,— вежливо и сочувственно сказала мадам Бартелеми.— Располагайтесь с братом в малой гостиной.

— Проходи...— буркнул Жозеф, показывая головой на дверь в гостиную, но не двигаясь с места. Мадам Бартелеми наконец удалилась. Абель все еще раскачивал головой, уставившись прямо в глаза брату, и твердил свое «Ах, ах...», как глухонемой, не способный обнародовать некую ужасную тайну.

— Ладно, послушай,— сверхъестественно спокойно сказал готовый ко всему Жозеф,— посидим вот в этой комнате — и ты мне все объяснишь по порядку.

Он решил разговаривать с братом, как с маленьким ребенком, и это странным образом умиротворило его.

Абель, не переставая маниакально теребить свою фуражку, пошел за ним, нагнув голову, как если бы потолок был для него чересчур низок. Жозеф посторонился, чтобы дать ему войти, закрыл дверь, прислонился к ней спиной и вежливо осведомился:

— Прежде всего скажи, как здоровье мамы? — Он держал руки за спиной, зажав в них медную дверную ручку и чуть поворачивая ее, словно собирался удалиться и как бы утешал себя тем, что долго они тут не задержатся, что их свидание случайно, кратковременно и вообще как бы не существует.

«Ах, ах...» возобновились с новой силой, так же как и комканье фуражки; Жозеф задумчиво взирал на брата, чувствуя, как его снова охватывает ожесточение, и не в силах оторвать глаз от ручищ увальня, с неслыханной быстротой вертевшего свой головной убор. Наконец, не сдержавшись, он выкрикнул:

— Прекрати, прошу тебя, голова идет от тебя кругом, и говори!

С примерной покорностью Абель запихал фуражку в карман и решился сесть, одновременно с этим обретя дар речи.

— Враз про мать... — начал он и беспомощно растопырил руки.

— Надеюсь, она не заболела,— сказал Жозеф и в свою очередь принялся вертеть дверной ручкой, как только что его брат вертел фуражкой.— Я приеду повидать ее в один из ближайших дней. У меня очень много работы, и потом... — Ему внезапно захотелось ударить наотмашь, уничтожить противника раз и навсегда, покончить с его непереносимой самоуверенностью и фамильярностью.— Лучше я тебе скажу сейчас же — только смотри, ни слова маме! — так вот: я уезжаю.

Он выпустил дверную ручку и начал медленно расхаживать по комнате, как если бы важность сообщенной новости сразу утвердила его право на пребывание здесь.

— Да, понимаешь, в Швейцарию, как-никак это совсем другое дело... Буду готовиться к экзаменам и работать в магазине религиозных книг...

Он остановился, потеряв интерес к продолжению этой полулжи перед слушателем, на которого она явно не производила впечатления и который все с тем же ошалелым выражением по-прежнему смотрел ему прямо в глаза.

— Ладно, теперь ты знаешь достаточно. Так что же ты хотел мне сказать? И перестань ты ахать...

«Могу присягнуть, что он абсолютно ничего не понял из того, что я ему говорил». Он посмотрел на брата как на неодушевленный предмет; надо бы наконец уразуметь: никогда не удастся ему удивить этого невежду. И все же это такая удача —мстительно огорошить в первую очередь того, кто знал нас еще тогда, когда мы пребывали в ничтожестве.

— Вот оно что,— сказал Абель, далекий от всех этих проблем.— Вот оно... — Он стукнул себя кулаком по лбу, прищелкнул языком, открыл рот и, набрав воздуху, крикнул, как если бы между его жестами и мыслями был полный разрыв: — Там, внутри, у нее не варит...

— Незачем орать, я ведь не глухой...

Абель вновь повторил то же самое — постучал себя по лбу, щелкнул языком, разинул рот, но на этот раз уже потише повторил: — Там, внутри, у нее не варит...

Загипнотизированный таинственным образом мышления этого первобытного существа, Жозеф, при всем своем нетерпении, сразу не реагировал, как бы переняв неповоротливость мыслей брата. «Если

деревья размышляют,— подумал он флегматично,— то это, наверное, вот так у них и происходит».

— Почему, что она такого делает?

Что она такого делала? Поди расскажи! Началось это как-то вечером. Вернувшись, он нашел ее возле очага словно бы оглохшей. «Эй, мать...— (Он поднялся, потряс Жозефа за плечо, чтобы лучше изобразить драматичность происшествия.) — Что с тобой?..» Ни гу-гу. Не шевелится, не отвечает, чисто — дерево. Потряс ее этак... (трясет Жозефа). «Ну чего, чего, ну чего?..» Потом заговорила... схватилась за голову: «Не знаю...» В тот вечер она еще как всегда похлебала супа, и вдруг — на тебе! Раньше-то она ложилась последней, а тут, ни слова не говоря, залезла в постель, все побросала: ложка в тарелке, стол не убран — все как есть. Назавтра день только занялся, она уже была в кухне и готовила ему в дорогу корзинку, как будто ничего и не случилось.

— И она ничего тебе не сказала?

— Ничегошеньки! Ничегошеньки!

Он спросил, как она себя чувствует, а она на него посмотрела: «Сам знаешь как!». Он и не стал к ней приставать.

В пылу рассказа он вновь начал орать и, изображая произошедшее, тряс брата, как все малоразговорчивые люди, не доверяющие силе слова.

— Целыми часами, понимаешь, сидит молчком да смотрит в огонь или в пустоту... А заговоришь с ней, она эдак-то дурно глянет... Будто обворовали ее до нитки...

— Надо позвать доктора,— резко оборвал Жозеф брата, как набедокурившего ребенка, который выболтал лишнее.— Само собой, визит оплачу я...

— Кабы только это! Иногда она исчезает, и невозможно добиться куда. А то строит возле дома каменные башенки, напихивает туда солому и поджигает, подумать только...

— Ладно, ладно, решено,— сказал, все более возбуждаясь, Жозеф.— Я приеду.— Он открыл дверь. — Завтра. Приеду завтра. Скажи ей, что я приеду завтра.

Он проводил брата до ограды, молясь вседержителю, чтобы благотворительницы не столкнулись с ними. Абель явно не спешил уходить. Он встал, широко расставив ноги, посреди тротуара и для вящего удовольствия сворачивал цигарку.

Жозеф, нервничая, осматривался по сторонам:

— Ладно, иди, до завтра; мне пора за дело. А главное, не забудь — понимаешь: ни слова по поводу Швейцарии.

Он закрыл калитку и пошел к дому. Дойдя до ступенек крыльца, оглянулся: Абель все еще стоял у калитки, метрах в десяти, не дальше, растерзанный, неподвижный, цигарка прилипла к губе, вислые усы — огородное чучело, да и только; уставившись на крыльцо, он весь набычился, что свидетельствовало о предельном умственном напряжении. Можно было пари держать, что он все еще пережевывает загадочное сообщение брата — загадочное и ошеломляющее: даже цигарка так и осталась незакуренной.

Пятно смазочного масла или лесной грязи медленно скользило по его лбу — это, вероятно, была тень, раз она двигалась.

— Чего он ждет? — пробормотал сквозь зубы Жозеф.

На смену возмущению пришла неистребимая тревога. Он смотрел на дремучее, непроницаемое лицо брата, словно видел его впервые. За Абелем по другую сторону улицы — как бы необитаемые дома, плоские, словно театральная декорация, мертвые в этот смутный час дня, когда небо напоминает песчаный, иссушенный пляж, на который пришел умирать изнемогающий свет. Все пустынно, безмолвно: воз-

вышенности, деревни, фермы, человеческие существа. Тусклая действительность, лишенная смысла.

Жозеф встряхнулся и быстро вошел в дом, облегченно вздохнув в относительной свежести и полумраке вестибюля.

«В конце концов,— сказал он себе почти машинально,— бог, возможно, и впрямь знает, что делает». Никогда еще не было ему так тяжело подниматься по этой лестнице.

В своей комнате, где на письменном столе были нагромождены книги и бумаги, он внезапно почувствовал усталость и отвращение ко всему — даже к призрачной Швейцарии. Взглянув в окно и убедившись, что его мучитель наконец удалился — удалился в свои допотопные леса,— он упал на кровать и закурил: после поездки в Швейцарию он начал курить. Курил он тайком, с таким же воровским наслаждением, с каким листал бы порнографические картинки.

Ему не столько нравился вкус табака, сколько все то, чем он приправлял курение, повторяя жесты, типические повадки закоснелых развратников и пьянчуг из полицейских романов, в пучину которых он начал, прячась ото всех, погружаться,— и все это как бы мстя за то, что он не был тем, кем хотел бы быть.

Он постукивал ногтем большого пальца по кончику сигареты, как бы прессуя табак; закурив, зажимал сигарету в уголке рта и прищуривался, как положено беспутнику; а окурок щелчком вышвыривал за окно. Он воображал, что вся эта комедия придает ему мужественности и что незримая прелестница наблюдает за ним в его одинокой комнате,— спрашивается, как и зачем? — подпадая под обаяние неотразимой развязности великого сердцееда.

Сегодня спасительная сигарета имела неприятный вкус — просто вкус табака. Закинув руки за голову, зажав сигарету зубами, он предоставил ей тлеть, пока пепел не упал ему на шею; тогда он обалдело вскочил: ему померещилось, что в тот момент, когда он ощутил ожог, кто-то постучал в его дверь. Нет, никого... Да и кто, кроме брата, мог бы к нему прийти! Он вновь погрузился в сумеречную послеобеденную дрему, в мутных водах которой вздымались ядовитые испарения его нечистой, отягченной, обезоруженной совести,— так выползают из нор пресмыкающиеся в час, когда засыпают птицы.

## XVII

Сойдя с автобуса, он впервые не увидел ее, черную, щупленькую — само воплощение тоски,— поджидающую его; отчасти это его обрадовало, отчасти обеспокоило, поскольку пустынная тропинка наводила на мысль, что его мать умерла, до такой степени ее образ казался ему неотделимым от момента его прибытия, от этого карабканья среди папоротников, от огромного каштана, под которым она имела обыкновение прятаться во время дождя. Он начал подъем с курткой под мышкой и флаконом одеколона в руке, заново изумляясь пейзажу, который словно бы сузился после всех перемен в его жизни, долгого отсутствия и путешествия: горы, прежде казавшиеся ему Гималайскими, теперь выглядели куцыми по сравнению с теми, которые он, хоть и издали, повидал в Швейцарии...

Приблизившись к ферме, он остановился, чтобы отдышаться. Как все изменилось за несколько месяцев... Никогда еще постройки фермы не казались ему такими унылыми, запущенными, обветшалыми: стены потрескались, ставни посерели и покоробились от дождей, выгорели от солнца — ведь красили-то их лет полтораста тому назад; одна ставня вон там и вовсе повисла, наполовину отодранная, зловещая...

А крыши совсем осели, выщербились, словно дохлая рыбина с отставшей чешуей... Чего стоил неописуемый кавардак на дворе, которого не освежал ни один цветочек, зато загромождали отбросы: никто не позаботился убрать или хотя бы выкинуть их подальше. Из одного окна свешивалась рваная простыня. Повсюду густые, мохнатые заросли крапивы и репейника — любителей мусора, хищных растений, так и чующих падаль и как бы предвещающих появление развалин...

Все вместе выглядело пустырем, где пристроился грязный бидонвиль, едва ли более пристойный, чем те, где ютятся арабы и нищие. А вокруг — царственное безразличие природы: чистая, берущая за душу синева небес, ничего общего не имеющая со всем этим упадком, напротив, внушающая опасную надежду, словно земля для большинства людей — нестерпимая тюрьма и жизнь на ней возможна лишь для способных воспарить духом; мягкая погода, спокойный, прозрачный воздух, нарождающаяся голубоватая зелень, еще несколько бледная и как бы сморщенная, клейкая от сока... Царство, дорога в которое затерялась и которое существует уже только как чисто условная и бесполезная декорация...

Этот всеобщий упадок, неизбежность краха — скорее надуманные Жозефом, чем реальные,— он воспринял как следствие своего отступничества и врожденной безнравственности; все это смутно нахлынуло на него и вызвало безнадежное отчаяние, но менее горькое, чем можно было ожидать... именно в силу его безнадежности.

К Жозефу бросилась с визгом собака, тоже облезлая, шелудивая, угодливая, жалкая; она крутилась у его ног, виляла хвостом — олицетворение его обездоленного детства, бессловесная тварь, благодарная хозяину уже за то, что он не пинает ее.

Он чуть не повернул обратно: не затем он сюда пришел сегодня утром, чтобы дать себя опутать сетями преданности, а уж скорее чтоб утвердиться в отречении; не желал он погружаться ни в свое ничтожество, ни в пессимизм.

Но сила привычки взяла верх: он нагнулся и с комком в горле погладил животное, ошалевшее от благодарности. «Ты-то по крайней мере не воображаешь себя кем-то, не намереваешься ни потрясать бывалых соблазнителей, ни совращать швейцарских девушек...» Он пересек двор, сопровождаемый прыжками и невинными повизгиваниями собаки, раздиравшими ему душу. Но как может весь этот переполох не привлечь внимания матери, почему не выходит она на порог? Неужели все еще в постели, хотя уже одиннадцать часов?

Не на шутку встревоженный, он вошел в дом; несмотря на прекрасную погоду, а возможно и по контрасту с ней, комната была темной, сырой, в ней пахло угасшим очагом, холодной золой: плита не топилась — это выглядело зловеще, словно вместе с ней угасла жизнь здешней хозяйки, ставшей неотделимой от своего извечного тирана — черного чугуна. Жозеф услышал легкое поскрипывание балок — кошка и та не могла бы произвести меньше шума. Он пошел наверх, зовя мать, чтоб не застигнуть ее врасплох. Она показалась наконец в лестничной клетке и двинулась ему навстречу, осторожно спускаясь со ступеньки на ступеньку,— она казалась не столько слабой, сколько невероятно хрупкой, и поэтому все движения ее были замедленны, словно малейший толчок мог разбить ее, как стекло.

— А! Это ты...

Она встретила его так спокойно, будто они расстались всего лишь вчера. Говорила она каким-то небрежным тоном.

Он растерянно поцеловал ее — платье и накинутая на плечи шаль казались наброшенными на кости. Она просеменила мимо него и выглянула наружу.

— Здесь очень холодно... Ты не топишь печь?

Она закрыла дверь; что-то явно ее беспокоило.

— Посмотри, не под столом ли он?

Она искала пса.

— Топить?.. О! Для меня-то одной... Я топлю вечером. Но раз ты пришел...

Она засуетилась, нащипала лучины, скомкала старую газету.

— Абель предупредил тебя, что я приеду сегодня?

— Ах, да... Он сказал...

Она покачала головой, задумалась.

— Ты получила мои открытки?

— Да, да... Очень красивые...

Она улыбалась.

Открытки были расставлены на камине: Женева, фонтан, озеро, Тонон, Эвиан... Успокоительный облик благоустроенного мира, где во всем чувствовалась высшая безопасность — образчик оккультной мощи Всевышнего.

Дым повалил через решетку очага; она открыла окно, чтобы усилить тягу. В тишине солнечного утра едва слышно потрескивали быстро занявшиеся, сухие дрова — течение времени и событий как бы замерло. Жозеф испытал несказанное чувство благополучия и облегчения: жизнь вернулась к своим истокам, еще не поруганным смертельными человеческими недугами. Пока мать ворошила огонь, он смотрел в окно, пораженный этим мгновением чудесного, сверхъестественного покоя, которым он проникался, замерев, боясь нарушить его хрупкое очарование лишней мыслью или движением.

Его ощущения были столь же ничтожны, сколь и мучительны: казалось, вот он жил всю жизнь в истинном мире, рядом с красотой и правдой, но все это для него потеряно, и ему никогда уже не обрести вновь первозданной невинности, а суждено всего лишь соприкоснуться с нею в мгновения, подобные этому. Несчастный наблюдатель, он стоял на пороге царства, на его запретных границах, но вход был ему заказан... Жозеф вздохнул:

— Возьми, приведи себя немножко в порядок.

Он протянул ей флакон одеколона. Она взяла его и прижала к груди.

— Не хочешь понюхать?

Он наблюдал за ней, ловя выражение, которое сделало лицо матери столь чуждым ему, делало его самого себе чуждым. Вид у нее был одновременно и озабоченный и беспечный.

— О, если это ты выбирал, запах наверняка хороший...

Взгляды их встретились — вернее, он попытался вызвать в глазах матери проблеск сознания, вызвать какое-то понимание, хотя бы молчаливый ответ на взгляд, которым он спрашивал: «Ты, наверно, не можешь понять, почему я сегодня явился,— скажи хоть что-нибудь или дай мне знак, что понимаешь...» Но в ее уменьшившихся от старости глазах, непрестанно слезившихся, словно бы плававших в гнезде из морщин, как бывает у некоторых животных, невозможно было прочесть ничего, кроме пугающей беспечности, на которую его собственный взгляд был бессилен воздействовать. Молчание ширилось, плотное, пугающее, весомое, воздвигая непроницаемый заслон, сквозь который общение невозможно.

— Хорошо; значит, тебе совсем нечего мне сказать. Ты хоть рада, что видишь меня?

Не отвечая, она опять покачала головой; ее детская улыбочка выглядела жестокой на старческом лице, но понемногу она стиралась, уступая место озабоченности, ставшей, по-видимому, постоянным ее

состоянием. Она все еще прижимала флакон к груди; он осторожно вынул его из ее рук и поставил на стол. Потом машинально, таким жестом, каким ласкают собаку, он погладил ее по голове. Эта ненужная ласка вызвала у него отвращение. Наконец, он спросил, пригнувшись к ней:

— Скажи, ты хоть знаешь, кто я?

Надеясь на возможную перемену в ее настроении, он постарался придать своему вопросу шутливый тон.

Она ответила совершенно серьезно:

— Ты — Жозеф.

Он выпрямился и долго, задумчиво всматривался в нее, но она по-прежнему не обращала на него никакого внимания. Он предпочел бы, чтобы она вовсе ничего ему не ответила или, во всяком случае, ответила как-то иначе. Беспечная, далекая, поглощенная какой-то мыслью, целиком ее занимавшей, она сидела перед ним, присутствуя и отсутствуя, мертвее мертвой, худенькая, крохотная кукла, в которой теплилась животная жизнь, сознание еле мерцало, кожа совсем истончилась, а словно бы птичьи полые косточки стали донельзя хрупкими.

Он не мог не подумать: умирает она, как и родилась, как и жила,— бессмысленно, бесцельно. Этой мыслью он словно бы скинул с себя огромную тяжесть. Взяв мать за плечи — два орешка в его ладонях (хоть ладони у него и не велики),— он медленно, осторожно сказал:

— Пока ты будешь готовить обед, я немного пройдусь, хорошо? Ну вот и отлично... — Он ободряюще похлопал ее и вышел.

Почти сразу за гумном, именно там, где некогда сам он, снедаемый тоской и скукой, предавался идиотской, зловещей забаве, Жозеф наткнулся на кучки пепла и почерневшие камни. Башни, которые она пыталась построить, рухнули, но трава, кроме одной незагоревшейся кучки, обратилась в пепел: нелепость и неумелость этих попыток что-то построить выглядели душераздирающе. Во всем была какая-то чудовищная уродливость, свойственная работам отсталых детей или же сумасшедших. Если еще требовались доказательства...

Вздымая тучи пепла, он изо всех сил принялся затаптывать уцелевшее подобие башенки и все остальное, обратившееся в обгорелые руины. «Я — мерзавец». Он уселся на остаток стены, ограждавшей некогда огород, и, сжав голову руками, смотрел на амфитеатр освещенных солнцем склонов, где среди пожухлой зимней травы кое-где уже пробивалась запоздалая весенняя зелень; на скалы вверху, где в узкой прогалине просвечивала красноватая сукровица горного плато; и еще выше — на гребень гор, увенчанных черной каймой леса, мистически черной рядом со светлым небом. От резких усилий, от ярости сердце у него неистово колотилось. Он сам себя судил сурово и беспощадно:

— Мерзавец. Я самый настоящий мерзавец.

Словно заброшенное судно, влекомое течением, полузатонувшее или оторвавшееся от причала и плывущее по воле случая, мать кончила тем, что тихонько отчалила от этой темницы, которая тем не менее станет ее могилой,— не сумасшедшая, но и не здоровая, влекомая течением в безобразном смешении бреда и действительности. Тридцать лет обманутых ожиданий, страданий, неоправдавшихся надежд, и постоянно перед глазами, с утра и до ночи, эта гигантская стена, неумолимая, как смерть. Теперь, что бы он ни предпринял, уже слишком поздно, уже никто и ничто не поможет.

— И во имя чего?

Он сжал кулаки в приступе вновь нахлынувшей, дотоле ему неведомой ярости, возбуждающей, как неистовый, языческий весенний горный ветер.

Он провел с нею все послеобеденное время, решив не возвращаться во Флорак раньше завтрашнего, а то так и послезавтрашнего дня: Бартелеми поймут и не будут беспокоиться.

Доев свою порцию «затирухи» (она поела стоя, не присаживаясь, перед тем, как подать ему, по традиции, унаследованной от предков и въевшейся в ее женское сознание), он ринулся выполнять наложенную на себя покаянную епитимью.

Начал он с того, что настежь открыл окна и двери: пусть воздух и солнце проникнут в дом, очистят атмосферу склепа, которая, как свинцовая крышка, давила на тебя, едва переступишь порог... Он с удовольствием разобрал бы камень за камнем все здание, чтобы выстроить заново и на новом месте нечто, способное обрести новую душу. Из-за невозможности осуществить это намерение он ограничился наведением порядка — чистил, сгребал мусор, рассеянный по двору, сжег отбросы, валявшиеся под окнами, а также и всяческую бесполезную рухлядь, захламившую комнаты. В спальне матери за шкафом все еще был засунут матрас, на котором некогда покоился труп отца.

Он выкинул из окна этот ужасный матрас, оттащил подальше от дома и, облив его керосином, поджег. Невозмутимо смотрел он, как матрас пылает. В этот костер он подбрасывал рухлядь — еще и еще; испытывая живейшее удовольствие, следил он за пламенем, которое пожирало и обращало в пепел все эти предметы,— они так долго были свидетелями нищеты, неслыханного тиранства и покорности.

Не один только дом подверг он радикальному очищению. Его обуяло стремление жечь и жечь — полное удовлетворение ощутил бы он, если бы сжег все постройки; у него всегда наблюдалась несколько извращенная страсть к огню и пожарам — хотя бы в миниатюре. Каждый сжигает, что может.

Вдруг его охватил страх, как бы это опустошительное очищение огнем окончательно не свело с ума несчастную женщину — ведь у нее всегда была мания сберегать все, вплоть до малейшего обрывка веревки... Но она предоставила ему свободу действий, не вмешиваясь и даже вроде бы порываясь помочь.

— Нет-нет, сегодня ты только отдыхаешь...

Он вытащил с чердака старое плетеное кресло, поставил его во дворе и усадил в него мать, дав ей в руки вязанье и пристроив рядом пса, которого она непрерывно повсюду искала: по-видимому, присутствие этого жалкого животного стало для нее навязчивой идеей.

— Видишь, в доме теперь для весны раздолье...

Время от времени он отрывался от работы, подходил к матери или поглядывал на нее из окна. Она вся ушла в вязанье, казалась вполне спокойной, за целый день не сдвинулась с места; как все вязальщицы, она иногда раздвигала локти, поднимая свое рукоделие, чтобы расправить шерсть, одновременно машинально бросала взгляд поверх очков, удостоверяясь в присутствии собаки. Вне этого замкнутого круга сознательных движений она, по-видимому, совершенно не отдавала себе отчета в том, что происходит вокруг нее. И в конце концов, может, так было и к лучшему.

Абель вернулся поздно. Он тоже не заметил, какие геройские подвиги по наведению порядка и чистоты совершил Жозеф за время его отсутствия; над фермой, в расщелине между скалами, еще дотлевали отбросы, и в вечерней сырости дым приобрел белесый оттенок.

Сразу же по приходе Абель поел супа и завалился спать; он попытался было понять по лицу брата, как тот оценил положение вещей, но Жозеф, рассерженный невниманием этого мужлана к той гигантской работе, которую он провернул за столь короткое время, тоже замкнулся, придав лицу неподвижность изваяния.

На следующее утро Жозеф проснулся очень рано, несколько разбитый, но чрезвычайно собою довольный; голубой рассвет брезжил за окном. Он открыл ставни, и в лицо ему повеяло восхитительной деревенской свежестью, от которой он уже успел отвыкнуть и которую вдыхал теперь с особо острым наслаждением. Надо всем доминировал запах сена — он как бы воскрешал для Жозефа всю огромность и ширь лугов. Помимо этого тонкого запаха и острого прилива надежд, им вызванного, Жозеф ощутил еще нечто смутное, странное, неопределенное — то ли в воздухе чего-то не хватало, то ли присутствовало что-то необычное, что очищало дыхание, делая его каким-то особенно легким. Тут Жозеф вспомнил, что сегодня воскресенье, и это его вдруг странно оживило.

Разглядывая очищенный от репейника и нечистот двор, он с удовольствием отметил, что результаты его усилий, хоть сразу и не принесли ему радости, теперь доставляют истинное наслаждение.

Вот уже второй раз со вчерашнего дня испытал он волной набегающую радость бытия, он так и замер, высунувшись из окна и глядя на двор, куда более чистый и приглядный, чем тот, каким он его застал; он любовался плодами своих трудов — ведь даже проулки меж надворных построек он прополол,— и его преисполнила утренняя, мирная благостность.

Все-таки любопытна эта ни с чем не сравнимая гармония чувств с окружающим миром, которая воцаряется иногда — очень и очень редко — по каким-то таинственным или случайным причинам и обстоятельствам; зачерствевшая душа восторженно утоляет жажду из этого уже почти иссохшего родника, который вновь возникает, да и то лишь изредка и ненадолго, словно все более и более редкие оазисы в пустыне. Как больные, постоянно отыскивающие признаки выздоровления или же рокового конца, становятся искусными толкователями функций своего организма — угрожает ли ему смерть, или брезжит надежда на спасение,— так и Жозеф заметил наконец, что происходящее с ним чудо связано с глубиной и длительностью сна, что именно это дает ощущение легкости, бестелесности и пронзительное восприятие открывающейся перспективы; театральные декорации обретают вновь естественную глубину. Несколько мгновений Адам вдыхал запретный воздух родной страны — утерянного Эдема.

Не дожидаясь, пока чары рассеются, он сам прервал созерцание, оделся и спустился вниз, уверенный, что этим утром любое физическое ли, умственное ли усилие пройдет под знаком этого искупительного преображения. Он испытывал прилив оптимизма, схожего с клиническим бредом. Его совесть, потрясенная выходом из обычного отупения, почти как опьяневший человек, обходила любые препятствия, подслащивала все пилюли и на восточный манер позволяла себе взирать на худшую из катастроф с невозмутимым спокойствием: мать выздоровеет, избавится от вялости, он будет чаще ее навещать, повезет путешествовать, будет давать ей деньги, за свой счет отремон-

тирует эти развалины, будет проводить здесь отпуск и так далее и тому подобное...

Богу хорошо на небе, и все хорошо на земле.

Было шесть часов утра; мать, может, еще не выздоровела, но она спала. Зато Абель не заставил себя долго ждать и появился на кухне. Жозеф решил немедленно приступить к осуществлению своих благих намерений и проявить снисхождение к брату. Они позавтракали вдвоем.

Жозеф спокойно принялся излагать брату, что он думает по поводу этих болезненных симптомов и какие меры собирается предпринять.

— По-моему, это не так серьезно. Плохой период, который быстро пройдет; в таком возрасте с женщинами подобное случается. Кажется, это объясняют кровью... Доктор Стефан вернется в конце недели; не стоит звать его заместителя, он не знает мамы... Но доктора Стефана надо пригласить обязательно.

Абель слушал; а что еще ему оставалось делать? Но это не мешало ему аккомпанировать брату контрапунктом прищелкиваний языком и урчанием в животе, которые он производил, поглощая каштаны в огромном количестве, как лопатами пожирает уголь паровоз на полном ходу.

Чувствуя, как в нем возрождается некое оторопелое любопытство к этому чуду беспечности, и опасаясь, как бы его благие намерения не иссякли раньше времени, Жозеф через стол схватил брата за руку:

— Послушай же, что я говорю: теперь необходимо ее развлекать — сидеть с ней, разговаривать, не оставлять надолго одну. Признаю, я был неправ, что не приезжал к ней все это время. Но что поделаешь, не всегда ведь поступаешь так, как хочешь. Теперь я буду наезжать как можно чаще, это я тебе обещаю. Я абсолютно уверен, что все наладится; она снова станет совершенно нормальной, вот увидишь...

Он приумолк; в примыкавшей к дому конюшне содрогалась земля: буянила лошадь, отмахиваясь от мух.

— А как... А как... Как же Швейцария? — вдруг взревел Абель. Жозеф подскочил.

«Так вон оно что — он все отлично понял, скотина, да к тому же и запомнил»,— ошеломленно подумал Жозеф.

— Не ори, ты ее разбудишь... Швейцария — это еще не скоро, через четыре-пять месяцев, так что, надеюсь, она к тому времени выздоровеет, если сейчас и вправду больна. А потом, разве не предвидится перемен в этом доме?

Жозеф многозначительно и вполне недвусмысленно посмотрел на брата.

— Может, и так...— флегматично ответил Абель.

«Невероятно. Этим утром он понимает все, что я ему говорю, и даже с полуслова...»

— Кстати, как поживает Мари?

Абель, начавший скручивать цигарку, прищелкнул языком:

— Помаленьку, помаленьку...

— Так когда же свадьба?

— Хм... Хм... В октябре. По... по... после жатвы. На женитьбу нужны деньжата.

— Как-никак тебе станет веселее. Что за жизнь всегда в одиночестве, вот так, весь день...

Жозеф поднялся из-за стола, пересек комнату, открыл дверь. До чего же прекрасен мир сегодня утром! Он будто и впрямь возродился, чтобы жить впредь только на поверхности вещей, не имея собственного существования, лишь отдаваясь целиком тому, что видят глаза. Над скалами медленно кружили вороны, как обломки кораблекрушения на поверхности водоворота. Абель вышел на порог покурить.

— День будет великолепный,— заметил Жозеф.

Абель кивнул, харкнул на землю и растер плевок ногой.

— Взгляни же на мою вчерашнюю работу.

Жозеф взял его за руку и увлек за собой; братья обошли все владенье. Скошенная накануне трава от ночной росы уже начала издавать запах сена. У подножия склонов, возле зарослей дрока, над потоком клубился легкий туман; весь амфитеатр был пока погружен в тень. Они вернулись во двор.

— Я прекрасно понимаю, что у тебя нет времени на все это. Если хочешь, мы можем сегодня вычистить вместе конюшню и дровяной сарай. Там небось полным-полно всяких паразитов... Если б ты только видел, чего я не повытаскивал из очага... Тараканы расползались в разные стороны, там развелись даже крысы... Я все сжег вместе с нечистотами...

Они начали со стойл и не покладая рук работали до полудня. Трех коз они привязали снаружи; козы равнодушно щипали со стены плющ, время от времени поворачивая в их сторону головы, с совершенно непроницаемыми глазами спрута.

Мать встала около девяти часов; она тихонечко приоткрыла ставни в своей спальне, а некоторое время спустя уже было слышно, как она разжигает очаг. «Хороший знак»,— подумал Жозеф, для которого ее здоровье неразрывно связывалось со способностью к деятельности.

Они выволокли сгнившее сено и солому, старые, заплесневелые джутовые мешки — все, что только попадалось им под руку обветшалого и ненужного; от подожженной кучи валил желтый дым, густой, как сливки. Жозеф жадно следил за тяжелыми клубами дыма, которые медленно поднимались в спокойном воздухе. Ему чуть ли не захотелось провести здесь целую неделю; в этом доме еще столько надо было всего переделать, перечистить, перечинить. Ему вспомнилась фраза из «Путешествия в Севенну на осле» несравненного Стивенсона: «...ибо когда настоящее предъявляет столько требований, кто будет заботиться о будущем?» Ему казалось, что со вчерашнего дня время не двигается, но, обузданное его крестьянским трудом, оно медленно растекается вокруг него, как безмятежные воды озера. «Я сообщу Бартелеми, что не могу оставить в одиночестве больную мать, пока ее не осмотрит доктор».

Перед тем как усесться за стол, он до пояса вымылся на дворе холодной водой; солнце начало отчаянно припекать.

В полдень тени замерли под почти вертикальными лучами, но уже угадывалось их едва заметное передвижение в обратную сторону.

Мать, сидя перед дверью в старом плетеном кресле, вязала так же, как и вчера, а Жозеф, покончив с уборкой дома, мог уже не напрягаться изо всех сил, вытаскивая ветхое тряпье, сжигая мусор, снуя из подвала на чердак, передвигая мебель, вздымая тучи пыли, он мог теперь усесться на ступеньке порога и смотреть прямо перед собой, ни о чем не думая. Абеля не было слышно: вероятно, он задремал за

столом. Свет скользил по противоположной крыше, тускло-маслянистой.

Жозеф резко встал и вошел в кухню.

— Я скоро уеду,— сказал он,— есть автобус в половине третьего. Само собою разумеется, если что-нибудь случится, ты меня известишь. Я приеду в конце недели с доктором Стефаном: тогда мы будем уж наверняка знать, чего держаться.

Он вышел, держа куртку под мышкой, поцеловал мать и погладил ее по волосам кончиками пальцев.

— Каждую субботу — мы с тобой по-прежнему; обещай мне быть умницей...

Она засмеялась и, бросив украдкой взгляд на собаку, опять принялась за вязанье.

Абель проводил брата до семейного кладбища — со смерти Рейлана Жозеф ни разу там не задерживался. Сейчас он зашел туда. Сорные травы почти полностью скрыли шиферную доску, на которой Абель вырезал инициалы отца; огромным улиткам приглянулось это убежище. Жозеф вышел, прикрыв за собой жалкую, скрежещущую калитку; сощурившись, он задумчиво посмотрел на брата.

— Ты небось никогда не ходишь в церковь... Никогда не повторяешь молитв, которым учил нас папа. Пари держу, ты уже много лет и Библии-то не раскрывал.— Опустив взгляд, он чертил в пыли носком ботинка круги.— Возможно, ты и в бога не веруешь.

У Абеля был совершенно озадаченный вид; потом он улыбнулся, показав свои голые, чудовищно изъязвленные десны, и не без иронии пробормотал:

— Это... это... это — дело не мое, это... Твое это дело...

— А яма,— сказал Жозеф, сдерживая ярость,— тебя не волнует, что и ты в яму попадешь?

— В яму... Какую яму?

Не оглядываясь, Жозеф показал большим пальцем на могилы, вытянувшиеся за его спиной.

— А вот в эту самую, бедный ты мой старина, в эту яму, где так и кишат черви, где ты будешь жрать землю, а черви будут жрать тебя. Хоть когда-нибудь думаешь ты об этом? Сгложут, источат дотла... И все — ноль, ничего не останется... Испаришься...

Он говорил торопливо и глухо:

— Словно и не было тебя никогда. Вот посмотри на этого муравья.— Ударом каблука он раздавил козявку.— Прикончен! Прости-прощай, лес, прощай, воля! Прощай все, что тебя радовало. Хоп! Яма ждет тебя, ждет яма, как собаку... Дерьмо. Ты — всего лишь дерьмо, как я, как все на свете, если нет ничего надо всем над этим...

Он дал тумака пораженному, ошалелому великану, который растерянно смотрел на него, и не спеша зашагал по тропинке.

Жозеф был слишком несчастен, слишком мерзок самому себе, чтобы прямо вернуться к пастору. День он закончил тем, что считал смертной казнью,— сидел на террасе кафе, поглощая бочковое пиво и косясь на бедра сидевших напротив девиц.

Вечером были танцы под платанами. Он бродил в темноте, завязал знакомство и переспал с девицей. Это случилось впервые (Швейцария послужила лишь подготовкой). Он почувствовал себя как-то странно. Облегченно. Словно бы выздоровевшим. У девицы были широкие бедра и глупое лицо; он не решился спросить у нее, так же ли происходит у всех в первый раз. Вот он и нашел свое истинное призвание!

Часть вторая

# Ястреб

Ему не пришлось ждать истечения времени и сопутствующих времени перемен для уяснения истины: высшая степень мудрости — иметь мечты столь возвышенные, чтобы не утерять их, пока за ними гонишься.

*Фолкнер. «Сарторис».*

И вот человек полагает, что, пострадав три четверти своей жизни, он отдохнет за остающуюся четверть; но чаще всего издыхает от голода, так и не узнав, к чему привели его усилия!

*Рембо (письмо от 6 января 1886 г.).*

## I

Неплотно прикрытый ставень распахнулся от ветра; в комнату проник голубой, молочно-мерцающий свет.

Она зябко съежилась под одеялами и инстинктивно потянулась к мужскому теплу, но рука ее встретила под простыней лишь холодную вмятину — куда, однако, мог он запропаститься в такую рань? Она приподнялась на своем ложе, напряженно прислушиваясь к окутавшей дом зыбкой ночной тишине, но не различила ничего, кроме биения собственного сердца, глухо отдававшегося в груди.

С первыми проблесками весны Абель уподоблялся оцепеневшим от долгой зимней спячки и проведшим под землей снежно-белые дни и морозные ночи животным, которые, едва начинает пробуждаться природа, уже не в состоянии ни удержаться на месте, ни длить свой берложий сон хотя бы еще мгновение, тогда как снаружи весь мир — деревья, молодая листва, раскованные воды и очистившиеся небеса объединяются для великого весеннего поворота...

Внезапно комната погрузилась во мрак — светился лишь прямоугольник окна; облако закрыло луну, и ночь потемнела. Хорошо бы пошел дождь... Она встала, надела шлепанцы, халат и направилась к окну.

Ночь была лунная, ветреная, неспокойная, по глянцево-черному небу во весь опор неслось с севера к югу одинокое облачко, похожее на отбившуюся от стада скотинку, слепо стремящуюся навстречу своей судьбе. Ветер дул с севера — значит, дождя ждать не приходится: вот уже два месяца ни единой капли; в глубине гулких цистерн насосы всасывали лишь пустоту. В газетах писали о невиданно засушливой весне. Ну не смех ли.

Сердце у нее подскочило: что-то зашевелилось там наверху — над самой ее головой. Она не любила оставаться одна, в особенности ночью, в этом большом доме, наполненном странными шумами и потрескиваниями,— одна с этой сумасшедшей старухой, которую от бессонницы преследовали кошмары.

Она вышла из спальни и ощупью стала пробираться по коридору, пока на нее не пахнуло с лестницы холодом. Внизу — тишина, наверху — тоже. «Верно, старуха ворочалась на соломе»,— подумала она. Стараясь не шуметь, она вскарабкалась по приставной лестнице, которая вела на мансарду, и с ужасом обнаружила, что дверь туда забыла запереть. Она быстро приоткрыла ее, всматриваясь во мглу, едва освещенную слуховым окошком без ставни. Ей показалось, что

на подстилке виднеется темная голова, торчащая из-под одеяла; она облегченно вздохнула — значит, свекровь на месте. Но когда глаза ее освоились с темнотой, силуэт показался ей подозрительным, как и то, что не слышно было шуршания соломенной подстилки; она приблизилась, вытянув вперед для защиты руки, ожидая, что притаившаяся в углу врагиня, точно огромный паук, того и гляди бросится на нее сзади; никого! Убогое ложе пусто, чердак тоже. Она со всех ног кинулась вниз.

На кухне тоже никого. Однако куда же они подевались, эти двое? Чтобы рассеять страх, она зажгла керосиновую лампу. Дверной засов был не закрыт, ружье не висело на своем месте под балкой, куртки тоже не оказалось на вешалке: Абель, видно, соблазнился необыкновенно ясной, лунной ночью и решил попытать счастья на охоте. А его мать, обуреваемая ночными бесами, видно, снова принялась куролесить; кажется, сама бы себя прибила за то, что оставила чердачную дверь незапертой! Беда, если эта чертовка нашла спички,— у нее к ним пристрастие. Солома ночью, да при таком-то ветре... Нет, спички на месте — в железной коробке, глубоко запрятанной в шкафу. Где теперь бродит эта сумасшедшая?

Она вышла из дому — и без лампы светло так, что хоть газету читай. Ночной сухой холод неистово пронзителен; серебряная апрельская ночь усыпана блестками трепещущих звезд. Она прикрыла горло отворотами халата и позвала:

— Мамаша, где вы? Мамаша!

Ветер относил ее голос; в сарае ответно заскулила собака, она выпустила ее: «Ищи, ищи!..»

Пес довольно быстро нашел за гумном старуху, присевшую у стены в позе индийской мумии,— она совсем закоченела, и глаза, остекленев, смотрели прямо перед собой, как у мертвой.

«Что это она там делает? Что за напасть такая! Вставай по ее милости из постели среди ночи! А в родном-то доме как мне было спокойно...»

Не переставая ворчать, она просунула руки старухе под мышки и приподняла ее, потрясенная легкостью этого невесомого, словно тростник, остова, в котором неведомо, каким чудом еще теплилась жизнь.

Она согрела ей чашку молока и уложила спать на втором этаже — в ее старой спальне, откуда она была изгнана из-за недержания мочи; но ведь один-то раз в счет не идет. Если она, простудившись, скончается, случаем, этой ночью, так пусть уж по крайней мере в своей постели.

Продрогнув до костей, она тоже улеглась, но уснула лишь на рассвете, одолеваемая приблизительно теми же мыслями, что некогда изводили ее свекровь.

Но она-то слеплена из другого теста: средневековая отсталость (вода из родника, стирка на реке, дровяная топка), весь этот унизительный, тяжкий и изнурительный труд становится в охотку одним парижанам. Для них горный край стал модным курортом, благодаря обилию кислорода и возврату к первобытному образу жизни, не говоря уже о том, что это — подлинный заповедник эпохи палеолита; что же касается местных жителей, они только и мечтают о лампах дневного света и пластике.

Да и отец ее в конце-то концов не вечен (он и без того предлагал им переселиться к нему, но Рейлан и слышать об этом не захотел); так что рано или поздно, когда он умрет, они сбудут Маё с рук или бросят его на произвол судьбы, коли не найдется покупателя; землю-то, конечно, оставят себе и обоснуются в Мазель-де-Мор, где

займутся овцеводством: там ведь и пастбища хорошие, и земля плодородная, не говоря уже о фруктовом саде и курятнике.

И вода.

Она поднялась в восемь часов утра и увидела, что ей предстоит стирать простыни и чистить матрас, на котором ее свекровь, забывшись, справила нужду под себя. А возможно, ничуть она не забылась, сделала это нарочно. И хотя виновница происшествия была не способна ее понять, Мари отвела душу бранью и криком.

Не теряя времени, она загнала свекровь в ее логово; чуть погодя принесла ей туда похлебку из толченых каштанов, размешанных в горячем козьем молоке; старуха спала или делала вид, что спит. Поставив миску на пол, Мари наклонилась над свекровью, но отшатнулась от вони.

— Да приподнимитесь же. Можете хоть что-то сообразить!

Она попыталась было сама приподнять старуху, но та увернулась с проворством змеи и больно укусила ее за руку.

— Сволочь проклятая!

Толчком она отшвырнула ее от себя; голова старухи стукнулась о старый сундук, вплотную придвинутый к соломенной подстилке; раздался противный звук разбившейся раковины. Похолодев, обезумев от ужаса, Мари решила, что убила старуху, и бросилась прочь; хлопнув дверью, скатилась она со стремянки, потом с лестницы и выскочила наружу, чтобы прийти в себя.

Вот так история! Как посмотрит она сегодня вечером в глаза мужу? Сумеет ли сохранить спокойствие? Она — убийца! Она уже видела себя с двумя жандармами по бокам. Скандал, позор... А то и тюрьма. И все из-за этой чокнутой, обезумевшей старухи, которую она столько месяцев обихаживает, как служанка! И что ее дернуло лезть на эту каторгу!

Она металась по двору, ломая в отчаянии руки и не осмеливаясь войти в дом. Но ближе к полудню ей послышалась какая-то воркотня, тогда она переступила порог и, подойдя к лестничной клетке, явственно различила обычное бессвязное бормотание мнимой покойницы. Тут нервы Мари не выдержали, она упала на стул и разрыдалась. Она плакала и припоминала все старые невыплаканные обиды, которые, накапливаясь, становились еще горше.

Ее замужество. Никто не пришел на свадьбу, как будто выходить замуж после тридцати лет позорно. Оба они стыдливо пробормотали «да», и весь праздник свелся к тому, что в городке Сен-Жюльен-д'Арпаон они выпили мятного ликера с водой в бистро и угостились свиным жарким у нее — в Мазель-де-Мор, где за столом сидела свекровь, уже витавшая в облаках, отец, изнуренный строгим режимом и болезнью, которая его к нему принуждала, да еще молодой троюродный брат, сидевший с отсутствующим видом и едва прикасавшийся к еде. Ну не смешно ли, что при всем при том Мари была беременна, это она-то — высохшая как жердь старая дева, и тем не менее с пузом, словно свежая пухленькая девчушка, смущенно прячущая в церкви, под белой фатой, свой разросшийся живот. Абель как-то встретил ее в бакалейной лавке Сен-Жюльена и, схватив с витрины выгоревший на солнце шарф, красовавшийся среди сюрпризных хлопушек и флаконов дешевых духов, силой сунул ей в сумку: «На, во-во-возьми и не-не спорь...»

А неделю спустя он опять же силой вырвал у нее плату за свой подарок: она пасла овец в укромном уголке, травянисто-нежном, благоухавшем боярышником и навевавшем негу; там он настиг ее —

и взял. Смутное любопытство, тотчас же улетучившееся, а главным образом желание расквитаться за все прежние унижения заставило ее сдаться: пастушка, опрокинутая под изгородью, не такое уж частое явление в этих местах, где принято не разжимать коленей. Как и все новички, они не промахнулись, и вот через месяц — свадьба. Потом придется слегка сплутовать с датами. Ребенок может ведь родиться на месяц, а то и на два раньше срока.

К несчастью, он и в самом деле родился раньше положенного и умер на третий день. Это произошло в прошлом году. И в качестве утешения доктор объявил, что больше детей у нее не будет.

Осенние грозы сровняли с землей маленький холмик детской могилки, одновременно изгладив из памяти Мари недолговечную печаль, как если бы ее замужество, ее краткое материнство были не настоящими и ничего не сулили в будущем.

## II

Когда он вернулся в тот вечер домой, еле волоча ноги, она объявила ему с привычным для нее вызовом в голосе, что родник почти совсем иссяк — едва приметную струйку облепили осы и бабочки, как в сильнейшую летнюю засуху, но все-таки ей удалось кое-как набрать воды, поглубже просунув в скалу деревянный желоб. Но чтобы нацедить одно-единственное несчастное ведрышко, пришлось, кусая ногти от нетерпения, ждать два часа. Был бы здесь хоть крытый резервуар, куда бы стекала вода, как в Мазель-де-Мор...

— О чем только думали твои предки!

Обозленный, он ничего не ответил; она пожала плечами и решила еще кольнуть его:

— Надеюсь, ты подстрелил что-нибудь?

Он гневно бросил ружье на стол.

— Ничего! Ничегошеньки!

На плато сколько угодно зайцев, резвящихся при луне, из-за них он и поднялся среди ночи, но охотиться с его самострелом — чистейшая химера.

Осенью, когда Абель валил лес и из его глубин доносилось эхо охотничьих выстрелов, он откладывал топор, с вожделением и завистью прислушиваясь к быстрым и четким щелканьям, которые, казалось ему, свидетельствовали о преимуществах современного охотничьего оружия. Ах, было б у него такое ружье, как у его тестя, этот чудеснейший «робюст» шестнадцатого калибра с двумя стволами вороненой стали! Ружье легкое, мощное, разящее словно молния — тогда бы попировали они в Маё!

Отодвинув ружье и поставив на стол супницу, Мари размешала извечную похлебку из молока с каштанами и начерпала ему его порцию.

— А пока, бедняга ты мой Рейлан, довольствуйся затирухой, как довольствовались твой отец и твой дед. Однако сознайся, рисковать большим штрафом, чтобы вернуться с пустыми руками... Разве и без того мало у нас неприятностей? А если наткнешься на одного из этих государственных сторожей?..

Он взревел и задубасил по столу.

Жилы у него на шее вздулись и почернели так страшно, что она предпочла умолкнуть и весь вечер была тише воды. Хоть он ни разу ее не ударил, она всегда этого опасалась: ведь неистовство таилось в большинстве мужчин, словно зверь, готовый прыгнуть, это-то

ее всегда и пугало. Инстинктивно она противопоставляла его вспышкам ярости невозмутимое спокойствие, закаленное в домашних испытаниях.

На следующее утро, еще затемно, Рейлан спустился к роднику. Родник находился приблизительно в километре от фермы — на полпути между нею и потоком; тут был жизненный центр Маё, его пульс, возможность существования; сюда некогда водили на водопой животных — в те незапамятные времена, когда воды в ручьях хватало с избытком,— по крайней мере, так гласили предания, возвеличивавшие прошлое; женщины носили туда белье для стирки, а летом и сами совершали там омовения, натирая тело листьями мыльника. На несколько метров в длину тянулся тогда деревянный желоб, позеленевший и липкий (теперь он совершенно сгнил и местами порос травой), кишмя кишевший водяными насекомыми, за которыми охотились стрекозы; теплыми вечерами там всегда сидела древесная лягушка, откликавшаяся на гуканье лесной совы,— в ночной тишине они перекликались по просекам. Но с тех пор как горные ресурсы начали, по всей видимости, иссякать — это, конечно, в том случае, если предания об их изобилии не были ложны,— приток воды стал ничтожным даже в период дождей, а в жаркие дни почти совсем прекращался; теперь же осталась лишь «слеза» на скале, капризная, прерывистая струйка, такие струйки местные охотники называют «поскребками», только и годными змею приманить или же капля за каплей кружку наполнить, когда цистерна пуста.

Как бы то ни было, если погода не переменится, тут никакой воды не нацедишь; Абель сменил ведро, еще вчера подставленное Чернухой под желоб, на принесенную лейку и зашагал к потоку.

Высохшее русло потока белело среди деревьев, как кости скелета: с убылью воды солнце выжгло зеленую слизь на камешках, устилавших дно; то тут, то там питаемые подземными ключами бочажки с загнившей водой распространяли едкий запах тины и разложившихся растений.

Конечно, у него в памяти сохранились пыльные и жгучие, словно негашеная известь, летние месяцы, когда все спали под открытым небом — в доме совершенно нечем было дышать, а на деревьях с мая до октябрьских гроз висели свернувшиеся от жары листья; но чтобы поток пересох так рано — этого Абелю еще не доводилось видеть. Задумавшись, вернулся он к источнику. Леса уже зарделись от утреннего солнца, небо несказанной голубизны было абсолютно чистым, воздух неподвижен, никакой надежды на дождь.

По дороге он остановился, чтоб прихватить ведро с водой, и заодно заглянул в лейку, которую поставил под струю: за полчаса натекло не больше трех-четырех литров!

Если не пройдет хороший дождь в самые ближайшие дни, за водой придется ходить в Сен-Жюльен: восемь километров туда и обратно с пятидесятикилограммовой бочкой на расшатанной тачке; изо всех окон будут глазеть насмешники. Он сжал кулаки.

Всю ночь Мари слышала, как Абель вертится в постели точно угорь. С первыми проблесками зари он встал и принялся возиться с чем-то в сарае; Мари тоже поднялась и, выглянув в окно, увидела, как он направляется к источнику, нагрузившись разными инструментами. Легкий туман овевал камни, предвещая жаркий день. Немного спустя она в свою очередь спустилась к источнику за водой и уже издали услышала удары заступа, разносившиеся в очистившемся от тумана воздухе.

Он решил устроить водоем наподобие тех, куда, обмазав их глиной, собирают дождевую воду для овец.

Она с удивлением глядела на вырытую им яму: неужели же он воображает, что она станет брать на суп и на стирку воду, кишащую головастиками?

— А чем я цемент разведу — об этом ты подумала?

Опустив голову, она обиженно удалилась.

Обломки наполовину вросшего в землю желоба ясно указывали, где нужно копать яму,— тогда верхний край водоема непременно окажется на уровне источника, находившегося в десяти метрах от этого места.

Абель выковыривал заступом прогнившие, заплесневелые куски дерева; с приятным звуком рвущейся ткани остатки досок отрывались от сплетения засохших корней и трав. На первом метре почва была песчаной, влажной и податливой. Дальше заступ с глухим стуком ударялся о скалу, но это был не монолит, а большие глыбы синего гранита, глубоко ушедшие в песок; между ними и в их расщелины шахтное кайло проходило с легкостью. Расшатав глыбу, Абель брал ее в руки и, напрягшись изо всех сил, поднимал и укладывал на краю ямы.

Время от времени появлялась Чернуха; с замкнутым, ничего не выражающим лицом она наблюдала за его работой, потом удалялась, так и не соблаговолив разжать губы.

Куда разговорчивее был его тесть, который тоже приходил посмотреть на работу. Теперь это был изможденный человек, он семенил мелкими шажками и подолгу не мог отдышаться.

— Ты прямо ас,— говорил он зятю.— Жаль, что твое жилище не на одном уровне с водоемом, тогда ты мог бы провести воду прямо в дом, как сделали это мои предки.

Глядя на худобу и темные круги под запавшими глазами тестя, Рейлан думал: «Жалко, что ты-то сам уже ни на что не годен». И с горделивым спокойствием ощущал свою богатырскую силищу.

В середине мая раза два-три прозвучали отдаленные грозовые раскаты: они доносились откуда-то с запада, со стороны Обрака, Родеза или Альби. Но ветер разгонял тучи, не дав им пролиться, и свинцовые их громады медленно уплывали за горизонт. По утрам в окнах отражалась все та же невозмутимая лазурь.

Рейлан вошел во вкус своей работы землекопа: руки его двигались почти в том же ритме, что и во время рубки леса, когда от каждого удара его топора дерево содрогалось до самой верхушки.

Он трудился с самого раннего утра — удары кайла звонко разносились в чистом воздухе. Невзирая на ранний час, небо начинало белеть и раскаленный солнечный диск, словно расплавленный металл, свирепо дрожал и маслянисто растекался.

К середине дня Абель делал перерыв, чтобы пожевать каштанов и запить их шипучим вином, бутыль которого ему время от времени приносил в подарок его тесть; в этот час молочное марево медленно наползало с юга или с запада и словно бельмом затягивало огромный зрачок неба, которое, заволакиваясь, становилось похоже на матовое стекло, куда более слепящее, чем солнце. Тогда весь амфитеатр погружался в молчание, не стрекотал ни один кузнечик, не вспархивала ни одна птица, только и было слышно, как вода из родника по капле сочится в ведро. Подняв голову, Рейлан видел иногда сарыча или ястреба, которые со странной медлительной важностью угрожающе кружили в вышине. Абель потихоньку откладывал кайло, хватал са-

мострел, всегда лежавший рядом с ним в траве, и долго прицеливался. Мягкий горячий воздух почти целиком поглощал смачный щелчок выстрела, едва отражаемого горным массивом. Но хищная птица, казалось, не обращала никакого внимания на выстрелы и разве что нехотя и даже презрительно меняла орбиту полета, словно бы понимая, что черный порох, употребляемый Рейланом, не может вытолкнуть пулю из переделанного старого «шасспо» на требуемую высоту. Можно было отчетливо рассмотреть узкую подвижную головку этой воинственной птицы, как бы не зависящую от туловища и от размаха крыльев; она возвышалась над корпусом, как наблюдатель над корпусом планера. «Подлюга»,— кричал Рейлан и швырял в траву ружье, проклиная одновременно и эту железку, и нагло невозмутимую птицу, которая продолжала выписывать безупречно точные круги на умопомрачительной высоте.

Яма была выкопана за десять дней. Она имела шесть метров в длину и по три в ширину и глубину — вполне достаточно, чтобы служить резервуаром, могущим заменить цистерну в засушливые периоды. Затем Абель без промедления приступил к опалубке и несколько дней вымерял, пилил, прилаживал, прибивал; для этой цели он использовал доски, заготовленные его отцом лет тридцать — сорок тому назад для настилки пола в комнате, которая стала совсем нежилой, поскольку ее ремонт так и не был осуществлен, как, впрочем, и все другие проекты его отца. Тот однажды вознамерился даже колодец вырыть невдалеке от дома, понадеявшись найти воду только потому, что ему во сне привиделся колодец именно на этом месте. Разумеется, через несколько дней он бросил эту затею, найдя утешение в чтении Библии, а яму завалили отбросами. Когда Абель был ребенком, а брат его еще лежал в колыбели, после нескольких неистовых бурь среди ночи вдруг раздался оглушительный грохот; вне себя от ужаса Абель бросился в спальню к матери, держа на руках младенца, тоже разбуженного и чуть не задохнувшегося от крика: стена одной из спален, в которой, к счастью, никто не жил и которая примыкала к скале, рухнула под напором потока скопившейся позади нее грязи. Кровать оказалась почти заваленной камнями и мусором; все это пришлось выгребать лопатами и вывозить на тачке. Впредь до восстановления стены зияющую дыру завесили старым одеялом — так оно и висит там до сих пор, прижатое к земле несколькими бутовыми камнями. Все деревянные части дома пришли в негодность, но никто ничего не заменял, как не перестилали пол в нежилой комнате, но поскольку крыша над головой была все же необходима, пришлось ее подпереть. Подпорки держались до тех пор, пока древесный жук, основной жилец дома, не подтачивал их. Тогда, не унывая, подставляли к прежним подпоркам новые — и так продолжалось до тех пор, пока это сооружение не оказалось более громоздким, чем то, которое оно должно было поддерживать, и не рухнуло от собственной тяжести. С того дня, как гора вторглась в дом, детям снились жуткие кошмары; их мать — та, что бьется сейчас там, на чердачной соломе, и делает под себя, точно загнанный кролик,— провожала их вечером со свечой в руке; они шли следом за ней, глядя, как пламя свечи, которое она прикрывала ладонью, отбрасывает на стены странные, зыбкие тени, прыгавшие по потолку и забегавшие в уголки их спальни. Когда мать со свечой в руках удалялась, дети, забившись под отсыревшие одеяла на пропахших прелой соломой тюфяках, замирали в ужасе и малейший шорох принимали за начало крушения дома, который погребет их под своими обломками. Охраняя сон родителей и умеряя их страхи и плотские желания, на стене над супружеским ложем висел пергамент — единственный предмет роскоши в доме — с одним из тех изре-

чений библейской мудрости, которые часто встречаются в жилищах сельских гугенотов, как, например: «Господь — Пастырь мой: я ни в чем не буду нуждаться», «Взгляни на брата своего, и ты узришь господа», «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие небесное» и так далее...

Им досталось: «Среди всех преходящих ценностей, вам не принадлежащих, изберите, дети Адама, то, что извечно ваше».

Вероятно повинуясь именно этому изречению, в доме никогда ничего не чинили.

Вот и июнь наступил; работа близилась к концу — оставалось только зацементировать опалубку. Гроза так и не разразилась. Ежедневно к полудню небо затягивалось все той же стекловидной свинцовой пеленой, но дивные ночи восстанавливали, если можно так выразиться, его текучую подвижность. Омытая росой заря благоухала сеном; солнце, слишком жаркое из-за отсутствия ветра, заливало всю округу, накаляя камни, пока с запада не наползало снова это бельмо, похожее на огромное мертвое веко, сквозь которое просачивался бледный, безжизненный свет, заставлявший умолкнуть насекомых и погружавший все живое в состояние подавленности, наступающей обычно при затмениях.

Медленное кружение ястреба в этом мутном мареве еще усиливало всеобщее оцепенение и странную давящую атмосферу. Раздавался вялый ватный звук выстрела, явно не способного причинить какой бы то ни было вред. Птица ничем не обнаруживала, что замечает пролетающие мимо дробинки: она невозмутимо продолжала медленно парить в сих вневременных небесах, вертя маленькой головкой и зорко выслеживая возможную добычу.

Четко очерченный силуэт стервятника, подхватываемого восходящими струями воздуха, тревожно чернел на мертвенно-бледном небе; все замерло, как если бы и животные, и мельчайшие насекомые ощущали нависшую над потрясенно смолкнувшими горами угрозу, которая вызывает переполох в курятнике и питает суеверия деревенских жителей. Невольно зачарованный прекрасной мишенью, почти неподвижной и словно дразнивший его, Абель не в силах был оторвать глаз от медленного парения ястреба — вероятно, самца, судя по малым размерам. Расширяя орбиту кругов, птица постепенно удалялась; Рейлан приходил в себя — он опустил глаза на свою строительную площадку и оторопело уставился на разбросанные в беспорядке доски. Появление ястреба всегда выбивало его из колеи.

Иногда ему удавалось подстрелить ворону или сороку; он просил жену сварить из них бульон — она подчинялась, не скрывая своего отвращения; сама она ни за что на свете не притронулась бы к подобному вареву. Когда он жадно поглощал этот бульон, она смотрела на него с ужасом. Ей всегда говорили, что вороны лакомы до трупов, и она не могла не вспомнить своего свекра с исклеванными щеками.

Однажды вечером, выйдя из-за стола и направляясь спать, Рейлан объявил:

— Я окончил свою оп... опалубку, завтра пойду покупать цемент.— Потом наклонился к ней и, легонько ткнув в бок локтем, сказал:— Увидишь, будет у тебя воды сколько душе угодно!

Подождав, пока он удалится, она проворчала:

— Да, за километр... Бедняга ты мой Рейлан...

Сверху послышалось бормотание — сумасшедшая старуха напоминала о своем существовании, требуя супа или чего-то еще. Мари злобно плюхнула в миску два половника каштановой затирухи и по-

несла наверх, чтобы утихомирить свекровь; это бормотание, точно повизгивание больного животного, целый день напролет наполнявшее дом, в конце концов сведет с ума и ее.

## III

Покупка цемента поглотила почти все их сбережения, прямо скажем, ничтожные — меньше двадцати тысяч франков. После оплаты счетов за мешки с цементом и железную арматуру осталась всего одна бумажка в пять тысяч франков, которую Чернуха поспешно припрятала. В случае крайней нужды ей уже не приходилось рассчитывать на помощь отца: он сам со времени своей болезни находился в стесненных обстоятельствах и вынужден был сдать земли в аренду — исполу.

— Если бы только твой муж не был таким упрямцем! Здесь у меня мы вместе бы легче справились с нуждой, да и расходы бы сократились — ты-то это прекрасно знаешь. И потом, разве это жизнь для тебя — в его дыре, где, что бы он ни затеял, все пойдет прахом... Не понимаю, что его там удерживает...

Старик подошел к окну и вопрошающим взором посмотрел на небо в направлении Маё, как бы ожидая оттуда ответа. Потом, покачав головой, повернулся к дочери: «Ладно уж, Мари, бедняжка, иди...» — и когда она выходила, сунул ей в руку стофранковую бумажку.

У себя дома, после ужина, Мари украдкой наблюдала за мужем, катавшим в грубых пальцах, вымазанных цементом, разломанную сигарету, он торопился, помогая себе языком, дрожа от нетерпения в предвкушении предстоящего удовольствия. Ей тоже хотелось бы понять, что его удерживает здесь. Свобода, полное уединение, позволявшее ему давать волю своим чудачествам? Разве разберешь этих Рейланов...

А ведь всего в десяти километрах отсюда, по ту сторону этих голых склонов, им жилось бы куда привольнее; вечно видеть все это — есть от чего сойти с ума. Гигантские пустоши наводили на Мари тоску — недаром рассудок ее свекрови не выдержал этого окружения и постоянного одиночества. Кто знает, когда и как это у нее началось, спрашивала себя Мари, глядя на гнетущую стену гор. Ей начинало казаться, что вся её жизнь от рожденья до смерти неудержимо катится по этому порыжелому склону, внушавшему ей непередаваемый ужас.

Окончив сооружение водоема, Рейлан три-четыре дня околачивался дома — занимался мелкими поделками: там замажет дыру, здесь укрепит расшатавшуюся раму, но видно было, что душа его к этому не лежит — это он просто от нечего делать, да надо было и остатки цемента использовать. Мари заметила, что настроение у него внезапно испортилось. Глядя на то, как он с веселкой и мастерком слоняется по дому с утра до ночи, словно неприкаянный пес, она не могла дождаться, когда же он наконец отправится в лес.

Время от времени он как безумный вбегал в дом и срывал подвешенное к балке, всегда заряженное ружье.

— Когда-нибудь ты и меня застрелишь!

— Сколько раз тебе объяснять, что собачка спущена!

И тотчас раздавался выстрел под самым окном.

Возбуждение, охватывавшее его всякий раз, как над фермой появлялась хищная птица, казалось Мари совершенно неоправданным и не переставало ее удивлять.

— Что с тобой? Можно подумать, что ты увидел волка в своей

овчарне! Да и курятник, насколько я знаю, у нас пуст... Зачем зря тратить порох? Оставь эту птицу в покое.

Он стоял на вытоптанной перед домом площадке с ружьем в руках и провожал взглядом маленькую хищную птицу, потом, не говоря ни слова, возвращался в кухню и перезаряжал ружье. Вид у него был какой-то странный, потерянный. Но ведь охотой на ястребов кладовую не пополнишь. Так же, как, впрочем, и сооружением водоемов и заделыванием дыр в стенах. Еще неделя прошла в мелких поделках и охоте на ястребов, потом, когда он однажды опять вошел в кухню с дымящимся ружьем, она не выдержала:

— Если ты хоть что-нибудь не заработаешь до жатвы, нам не свести концы с концами. Твой цемент сожрал наши сбережения до последнего франка.— Она присела к столу напротив него и, собравшись с духом, продолжала:— Я не хотела тебя огорчать, но... Тебе придется к кому-нибудь наняться, Рейлан. Я говорю так не потому, что хочу тебя обидеть... Если ты не принесешь в дом немного денег...

Полураскрыв рот, держа ружье на коленях, он внимательно глядел на нее, видимо не улавливая смысла ее слов. Она рассердилась:

— Ну, как тебе проще объяснить... У нас совсем не осталось денег, ни гроша, понимаешь? Если бы отец не подсовывал мне время от времени сотню-другую... В этом году ни грибов не было, ничего! Одни каштаны, каштаны, каштаны, неужели они еще лезут тебе в глотку? А если неурожай! Или заболеет кто из нас? Ведь случись что с твоей матерью, нам даже за гроб заплатить нечем!

Голос у нее задрожал от слишком долго сдерживаемого волнения. Она встала и взволнованно заходила по комнате.

— Я уже давно собираюсь поговорить с тобой... Есть ведь люди, лучше нас устроенные, а и они не выдержали, уехали —да вот не дальше как на прошлой неделе Рувьеры, ты их знаешь, из-под Кассанья. Он — твой ровесник, пошел в жандармы, а ты ничуть не глупее его...

Рейлан встал и повесил ружье под балку; руки у него дрожали.

— Мне тяжело говорить с тобой так, но я вынуждена... После уборки урожая видно будет, но пока тебе надо искать работу, а то не на что будет даже табаку купить, даже пороху для твоих ястребов... У меня осталось только на керосин, ореховое масло кончилось, нет больше ни сахара, ни кофе... А я, мне...

Она рухнула на стул и заплакала, закрыв лицо руками. Но, всхлипывая, она не переставала раздраженным тоном говорить:

— Неужели тебе-то все это не надоело, ведь ты уже пятнадцать, а то так и двадцать лет работаешь задаром! Твой отец от этого умер, мать сошла с ума, один только брат понял, что к чему. Я молчала, когда ты возился с водоемом, но не воображай, что очень весело таскать воду за целый километр... Я больше не могу, Рейлан, я больше не могу! Одна, целый день одна с этой сумасшедшей там, наверху... Мой отец болен и тоже совсем один в Мазель-де Мор, и ведь мы прекрасно могли бы там поселиться все вместе, разводили бы кур, выращивали овощи, продавали яйца, молочные продукты... А что ты посадишь здесь? Ни цветка, ни грядки с петрушкой! Одни скалы торчат!.. Я тоже сойду с ума, если останусь в этом проклятом месте!

Когда она подняла голову, в комнате не было никого. Она кинулась к двери.

— Рейлан!

Он торопливо шагал к источнику, с ружьем за плечами.

— Рейлан! Вернись! Послушай!

Через несколько мгновений он исчез за холмом.

Вечером он не вернулся; ее томило беспокойство; мало ли какая глупость взбредет ему в голову после всего, что она наговорила? Убежать, не промолвив ни слова... Наконец, под самое утро, она услышала звук отворяемой двери и, спустившись, нашла на кухонном столе еще теплого зайца с раздробленной головой: он, видно, выстрелил почти в упор.

## IV

Он нанялся в Марвежоле к приятелю своего тестя — у того сына призвали в армию, и некому было помочь снять урожай груш. За вычетом еды и ночлега он получал пятьсот франков в день; в течение трех недель, пока длился сбор, это были золотые россыпи Перу. Сверхурочная работа позволила округлить сумму, и он принес домой ровно одиннадцать тысяч пятьсот франков плюс «начинка для пушки»; для себя он потратился лишь на табак да на порох. Это заставит Чернуху на время прикусить язычок. Да и урожай, несмотря на засуху, может статься, будет не такой плохой, как предполагали, если только не налетят грозы и не поляжет рожь перед самой жатвой. А когда закончатся вспашка и сев озимых, придет пора, словно бы мелом отмеченная в его мозгу,—пора рубки и разделки леса; тридцать гектаров буковых лесов да с десяток общинных хвойных помогут ему отложить кое-что в железную коробочку и обеспечат их топливом на всю зиму.

В его радужной программе было лишь одно темное пятно: период больших снегопадов, загонявших его на лесопильню. Ведь жить как-то надо. Но не есть же чужой хлеб из милости... Он сплюнул в сторону Мазель-де-Мор. Яйца, овощи, молочные продукты... Как-нибудь и сам выкарабкаюсь.

— Это ты?

Она вышла к нему навстречу и трижды подставила ему щеку для поцелуя: за три недели, что он не видел ее, она изменилась, потолстела, черты ее лица расплылись, в глазах появился какой-то хитрый звериный огонек.

Он бросил деньги на стол (себе оставив всего один тысячефранковый билет).

— Вот видишь! — торжествовал он.— Ты волновалась понапрасну.

Поджав губы, она со вздохом спрятала деньги в железную коробочку. Он спросил, как обстоят дела там, на чердаке, с его матерью, вернее, с тем, во что она превратилась.

— Она почти перестала есть,— сказала Мари,— и совсем взбесилась. Каждый раз, как я отношу ей затируху, она пытается меня укусить! Но сейчас это уже позади, теперь ты дома и сам будешь кормить ее; я не переношу ее вони...

Они молча поужинали салатом из помидоров — разумеется, из Мазель-де-Мор, куда она ходила в его отсутствие по три раза в неделю, чтобы чем-то занять время. Он пытался вызвать ее на разговор, желая удостовериться, что взял верх, но их снова разделяло молчание, нарушаемое лишь стрекотом насекомых и, несмотря на затененную прохладу кухни, сухое, точно трут, готовое в любую секунду воспламениться от малейшей искры, как снаружи, где горное плато обратилось в огромную раскаленную жаровню, так и здесь, в доме, где за занавеской от мух что-то как бы кипело в масле и, перекрывая все звуки, угрожающе гулко тикали часы с маятником.

Когда он захотел налить себе воды, ему лишь со второго раза удалось приподнять кувшин.

Он был как громом поражен, увидев, что вместо воды стакан наполняется песком.

Мари глядела на него, побелев как мел.

— Это еще что? — проворчал он сквозь зубы, не запнувшись ни на одном слоге. От волнения он переставал заикаться.

Злоба, скопившись, словно наэлектризовала комнату. Они оба медленно и одновременно встали из-за стола. Со звоном упала на пол вилка — казалось, все сейчас посыплется следом за ней.

— Это твой источник, Рейлан.

У него заходили желваки на скулах, вздулись жилы на висках и на шее, он широко разевал рот, чтобы дать выход душившей его ярости и разочарованию. Бесцветным, неестественно ровным голосом она приказала:

— Молчи. Сядь и выслушай меня. Потом делай что хочешь!

Тут ее голос все-таки дрогнул. Именно это проявление слабости, а отнюдь не наигранное бесстрастие утишило его ярость; он понял, каких усилий стоит ей сохранить спокойствие и не расплакаться у него на глазах. Ибо он отдавал себе отчет, что в такие минуты она перед ним робеет. Но зачем тогда понапрасну злить его? Чего ей еще не хватает?

— Уже неделя, как источник иссяк. Один песок — вот что я там нахожу.

— А водоем? — сказал он упавшим голосом.

— Вода, которая натекла в твой водоем, протухла; наверно, надо было хоть бы раз наполнить его и спустить. Вот уже неделя, как я хожу по вечерам в Сен-Жюльен с бутылью на тачке. Мне пришлось отвести в Мазель-де-Мор моих овец и твоего коня.

Насекомые смолкли, и в комнате воцарилась тишина, нарушаемая лишь тиканьем старинных часов, которое болезненно отдавалось в сердцах супругов, усиливая напряжение; желая разрядить обстановку, Мари испустила какое-то кудахтанье:

— Вот, бедный мой Рейлан, какой подарок приготовила я к твоему возвращению.

Ошеломленный, обескураженный, он сидел некоторое время, не говоря ни слова. Потом встал и направился к двери, машинально прихватив по дороге ружье.

— Куда ты идешь в такую жару?

Ничего не ответив, он ринулся в пекло.

От терпкого запаха нагретого дрока было тяжко дышать. Небо напоминало озеро расплавленной ртути, линия горизонта таяла в дымке испарений, поднимавшихся над землей, как пар над котлом: невозможно определить, где кончается твердь и начинаются небеса. В ущельях жара стояла такая, что казалось, окунаешься в кипящую древесную смолу. Уши закладывало словно ватой; потом стрекот насекомых вздымался вдруг, как сноп искр над жаровней.

А вокруг источника — ни единого насекомого, никаких признаков жизни: пустая низина, заброшенная, белая, как скелет,— мертвая.

Он пощупал рукой песок, которым Чернуха хотела его напоить, и тотчас же, словно укушенный, отдернул руку: горячий, сухой, раскаленный добела! «Ну и напортачил же здесь господь бог!»

Вне себя от бессильной ярости, Абель выстрелил в воздух — жалкое пуканье в оглушительном рыке жары,— выстрелил в небо, такое к нему безжалостное, вырывавшее у него изо рта воду и хлеб, доставшиеся с таким трудом. Но небо было невозмутимо и пусто — не оказалось даже ястреба, на котором он мог бы сорвать убийственный гнев, наполнявший звоном его уши. Пинком ноги он сшиб деревянный желоб, шедший от источника. «Сволочь! Вот тебе, сволочь!» Все их сбережения пропали даром. И пот был пролит напрасно! Он работал как негр и вернулся к разбитому корыту, к высохшему роднику! Ни-

что ему не дается... Земля отказывается делиться с ним своими богатствами! Казалось, все на свете ополчилось против него — он с ненавистью посмотрел на свое ружье, которое явно было не в силах сотрясти небесные своды,— весь мир против него ополчился: вечные неприятности, паскудство, западни, ждущие человека на каждом шагу, горести, убытки и ни одного подарка судьбы, ни одной милости от небес, им жалко даже маленькой грозы, которая наполнила бы цистерну. «Я бы тебе показал, господь бог! Попробуй только спустись сюда!»

Обливаясь потом, как бешеный бык, он дико озирался, ища, на ком бы выместить свою ярость; взгляд его упал на чахлый бук, одиноко стоявший на голом склоне.

Он бросился к буку, который словно боязливо скрючился при его приближении, готовясь бежать. Обхватив ствол обеими руками, он нагнул его так сильно, что корни затрещали. Этот сочный подземный хруст разрядил чудовищное напряжение, которое владело им, и горячая волна плотского наслаждения захлестнула его.

## V

Он не появлялся всю ночь. Мари полагала, что он старается развеять свою злость, бродя по лесу и браконьерствуя; только бы не налетел на лесничего! Ей представлялись кровопролитные сцены, но к утру она от усталости все же забылась сном.

Трилистники и сердечки на ставнях в Сен-Жюльене едва начали вырисовываться в сером свете зари, когда сонные жители главной улицы, соединяющей поселок с национальным шоссе, услышали громыхание и скрежет тачки, проезжавшей у них под окнами. Немного спустя та же тачка проехала в обратном направлении уже с меньшим шумом. Тот, кто вез тачку, был, видимо, чем-то возмущен: он бормотал себе под нос ругательства, словно пьяный.

А между тем он выпил всего лишь воды — правда, вволю, отчего ногам стало немного легче; он даже воспользовался безлюдием раннего часа и умылся у фонтана, пока наполнялась его бочка; таким образом он сэкономит немного воды из дневного рациона: столько-то для готовки, столько-то Чернухе на умывание, столько-то сюда, столько-то туда — придется-таки ему попотеть, с этой сволочью! Три четверти часа на спуск с пустой бочкой — это еще куда ни шло, но подъем с грузом вверх займет не меньше часа с четвертью; к тому же из-за рытвин и камушков, попадающих под колеса, так натрудишь руки, что к концу пути тащишь оглобли тачки под мышками; он уже испытал это месяц назад, когда волочил наверх мешки с цементом, а теперь это удовольствие предстоит ему каждое утро, до тех пор, пока добрая гроза не наполнит его цистерну и не возродит источник. Какое паскудство! Хоть бы это гнусное небо покрылось тучами!

Будь у неба совесть, оно бы лопнуло от края до края под его уничтожающим взглядом. Но гнусное предрассветное небо, на котором звезды стали гаснуть, сохраняло постыдную невозмутимую ясность.

Конечно, во всей этой истории была и его доля вины: если бы он принимал те же меры предосторожности, что его предки, цистерна и сейчас была бы наполовину полна. При жизни отца влагу не

транжирили зря, он ведь помнил, как перед войной старик выдавал им воду по кружке и носил на часовой цепочке ключ от замка, запиравшего рычаг насоса. В те времена на большинстве ферм вообще не было водопровода, цистерны держали на запоре, и все находили это естественным; а теперь женщины поступают как им заблагорассудится — и вот результат. А в довершение всего этот сволочной родник иссяк в середине лета; такое бывает раз в тридцать лет, и надо же, чтобы это случилось именно с ним, божья гнусность, сволочное паскудство! Впрочем, было такое в 1928 году. Это лето запечатлелось в его памяти как черное пятно от слепящего солнца. Дьявольская жарища, земля, затвердевшая словно цемент, дороги и кусты в меловой пыли, обезумевшие кузнечики, стрекочущие и после захода солнца. Ему было всего семь лет, но его посылали «в наряд» за водой в Сен-Жюльен вместе со всеми; воду тогда носили в бутылях — мать называла их «крестной мукой». Младшего братишку везли вниз на тачке — этой самой, разумеется; откуда, спрашивается, взялись бы у них лишние деньги на новую? Да нет, он ошибся... Братишку не могли возить в тачке — то был 1928 год, и он еще не родился. В конце концов все путается в памяти.

Ему казалось, что с каждым оборотом колеса мысли его разматываются, как нитка. Едва лишь катушка кончалась, он вновь принимался рассчитывать ежедневные нормы расхода воды; он был целиком поглощен своими расчетами и, сам того не замечая, говорил вслух. Когда он в серо-голубой предрассветный час вступил со своей тачкой на мост через Миманту, раздался насмешливый голос: «Немного же у тебя останется для поливки газона!»

Это ему повстречался Делёз, один из коммунальных почтальонов; он ловил с моста рыбу на красного червя, используя утро перед тем, как заступить на дежурство. От неожиданности и смущения Рейлан отпустил оглобли, мужчины обменялись несколькими словами. Над самой водой трепетали фиолетовые стрекозы; высоко выпрыгивавшие из воды форели сбивали их ударом хвоста.

Рейлан достал табак и, смочив языком бумажку, свернул цигарку.

— Тебе-то засуха нипочем,— сказал он, пососав цигарку, прежде чем закурить.— Ты живешь у воды!

В постепенно розовевшем свете зари он видел квадраты огородных грядок, окруженные воздушной зеленью ив, ветви которых, местами тронутые желтизной, защищали овощи от ветра. Участок, засеянный эспарцетом, отделял огород от почтальонского домика, к стене которого сверху донизу прилепились клетки с кроликами. Вся эта съедобная роскошь, выставленная как бы напоказ, эта свежая зелень, обихоженная и благоухающая на заре, вызывала острую зависть у отшельника, вынужденного возить на себе воду, в то время как у других река течет чуть что не под кроватью!

— А ведь ты тоже живешь на берегу реки,— сказал почтальон непререкаемым тоном, делая вид, что разглядывает крючок, погнутый форелью.

— Чего? — опешив, переспросил Рейлан.

Почтальон повторил отчетливо и со значением:

— Говорю тебе: ты тоже живешь на берегу реки.

Рейлан пристально глядел на Делёза, который был явно доволен произведенным впечатлением.

— Ты что, издеваешься надо мной?

— Ни над кем я не издеваюсь. Ты знаешь, ведь мой отец служил во флоракской мэрии.

— Ну и что?

— Он составлял опись угодий. Отыскивая номер одного земельного участка, он наткнулся на твою ферму. Маё — было написано в реестре: ущелье Маё. А над твоим домом на карте было еще одно слово. Знаешь, как называется в этом месте гора?

Почтальон забросил леску в воду, раздался легкий всплеск.

— Гора называется Эквалетт; оказывается, это от латинского, как и Эгуал, и значит: «водная».

— Водная?

— Да, водная, такая, где есть вода. Ведь источник-то вытекает из-под земли. В старину знали, что говорили: если они назвали гору Эквалетт, это не просто так, за здорово живешь. Я уверен, что под твоей фермой полно воды. Надо только ее найти.

Эквалетт. Полно воды под фермой. Найти ее. Рейлан глядел вниз на ровные грядки — овощи словно поддразнивали его.

Воображение рисовало ему цветы и зелень: в один миг перед ним предстал своего рода оазис вроде того, который он видел на картинке, листая в детстве старую Библию отца.

— Я бы на твоем месте не колебался. Вместо того чтобы надрываться, таская вверх воду, я раздобыл бы ее из-под самого дома. Проще простого.

— Но ведь источник-то иссяк?

— В том-то и дело, что источник и гора — разные вещи; представь себе, даже когда все вокруг сухо, там внизу всегда есть вода. Доказательство — Комбебель: там под ногами гранит, а поток никогда не пересыхает. Погляди вон туда, как он течет среди тополей, видишь? А вся западная сторона, где известняк ну просто кусок сыра! Тебе надо искать прямо напротив, в восточной скале — в граните, это уж точно, ты найдешь воду. Верняк. Ведь все заброшенные шахты со временем заполняются водой.

Рейлан вспомнил, что действительно, когда он работал в молодежном отряде в Виллемане, он случайно набрел в долине Бонёр на старую штольню, где бетонные стояки, все в пятнах мазута, и ржавеющая лебедка были залиты водой; опрокинутая вагонетка валялась в зарослях дрока, еще усиливая и без того жутковатое впечатление от этого места, словно в панике покинутого некогда людьми.

Вспомнил он и колодцы, которые принимался было копать отец, но, вскоре разуверившись, по своему обыкновению, бросал.

— А как ты думаешь, подземная вода залегает очень глубоко?

— Я не ведун и не водяной, но могу тебя заверить: если бы я жил там, наверху, у меня в домишке давно текла бы вода.

Вода в Маё. Эти слова звучали как заклинание; подобная возможность невесть когда отошла в область утопий, чтобы не сказать сверхъестественных чудес, таких, о которых никто уже не думает всерьез, как не надеются крупно выиграть в национальной лотерее или найти клад — эти воображаемые блага намного превосходили пределы реально осуществимого. Чтобы из крана потекла вода, которую не надо экономить, проточная, свежая, живая вода, а не застоявшаяся, тяжелая, мутная вода из цистерны — это казалось столь же невероятным, как воскрешение из мертвых. Вот почему великан так пристально всматривался в своего собеседника, ловя в его лице малейший признак насмешки или издевательства; но нет, вне всякого сомнения, почтальон говорил совершенно серьезно:

— Подохнуть от жажды, сидя на водокачке, ну и люди! Я на твоем месте ни минуты бы не колебался: чем ты рискуешь?

На мэрии в Сен-Жюльене часы пробили шесть. Бросив последний, исполненный зависти взгляд на грядки почтальона, Рейлан взялся за оглобли тачки, и мужчины расстались.

— Когда найдешь воду, пригласи меня выпить кувшинчик! — прокричал вслед Делёз.

На дороге появились первые машины.

Рейлан, толкая в гору свою тачку, ощущал странное брожение во всем теле, бочка уже не казалась ему такой тяжелой, как до остановки на мосту; он думал о грядках с овощами. Но было кое-что и еще, трудно передаваемое словами. Сердце у него сладко защемило, как в детстве от радостного предвкушения каникул или похода в лес. В охватившем его лихорадочном запале он потерял представление о времени и пространстве и опомнился только на самой вершине холма, иными словами — почти дома, проделав весь путь словно бы по волшебству.

На сероватом небе заиграли ярко-оранжевые пятна, и в этот момент из пепла за горизонтом, как чудовищная планета, рожденная землей и еще сохранившая земное тепло, появился раскаленный докрасна диск солнца, сразу же начавшего припекать.

Прилетели вороны, нахальные, неопрятные, и уселись на каштаны за фермой. Рейлан насторожился: ни одного ястреба в поле зрения. С самого отъезда в Марвежоль у него не было времени на эти глупости — стрельбу из плохого ружья по недосягаемой цели. Теперь у него появились другие заботы; трудную задачу предстояло ему решить — проникнуть в сердце гор, но об этом он пока никому не скажет ни слова. Эквалетт. Проточная вода; фрукты, овощи, яйца, домашний скот.

Он заранее горделиво смаковал свою тайную, одинокую победу.

Услышав его шаги, Мари вышла на порог; у нее были красные, опухшие глаза — следы бессонной ночи и слез.

— Ты мог бы меня предупредить, что не придешь ночевать...— Она вдруг озадаченно умолкла.— Но ты совсем взмок, бедняжка ты мой! Иди скорей переоденься, а то еще схватишь простуду... Проклятая ферма в могилу вгонит и тебя и меня, это уж точно!

Он спокойно опустил на землю оглобли тачки, потом несвойственным ему повелительным жестом заставил жену замолчать.

— А если мне любо надрываться, это уж как сам желаю...

Он поднял бочку и отнес ее в кухню, где поставил на два сдвинутых стула, потом распрямился, красный от натуги, и, еле переводя дух, сказал:

— Лишь бы ты ни в чем не нуждалась и имела каждое утро бочку свежей воды под рукой.

Он вышел, а она ошеломленно смотрела ему вслед: одиннадцать с половиной тысяч франков она должна растянуть до сбора урожая и пятьдесят литров воды в день на все домашние нужды — и у него хватает наглости говорить, что она ни в чем не нуждается! Неужели ничто на свете не пробьет этого дикого упрямства, не поколеблет его заблуждений?

Она села за стол и стала чистить горох — разумеется, из отцовского огорода,— недоумевая, откуда у ее мужа такая самоуверенность. Какое новое безумство таится за ней? Какое еще дурацкое предприятие он затеял? Абель внушал ей страх — не то чтобы она боялась побоев, пинков или чего-нибудь в этом роде. Конечно, если он вспылит, с ним лучше не связываться, но она не сомневалась, что внутреннее благородство не позволит ему перейти известных границ. Нет, опасения ее были куда серьезнее. Она боялась, что он сходит с ума.

Сорок восемь часов спустя, рано утром, глухой взрыв потряс землю, эхом отдаваясь в окрестных горах,— то Рейлан пытался пробить шахту.

# VI

— Зачем тебе столько пороха?

Остолбенев от удивления (надо же, Рейлан скупил у нее весь запас пороха), старуха из Феррьера, вот уже полвека принимавшая от местных жителей налоги и снабжавшая их заодно патронами, порохом, а при надобности табаком и сигаретами, которые кое-как были напиханы в ее кухонном шкафу, смотрела на него сквозь блестящие стекла круглых очков: усики в уголках губ делали ее похожей на рыбу-кота, а в желтом одутловатом лице было нечто восточнокупеческое — мальчишками они приписывали это ее многолетней привычке торговать из-под полы.

Рейлан, не отвечая, выложил на клеенку две с половиной тысячи франков (сегодня ночью он стянул их из копилки). Двадцать пять фунтовых пакетов черного пороха — хватит на первое время, чтобы растрясти скалу, и будет стоить куда дешевле динамита, который, конечно, действеннее, но зато непомерно дорог, на него еще надо и разрешение получать, и шнур прикупить, а черный порох достаточно насыпать в кулек да скрутить штопором фитиль из газеты; само собой, приходится отбегать, но все получается прекрасно, он уже попробовал утром, использовав порох, остававшийся от стрельбы по ястребам и воронам. Взрыв получился глухой, ленивый, облако дыма поднялось, распространяя запах селитры,— исконный запах сражения и развороченной земли еще долго стоял над раздробленной скалой, и свежие трещины в ней словно говорили о немых, устрашающих, невыразимых страданиях. Кирка и лом не заржавеют теперь там, в буковой роще, метров на пятьсот — шестьсот выше Маё, где мшистая почва и гибкий подлесок свидетельствовали о тайном источнике влаги. Не считая тяжкой обузы — доставки воды, что будет отнимать у него каждое утро два часа, он сможет, по крайней мере до жатвы, целиком посвятить себя этой задаче, которая подрывала его силы почти так же, как он собирался подорвать гору.

Уже уходя от сборщицы налогов, он вспомнил, что у него кончается табак, и положил еще три франка на стол, засиженный мухами; сунув в карман самодельный табак и перекинув мешок с порохом через плечо, он открыл дверь, и на него пахнуло, как из печки.

— Нашел жилу и боишься, как бы кто не отнял?

Старуха — живое, бесполое воплощение зачерствелой меркантильности и нищеты — мелкими шажками прокралась за его спиной, чтобы закрыть дверь. Он сделал вид, что не слышит, и, медленно развернувшись, как тяжело нагруженное судно, исчез в ослепительном сиянии дня.

Тропа начиналась в сотне метров от поселка; начисто обглоданная, точно кость, вытоптанная стадами, она пересекала все плато; затвердевший известняк, усыпанный овечьим пометом, звенел и хрустел у Абеля под ногами, словно осколки фарфора.

А зеленоватое пятно, спускавшееся там, напротив, к восточной стороне плоскогорья и наполовину скрывавшее вызванную эрозией широкую трещину,— то была Эквалетт.

Теперь, когда это название звучало в нем, он был точно одержимый, подобно влюбленному, которого имя возлюбленной сводит с ума.

Он остановился, скрутил цигарку, но прежде чем щелкнуть зажигалкой, положил мешок в тень можжевельника: с порохом шутки плохи! Почти на уровне тропы, прямо над скалами, желто-красный прямоугольник лежал заплаткой на левой части плато — Большая земля; уже три года подряд снимаемый с нее урожай изглаживал

из памяти ее прежнюю мрачную славу. Рассеянные повсюду заячьи норы испещрили плешинами эту по-восточному чахлую землю, костлявую, совсем как грудная клетка некормленой скотины со впалыми боками — и, однако же, снимаемая с нее «шерсть» давала возможность трем людям выжить и жить. В прошлом месяце именно там убил он огромного зайца — сидел как в засаде в мастабе [1], возле которой умер его отец; он утишил свою ярость, выстрелив в зайца почти в упор.

Абель вставал очень рано, часа в три-четыре, так что успевал привезти воду и водрузить бочку на место до того, как жара и жена могли бы осложнить ему дело; возвращаясь, он старался не шуметь и после тяжких усилий, от которых у него подгибались ноги, подкреплялся кружкой холодного молока, закусывал каштанами и поднимался в направлении Эквалетт.

Восходящее солнце заливало подлесок красным светом, пока недостаточно теплым, чтобы высушить росу на растениях. Абель пересекал холодные полосы застоявшихся с ночи запахов, еще отражавших ночное лицо природы. Когда он доходил до забоя, ослепительно сверкающее солнце вмиг высушивало пот, выступивший у него на спине во время подъема. Скручивая первую цигарку, он со спокойным удовлетворением осматривал проделанную накануне работу и каждый раз удивлялся, что продвинулся дальше, чем ожидал; вид земли и щебня, вырванных из бока горы, доставлял ему странное удовольствие, как будто речь шла о полезном труде, могущем принести реальную материальную выгоду, а не о сомнительной, быть может, совершенно ни к чему не ведущей трате сил. Но он начинал сомневаться в уместности и удаче своего предприятия, только когда приходил в физическое изнеможение — перед сном, например, когда вдруг оказывался один на один с враждебной ему неизвестностью, и все начинало казаться бесполезной, нелепой выдумкой.

Очень быстро лопата и заступ наткнулись на гранитную подошву, столь твердую, что ее пришлось дробить ломом: к пороху Абель прибегал только в крайнем случае. Обычно достаточно было просунуть лом сантиметров на десять да навалиться на него всем телом, и пласт, откалываясь, с глухим шумом скатывался вниз. Когда пласт был слишком плотный, слишком глубокий и не поддавался, он применял порох, а поскольку фитиль делал минимальной длины, ему приходилось рысью отбегать метров на десять под укрытие ближайших деревьев.

Иногда со взрывом выходила осечка и Рейлан начинал все сначала, проклиная небо, которое не разверзлось, чтобы поразить его громом, как в другие времена не дарило его своими благодеяниями; в такие моменты он озирался вокруг, ища для своей ярости более осязаемой жертвы, и если случайно ястреб или какая-нибудь другая хищная птица парила в это мгновение в безоблачном небе, ярость его тотчас утихала, богохульные проклятия замирали на языке, он бросал лопату и, поддавшись старой своей мании, шел к буку, на котором висело его ружье, не спуская глаз с живой мишени, заставлявшей забывать обо всем на свете.

Он опускал ствол ружья на ветку и долго целился, упиваясь минутой, когда птица находилась у него на мушке и он, как ему казалось, обладал над ней таинственной властью. Наконец раздавался выстрел, негромкий, жалкий, тотчас развеивавший чары, а он стоял как потерянный, пока взор его не падал на строительную площадку, на отверстие, которое уже вырисовывалось в скале; тогда он перезаряжал свой старый «шасспо», нехотя, волоча ноги, плелся назад,

[1] Арабское название могильного склепа из камня.

снова принимался за работу, и лишь постепенно к нему возвращался азарт; обычно, когда на него находила апатия, он не спеша скручивал цигарку, проводил ладонью по колесику зажигалки или чиркал спичкой и зажигал почти одновременно и сигарету и фитиль запала; утренний покой нарушался глухим продолжительным взрывом, желтоватая вуаль пыли и дыма окутывала солнце как при затмении.

Он откладывал в сторону орудия своего производства в полдень, когда густая маслянистая жара до краев заполняла чашу плато, а земля и травы исходили резким, сухим запахом; он садился под буком, доставал фляжку, отпивал глоток еще свежей воды, сгрызал несколько каштанов, кусочек твердого мылообразного сыра, одновременно с завтраком поедая глазами кучу земли и каменистых осколков, размеры которой, казалось, уменьшались обратно пропорционально его все возраставшей усталости. Прежде чем возобновить работу, он дремал часа два; обычно он просыпался от ощущения ожога на лице и частенько не сразу мог понять, где находится,— то ли оттого, что был еще в полусне, то ли оттого, что лучи, изменив свое направление, делали пейзаж неузнаваемым. Разинув рот, опустив плечи и руки, он отупело глядел на вырытую им траншею, залитую ослепительным, отраженным от свежего излома в скале солнечным светом.

Медленно, словно нехотя, брал он в руки кайло, и мало-помалу день возобновлял свой рабочий ритм вплоть до сиреневого заката и погружения в свежесть и сумерки.

Собрав все свои орудия и завернув их в брезент, чтобы они не отсырели от ночной росы, Абель спускается вниз, приминая влажные травы и эластичную землю, чувствуя, как от соприкосновения с ними усталость его уменьшается. Действительность, которую он нес в себе — битва с горой, открывающая широкие перспективы, это ни с чем не сравнимое дерзкое отплытие в великое и неведомое грядущее,— заставляла его забывать ту действительность, что ждала его внизу у порога с поджатыми губами, уныло вытянувшимся носом, крючковатыми, жадными до чего-то вещественного руками, сытая по горло обещаниями, чуждая беспочвенных, лирических увлечений,— злобную действительность, расчетливую, вечно всем недовольную, ощетинившуюся завистью, как ежик иголками, все сводящую к сиюминутной низменной пользе, бесчувственную в постели, скупую перед лицом смерти — даже ей ничего не одалживая или одалживая нехотя,— страдающую запорами, терпящую лишения ради лишений, предпочитающую скудное благоразумие скопидомов безумию тех, кто шагает, засунув руки в пустые карманы, храня все свое богатство в голове. «Из-за тебя мы умрем на соломе... Мы кончим, как твоя несчастная мать,— она опять укусила меня сегодня утром... Твой брат оказался умнее, смеется небось над нами в своей Швейцарии... Подумать только, как мне хорошо жилось без тебя в Мазель-де-Мор... Неужели ты думаешь выбраться из беды, продырявив скалу, неужели надеешься, что мы будем как сыр в масле кататься, если ты бог знает когда, после многолетней каторги, найдешь проточную воду... Ты надрываешься, надрываешься, пока другие богатеют, блага людям сыплются как из рога изобилия, а мы сидим тут и ждем, когда рак свистнет. Иной раз мне кажется, что ты сошел с ума».

Однажды вечером, по обыкновению молча выслушав ее причитания, он свернул валиком одеяло, прихватил табак, две-три горсти каштанов, снял с крюка «летучую мышь» и отправился спать наверх под небом, усыпанным звездами, среди бесчисленных шепотов ночи. Свет луны скользил по гладкой листве, разбивался в траве на тысячи ярких осколков. Ночь была такой тихой, что даже лес, казалось, за-

таил дыхание. В светящейся тьме над миром людей, усмиренных мраком и сном, соловьиные трели создавали иной мир, праздничный и беспечный, далекий от дрязг, раздирающих бедное человечество. Иногда прорывался случайный шум мотора, осквернявший тишину, как шлак — чистую воду, но очень скоро навязчивый звук таял в складках горы, а ночь обретала вновь свою пышную звездную безмятежность, чуждую человеку и времени, не имеющую ни памяти, ни конца, ни начала — подобную лику божества.

Как-то вечером, засыпая, Абель увидел на противоположном склоне огромного амфитеатра множество голубых искр, которые поднимались как столб светящейся пыли и двигались по опушке леса; приподнявшись на локтях, он следил глазами за этим родственным звездам свечением, дивясь той легкости и небрежности, с какой природа, освобожденная от воздействия человека, разворачивала перед ним как бы частицу Млечного Пути. Вот звездная пыль достигла вершины горы и постепенно исчезла, растворившись в синеве летней ночи, а он еще долго, затаив дыхание, вытянув шею, глядел туда, где растаяли живые искры, ощущая в голове пустоту, а в груди укол острого одиночества, как если бы он жалел, что не смог последовать за ними.

После нескольких часов мертвого сна, едва почувствовав плечами утренний холодок, он вставал, потягивался, справлял нужду и окидывал взглядом плоды своих ежедневных трудов. Тусклый, бесцветный свет обрисовывал вершины пока еще темных гор, на фоне которых понемногу выявлялись чуть более светлые пятна травы, каменистых обвалов, песчаных осыпей. Первые птички чистили перышки, сводили счеты, гонялись друг за другом, перепархивая с ветки на ветку деревьев и кустов, где находились их гнезда. Из леса доносился прохладный, острый запах мокрого дрока. Мир вокруг Абеля продолжал жить на свой особый лад, отличный от людского, беззаботный и нерасчетливый, всецело предавшись славословию этого мига творения, длящегося уже несколько миллиардов лет.

А ему тем не менее надо было возвращаться к людям, спускаться в Сен-Жюльен с бочкой на тачке, проходить под окнами спящих, у которых в кухне был водопровод,— иногда он видел, как они поливают свою фасоль или настурцию, и тогда от земли шел влажный запах, не менее аппетитный, чем запах свежевыпеченного хлеба, идущий из печной отдушины булочной,— запах, от которого каждое утро у него слюнки текли; однажды, не в силах противиться искушению, он стал на корточки перед отдушиной, протянул удивленному булочнику монетку в десять су и получил взамен полбатона, который изжевал тут же на месте, зарывшись носом в горячую мякоть, как голодный пес в миску с супом.

Кстати, проделанная работа уже начала заметно сказываться на его здоровье; раньше он не придавал значения еде — свежий воздух и открытые просторы манили его куда больше, чем обильная пища. Но при всей его умеренности организм требовал более существенного подкрепления, чем безвкусная жидкая затируха, от которой вздувается живот, но не наращиваются мускулы. Поэтому у него вошло в привычку — вернее, он вернулся к старой привычке, ибо он уже широко и умело пользовался природными ресурсами во время долгого отшельничества на хребте Феррьер — ставить силки под каждым кустиком дрока на двести — триста метров вокруг своего лагеря, и каждое утро находил нескольких белохвосток, сплющенных между двумя камнями; он жарил их, горя нетерпением, как в старые добрые времена, когда его праща свистела возле помойной ямы. Он мгновенно раздирал тушку зубами, оставляя только клюв да лапы,—

это ему придавало силы для борьбы с горой: ни дать ни взять громадный плотоядный муравей, который ударами кирки заставлял своих микроскопических собратьев разбегаться, унося белые яйца, чтобы спрятать их поглубже в землю.

Время шло к середине августа, а он и не заметил, что пролетели три недели с тех пор, как он начал долбить Эквалетт. Между тем шахта достигла уже метров семи-восьми в глубину; иногда, просыпаясь по утрам, он разглядывал отверстие, зиявшее среди куч выброшенной земли и щебня, и поражался, как смог он один за столь короткий срок проделать эту гигантскую работу: ему казалось, что он едва-едва ее начал.

Добравшись до такой глубины, он стал продвигаться уже под землей, и хотя в этом были свои преимущества — прохлада, тень, кров на случай грозы,— возникли и новые трудности. Во-первых, крепление; было бы чертовски легкомысленно продолжать долбить и особенно подрывать скалу, надеясь на прочность камня и не укрепив траншею надежным перекрытием. Лес был у него под рукой — над шахтой протягивали свои атласные, узловатые ветви буки, серые, словно бы в подражание обступавшему их граниту. Две вертикальные балки и одна горизонтальная через каждый метр, да в случае надобности еще и стояк в центре обеспечат ему, вероятно, полную безопасность; не зря же он работал крепильщиком на шахте в Биллемане, для обшивки которой он целыми днями разделывал бревна! Искусство обтесывания стояков и крепления стен было ему известно, как никому другому; неисповедимы пути господни! Кто бы мог подумать, что все это пригодится ему в один прекрасный день?

Выяснилось еще одно — оказывается, надо, чтобы у шахты был небольшой наклон к выходу; иными словами, долбить следовало снизу вверх.

Он сделал это немудреное, но и важнейшее открытие как-то утром, пытаясь выкатить наружу довольно большую каменную глыбу, которая явно не желала ему подчиняться, хотя он сначала осыпал ее проклятиями, а потом даже стал уговаривать; этот случай заставил его обратить внимание на то, что его шахта имеет уклон скорее к центру, что никак не годилось: если он и наткнется на подпочвенную воду, то как он сможет вывести ее на поверхность, не прибегая к дорогостоящей сложной механике?

В тот день он посвятил часть утра изготовлению ватерпаса из бутылки от лимонада, посредине которой наклеил две параллельные полоски пластыря, которые должны были отмечать местоположение пузырька воздуха в бутылке, полной воды. Бутылку и пластырь, оставшийся со времени несчастного случая с братом, он нашел в чердачном тайнике как раз над головой матери, которая следила за ним остановившимся взглядом, скорчившись на соломе, не мертвая и еще не спекшаяся от удушающей жары, царившей под черепичной крышей.

— Ты не думаешь, что пора бы старуху перевести с чердака?

— А ты бы взял да устроил ее в приют, в конце концов это твоя мать, а не моя, у меня и так хватает работы, мне надоело таскать еду и мыть ей задницу среди такой вони, да еще имея на все про все один несчастный литр воды!

На этот раз их взаимное непонимание приняло угрожающий характер.

Возникла проблема освещения шахты, куда свет все позже проникал по утрам и все раньше уходил вечером — отчасти из-за ее глубины, отчасти оттого, что дни в августе стали значительно короче; Абель работал при колеблющемся свете двух свечей, и от каждого

его движения вокруг беспорядочно прыгали тени. Он подсчитал, что подземное освещение стоит десять су в день — не то чтобы целое состояние, но все же следовало поторопиться и выйти к подпочвенному роднику как можно скорее.

Последняя задача, хоть и не столь важная, была, однако, самой неприятной — выбрасывать наружу вынутый грунт. До сих пор он таскал глыбы, прижав их к груди, или катал по земле, если они были слишком тяжелые; но с увеличением расстояния делать это становилось все труднее.

Нужно было придумать какой-то способ, чтобы избавиться от бесконечного хождения туда и обратно с тяжелыми плитами или мешками щебня, набитыми так, что, того и гляди, лопнут. А они, шут бы их побрал, и лопались, не стесняясь!

Тачка.

Единственный выход.

Но тогда ему придется возить ее каждое утро вниз — не может же он подвесить бочку с водой себе на шею, как вешают на шею сенбернару бочонок водки? Да и не так-то легко таскать тачку сюда без дороги, через пни, заросли, скалы, по склону, заросшему высокой, по горло, травой! Повторять этот подвиг каждый день было бы чистым безумием. Он посмотрел на свои руки, приложил их к груди: как бы ни был хорош механизм, при таком обращении он может и отказать...

Абель почувствовал, как им овладевает отчаяние. В ослепительном свете августовского дня он медленно вышел из своей пещеры, остановился на самой верхушке щебеночного террикона, и, поскольку он вдруг потерял веру в себя и в свою затею, все эти нагромождения камней и зарывшиеся в траву обломки, эта черная дыра в скале показались ему утомительной, тщетной, в высшей степени странной выдумкой — да, ничего не скажешь, работенка для полоумного. Он спрашивал себя: увенчаются ли все эти усилия успехом или он напрасно потратил время и огромный труд, опрометчиво кинувшись в предприятие, далеко превосходившее его силы? Глядя под ноги на щебень, выброшенный из шахты, он почувствовал, что мечта его рухнула из-за какой-то тачки. Весь его замысел рассыпался.

Он сошел вниз и сел, прислонившись спиной к стволу дерева, ощущая внутри лишь огромную пустоту,— на этот раз даже курить ему не хотелось, как обычно после завершения какого-то этапа работы. Не хотелось ему и стрелять из дрянного ружья по недосягаемой цели; он глядел, как кобчик мягко парит в высоте над его шахтой, и даже не потянулся к заряженному ружью, висевшему тут же на ветке. Пусть кружит там сколько угодно — уж больно все ему осточертело. Его охватило ленивое оцепенение: спуститься в Маё за тачкой казалось ему задачей невыполнимой, сверхчеловеческой. Он видел себя в три погибели согнутым над этим склоном, толкающим всю эту гору плечами, впряженным в тачку, в которой, обернувшись, чтобы понять, откуда взялась ее непомерная тяжесть, он обнаружил жену и мать. Он пытался их вывалить, но они сопротивлялись и цеплялись за тачку изо всех сил.

Вдруг он с ужасом увидел, что оглобли остались зажатыми у него в руках, а тачка с обеими воздевающими руки женщинами безудержно катится вниз. Он испустил глухой стон, резко отпрыгнул, словно спасаясь от падения, и внезапно проснулся: уже почти стемнело; он, видимо, задремал от усталости, и во сне ему привиделся этот кошмар.

Ему почудился странный шум, он прислушался: всего лишь легкий ветерок шелестел временами в деревьях. Настоящего ветра дав-

но не было — тишь стояла уже несколько недель; лето обратилось в огромный котлован жары, где все засалилось, как в котле с кипящим жиром. Несколько дуновений, пошевеливших листья буков, казались чудесными и многообещающими, как шум прибоя после перехода через пустыню. Он выпрямился, ему захотелось выкурить сигаретку там, наверху, над шахтой, ближе к вершине горы, куда этот прилив воздушных волн несет весть с далеких просторов.

Усевшись на каменистой прогалине, венчающей вершину горы, он задумчиво курил, следя за порывами и направлением ветра, наблюдая за зарницами, учащение которых могло бы стать предвестием грозы, собирающейся или уже разразившейся сейчас над склонами Обрака и над Родезом и, возможно, идущей сюда, что разом изменит погоду. Но изредка повторявшиеся зарницы всего лишь беззвучно освещали длинные облака и мало-помалу совсем угасли, погрузив задний план пейзажа во тьму,— так бывает на сцене, когда потухнут огни рампы. Слабый ветерок тоже утих, наступила странная тишина — насекомые умолкли, трава не колыхалась, казалось, все живое покинуло эти высоты, и теперь он последний их обитатель. Ему стало как-то не по себе одному среди этих молчаливых лесов, перед темным, немым горизонтом, под черным безлунным небом, в котором мерцали звезды, раскиданные словно бы реже обычного, точно само небо в этот вечер тоже было покинуто... Он вдруг решил лечь спать не на воздухе, а в шахте: эта мертвая, пустынная, охваченная каким-то оцепенением ночь ничего доброго не говорила его сердцу, причиной чему, возможно, были дневные его неприятности, но стоило ему забраться в глубь своего туннеля, зажечь свечу и закурить цигарку, как его охватило странное умиротворение от того, что находится он под укрытием и защитой многотонной скалы; он чувствовал себя под землей спокойно, как крот; погасив свечу и завернувшись в одеяло, он заснул в своей подземной норе, как ребенок в объятиях матери.

В середине ночи он вдруг проснулся от ужасающей вспышки, прервавшей его сон; спросонья он было подумал, что это взрыв и его погребет под обломками шахты; с бешено бьющимся сердцем он бросился наружу, где был встречен ослепительным светом, который, разорвав мглу, высветил пейзаж, и через мгновение все снова погрузилось в темноту; за ярким светом последовал оглушительный удар грома, эхом отдавшийся среди пещерообразных туч, сгустившихся над плато, пока он спал. Ему казалось, что земля дрожит у него под ногами. Каждый удар грома гремел среди гор, словно разорвавшаяся бомба. Грохот казался еще страшнее оттого, что на землю не упало ни капли дождя; не было даже ветра. Конечно, Абель не первый раз видел сухую грозу, обычно приводящую в ужас женщин, детей и животных частыми яростными вспышками молний, от которых нередко возникают пожары в крытых гумнах и в лесу. Полузакрыв глаза, втянув голову в плечи, он содрогался от ненависти к этому бессмысленному разгулу звуков и электрических разрядов, которые словно бы залпами орудий сотрясали ночную высь, не соблаговолив пролить ни капли влаги. И подумать только, что в этих тучах достаточно воды, чтобы избавить его от всех невзгод! Незачем было бы ходить в Сен-Жюльен, тратить время, выбиваться из сил — цистерна наполнилась бы (в нее стекала вода со стольких крыш, что она могла наполниться за одну ночь); родник бы снова ожил, водоем тоже наполнился бы, а он завтра же утром пошел бы за тачкой, и жена перестала бы терзать его бесконечными жалобами, может быть, даже согласилась бы снова стать женщиной — ведь уже не один месяц,

несмотря на водоем, несмотря на зайца, несмотря на одиннадцать с половиной тысяч франков, она не подпускает его к себе!

Гроза продолжала бушевать — настоящий ночной фейерверк, освещавший плато негреющим светом только затем, чтобы досадить людям и посеять ужас среди животных.

— Не думай, что я тебя испугался! — заорал он между двумя ударами грома.

Он вышел с непокрытой головой и плюнул от злости; жаль, что у неба нет лица, оно заслуживает плевка. Больше всего злило его то, что, когда вселенная противодействовала ему, некому было погрозить кулаком, некого обругать: перед ним была пустота.

Но зачем зря тратить силы? Лучше вернуться в пещеру и провести там остаток ночи.

Однако сколько он ни вертелся на своем одеяле, как пес в конуре, заснуть он не мог. То он говорил себе, что надо отступиться, положить ключ под порог, бросить все и наняться на угольную шахту; то снова приободрялся, решал продолжать начатое, не думая о будущем, а на заре спуститься в Маё за тачкой; он пойдет за водой с двумя десятилитровыми бутылями по одной в каждой руке — пусть Чернуха обходится как знает. Он придумал было запрячь лошадь в самодельные сани, как это делали в старину на угольных шахтах; но лошадь, даже если не испугается темноты, вряд ли пройдет по узкому тоннелю, загроможденному креплениями, даже в овчарню ее никак не загонишь, а только лишь потому, что дверь там ниже и уже, чем в ее старой конюшне в Мазель-де-Мор.

Время от времени Абель вставал и выходил поглядеть на грозу — все тот же грохот, те же огромные, ослепительные прорывы, в которых вдруг появлялись из тьмы деревья, скалы, горы, ущелья и тучи; и ему казалось, что он вновь слышит голос своего отца, как в ту ночь, когда страшная гроза уничтожила на корню весь урожай. «Жгучий ветер несется с высот перед лицом Всевышнего, и города будут разрушены, и земля твоя станет пустынею, и не защитит тебя Господь Бог твой». Он пожал плечами. Вполне возможно, что Всевышний и ни при чем во всем этом кавардаке, да и куда бы он мог здесь спрятаться?

Абель снова ложился и погружался в круговорот навязчивых мыслей, из которого не было выхода.

Тогда он вставал, зажигал свечу, свертывал цигарку, затягивался горьким дымом, хотя и без того во рту было горько от желчи, разливавшейся от самобичеваний и чувства собственного бессилия. Чтобы убить время, он поковырял скалу ломом, но вяло и неуверенно; надо сказать, он чувствовал слабость во всем теле, так как со вчерашнего утра ничего не ел, кроме горсти каштанов,— со вчерашнего утра, ибо ночь уже перевалила за половину. Он бросился наружу, услышав шорох листвы,— нет, это сильный порыв ветра пригнул деревья, поднял столбы пыли и гонит сухие листья, и опять-таки его отец с полным правом мог бы сказать, что Всевышний тут ни при чем: то злой вихрь хлещет деревья и сыплет песок в глаза.

Из последних сил, истощив даже злобу свою, он воздел руки к черным тучам, сгустившимся над Горным краем. О! Если бы только пошел дождь... Но меж расставленных пальцев он ощутил лишь сухой, тепловатый ветер, сыпучий, точно песок. Проклятая погода! Проклятый край! Проклятая пустошь, где все колосья к утру полягут от этого дурацкого настырного ветра, точно по ним прошло стадо быков! А отец никогда не садился за стол, где стояла всего лишь миска вареных каштанов, не прошептав усталым голосом: «Возблагодарим тебя, господи, за щедроты и милости твои». Если б его бла-

годарили за неприятности, вся жизнь превратилась бы в одно сплошное славословие. А теперь, значит, он, как пророк Илия, должен верить, что господь не повинен в этом алом пламени, которое разрасталось, раздуваемое ветром, между Маё и Мазель-де-Мор, над ландами, куда только что ударила молния и, видимо, подожгла кустарник и сухую траву. Если пожар не ограничится несколькими гектарами ланд и перескочит через поток, пожирая смолистый лес, будет ли господь в ответе за это новое бедствие? Ответ последовал незамедлительно: хлынул как из ведра ливень, столь яростный, что и не пророк понял бы — Всевышний опять ни при чем, он не имеет отношения к этому жестокому, слепому потопу, который, возможно, и пресек в зародыше пожар на вершине Феррьера, но зато, как бы в награду за эту услугу, прибил к земле хлеба. Бог не уничтожает людских посевов — скорее всего, он попросту не интересуется тем, что произрастает на земле.

Прислонившись к гранитной стене своей шахты, Рейлан приобщался к беспощадной логике жизни. Он глядел, как при вспышках молний льются на землю потоки воды, наполнявшей подземные реки и цистерны, оживлявшей чахлый лес и уносившей культурный слой с обработанных земель. Разве их еще детьми не учили, что бог отнимает одной рукой то, что дарует другой? «Бог дал, бог взял, да святится имя его». Ну и гнусность!

Он снова лег спать, устав от всей этой бессмыслицы, и на этот раз немедленно заснул, как это часто случается в сильный дождь.

## VII

Когда он проснулся, уже рассвело; низко нависли серые облака, моросил прохладный дождичек. Выйдя из туннеля, он глубоко вдохнул влажный воздух, пахнущий перегноем, улитками и сырым деревом. Небольшой ветерок шумел в листве. Этот легкий, ласковый шепот как бы возвещал конец тревог и возможное начало новых бедствий, ибо так оно повелось на земле. Завернувшись в одеяло, поскольку было довольно свежо, он стал на пороге своей шахты, прислушиваясь к земным шумам; дождь приятно шелестел в листьях, стекал с веток — после долгих месяцев засухи и тяжких трудов звуки эти ласкали слух, умиротворяли душу.

Немного позже, часов в семь или восемь, когда он спускался к дому перекусить (никогда еще он не был так голоден), погода стала проясняться и взъерошенные птицы, почти потерявшие голос после ненастной ночи, перекликались хриплым щебетом. Легкий ветерок разгонял облака, обнажая то тут, то там прогалины дивного голубого неба, умытого, блестящего, словно эмаль.

Когда жена услышала его шаги, она открыла дверь и вышла ему навстречу: вид у нее был растерянный.

— Мать умерла сегодня ночью,— сказала она тихо.

## VIII

Урон был значительный: больше половины урожая погибло. Только после трех солнечных дней отдельные колосья на полях начали подниматься. Источник бурлил, цистерна была почти полна, водоем тоже не замедлит наполниться, погода исправилась, не наполнится лишь железная коробка-копилка.

Рейлану не терпелось покончить с жатвой, опостылевшей из-за беспрерывных хождений туда и обратно: ближайшее к ферме поле находилось в получасе пути. Когда-нибудь все это изменится.

А пока надо было хоронить старуху, мастерить гроб, копать могилу — за кладбищем, которое было уже переполнено,— позвать доктора Стефана, чтобы он подписал «свидетельство о смерти».

— Это часто случается в конце лета,— заявил доктор, составляя разрешение на похороны; едва он отодвинул от себя бумажку на клеенке стола, как с удивлением обнаружил, что тотчас все устремились в спальню, куда перенесли покойницу, чтобы люди не судачили о чердаке. Впрочем, все — это громко сказано, их было всего трое: муж, жена и тесть. Младший братец ограничился телеграммой: «Задержан обилием работы. Сердцем с вами. Подробности письмом. Жозеф-Самюэль Рейлан». Так он подписывался в торжественных случаях.

А доктору Стефану не все ли равно — сейчас или днем позже похоронят покойницу, какое ему дело до того, что не позвали пастора? Во-первых, она умерла три дня назад, а умершие в грозу разлагаются быстро, сколько бы ни говорили, что при ее худобе... И разве эту старушку, весившую не больше вязанки сухой лозы, вернуло бы к жизни, если бы мосье Бартелеми или еще кто-нибудь принялся болтать вздор над ее бренными останками?

Вот они и воспользовались присутствием доктора как единственного постороннего лица на похоронах. Получалось не так уныло, тем более что доктор был прилично одет, в черных ботинках, со шляпой в руке, при галстуке и всем прочем. Он попросил у них Библию, чтобы произнести несколько слов над могилой: «Конечно, я не в той вере воспитан, но это неважно, надо выполнить долг по отношению к ней.— И добавил:— И по отношению к нам самим». Шутники, эти доктора. Перед тем как начать надгробную речь, он вдруг наклонился к Чернухе и шепотом спросил, как звали усопшую.

Честное слово... Она растерялась и посмотрела на мужа, вытянув шею, вытаращив глаза. Деспек молчал; он тоже не знал или успел забыть.

Жюльеттой звали ее. Да, точно — Жюльеттой. Да нет, не может быть. Абель уверенно кивнул: «Да говорю тебе, ее звали Жюльетта, кому и знать, как не мне, ведь все-таки я ее сын, а не ты!» Они чуть не поссорились. «Ты вечно все путаешь; с тех пор как ты роешь колодец там, наверху, ты позабыл даже, сколько у тебя ушей». Она никак не хотела признать, что свекровь звали Жюльеттой. «Еще чего скажете!» Наконец доктор их примирил: «Пусть будет Жюльеттой!» И начал свою короткую речь словами из Библии. Словами, которые Абелю были хорошо знакомы; после похорон он их повторил, и оба сразу заткнулись — и жена и тесть. А между тем не его заслуга, что он знал эти слова наизусть: отец читал их по крайней мере раз в неделю, иногда даже два.

Когда доктор посмотрел на часы, собираясь уходить, они спросили, сколько должны ему за визит, за беспокойство. Он и слышать ни о чем не хотел. «Я ничего с нее не взял, когда принимал у нее вашего брата и при вашем рождении тоже; не стану же я брать с нее плату за смерть!» Говорил доктор сердито; он бросил последний взгляд на гроб в могильной яме — из щели торчал кусок черной материи, видимо, это его беспокоило; потом поспешно пожал им руки, извинился, что дела не позволяют остаться до конца, чтобы помочь им засыпать могилу, и удалился быстрыми шагами, склонив набок голову, длинноногий и еще стройный для своих шестидесяти с лишним лет...

Час спустя в свою очередь распрощался с ними и тесть; при его медленной ходьбе, да еще с огромным животом, который все рос, хотя он почти ничего не ел, ему понадобится часа четыре, чтобы при-

быть в свою гавань. Вот почему они остались в кухне вдвоем, праздные в час, когда обычно каждый из них работал, неприкаянные, точно в воскресный день; и верно, можно было подумать, что сейчас воскресенье или же праздник, мускулы ныли от непривычного безделья, мысли разбредались, слова не шли на язык. Абель вышел, чтобы выкурить у порога сигарету. Предосеннее небо расцветилось игривыми облачками, как поле — маргаритками; под таким лазурным ласковым небом резвятся синицы и ласточки, хочется уйти по дороге в неведомые края, глядя, как колышутся на ветру травы по обочинам, слушая, как шелестят в долине тополя. Он услышал ее дыхание у себя за спиной и обернулся — она пристально смотрела на противоположный склон горы, кусая губы и морща нос в гримасе, похожей на гримасу сдерживаемого смеха или издевки; он не мог понять, что с ней произошло, но вдруг глаза ее наполнились слезами; она открыла рот и сказала: «Теперь мы остались одни». Он неловко обнял ее за плечи — такого не случалось со дня смерти их ребенка: «Да нет же, ты не одна, ты со мной. И почему бы твоему отцу не перебраться к нам?» Она медленно высвободилась: «Я одинока, и ты одинок, мы всегда одиноки. И умрем как собаки! Твой брат был прав: я слышала, что он говорил доктору в свой последний приезд, а может, пастору, точно не помню. Он говорил, что мы — ничто. Ничто по сравнению с этой горой напротив. Уж лучше быть камнем, чем жить так, как мы. Если бы только...» Покачав головой, она оглядела вокруг: чего она искала? «Если бы только — что?» Она вытерла слезы, сложила платок и сунула его в карман фартука. «Нет, теперь уже невозможно, нечего и стараться. Ты знаешь, для женщины жизнь без детей...» Она вернулась в кухню. Чуть погодя он последовал за ней — она крошила в кастрюлю с кипящей водой картошку, которую ей принес отец; она даже не обернулась, когда он заявил — надо же ему было что-то сказать: «Если к будущей весне я не найду воды, мы уйдем отсюда». Он надел куртку: вечером наверху будет свежо. Ему уже не терпелось оказаться там в одиночестве, снова приняться за работу, заброшенную вот уже три дня, покончить со странными мыслями, которые начали роиться у него в голове после ее слов; уж лучше крушить скалу и копать песок: в конце концов оно приятнее, чем копаться в собственных несчастьях. Пока продлится сбор урожая, он сможет посвящать своей страсти всего два часа вечером и два ранним утром, что оправдает ночевки в шахте: проснувшись, он будет сразу приступать к работе и тем сэкономит время. Это он ей и сказал на прощанье, немного смущенный, что оставляет ее одну в трауре и слезах; впрочем, ведь это всего лишь ее свекровь, и она должна бы даже радоваться избавлению от неприятных обязанностей: говорят, когда люди не одной крови, они всегда испытывают отвращение к чужому неопрятному телу. К тому же ему трудно было лежать в постели среди четырех стен — ведь его орудия и порох ждут его там, наверху, уже три дня, с самого воскресного утра после грозы. Тачка подскакивала и скрипела у него за спиной, и, по мере того как он поднимался все выше и перед ним раскрывался все более широкий обзор, ему становилось легче дышать, казалось, он обретал себя, к нему возвращался слух, обоняние, умение ясно видеть вещи, сила и радость жизни, которой он не испытывал нигде в другом месте.

Он приготовил заряд побольше обычного (на это пошел целый мешочек — пятьсот граммов пороха), чтобы немного расчистить тунель и расшевелить эту серую застывшую каменную стену, не выдавшую за три дня ни грамма щебня; постой, я тебе покажу, милашка! Он засыпал в отверстие порох, скрутил фитиль из газетной бума-

ги вместе с остатками пороха, утрамбовал, запалил и, когда фитиль загорелся, бросился наружу сломя голову, точно за ним черти гнались.

Добрые черти; каждый раз он переживал волнующие минуты — мчался среди скал, с бьющимся сердцем прятался за своим любимым деревом и, вытянув шею, разинув рот, ждал взрыва с таким чувством, словно вся гора должна взлететь на воздух.

В этот вторник она не взлетела, но была близка к тому, чтоб взлететь; обхватив ствол бука, за которым прятался, он почувствовал, как взрыв отдался у него в груди, а через какую-нибудь десятую долю секунды послышался звук обвала, придавший взрыву оттенок чего-то незавершенного и в то же время живого, и облако дыма и пыли, выброшенное из тоннеля, подействовало на Абеля прямо-таки опьяняюще; никогда еще взрыв не доставлял ему такого острого удовольствия, быть может потому, что, соскучившись и желая отметить свое возвращение, он удвоил обычную дозу пороха. Уже и после того как рассеялся дым, кровь его продолжала кипеть.

А в шахте полученный результат соответствовал шумовому эффекту: почва была усыпана осколками до самого выхода. Между двумя тяжелыми плитами, отставшими от стены после взрыва, в дрожащем свете свечи обозначилось темное пятно; Абель поднес свечу поближе: песок! Затаив дыхание он протянул руку, нетерпеливо просунул пальцы в отверстие, пощупал: сухой!

Поборов мгновенное разочарование, он весь остаток вечера выгребал осколки взорванной скалы и вывозил их на тачке.

Спать ему не хотелось; в полночь он взял ружье и пошел поохотиться на ту самую прогалину со множеством толстых пней, откуда он наблюдал за приближением грозы.

Ночь была светлая, тихая, дышалось легко, как в апреле; опушка леса серебрилась; кусочек луны, подвешенный на небе, словно месяц с открытки, под которым целуются влюбленные, освещал блестящие, глянцевые листья, омытые позавчерашним дождем. Абель вспомнил светящееся облако, которое он видел однажды ночью на противоположном склоне. Что бы это могло быть? Стоит человеку отвернуться, как мир наполняется таинственными вещами, связанными неведомыми узами сообщничества, о которых никто и не подозревает; но человек оборачивается — и они исчезают. Нужно обладать зорким глазом и чутким ухом, чтобы их различить, разгадать их следы, как некогда разбирал он следы ночных посетителей вокруг овчарни на горе Феррьер.

Запах свежих грибов, вылезающих из-под гнилых пней, навеял на него дремоту; часа два спустя он проснулся от резкого крика ночной птицы. Он вернулся в шахту, лег и сразу заснул.

Осень длилась недолго; большие, черные, симметричные косяки перелетных птиц молчаливо торопили приход зимы. Однажды утром, отодвинув брезент, которым он теперь загораживал от ночных холодов вход в свою пещеру, Абель обнаружил, что выпал легкий снежок; за исключением заштрихованных серым ущелий, выше определенного уровня все побелело. По бледному, холодному небу в поисках добычи метались, жалуясь на судьбу, вороны; их карканье было столь же уныло, как едва припорошенные снегом обработанные поля, усыпанные выпирающими комками черной земли. Из трубы фермы струился тоненький голубоватый дымок. А еще вчера было тепло и ярко светило солнце, и вот уже так далеко отодвинулась пора летней жары! Внезапный приход зимы каждый раз выбивает у

людей почву из-под ног, несколько дней все топчутся на месте, как скотина, не узнающая своего стойла; постепенно создается впечатление, что стабильна в мире одна лишь зима. Минувшие солнечные дни кажутся таинственными и мимолетными, как отблески воспоминаний о далекой юности.

Теперь, когда морозные ночи принуждали Абеля спать в постели — отчасти он делал это, чтобы угодить жене,— расписание его дня изменилось. Он вставал в шесть часов и, проглотив добрую тарелку супа, отправлялся в лес, что нравилось ему куда больше жатвы, если уж на то пошло; в лесу он работал один, но среди деревьев никогда не чувствовал себя одиноким.

Ночь приходила скоро, но для работы в шахте дневной свет ему был не нужен. В пять часов вечера, привезя топливо из леса, он распрягал лошадь, дымящиеся ноздри которой Мари разглядывала через стекло, подняв голову от вязанья; подкреплялся миской затирухи и отправлялся наверх сотрясать гору и дробить скалу часов до одиннадцати, иногда до двенадцати ночи. Мари не ложилась, поджидала его, сидя у печки, уткнув нос в вязанье, и он каждый раз принимал ее за свою мать, которая сидела на том же месте и тридцать с лишним лет ждала кого-то или чего-то.

Он вешал куртку, ставил в угол ружье со спущенной собачкой и, красный, замерзший, в дымящейся одежде, грязный, пахнущий порохом, подходил к печке, протягивая растрескавшиеся руки к теплу.

— Последние две недели идет порода с песком пополам, я чувствую, что уже близко. В одно прекрасное утро я явлюсь к тебе мокрый как крыса.

Она пожимала плечами, складывала вязанье, задвигала заслонку, чтобы тепло сохранилось до утра.

— Если ты вообще явишься...

Ему не нравился ее бесстрастный тон: голос ее выдавал отсутствие интереса, подавленность, которая и на него действовала подавляюще. Какой-то бесчеловечный у нее голос. Он свертывал последнюю за день цигарку; напрасно Мари предрекает несчастье — риск невелик: он теперь шел по рыхлой породе, что, во-первых, экономило порох, который был на исходе, а во-вторых, служило признаком того, что он копает в правильном направлении; стояки он ставил почти впритык — лес ему ничего не стоил, кроме сил, затраченных на рубку. В глубине тридцатипятиметрового тоннеля он чувствовал себя в большей безопасности, чем в своей постели.

Мари брала лампу, он поднимался следом за ней по лестнице.

— Не торопись меня хоронить!

Они входили в ледяную комнату.

— Могилу копать не понадобится,— язвила она, задувая лампу, а он уже храпел.

К счастью, зима выдалась малоснежная, снега выпало ровно настолько, чтобы припудрить землю, на белизне которой четко отпечатывались следы заячьей беготни по ледяному насту до самой норки: Абель убил трех подряд накануне праздников, что внесло уют и аппетитный запах в холодную атмосферу дома. Продав одного зайца из трех, он смог к рождеству подарить своей хозяйке пару теплых ночных туфель (она вечно жаловалась, что у нее мерзнут ноги). Этот царский подарок должен был подготовить ее к новому решению, которое он принял несколько недель тому назад и о котором не решался ей сообщить: он не пойдет работать на лесопильню; он уже

не услышит больше скрежета пил и не станет мишенью для насмешек разных ничтожеств из Флорака; он, правда, делал вид, что ничего не слышит, но несмотря на всю его внешнюю толстокожесть с возрастом мелкие уколы становились все чувствительней: приходит время, когда человек легче переносит тяжкие испытания, нежели раны, наносимые самолюбию.

Лес, шахта... Теперь он вышел на широкий простор. Настанет день, когда, добыв воду, он обретет полную независимость; у него в голове роилось множество планов; может быть, весной... При мысли об этом у него всегда что-то обрывалось внутри, как перед прыжком в пропасть, потому что слишком конкретная мысль о будущем обычно несколько сродни прыжку в пропасть.

Каждое утро иней цветным узором расшивечивал стекла; воздух звенел, как хрусталь; малейший шум четко отдавался в звонкой тишине — собачий лай, шорох снега, время от времени мягко осыпающегося с еловых веток, дневная капель, вызванная бледными лучами солнца, проглянувшего сквозь облака, скрип повозки, пыхтение старого автомобиля где-то между небом и землей на тяжком подъеме, а после полудня — похрустывание снега, размягченного солнцем.

Однажды, работая в лесу, он услышал странный крик в небе и, подняв голову, увидел ястреба или какую-то другую хищную птицу — очень высоко и далеко в малокровно-белесом небе. Впервые слышал он крик ястреба; да и вообще, последние несколько месяцев он провел в глубине тоннеля, и ему давно не приходилось испытывать того особого возбуждения, которое вызывал в нем один лишь вид этих птиц. Он воткнул топор в дерево и схватил ружье, которое он, опьяненный своим успехом — ведь сразу трех зайцев уложил наповал, стал теперь заряжать тройной порцией пороха: его уверяли, что «шасспо» может выдержать давление выше нормы, и он проверил это несколько раз, укрепив ружье меж двух камней и предусмотрительно спуская курок с помощью веревочки. Результат получался поразительный; выстрелы звучали куда мужественнее, дробинки летели гораздо дальше: он нашел царапины на коре дерева почти в шестидесяти метрах от места выстрела. Теперь берегитесь! А старик Рейлан так всю жизнь и проболтался с этим старым градусником, который надо всовывать дичи чуть ли не в рот или в зад. Конечно, ему советовали не класть больше двух граммов пороха. А старик был не из тех, кто станет рисковать своей шкурой, чтобы выяснить, можно ли положить три, не получив при этом заряда в лицо. Привычка к военной дисциплине — и на суше, и на воде, и во всех прочих случаях.

Абель целился не спеша в далекую черную точку, положив на ветку ствол ружья; птица действительно залетела очень высоко в бескрайнее, несмотря на облака, зимнее небо; когда раздался выстрел, произошло нечто необыкновенное: птица в предсмертном танце беспорядочно замахала крыльями и начала медленно опускаться, словно сухой лист, подхваченный ветром. Попал! Рейлан бросил ружье, сердце у него готово было выскочить — вытаращив глаза, он как безумный принялся бегать по снегу. Ухлопал! Ухлопал! Птица, казалось, не в силах была обрести равновесие и снова набрать высоту; она махала крыльями, или, вернее, билась, но, как бы отяжелев, продолжала снижаться Черт побери, это он начинил ее дробью! Чтобы не потерять свою жертву из вида, он мчался по снегу, раздвигая ветви, хлеставшие его по замерзшим ушам.

Вдруг ястреб, собравшись с силами, спланировал и скрылся за

гребнем в ста пятидесяти — двухстах метрах от Рейлана. Перед тем как птица исчезла, ему почудилось, будто она потеряла перо, но оно слишком быстро падало, чтобы и впрямь оказаться пером. Красный, потный, вне себя от разочарования, Рейлан взобрался на вершину холма и блуждающим взором окинул сплошную тусклую белизну снежного наста с кое-где выступавшими на нем примятыми пучками дрока. Ни следа ястреба, разумеется; ничего, кроме лежавшего на снегу маленького грызуна, высохшего, подохшего бог знает когда. Он поднял этот фетиш, несомненно упавший с неба, задумчиво рассмотрел его у себя на ладони и смущенно сунул в карман. Быть может, он все-таки задел у птицы лапки; теперь уже не узнаешь. Во всяком случае, выстрел был знатный: вырвать из когтей ястреба добычу на такой высоте казалось ему величайшим подвигом, и он не удержался, вечером в подробностях рассказал об этом жене. Он показал ей маленький пушистый трупик. Мари смотрела на грызуна с любопытством, смешанным с отвращением.

— Брось его сейчас же в огонь, слышишь? Можно подумать, что ты луну с неба достал!

Рейлан не ответил, но, выйдя за дверь, вместо того чтобы выбросить зверька, хорошенько спрятал его в щели между стеной и навесом — тут его никто не найдет. Абель продолжал гадать: полетел ли ястреб умирать, или дробинки, просвистев мимо крыльев, всего лишь испугали его. Как бы там ни было, что-то да стряслось с ястребом — и на какой высоте! — наконец он попал в эту заколдованную цель, которая время от времени появлялась на его горизонте, пробуждая в нем странное безотчетное любопытство.

На другой день вроде бы в награду, где количество заменило качество, он убил четырех крупных воронов — четырьмя выстрелами, что в его глазах втайне увеличило ценность этой незавидной дичи, которую он даже не стал подбирать и высокомерно оставил на съедение лисицам. Он разглядывал пустое небо, смотрел на тусклое солнце и ощущал, как в нем вздымается все то же желание, неопределенное и ненасытное.

## *IX*

В эту зиму, не будь у них коз, их подобрали бы, наверно, если не умершими от голода, то во всяком случае ослабевшими от дистрофии; причем спасло их не молоко, которого козы зимой не дают, а мясо; они их просто-напросто съели. Удивительнее всего было то, что ему удалось без особого труда уговорить ее съесть своих собственных коз (ее «подружек», как она их называла); сначала они зажарили мясо одной козы — его хватило им на неделю, мясо двух других они засолили и подвесили в заледеневшей пристройке; каждое утро Мари отрезала твердый, как дерево, кусочек, из которого готовила суп или рагу. С той же ужасающей покорностью она, наверное, приготовила бы под соусом и своего пса. Мир, в котором жили эти двое, уже не имел отношения к остальному человечеству. Абель думал только о своем тоннеле, жертвуя всем ради этой безумной затеи, а жена подчинялась ему, участвовала в его игре с той зловещей пассивностью, с какой относятся окружающие к выходкам и бесчинствам душевнобольных.

Когда он сообщил ей о своем решении не работать, как в прошлые годы, на лесопильне во Флораке, она на это даже не реагировала, как не противилась и закланию своих любимых коз; не дрогнула она и тогда, когда он водрузил их буфет на тележку старьевщика, который решил нажить состояние, прочесывая район и очищая фер-

мы от старинной мебели, а иногда не гнушаясь и резными балками или гранитными каминными досками, извлеченными из развалин. За два месяца он трижды к ним возвращался и опустошил все комнаты; с полным равнодушием помогала она грузить мебель, выручка за которую тут же улетучивалась, превращаясь в еду и в дым, застилавший подземную галерею, съедавший со слепой ненасытностью Молоха плоды трудов двух или трех поколений.

Абеля смущало ее безразличие к стольким жертвам, и он начал уделять ей часть своего драгоценного времени; пытаясь наладить хотя бы видимость каких-то отношений, он говорил воркующим голосом, каким палачи разговаривают иногда со своими жертвами, которые внушают им жалость или зачем-то им нужны:

— Здесь мы посадим овощи, а тут цветы; курятник же надо будет устроить в защищенном от ветра месте — как ты думаешь?

Что могла она думать? Такими примитивными хитростями, притворяясь, что в чем-то предоставляет ей право принимать решения, он не выведет ее из апатии, не заставит заговорить.

Она возвращалась к очагу и садилась возле него с вязаньем на коленях; комната, лишенная мебели, казалась еще огромнее и холоднее, чем прежде.

И снова их разделяло молчание, густое, как застывший жир, такое давящее, что им все труднее становилось его приподнять или разбить словами.

Впрочем, однажды вечером, когда он, вернувшись из шахты, налил воды в тазик и стал умываться, она оторвалась от вязанья, поглядела на него с холодной, жуткой улыбкой и извлекла из глубин своего молчания слова, произнеся их слабым, умирающим голосом; он был так потрясен, что даже вышел из дома, чтобы она не увидела, как он побледнел. Ему стыдно было даже самого себя и своей совести, он пошел в конюшню, заговорил с лошадью, стал звенеть упряжью, чтобы немного прийти в себя. Но факт оставался фактом: она уличила его в подлоге; наверное, она поднялась наверх и проникла к нему в галерею, когда он работал; и надо же было, чтобы именно в этот момент он облил водой из ведра несчастную стенку, в которой ковырялся! Как объяснить ей, что он не столько хотел ее обмануть, сколько заставить терпеливо ждать и не возмущаться, когда он приходит домой по уши в грязи, уверить, что конец предприятия близок. А она изобличила его!

Теперь он чувствовал себя перед ней совершенно голым.

Усиленно водя скребницей по одному и тому же месту, он, сам не замечая, что делает, провел в конюшне несколько невыносимо тягостных минут.

Может быть, она права? Надо быть сумасшедшим, чтобы копать во тьме, в пустоте, неизвестно ради чего, жертвуя всем, думал он, стоя в конюшне со скребницей в руке.

Время летело стремительно. Вчера еще было лето; сегодня утром — осень; вечером зима, завтра утром — весна: ведь уже март. Пока он транжирил то немногое, что имел, другие жили, обогащались, без страха ждали приближения обеспеченной старости. А он растрачивал свою жизнь и достояние на черный порох.

Он уронил скребницу на пол, машинально направился к двери, вышел. Небеса были ясны — Горный край в морозной красоте примерялся к высоким весенним небесам. Что-то словно шевельнулось в его груди, то, что он столько времени лелеял и чему суждено умереть. Пора браться за ум, следовать разуму — ее разуму, разуму торжествующей жертвы. Оставить Маё, покинуть все, что любил, и прилепиться к победоносной супруге (Если бы ты меня не взял... Кто

тебя тянул за язык...) и умирающему старику, который весь пожелтел и все-таки продолжает жить! Но это еще не самое худшее.

Самое худшее — это все бросить, отречься в каком-то смысле от того, чем он был до сих пор, признаться, что все его деяния тщетны и только ускорили полный крах, приблизили поражение, затянули как в трясину,— иными словами, перестать быть самим собой.

Вдруг он остановился и, будто пробудившись от страшного кошмара, огляделся вокруг; несомненно, на какое-то время он впал в беспамятство и не сознавал, кто он и где находится. Мирная ночь простирала над ним свои огромные синие пространства. Тут-то он и почувствовал, что смотрит на себя со стороны удивленно, как на чужака. Странное это было состояние между добром и злом, между небом и землей. Ноги, казалось, уже не держали его, тело потеряло вес.

Он опустился на низенькую стенку, за которой некогда его брат, второй сумасшедший, строил башенки, пуская из них дым.

Что же произошло в его голове? Видимо, он принял решение все прекратить, продать проклятую ферму, последовать за женой в Мазель-де-Мор. Он вернулся в дом, желая сообщить ей об этом, но она спала или притворялась, что спит. И тут, по-видимому, требовалось вмешательство судьбы. Но ведь судьба чаще всего дарует милость тому, кто в ней не нуждается. Как бы то ни было, напрасно Чернуха так поступила. С одной стороны, ее можно понять, но ведь муху на уксус не поймаешь, и, обижая его на глазах у всех, она могла ждать, что он заупрямится, замкнется, будет упорствовать в своем заблуждении.

На другое утро, чуть забрезжил рассвет, он отправился наверх за инструментом. Он все еще чувствовал себя как-то сомнительно, неуверенно, не в своей тарелке, что ли... Он навалил на тачку инструмент, порох, кирку, фонарь и спустился вниз в полусонном состоянии, как больной после наркоза. Если бы в этот момент судьба, случай, фортуна протянули ему руку помощи. Но ведь именно тогда, когда мы покачнемся, слепая судьба и подталкивает нас.

Он ставит тачку у порога. И кричит под окном ее комнаты: «Мари! Мари!» — радуясь, что может сообщить ей приятную новость. Одна из маленьких радостей, вознаграждающих нас за насилие над собой. Она будет в восторге, с этого начнется их счастливая жизнь: Мари! Мари! Он мог бы звать ее так до скончания века. Он входит, поднимается наверх, открывает дверь в спальню — на постели никого, и едва увидев за широко раскрытой дверцей спасенного от старьевщика шкафа пустоту, он сразу понимает, что она удрала к отцу.

Он кубарем скатывается с лестницы, осматривает службы, для очистки совести добегает до источника — Мари! Мари! Бегом возвращается в кухню, где остывшая плита и холодный очаг высказывают за нее все четыре претензии: ребенок умер, он продал всю мебель, зарезал ее коз и ничего не желает слушать. Но для него ясно другое: после мучительной ночи он хотел принести жертву, с честью возместив те годы жизни, которые он у нее отнял, женившись на ней: а она предпочла поставить его перед фактом; и тогда он быстро раскрутил в мозгу события в свою пользу. Он вернулся обратно к тому моменту, когда почва ушла у него из-под ног. Незачем уступать. Он еще им покажет — ах, гадюка! Бросить его одного после всего, что он для нее сделал! Водоем, источник, поденщина в Марвежоле, где католики косились на него за столом, а хозяин, смутившись, объяснил в ответ на его жалобу: «Кюре говорит, что у гугенотов всего

лишь один глаз посреди лба». Мучение с тачкой под насмешливыми взглядами и шепотком всех остряков Сен-Жюльена и, наконец, все пережитые невзгоды, которые он сейчас вспомнил, уколы самолюбия, начавшиеся еще со школьной скамьи, удары судьбы, так щедро одаряющей других,— разве он не вправе попытаться взять реванш за все унижения, неведомые богатым и удачливым; его охватил неистовый гнев, мужское опьянение собственными обидами, он схватил стул и изо всей силы трахнул его об стену.

Погрозив кулаком в сторону Мазель-де-Мор, он принялся топтать обломки стула, приговаривая: «Подлюга! Подлюга! Подлюга!» Потом упал на единственный оставшийся целым стул и, уронив голову на руки, заплакал. По пустому дому разносились хриплые рвущиеся из горла рыдания, похожие на мычание больной скотины.

## X

Дикая пряная весна, будто пришедшая с океана, из Аквитании, а не с юга, гнула деревья, гнала огромные синебрюхие тучи, сквозь просветы которых дробные лучи золотили молодую травку. Повсюду струилась обильная, разнузданная вода, полируя высокие скалы, заливая тенистые склоны, заросшие крапивой кладбища и картофельные поля с вынесенными паводком на поверхность слюдяными блестками. Год солнца и воды с затишьем среди дня, теплым, как губы, подставленные для поцелуя... При порывах ветра из кустов, словно пригоршни камней, летели стайки птиц. В глубине долин и ущелий облака отражались в ледяных лужах, сморщенных кельтским ветром, который ревел среди скал, точно стадо бизонов. Невидимый, но звучный, он несся дальше, волнами пробегая по траве, и за синеватыми стеклами старухи вытягивали шею, глядя, как едва зазеленевшие хлеба расступаются перед тенью гигантского корабля, а за ним мчится ватага мелких облачков, тени которых приступом берут холмы и легко перескакивают через стены. Ветер стонал в улочках, проулках, воротах так, что дух захватывало, углублялся в слабо светящиеся недра колодцев. День разворачивался, и погода менялась с внезапностью калейдоскопа: сначала на дождливой оловянной заре — бледное свечение мокрых камней и крыш. Ветреные, облачные с прояснениями утра вплоть до полудня, когда ветер, случалось, становился на прикол. Тогда хутор и поселок выглядели на ярком свету по-летнему, только строгие очертания голых веток вносили в пейзаж зимнюю черноту. Вечером дождей не бывало — наоборот, небо прояснялось и простиралось, необъятное и разноцветное, в сторону заката, океана, пышного запада, обеих Америк — Америки Северной, звездно-полосатой, к которой эти плато примыкали в эру трилобитов. В сумерки Горный край вновь становился морем, а поднявшийся ветер дул в направлении Полярной звезды.

По утрам приходилось умываться у источника; пить там, где пили дикие кабаны; бороды он не трогал. Жены нет — зачем бриться. Водоем был полон до краев голубоватой, блестящей, словно бы ледниковой водой, жесткой и жгучей; после умывания лицо на некоторое время немело. Неудержимый галоп ветра по лугам возвещал о восходе солнца, ибо лавандовое небо прояснялось; никакого дождя — солнце и ветер.

В косых красноватых лучах зари Абель потягивался всем телом, еще слегка одеревеневшим от усталости. Но суставы его теряли подвижность не от сырости в галерее, где он спал на соломенной под-

стилке, а оттого, что ему приходилось вывозить и громоздить на терикон высотой в двадцать метров тачки сухого песка и щебня из своей подземной Сахары. Через каждые десять тачек он откладывал кирку, лом и рубил деревья для подпорок; одна работа механически и бездумно следовала за другой; он забыл прошлое, откладывал (на вечер) мысли о будущем. Его окружало настоящее — незыблемое, весомое, многие сотни миллионов лет, заключенные во многих сотнях миллионов тонн скалы, и молчание — не движущееся и дышащее, а окаменелое, стерильно-чистое, в котором иногда биение собственной крови он принимал за звук падения капель и напрягал слух, стараясь угадать, откуда слышится бульканье. То, что мир снаружи меняется, движется, сияет всеми цветами радуги, казалось после многочасового рытья столь неправдоподобным, что каждый раз, выходя из тоннеля, чтобы вывезти щебень или выкурить сигарету, он бывал заново поражен, и глаз его не уставал любоваться зеленью деревьев на голубом фоне небес.

Иногда он слышал голос, зовущий его снизу: «Эй! Почта!» Это был Делёз, подсовывавший под дверь рекламные проспекты или — очень редко — розовый листок, который Абель яростно мял и сжигал в печке. Государство и сюда суется, ну и черт с ним, ему-то чего еще надо?.. Кончив работать и лежа в своем подземном логове, он изучал рекламы при свете свечи, соблазненный яркими красками и вызывающими названиями этих продуктов потустороннего мира: Омелит, Мак-Кулок, машина полурабочая, полувоенная, которую нацеливают на дерево, точно пулемет.

Тогда Абеля охватывало смятение — то же смятение, какое он испытывал, видя, как в небе, грохочущем всеми своими глубинами, проносится сверкающий лайнер, символ молодости мира, рожденный где-то далеко и летящий над древними землями с великолепным высокомерием завоевателя. В такое мгновение Абель чувствовал себя раздавленным, прижатым к земле, переполненным тьмой, свинцовой злобой, и сетовал на эту славную быструю молодость за то, что она навсегда заказана ему — ему, принадлежащему к древней породе людей-деревьев, корнями вросших в почву, неотторжимых от нее и в ненависти и в любви, как неотторжимо море от неба, ноготь от тела, слитых в мощном и горьком единении, столь ничтожном, однако, перед лицом одного из этих победоносных механизмов, раздражающе и потрясающе эффективных.

Он отбрасывал рекламы в угол, забивался под одеяло, нырял в объятия сна, на несколько часов освобождавшего его от всех тревог и мимолетных соблазнов,— и пробуждался свежий, гладкий, словно отполированный речной камешек; десять раз кряду спускался он и поднимался по галерее, радуясь, словно то было бог весть какое достижение,— он гордился не столько тем, что один с маниакальным упорством проделал такую работу, сколько тем, что этот подземный тоннель с деревянными креплениями, врезающийся в самое сердце горы, был прекрасен, он казался ему самоценным произведением искусства, созданным по всем правилам — пол и тот был отменно чист,— и было даже обидно, что тоннель всего лишь должен служить для добычи воды из горных недр. Для чего еще мог бы он служить? Абель и сам бы затруднился сказать, но если бы все бесполезное, отягощающее людей убрать с лица земли, на ней ведь почти ничего не осталось бы. И если порой его охватывали сомнения в целесообразности своего труда, упорство переходило в упрямство — он ведь дошел уже до той точки, когда мысль о тщете усилий непереносима, вот он и принимался за работу с еще большим ожесточением. Ему казалось тогда, что единственный выход — продолжать начатое

несмотря ни на что, хотя бы пришлось рыть гору насквозь, «черт бы ее побрал!»

При мысли о такой возможности, которая, несомненно, показалась бы весьма своеобразной, с символической точки зрения, всяким схоластам, занятым расщеплением волосков,— у него буквально застывала кровь в жилах, а сердце замирало в груди; бросив инструменты, он бродил по тоннелю, затем выходил пройтись, прихватив для храбрости ружье. Прорыть гору насквозь и не найти воды — немыслимо! В Эквалетт должна быть вода — ведь как раз на уровне его галереи бьет источник в долине Комбебель, не считая его собственного источника, там, внизу; нет, нет, ведь в конце концов он прошел всего лишь полсотни метров в глубь горы, толщина которой в этом месте должна быть не меньше семисот — восьмисот метров, к чему зря расстраиваться, надо рыть, Рейлан, рой и не обращай внимания на подобные глупости: ты ответствен отныне только перед своими мечтами, раз ты предпочитаешь мир воображаемый тому миру, которого не понимаешь. Может быть, потому, что знаешь: и понимать-то там нечего.

Прошло уже пять-шесть недель с тех пор, как Чернуха вернулась к себе домой, и у него не было от нее никаких известий, кроме как через почтальона: «Она просила тебе передать, что живет хорошо и что ты можешь перебраться к ней, когда захочешь». Все думали, что она вернулась домой, чтобы ухаживать за отцом, который дышал на ладан, и что Рейлан в конце концов бросит свою затею и присоединится к ней. Многие считали почтальона виновником этой дикой истории. «Не такая уж дикая! — восклицал он.— Вы меня просто смешите — на черта нужно будет Маё какому-нибудь горожанину, дачнику, если там не найдется воды? Если им удастся продать ферму, так только благодаря мне».

Ускорило события появление Деспека. Уж лучше бы он не мешался в эти дела!

Было давяще-тревожное, первое за сезон предгрозовое утро; небо нависло, угнетая тишиной и неподвижными облаками. Умолкли мухи, осы и комары, наступила настороженная тишина; того и гляди, цементное небо разверзнется в синеватых разрядах молний.

Рейлан готовил взрыв; он наткнулся на неприступный камень, не поддающийся кирке. Тут он услышал слабый голос снаружи. То был его тесть, с лицом вынутого из гроба покойника, он еле дышал после крутого подъема. «Здрасте — здрасте; как дела — спасибо, хорошо; какая гнусная погода...» Никто не решался сказать больше. Наконец старик отважился:

— Ну и наработал же ты!

И он закивал головой, без особого, правда, восторга глядя на сотни и сотни тонн песка, камней и огромных глыб, сваленных в лесу и почти засыпавших несколько буков: Рейлан и не замечал, что его строительная площадка приобрела странный, почти чудовищный вид; а тот стоял разинув рот, конечно, дочка его предупреждала, но он не верил, пока сам не увидел.

— Ну, и до чего ты теперь докопался?

Абель принялся свертывать цигарку, сделав знак, что дела идут нормально.

— Ты мне не покажешь свою яму?

Его яму!

Рейлана это сильно покоробило. Тем не менее он решил выдержать роль до конца и осадить старика не руганью, а показав ему, на что способен человек, который еще не собирается подыхать.

Он провел Деспека в тоннель, зажигая по пути свечи, которые он ставил через каждые пять-шесть метров, укрепляя их на балках в консервных банках; эта подземная иллюминация не могла не поразить старика, который пыхтел и отхаркивался у него за спиной, невольно втягивая голову в плечи. Через некоторое время они вышли, не обменявшись ни словом; Рейлан готов был дать голову на отсечение, что старик, пораженный увиденным, сдастся и поздравит его с успехом. Но у Деспека не было причин радоваться подвигу ради самого подвига, невзирая на результаты; подвиги уже были и есть, даже, можно сказать, чрезмерные в этой пропащей стране, где люди вечно увлекались безнадежными затеями, вели борьбу, обреченную на провал; террасы, защитные стены из сыпучего материала, камень за камнем на протяжении сотен и тысяч километров — ни дать ни взять Геракл с его подвигами. Все это находилось в вопиющем противоречии с тем, за что сам Деспек боролся всю свою жизнь: дороги, электрификация, создание сельскохозяйственных кооперативов, региональное движение, экономическая независимость, политическая сознательность; вот почему не мог Деспек принять частный характер нелепого предприятия, затеянного его зятем, при этой дикой диспропорции между возможным результатом и количеством затраченного изнурительного труда, скорее всего бесполезного, если подтвердятся подозрения; и не только бесполезного, но и преступного; Деспек был из тех прямодушных людей, кто яростно ненавидит все неразумное в жизни — не из умственной ограниченности и боязни неизвестного, а из страха пожертвовать тем, что есть, во имя того, чего, может быть, нет. Строительная площадка среди деревьев, вся эта затраченная энергия, которую можно было бы с пользой употребить в другом месте, только навлечет несчастье на семью и разорит землю (он видел по дороге, в каком запустении находились пашни). Дыра в горе, из которой извлекали сухие внутренности, явно свидетельствовала об отсутствии воды и была одновременно дырой и в рассудке его зятя, разъевшей его мозг как гигантская раковая опухоль.

Он начал урезонивать Рейлана, вначале мягко, потом ставя точки над i, стараясь втолковать ему, что пора подчиниться неизбежному, отдать себе отчет: воды в этой горе нет.

— Есть,— сказал Рейлан.— Я знаю одну тайну.

— Мне неведомо, о какой тайне ты говоришь, но если это та, о которой все судачат, должен тебя огорчить — это ошибка, и даже двойная ошибка.

Тон разговора начал повышаться; когда они умолкали, их молчание походило на засиженную мухами падаль.

— И все это зря! — говорил Деспек задыхающимся голосом человека, который скоро умрет и потому видит вещи в их настоящем свете; он глядел на выброс из шахты и качал головой.— Подумать только, сколько наворотил — и понапрасну!

Вид у него был подавленный, он не переставал повторять: «Все зря!»

А Рейлан мотал головой и ничего не желал слушать, замкнувшись в своей тайне:

— Я знаю тайну... Говорю тебе, я знаю тайну...

— Какую такую тайну, чего ты заладил про свои тайны! — не выдержал вдруг Деспек.— Посмотри, ради бога, посмотри!

Он с трудом нагнулся, взял горсть песка с последней перевернутой тачки и потер его между пальцами.

— Чего тебе еще надо? Неужели ты не понял, что ничего не найдешь? А? Не понял, что ничего не сможешь найти, потому что долбишь не ту гору?

Рейлан бросил недокуренную цигарку и, побледнев как мел, опустил руки — свои громадные ручищи. Ветер стих; ни один листик не шевелился. Стало так тихо, что, как говорится, слышен был бы полет мухи, если представить себе лес огромной скотобойней.

— Что вы говорите? — с трудом произнес Абель.

— Бедняга, я говорю, что долгие месяцы ты надрываешься зря: Эквалетт — это другой гребень, вон там, позади...

Он показал на лесистую вершину, которая не была Эквалеттой, и оттого, что не была ею, казалась полной пороков, ничтожества и бесплодия.

Видя выражение лица зятя, Деспек решил подсластить пилюлю:

— Ты можешь мне возразить, что это тот же массив и вода прекрасно могла пройти и сюда. Это твой почтальон навел меня на мысль, когда заговорил об источнике Комбебель. Он утверждает, что источник находится на восточном склоне Эквалетты... Знаю я этот источник, мы туда бегали мальчишками. И смею тебя уверить, что между этой вершиной и Комбебелем есть еще одна: как раз эта самая Эквалетт...

— Подумаешь! Эквалетт! Эквалетт! Надоели вы мне со своими Эквалеттами... Буду копать подольше — и все.

Старик задышал ему прямо в лицо.

— Даже если бы ты нашел там, внутри, Ниагару, чем бы это тебе помогло? Станешь ты от этого умнее?

— А если мне нравится долбить зря?

Разоблачен!

Тут-то и обострились их отношения: произошел обмен обидными словами, и Деспек вдруг стал называть зятя на «вы». Вы то, вы се, что позволило ему очень строго осуждать Абеля, делая вид, будто он обращается к целой группе неразумных упрямцев; это был последний заход перед прямым выпадом.

— Послушайте, Рейлан,— сказал он в заключение,— все, чего вам пока удалось добиться — это сделать жену несчастной, а самому замуроваться под землей из боязни смотреть правде в глаза: хоть вы и свихнулись малость, все же сами понимаете, что ничего не найдете. Пора вам выйти из этой дыры.

— Выйти, значит, из дыры,— проворчал Рейлан.

Он сделал шаг назад и поднял кирку; пальцы, сжавшие рукоятку, побелели от напряжения. Он медленно двинулся вперед, от ярости глаза ему застилала красная пелена. Злость, копившаяся треть столетия,— ибо почти тридцать три года он провел в мире, не признавшем его своим,— бурлила, переливалась в его жилах. В опасности была его жизнь, его дело, все.

Деспек побледнел еще больше, чем он; у него задрожали губы, щеки, веки: чудовищны семейные сцены, во время которых искажаются черты лица, обнаруживаются все нравственные уродства, долго зревшие, тщательно скрывавшиеся и вдруг вырвавшиеся на волю кровожадными гримасами и рычанием, — несговорчивое «я» восстает против своего нетерпимого двойника.

Надо было защищаться, иначе тот проломит ему голову. Деспек отступил от зятя на два шага, бледный как мертвец. Оказавшись возле дерева, Деспек в два счета сорвал с ветки «шасспо» и нацелился в живот полоумному.

— Еще один шаг, и я стреляю.

Голос его превратился в едва слышное шипение на грани удушья, отчего тон казался до странности доверительным.

Может быть, не стоит убивать его.

Оба бледные — чудовищно — особой бледностью, словно нет ни капли крови в жилах. Интересно, куда девается кровь в таких случаях, когда ненависть бушует, проламывая череп, вспарывая брюхо, вскрывая сундуки? Оба были достаточно безумны, но не настолько, чтобы пойти до конца. Кто-то должен был уступить первым. Однако кирка и ружье опустились почти одновременно.

Деспек медленно отступил под прикрытие деревьев, опустив к земле дуло ружья; но сталь занесенного и наставленного в гневе оружия нанесла их отношениям непоправимый урон.

Отойдя немного дальше, Деспек начал спускаться вниз. Время от времени он бросал через плечо взгляд, чтобы удостовериться, что зять не преследует его. Проходя мимо Маё, он швырнул возле двери ружье со спущенной собачкой.

## XI

День душный, воздух на много часов застывший, как в печке, когда ее закрывают заслонкой,— будто где-то произошел гигантский затор в движении светил. Никогда еще небо столь угрожающе не нависало бетонным сводом над самой землей; видно было, как серые, зловещие массы облаков извиваются, сталкиваются, расходятся, готовые ужалить, словно змея.

От голода у Абеля подвело живот, он спустился на ферму, где перед дверью нашел заряженное ружье. Он прекрасно знал, что в шкафах не осталось никакой провизии, но, хлопая дверями, с шумом выдвигая ящики, опрокидывая полки, он разряжал нервное напряжение. Вся эта возня — во имя того, чтобы не думать.

Обломки стула на полу кухни напомнили ему о бегстве этой потаскухи. Именно она виновата во всем. Он как безумный набросился на последний в доме целый стул, скромненько стоявший в уголке, и в мгновение ока разнес его в щепки! Этот погром доставил ему такое же удовольствие, как плотское наслаждение; еще несколько зарядов смертоносной ненависти он направил на всех, кто имел несчастье прийти ему на ум: брата, швейцарского святошу, пастора, которому он с радостью разбил бы вдребезги очки; собственного отца с его дурацкими восхвалениями Всевышнего, якобы щедро нас одаряющего,— не будь бы тот мертв и не обратись давно уже в прах, так бы и стер его в порошок по второму разу. Тяжкий грохот, который, чувствовалось, прокатился по огромным просторам, сотряс все здание так, что даже стекла задрожали; грохот этот, казалось, отдался в самых недрах земли. Абель поднялся на второй этаж: нигде ничего, даже корки хлеба не завалялось под кроватью; за неимением живого объекта он с раздражением отпихнул к противоположной стенке кровать. Затем оторвал наличники от окна и снова испытал удовлетворение. Беззащитные предметы словно попрятались по углам, испугавшись его гнева. Пинки, которые он раздавал направо и налево, усмирили бы и самых храбрых. Вдруг ему показалось, что в глубине дома кто-то шевелится,— он прислушался. Пол дрожал, но не от грозы. Лошадь! Он же забыл про лошадь! Предвкушая удовольствие, он заскрипел зубами; как она боязливо съежится перед ним! Он бросился вниз по лестнице, стремясь как можно скорее увидеть все это воочию. Лошадь, спокойная, хотя и голодная, пережевывала под темными сводами бывшей овчарни мечты о нежных лугах, о зеленых пастбищах. Соскучившись по ласке, она неправильно истолковала

первый шлепок по крупу как знак грубоватой приязни и встретила его помахиванием головы и благодарным ржанием, еще больше разозлившим ее хозяина. «Погоди радоваться, дура, сейчас я тебе покажу, где раки зимуют». Несчастная получила несколько пинков в живот, раздувшийся барабаном, как у всех некормленых животных. Слишком старая и слабая, чтобы дать отпор неприятелю, поведение которого сбивало ее с толку, лошадь всего лишь раза три сильно тряхнула головой и оборвала недоуздок. Вне себя от бешенства из-за такого сопротивления, Абель вознамерился зверски избить и прикончить кобылу, завершив этим преступным деянием ее долгое мученичество, но тут, потеряв терпение, лошадь одним рывком разнесла в щепки гнилые ворота овчарни и, не ожидая законного возмездия, ускакала из-под носа у своего остолбеневшего мучителя. Абель хотел было броситься за ней вдогонку и прикончить ее на опушке леса, но страх придал несчастной лошади силы, и пришлось бы долго бежать, чтобы ее настичь. Пусть убирается ко всем чертям! Быть может, молния сжалится над человеком, измученным столькими несправедливостями, и поразит за него несчастную скотину. Абель вышел во двор, тараща глаза в поисках какого-нибудь мятежного объекта, но происшествие с лошадью и ее бегство перед самой грозой заставило все живое притихнуть при его приближении.

Даже Случай, постоянно вставляющий вам палки в колеса в своей пренебрежительной зловредности, сегодня, словно одобряя действо Абеля, подыгрывал ему, как мог: именно возгласом поощрения звучал в его ушах каждый удар грома. Он вошел в кладовку, ища, чего бы пожевать, но в этой идиотской кладовке даже маковой росинки не было, и она нахально встретила его ощерившимися пустыми решетами, на которых он и отыгрался вдосталь. На доске у водостока он обнаружил сдохшего от старости грызуна, злобно растерзал его зубами, зато доску, на которой его нашел, помиловал.

В этот момент сверкнула молния и раздался оглушительный удар грома, отбросивший его к стене и мгновенно умиротворивший. Можно было подумать, что в дом попала бомба и он сейчас взлетит на воздух. Он бросился к двери, распахнул ее, выбежал наружу, и первое, что он увидел, был столб черно-белого дыма, вздымавшийся над сеновалом. Молния! Все сгорит дотла. Он схватил ведро, подскочил к насосу — заклинило! В другое время насосу это дорого обошлось бы, однако сейчас было не до репрессий; он хотел поднять железную крышку люка и зачерпнуть воду ведром непосредственно из цистерны — к счастью, полной до краев,— но, воюя с женой, он запер люк на замок еще в прошлом году и не помнил, куда сунул ключ. Ему пришла гениальная мысль, он расстегнул ширинку, помочился в ведро, вылил мочу в насос и стал лихорадочно качать; через некоторое время из насоса потекла ржавая вода. Но разве погасишь костер наперстком! Огонь вовсю бушевал в сухом сене и гнилых балках; однако Абель успел раз двадцать прогуляться с ведром туда и обратно, пока сарай весь не занялся и крыша не обвалилась, рассыпав фантастический фейерверк искр, метнувшихся в синевшие небеса, сотрясаемые разрядами высокого напряжения; потом поднялся столб черного дыма; положительно сегодня не обошлось без вмешательства дьявола. Еще немного — и Маё превратится в груду дымящихся развалин, если только не произойдет чуда.

Абеля вдруг охватило отвращение, пересилившее протест, он швырнул ведро на землю так, что оно покатилось, сел у порога и стал наблюдать за пожаром с равнодушным любопытством, будто речь шла не о гибели его дома, а о зрелище, которое надо досмотреть до конца; если и дальше так пойдет, ждать придется недолго: огонь уже

перекинулся на строения, примыкающие к дому, было слышно, как от жара трескается черепица.

Внезапно на ступеньках лестницы засверкали крупные капли, потом забарабанил дождь, и наконец полились целые потоки воды, мигом покончившие с пожаром. Но весь сеновал и примыкающая к нему часть овчарни сгорели. Долго сидел Абель неподвижно под затихающим дождем, глядя на дымящиеся балки и почерневшие стены, спрашивая себя, какая злая сила стремится лишить его даже крова над головой? Что теперь делать? Его вовсе не прельщало ночевать в пустом доме без мебели. Попробовать поймать лошадь, застрелить ее и съесть? Пойти в Мазель-де-Мор и просьбами или угрозами добыть денег, чтобы и дальше долбить подземную галерею, продолжать свой сомнительный труд, но если его и не встретят там выстрелами, победа все равно будет обесценена — может быть, от недоедания в голову ему приходили только самые нелепые мысли. И по мере того как он отвергал их одну за другой, какая-то легкость проникала в его сознание — окружающий мир постепенно терял значимость, становился менее угрожающим, менее сложным, освобожденным от торжественных обещаний, возвращался к неведомой или уже забытой простоте.

Страсть к разрушению и насилию, только что заставлявшая Абеля видеть во всем враждебную силу, сменилась неестественным спокойствием — он забыл обо всех конфликтах и погрузился в блаженную прострацию; люди, замерзающие в снегу, перед смертью, говорят, испытывают то же ощущение безотчетной легкости, свободы, безразличия... У него появилось чрезвычайно странное ощущение, будто стоит ему на что-либо взглянуть, как он тут же сливается с увиденным, впитывает в себя окружающий мир с непосредственностью ребенка или пьяного. Долгие лишения и накопившаяся усталость, видимо, сыграли роль в этом внезапном освобождении от забот и внутреннего напряжения, в народившемся чувстве отрешенности и странной раскованности.

Немного позже, когда небо очистилось от облаков перед закатом солнца — пышным, далеким и сказочным, Абелю вдруг захотелось курить, но он вспомнил, что оставил табак в тоннеле, и потихоньку направился через лес по звездной дороге бескрайней ночи. Он подтащил одеяло к выходу из шахты и, прислонившись к стене, вдыхал свежий запах мокрого перегноя и растений — в одном этом запахе таился для него рай земной. Стоит ли так мучиться и надрываться, когда малейшего пустяка достаточно, чтобы до краев наполниться радостью.

Он проспал несколько часов подряд; ночная прохлада разбудила его; открыв глаза, он убедился, что недалек рассвет. С минуту он не мог вспомнить, какое сегодня число. Ему показалось, что жена еще дома, готовит ему завтрак, потом воспоминание о ссоре с тестем нарушило течение его мыслей, и он сразу увидел весь драматизм своего положения. Теперь он разрушил за собой все мосты, ему не на кого больше надеяться. Даже лошадь от него убежала, молния ударила в подсобные строения его фермы, а он продолбил гору не там, где надо,— все это было и ужасно и смехотворно; люди будут издеваться над ним, где бы он ни показался. И подумать только, что вчера вечером, перед тем как заснуть, он испытывал такое блаженство; накопившиеся перенесенные беды лишили его тогда чувствительности, он был как пьяный или полубезумный. Но безжалостная действительность встала теперь перед ним со всей беспощадной четкостью и ясностью; достаточно уже того, что от голода ноги у него подгибались, а живот подвело.

Птицы пролетали в небе над его головой к источнику — как приятно было бы жить подобно птицам! Разве они умирают с голода? От этой мысли ему стало легче, где-то в глубине души рождалось сознание своей непричастности к ошибкам, тревогам, жажде успеха; он возвращался (как бы лучше это определить?) к детскому восприятию мира, быть может, потому, что всего лишился и не ел бог знает сколько времени. Он выпрямился, голову его наполнял какой-то светлый дым, он с трудом размял ноги. День будет прекрасный, солнечный. Потихоньку он спустился по крутой тропинке, которую протоптал через террикон выброса. Немного дальше, за буковым лесом, он набрал под сухими листьями каштанов, часть их съел сырыми, чтобы утишить спазмы в желудке, остальные приберег для супа. Он отнес их в глубь галереи, зажег две свечи, несколько раз неловко ударил в песчаник киркой, потом бросил, решив, что завтра дело пойдет лучше. Вдруг ему показалось, что кто-то зовет его снизу, он взял ружье и спустился к ферме, но никого не обнаружил. Он сел на ступеньку у порога, прислушиваясь к тишине. Горячее солнце высушило камни, от сгоревшего сеновала несло запахом пепла и древесного угля. Который может быть теперь час? Но разве это имеет значение? Он сознавал, что имеет, что нельзя забывать о времени, если не хочешь столкнуться со смертью или оказаться одной ногой в могиле, но вместе с тем его охватило чувство почти бредовой безответственности, все смешалось в его голове: прошлое, настоящее, будущее, он погружался в приятное полузабытье, в котором порой ему слышался отдаленный голос, но, может быть, тот голос звучал в нем самом: «Не бросай! Не бросай!» И еще: «Надо долбить! Надо долбить!»

К полудню его вывел из забытья шум гравия, катящегося от чьих-то шагов по дороге. Он быстро зашел в кухню, запер дверь на ключ, стараясь не очень греметь, и спрятался за неплотно прикрытыми ставнями, позволявшими незаметно следить за происходящим. Это был почтальон, подлец Делёз, стоило бы всадить в него добрый заряд дроби; верно, принес какие-нибудь дурацкие рекламы или письмо от братца — швейцарского святоши. Он видел, как почтальон прошел мимо окна и остановился, пораженный следами пожара. «Вот черт,— пробормотал он вполголоса,— что здесь случилось-то, прямо невероятно...» Рейлан слышал, как он уходил, продолжая бурчать сквозь зубы, приостанавливался, оборачивался, словно не верил собственным глазам. Катись отсюда, дурак, оставь меня в покое Он почувствовал, как что-то царапает ему лицо: его собственная рука. В изумлении он сунул ее в карман. Под дверью он нашел рекламу какого-то средства против древесного грибка. Издалека доносился крик Делёза: «Почта! Почта!» Абель поднялся на второй этаж, распахнул окно своей спальни; беспощадный дневной свет залил все углы, обнажив трещины, копоть, пыль, паутину, в которой дрожали высохшие насекомые,— все это обнажилось с богохульной разнузданностью, словно выставили на свет божий внутренность склепа. Обломки деревянной кровати громоздились в углу, как доски гроба. Тяжелая усталость опять сковала его. Он расстелил матрас, валявшийся в пыли, и лег, уставившись в потолок, ослепленный мертвенным светом, который наполнял комнату. Наверх он поднимется с наступлением вечера. Быть может, пойдет на охоту. Так он лежал с открытыми глазами, рассматривая на грязно-белом потолке с просвечивавшими поперечинами расплывчатые пятна словно от мочи, оставленные давними дождями. Это мертвое небо из штукатурки стало навевать на него сон; он закрыл глаза и через несколько минут заснул, успев, правда, подумать о каких-то очень неприятных вещах, но, к счастью, лишь бегло. Проснулся он несколько часов спустя, когда солнце осве-

щало горы косыми лучами, в которых роились мириады насекомых. Он подошел к окну на не совсем твердых ногах, как если бы мозг, вдруг избавившись от навязчивой идеи, сообщил всему телу большую усталость, которая была не столько усталостью от работы, сколько нормальным состоянием, в которое впадают жители земли, внезапно понявшие, что им на ней нечего делать. Абелю казалось, что впервые в жизни у него открылись глаза. И перед ними оказалась тьма, пустота, ничто — так, пробудившись вдруг среди ночи и открыв глаза, человек видит лишь тьму, пустоту, ничто. Он предчувствовал, что и звездное небо, и лес, в котором ему так вольготно было жить и дышать, окажутся на поверку тоже всего лишь обманом... Наверное, тут-то все и пошло прахом, начало распадаться стремительно и безвозвратно, как бы ни цеплялся он за былые иллюзии.

## *XII*

Весенний день на опустевших улицах медленно клонится к закату; стрижи прорезают небо стремительными петлями; горячий запах асфальта проникает сквозь ставни — запах этот, как запах ладана, напоминает о невыполненных обещаниях, засохших на корню благих намерениях двадцатилетней давности, когда он там, наверху, клевал носом над книгами, где каждое слово все дальше уводило его от прошлой жизни; запах напоминает комнату, в которой поселил его пастор, мечты о покорении мира, Швейцарию, наконец, и неотъемлемые от нее, да и от всего прочего на земле, женские бедра. Кто-то поливает улицу перед своими дверями — торговец, подобно ему слегка раздобревший и полысевший от профессиональной угодливости, с благостной улыбкой и мягким рукопожатьем, когда дела идут хорошо; вот и настал вечер, и ему сорок лет, и уже пятнадцать лет он не бывал там, наверху,— у себя дома. Горы видны и отсюда. Стоит только забраться в верхние кварталы маленького городка, сложенного из известняка и розовой глины, и горный амфитеатр предстанет перед вами во всей своей захватывающей снежной белизне.

А у него — там, наверху,— все поумирали: доктор Стефан с женой попали в прошлом году в автомобильную катастрофу (кажется, это лучшее, что могло с ними случиться), мосье Бартелеми и Деспек скончались вскоре после смерти Абеля, Мари жива; она по-прежнему живет в Мазель-де-Мор, совсем одна; сколько ей может быть лет — пятьдесят, наверное, высохла вся, а держу пари, она нас всех похоронит; да ведь мы уже и так одной ногой в могиле. В сущности, важно ведь не то, как думал я прежде, будучи в плену ошибочных представлений о времени: дожить до старости — какой в этом смысл? Но по крайней мере жить не так, как я, бороться за жизнь, а не быть прикованным к книжной лавчонке в далекой провинции и вдыхать каждый вечер, особенно летом, запах неизгладимого вероломства и поражения. И от того, что снюхивался с разными суками, я не стал умнее. Презрение к самому себе — неизбежный спутник случайных связей — неотделимо от губительной смеси трусости и отчаяния.

И вот вечерами, особенно летними и зимними, когда он вспоминает преданные им высоты вселенной, ненавидя весь мир и себя самого, его обуревает желание найти всему объяснение, обуревает жажда разрушения, грызущая обычно предателей. Зато весна и осень в долине прекрасны, особенно когда тебе сорок лет.

Телеграмму с известием о несчастье он получил 17 мая 1954 года; и поскольку он не смог или не счел нужным приехать на похороны

матери, присутствие на похоронах брата показалось ему данью, которую он обязан воздать памяти всех трех покойников: в семье не заживаются.

Доктор Стефан встретил его на вокзале. Начало сезона дождей необычно озеленило горы.

— Как это случилось?

Точно никто никогда не узнает. Даже и день и час происшествия не удалось установить. Они без промедления поднялись наверх; жандармы ждали их у входа в шахту. Когда Жозеф увидел гигантский террикон из песка и щебня, он остолбенел от изумления. Конусообразное нагромождение выброса поражало своей абсолютной бесполезностью. Умным предателям все бесполезное кажется просто чудовищным, и, однако, лишь чудовищное в человеке соприкасается с тайнами вселенной. Все остальное — мелочь, торгашество. Вот что приблизительно говорил ему доктор Стефан, когда они вступили в подземную галерею вслед за жандармами. На двадцать метров в глубину проход был свободен, дальше все было завалено: тридцать — сорок, может быть, даже пятьдесят метров горной породы обрушилось кто знает сколько дней тому назад. Деспек последний видел Абеля живым, за три недели до обвала. Тогда галерея была уже больше шестидесяти метров в длину. Потом налетела гроза, следы которой видны на песке у входа, и совершенно ясно, что после грозы породу не вывозили. Чтобы подступиться к телу, пришлось бы поднять сотни и сотни тонн камня, земли, грязи. Жандармы составили протокол и ушли, уступив место пастору. А тот! «Вы исполнили свой долг, господа, теперь очередь за мной — там, где кончается ваша миссия, начинается моя». Несколько соседей спустились из верхних жилищ, чтобы отдать последний долг Абелю. Как сейчас помню заупокойную молитву, которую мосье Бартелеми прошепелявил перед отверстием, зиявшим чернотой: «Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни...» А доктор на ухо мне произнес свою эпитафию: «Будда умер, но тень его многие века будут показывать на стене пещеры — страшную, огромную тень. Бог умер, но такова природа людей, что, вполне возможно, еще миллиарды лет будут существовать пещеры, в которых будут показывать его тень...»

Тогда-то Жозеф Рейлан и решил провести вечер в Маё, а может быть, и переночевать там: он знал, что не скоро вернется сюда,— вернее, никогда не вернется, ибо порвалась связь между ним и истоками его жизни. Вместе со всеми спустился он в Сен-Жюльен, чтобы купить еды; он обнял Мари Деспек, возвращавшуюся с отцом в Мазель-де-Мор: «Вы не хотите провести ночь у нас, все-таки одному в этих развалинах...» Он, улыбаясь, покачал головой: «Я не боюсь призраков, ибо призраков не существует...» Вдруг сердце его сжалось, он увидел, как по ее лицу пробежало странное выражение, на миг возвратившее молодость и женственность ее лбу, глазам,— так горе обнаруживает в рано постаревших чертах свежесть детских огорчений.

Он купил коробку сардин (в оливковом масле, помнится), кусок колбасы, яиц, масла и местный хлеб в той самой булочной, где когда-то любовался разноцветными трубочками леденцов. Уложив покупки в нейлоновый пакет, предоставленный бакалейщиком, Жозеф часа в три-четыре пополудни поднялся наверх, встреченный уже на полпути душераздирающе прекрасными запахами растений и трав. Он вошел в дом. Итак, все трое умерли. Он с некоторой робостью обошел комнаты, снова вышел и оглядел окрестность: как быстро теперь все здесь одичает. Гигантские травы уже подступили к самым стенам и

заглушали пашни; подлесок тоже разгуляется по всем вырубкам. На пораженных молнией строениях торчал терновник, черный, как обгорелое дерево. Жозеф присел на ступеньку лестницы. Все-таки нам — или, вернее, им — не очень-то повезло. Исходя из тех же предпосылок, он попытался представить себе для них лучшую жизнь: жена, дети, отец и мать, мирно стареющие у очага, вечернее возвращение с полей мотыга на плече, радостные крики и смех домашних, общий труд и общие развлечения, идеал родового уклада, идеал возврата к простоте и естественности, когда человек на «ты» с тем, что делает; а запахи, запахи древние и неотступные, терзали Жозефу душу даже и через пятнадцать лет, в известняково-глиняном городке, изъеденном солнцем, засыпанном пометом стрижей, совсем как испанское поселение, и до сих пор эта боль не угасла, вздымалась в нем, точно обломки кораблекрушения со дна моря; и так будет до конца его дней.

Он сел поесть у двери — там, где он усадил мать в последний свой приезд, когда, занявшись уборкой дома, пытался обыденными хозяйственными занятиями возродить сияние прошлого. Ночь была тихая, прохладная, уже озвученная сверчками и соловьями. Звезды были здесь не такие, как всюду. Нигде в мире не найдешь уголка, похожего на тот, который ты впервые познал. Ужасно и ядовито это наследие. Он закрыл глаза. Есть вещи, которых бог не должен бы себе позволять Жозеф уже давно не верит в бога, и давно из развалин его прежнего мира что-то безуспешно взывает к нему.

Он курил до поздней ночи, выкурил сигарет пятнадцать — двадцать. Из того, что ему рассказали, и из догадок доктора Стефана он составил себе некоторое представление о том, что произошло: нельзя же дать человеку умереть, не попытавшись воссоздать его следы и, как бы мало их ни было, не попытавшись пройти по ним до конца.

Последний заряд для взрыва, видимо, был слишком велик, фитиль подожжен неловко, искра, порох занялся, он пытается бежать, слишком поздно, все взлетает, и гора обрушивается на него. Или же он наблюдает, как горит фитиль, доводя до крайности вызов судьбе.

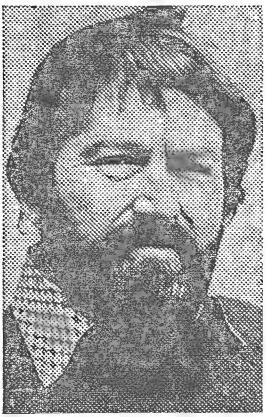
Раздавлен, как орех в руке Всевышнего; побежден, ибо все должны быть побеждены, да исполнится воля Его.

На другое утро, перед отъездом в Швейцарию, он в последний раз поднялся к галерее (на синей заре он выполол сорняки на могилах родителей, находившихся одна — на кладбище, другая — в трагическом одиночестве, за его оградой). Он взял с собой стамеску. Надпись, должно быть, и теперь сохранилась у входа в грот, выцарапанная на самой гладкой из гранитных стен:

АБЕЛЬ РЕЙЛАН
1922—1954

Выполняя эту работу могильщика-камнереза, он думал: за все, что ты не сумел взять от жизни и дать ей, приходится разом платить смерти. Он жалел, что в этот момент с ним нет одной из тех высоких девиц с шелковистыми волосами и медового цвета ногами, девиц, что, лаская жизнь своими длинными пальцами, ярко расцвечивают секунды. Каролины, Дакоты или Вирджинии — имена у них, как у штатов Нового Света.

Горный же край никогда не даст ему ничего, кроме могилы; в глубине души он не против того, чтобы быть похороненным здесь, наверху, перед этим диким могильным склепом, откуда сегодняшним утром было отчетливо видно голубоватое горное плато, местами покрытое наделами колышущихся хлебов, ласкаемых извечно бегущими облаками.



# ДЖОН ФАУЛЗ

# *Башня из черного дерева*

ПОВЕСТЬ

*Перевод с английского К. ЧУГУНОВА*

... Et par forez longues et lees
Par leus estranges et sauvages
Et passa mainz felons passages
Et maint peril et maint destroit
Tant qu'il vint au santier tot droit...

*Chrétien de Troyes, «Yvain»*[1]

Дэвид приехал в Котминэ в среду во второй половине дня, через сутки после того, как причалил в Шербуре и, нигде не задерживаясь, повел машину в Авранш, где заночевал. Это позволило ему оставшуюся часть пути проехать при свете дня, полюбоваться чарующей, как сновидение, картиной шпилевидных скал вдоль отдаленных берегов Мон-сен-Мишель, побродить по улицам Сен-Мало и Динана; потом он свернул на юг и выбрался на шоссе, прорезавшее живописную сельскую местность. Стояла чудесная сентябрьская погода. Его сразу пленили мирные пейзажи с ухоженными фруктовыми садами и полями — задумчивыми и уставшими от бремени урожая. Дважды он останавливался и наносил на бумагу особенно приятные сочетания красок — параллельные полосы акварели разных тонов и оттенков,— помечая своим четким почерком масштаб. Хотя в этих его пометках и содержались некоторые указания на внешнее сходство с натурой (одна цветная полоска — поле, другая — освещенная солнцем стена, третья — отдаленный холм), он ничего не рисовал. Лишь записывал число, месяц, время дня и погоду, потом ехал дальше.

Он испытывал легкие угрызения совести от того, что так приятно проводит время один, без Бет, после бурного объяснения накануне отъезда; однако прелестная погода, новые впечатления и, конечно, беспокойная и вместе радостная мысль о цели путешествия, к которой он приближался,— все создавало приятную иллюзию холостяцкой свободы. Последние мили пути, пролегавшие по Пемпонскому лесу — одному из нетронутых еще обширных массивов Бретани, были по-

[1] ...Он побывал в лесах глухих,
Проехал много перепутий,
Встречал немало всякой жути
И, наконец, перед собой
Увидел в дебрях путь прямой...
*Кретьен де Труа, «Ивэйн».*
*(Перевод со старофранцузского В. Микушевича.)*

© 1974 by John Fowles.

истине чарующи: прямые, зеленые и тенистые дороги с редкими солнечными просветами в узких просеках, рассекавших бесконечные заросли деревьев. Его представление о крае, где старик прожил последние годы и где обрел наибольшую славу, сразу приняло конкретные очертания. Сколько бы он ни читал, каково бы ни было его воображение, ничто не может заменить то, что видишь глазами. Еще не добравшись до цели, Дэвид уже знал, что ехал сюда не напрасно.

Скоро он свернул на совсем узенькую и пустынную лесную дорогу — voie communale [1] и, проехав около мили, увидел искомую надпись: Manoir de Coëtminais. Chemin privé [2]. Далее путь преграждали белые ворота, которые ему пришлось самому открыть и закрыть. Еще с полмили — и снова ворота, как раз в том месте, где поредевший лес открывал вид на залитый солнцем запущенный сад. На перекладине ворот — деревянная табличка с надписью. Дэвид улыбнулся — под французскими словами «Chien méchant» [3] стояли английские: «Без предварительной договоренности посетителям въезд строго запрещен». Как бы в подтверждение серьезности этой надписи на воротах изнутри висел замок. Похоже было, что его приезда никто и не ждал. На мгновение он растерялся: чего доброго, старый хрыч вообще забыл о своем приглашении. Дэвид, отойдя в холодок, смотрел на освещенные солнцем ворота. Нет, не мог он забыть — ведь еще на прошлой неделе Дэвид послал ему записку с напоминанием о предстоящем приезде и выражением благодарности. Сзади раздалась птичья трель, похожая на неумелую игру на оловянной дудке. Он оглянулся, но птицы не увидел. Птица явно не английская, подумал Дэвид. Но сам-то он англичанин, и не к лицу ему бояться какой-то собаки. Надо действовать. Не может же он... Дэвид вернулся к машине, заглушил двигатель, запер дверцы и, подойдя снова к воротам, перелез на другую сторону.

Он шел по дорожке среди старых яблонь, усыпанных плодами красных сидровых сортов. Кругом была тишина, ничто не говорило о присутствии собаки. На солнечной поляне, среди моря гигантских дубов и буков, одиноко стояла manoir. Не совсем то, что Дэвид ожидал увидеть. Вероятно, потому, что слабо владел французским и, если не считать Парижа, почти совсем не знал Франции. Иначе не перевел бы это слово буквально, как английское «замок». В действительности же это строение напоминало скорее жилище зажиточного фермера; ничего особенно аристократического в его фасаде не было: светлая буро-желтая штукатурка, пересеченная крест-накрест редкими рыжеватыми планками, и темно-коричневые ставни. К восточной стороне дома примыкала небольшая прямоугольная пристройка, сооруженная, по всей видимости, в более позднее время. И все-таки было в этом доме что-то привлекательное. Старинное, без архитектурных излишеств, приветливое здание производило внушительное впечатление. Дело лишь в том, что Дэвид предполагал увидеть нечто более величественное.

Двор перед домом с южной стороны был устлан гравием. У основания стены росли герань и две старые шток-розы, на крыше сидели белые голуби. Ставни на окнах были закрыты, дом спал, но парадная дверь, увенчанная гербом на каменном щите (надпись на нем стерлась от времени), оставалась полуоткрытой. Дэвид опасливо ступил на гравий и подошел к двери. Ни дверного кольца, ни кнопки звонка не было; к счастью, не оказалось и страшной собаки. Он заглянул внутрь: холл с выложенным каменными плитами полом, дубовый стол

[1] Коммунальную дорогу *(франц.)*.
[2] Усадьба Котминэ. Частная дорога *(франц.)*.
[3] Злая собака *(франц.)*.

у деревянной, старинного стиля, лестницы со стертыми и поцарапанными перилами, которая вела наверх. В глубине холла виднелась вторая — тоже открытая — дверь, а за ней — освещенный солнцем сад. Дэвид постоял в нерешительности, сознавая, что приехал раньше назначенного времени, и постучал костяшками пальцев по массивной двери. Выждав немного, решил, что стучать бесполезно, и шагнул за порог. Справа от себя он увидел длинную, как галерея, гостиную, разделенную старинными арками. Частично древние опорные колонны, были, видимо, снесены, но основные остались. Черные, они выделялись на фоне белых стен с беспардонностью скелета. Во всем этом было что-то тюдоровское и гораздо более английское, чем можно было предположить, судя по фасаду. Очень приятный уголок — заставленный и в то же время просторный: старинная резная мебель, вазы с цветами, несколько кресел и два дивана; старые розовые и красные ковры и, конечно, картины... Ничего удивительного — кроме того, что можно было вот так бойти и любоваться ими: Дэвид ведь знал, что у старика, помимо собственных работ, хранилась небольшая, но весьма ценная коллекция творений других художников. Имена знаменитостей, представленных здесь, уже известны из прессы: Энсор, Марке; вон тот пейзаж в дальнем конце зала, должно быть, кисти «холодного» Дерена; а над камином...

Но должен же он все-таки дать о себе знать. Дэвид прошел по каменному полу мимо лестницы в дальний конец холла и остановился у открытой двери. Перед ним простиралась обширная лужайка с клумбами, декоративными кустами и деревьями. С севера ее ограждала высокая стена, вдоль которой вытянулся ряд невидимых со стороны фасада главного здания невысоких строений, когда-то служивших фермеру конюшнями и коровниками. В центре лужайки росла катальпа с подрезанной кроной, отчего она приобрела сходство с гигантским зеленым грибом. Под ее сенью расположились, точно собеседники, садовый стол и три плетеных кресла, а дальше лежали на траве, окутанные зноем, две обнаженные девушки. Одна из них, наполовину скрытая травой, лежала на спине и, казалось, спала. Другая — та, что поближе,— лежала на животе и, подперев подбородок руками, читала книгу. На голове у нее была широкополая соломенная шляпа с тульей, перевитой темно-красной лентой. Тела обеих девушек были очень смуглы от загара; по-видимому, они не подозревали, что всего в тридцати шагах от них стоит посторонний мужчина. Он не понимал, как они могли не услышать его машины в лесной тишине. Но ведь он приехал раньше времени, он же сам предупреждал в письме, что будет только к вечернему чаю. Да и позвонить мог бы: поискал как следует кнопку звонка, и какой-нибудь слуга наверняка бы услышал. Несколько коротких секунд он запечатлевал в памяти мягкие очертания неподвижных женских фигур, зелень катальпы и зелень травы, густой красный цвет ленты на тулье шляпы, розовую стену вдалеке и шпалеры плодовых деревьев. Потом он повернулся и пошел обратно к входной двери: увиденное скорее позабавило его, чем смутило. Он снова вспомнил Бет: в какой восторг она бы сейчас пришла, найдя подтверждение легенде о старом фавне, предающемся порочным утехам!

У косяка, на каменном полу, он увидел то, чего не заметил сразу: небольшой бронзовый колокол. Он поднял его, взмахнул и сам же испугался, потому что раздался оглушительный, как на школьном дворе, звон, сразу нарушивший солнечный мир и тишину дома. Однако и это не возымело действия: не слышно было ни шагов наверху, ни скрипа двери в противоположном конце холла. Дэвид продолжал ждать у порога. Прошло с полминуты, и вдруг в проеме двери со сто-

роны сада появилась девушка (Дэвид не разобрал, которая из тех двух), уже одетая. В простой белой бумажной галабийе[1], стройная, чуть ниже среднего роста, лет двадцати с небольшим; каштановые, с золотистым отливом волосы, правильные черты лица; невозмутимый взгляд довольно больших глаз и босые ноги. По всем признакам — англичанка. Дойдя до лестницы, шагах в двадцати от него, она остановилась.

— Дэвид Уильямс.

Он виновато развел руками.

— Вы меня ждали?

— Да,— ответила она, не двигаясь с места.

— Извините, что проник сюда воровским способом. Там было заперто.

Она покачала головой.

— Надо было просто потянуть. Замок. Извините, что так получилось.— Однако вид у нее был совсем не виноватый. И не растерянный.— Генри спит.

— Ради бога, не будите его.— Дэвид улыбнулся.— Я приехал немного раньше. Думал, найду вас не сразу.

Она внимательно посмотрела на него, поняв, что он рассчитывает на ее расположение.

— Он такой псих, когда ему не дают поспать днем.

Он усмехнулся:

— Понимаете, я истолковал его письмо буквально: что меня здесь приютят на ночь... но если это не так...

Она посмотрела мимо него на открытую дверь, потом снова на его лицо; в ее равнодушном взгляде мелькнуло нечто похожее на вопрос.

— А ваша жена?

Он объяснил ей, что у Сэнди ветрянка, в последнюю минуту резко поднялась температура.

— Жена прилетит в Париж только в пятницу. Если дочке станет лучше. Там я ее и встречу.

Снова испытующий взгляд.

— Стало быть, показать вам комнату?

— Если вас не затруднит...

— Нисколько.

Едва заметным жестом она предложила ему следовать за собой и повернулась лицом к лестнице — такая простая, белая, неожиданно скромная, точно служанка, совсем не похожая на ту девушку, которую он видел всего минуту назад.

— Чудесная комната,— заметил он.

Она взялась за потемневшие от времени перила лестницы и, не поворачивая головы, сказала:

— Пятнадцатый век. Так говорят.

И все. Никаких вопросов, точно он — всего лишь заезжий сосед, живущий в пяти милях отсюда.

На верхней площадке она повернула направо в коридор, посреди которого лежал камышовый мат. Подойдя ко второй двери, она открыла ее, шагнула внутрь, держась за ручку, и посмотрела на Дэвида глазами хозяйки гостиницы, впускающей в номер постояльца, который уже провел здесь одну ночь. Не хватало только, чтоб она сейчас сказала, сколько причитается с него за номер.

— Ванная рядом.

— Прекрасно. Я только спущусь вниз, к машине.

---

[1] Длинная, до щиколоток, рубашка, какие носят в арабских странах *(здесь и далее — прим. перев.)*.

— Как вам угодно.

Она закрыла дверь. В ее манере чувствовалась какая-то наигранная, чуть ли не викторианская серьезность, несмотря на галабийю. Когда они пошли по коридору к лестнице, он доброжелательно улыбнулся:

— А как вас...

— Генри зовет меня Мышь.

Наконец-то выражение ее лица изменилось, оно стало суше или чуть более вызывающим — он не мог бы сказать точно каким.

— Вы с ним давно знакомы?

— С весны.

Ему хотелось склонить ее на дружеский тон.

— Я знаю — он не в восторге от таких гостей, как я.

Она слегка пожала плечами:

— Если вы не потворствуете ему. Тогда он обычно лается.

Дэвиду было ясно, что она пытается убедить его в чем-то; очевидно, догадываясь, что он видел ее в саду, она хочет теперь сказать, что умеет держать посетителей на расстоянии. Судя по всему, она заменяла здесь patronne[1] и в то же время вела себя так, словно не имеет к этому дому отношения. Они сошли по лестнице, и девушка направилась к выходу в сад.

— Здесь? Через полчаса? В четыре я подниму его.

Он снова улыбнулся; слова «я подниму его» были сказаны тоном сиделки: пусть, мол, посторонние думают что хотят о человеке, которого я называю «Генри» и «он».

— Хорошо.

— Будьте comme chez vous[2]. Идет?

Она слегка замешкалась в гостиной, точно поняла, что была слишком холодна и высокомерна, и даже как будто застеснялась немного. На лице ее мелькнула едва заметная приветливая улыбка. Потом она опустила глаза, отвернулась и молча пошла в сад; когда она оказалась в проеме двери, ее галабийя вдруг утратила непроницаемость и взору Дэвида предстала нагая фигура. Он хотел было спросить ее о собаке, но потом решил, что девушка, должно быть, уже сама о ней подумала, и попробовал вспомнить, когда еще ему оказывали в чужом доме более холодный прием... словно он рассчитывал на слишком многое, а ведь это было совсем не так, и уж во всяком случае он никак не рассчитывал встретить эту девушку. Он понял, что законы гостеприимства давно перестали существовать для старика.

Он пошел через сад к воротам. Спасибо, что хоть про замок сказала. Замок подался сразу. Дэвид завел машину и, въехав во двор, поставил ее под каштановым деревом у фасада дома, затем вытащил чемодан, портфель и висевший на вешалке джинсовый костюм и понес в дом. Поднимаясь по лестнице, он посмотрел через открытую дверь в сад, но девушек там уже не было видно. В коридоре наверху он задержался у двух картин, которые заметил, когда проходил здесь первый раз, но не сразу вспомнил имя художника... ах, да, конечно: Максимильен Люс. Счастливец старик — приобрел их еще до того, как искусство превратилось в объект стяжательства, в сферу вложения капитала. Дэвид уже забыл, что встретил здесь холодный прием.

Обстановка в комнате была незамысловатой: двуспальная кровать с наивной претензией на ампир, ореховый шкаф, источенный червями; стул, старое кресло с истертой зеленой обивкой, пятнистое зеркало в золотой раме. Здесь попахивало сыростью; мебель, видимо

[1] Хозяйку *(франц.)*

[2] Как дома *(франц.)*.

покупали на аукционах. И вдруг, на фоне всего этого, над кроватью — Лорансен с подписью автора. Дэвид попробовал снять картину с крючка, чтобы разглядеть на свету. Но рама оказалась привинченной к стене. Он улыбнулся и покачал головой: жаль, что Бет не увидит.

Глава лондонского издательства, придумавший эту командировку, предупреждал Дэвида: всякого, кто предпримет поездку в Котминэ, ожидают куда более серьезные препятствия, чем запертые ворота. Старик вспыльчив, не любит, когда при нем упоминают некоторые имена, груб, вздорен — следовательно, данный «великий человек» может показаться ужаснейшим старым ублюдком. А может быть и обаятельным собеседником — все зависит от того, понравитесь вы ему или нет. В некоторых отношениях наивен, как ребенок, добавил издатель. Не спорьте с ним об Англии и англичанах, избегайте разговоров о его пожизненном изгнании. Он не выносит, когда ему напоминают о том, что он, возможно, упустил. И наконец: он страстно желает, чтобы мы выпустили о нем книгу. Пусть Дэвид не даст себя одурачить и не верит, что этому человеку совсем наплевать на то, что о нем думают соотечественники.

Вообще-то говоря, в поездке Дэвида особой необходимости и не было. Наброски вступительной статьи у него уже были готовы, он достаточно четко представлял себе, что в ней скажет: собраны основные эссе из каталогов выставок, в первую очередь ретроспективы, устроенной в 1969 году в галерее Тейт (запоздалая оливковая ветвь от британского официального искусства), а также двух недавних выставок в Париже и одной в Нью-Йорке; небольшая монография Майры Ливи из серии «Современные мастера» и переписка с Метью Смитом; подборка интервью, опубликованных в разных журналах. Несколько биографических подробностей остались невыясненными, но их легко было запросить и почтой. Можно, конечно, задать множество вопросов из области искусства, но старик не любил распространяться на эту тему; вероятнее всего, как подтверждает опыт прошлого, он ничего путного не скажет и ограничится желчными замечаниями или просто грубостью. И все же перспектива встречи с человеком, которому Дэвид посвятил уже немало времени и творчеством которого он, с некоторыми оговорками, искренне восхищался, радовала его: с таким человеком безусловно интересно познакомиться. Как-никак сегодня он бесспорно — один из крупнейших художников, его можно поставить не только рядом с Бэконами и Сазерлендами, но в чем-то он выше их. Среди избранных он, пожалуй, самый интересный, хотя, если спросить его самого, он сказал бы, что не имеет с этими чертовыми англичанами ничего общего.

Родился в 1896 году; студент Слейда в славный период господства там школы Стиров и Тонкса, рьяный пацифист, когда пришло время — это было в 1916 году — призыва в армию; год 1920-й застал его в Париже (с Англией он духовно порвал навсегда); лет десять, а то и больше провел в поисках — даже Россия повернулась тогда лицом к социалистическому реализму — ничьей земли между сюрреализмом и коммунизмом, после чего прошло еще с десяток лет, прежде чем Генри Бресли получил подлинное признание у себя на родине, когда произошло открытие его рисунков на темы Испанской гражданской войны, которые он сделал за пять лет второй мировой войны, живя в Уэльсе на положении «изгнанника из изгнания». Подобно большинству художников, Бресли шел намного впереди политиков. В 1942 году лондонская выставка его работ 1937—1938 годов вдруг приобрела для англичан особый смысл: теперь они уже знали, что такое война

и какое безумие принимать на веру декларации международного фашизма. Более мыслящие люди понимали, что ничего особенно оригинального в его изображении испанской агонии нет — по духу своему искусство Бресли означало всего лишь возврат к Гойе. Но сила и мастерство художника, превосходное владение рисунком не подлежали сомнению. Печать была поставлена, поставлена она была — в плане личном — и на репутацию Бресли как человека с «трудным характером». К тому времени, когда он вернулся в Париж в 1946 году, легенда о его ненависти ко всему английскому и традиционно буржуазному, особенно если речь заходила об официальных взглядах на искусство или административном вмешательстве, уже прочно утвердилась.

На протяжении последующего десятилетия не произошло ничего такого, что существенно способствовало бы росту его популярности. Тем не менее его картины начали пользоваться спросом у коллекционеров и ширился круг его влиятельных поклонников в Париже и Лондоне, хотя ему, как и всем европейским живописцам, и приходилось страдать от стремительного возвышения Нью-Йорка в качестве главного арбитра художественных ценностей. В Англии Бресли никогда не стремился играть на «черном сарказме», характерном для его испанских рисунков; тем не менее его авторитет, как и зрелость его работ, возрастал. Большая часть его знаменитых обнаженных фигур и интерьеров появилась именно в этот период; надолго погребенный гуманист начал выбиваться на поверхность, хотя, как всегда, публика больше интересовалась богемной стороной его жизни — россказнями о его попойках и женщинах, которые распространяла время от времени травившая его желтая и шовинистически настроенная часть Флит-стрита [1]. Но к концу пятидесятых годов такой образ жизни уже перестал быть сенсацией. Слухи о его греховном поведении и такие факты, как презрение к собственной родине, стали казаться забавными и даже... импонировали обывателям, склонным отождествлять серьезное творчество художника с его красочной биографией, отвергать, ссылаясь на отрезанное ухо Ван Гога, всякую попытку рассматривать искусство как высшее проявление здравомыслия, а не как слащавую мелодраму. Следует признать, однако, что Бресли и сам не слишком решительно отказывался от той роли, которую ему навязывали: если людям хотелось, чтобы их шокировали, он, как правило, шел им навстречу. Но его близкие друзья знали, что, хотя приступы эксгибиционизма повторялись, он сильно переменился.

В 1963 году он купил в Котминэ старую manoir и покинул свой любимый Париж. Год спустя появились иллюстрации к Рабле — последняя его чисто графическая работа; эта книга, выпущенная небольшим тиражом, считается одним из ценнейших в своем роде изданий века. В том же году он написал первую из серии картин, снискавших ему неоспоримую всемирную славу. Хотя он всегда отвергал попытки толковать его творчество в духе мистицизма — в нем сохранилось еще достаточно левизны, чтобы воздерживаться от приверженности к какой-либо из религий,— великие, в буквальном и переносном смысле, полотна с их доминирующими зелеными и синими тонами, которые начали появляться в его новой студии, уходили корнями в другого Генри Бресли, о осуществовании которого внешний мир прежде не догадывался. В известном отношении он как бы открыл свое подлинное «я» значительно позже, чем большинство художников, равных ему по дарованию и опыту. Он не стал законченным отшельником, но и не был уже enfant terrible [2] среди людей своей профессии. Однаж-

[1] Улица в Лондоне, где находятся редакции многих газет.

[2] Букв.— ужасный ребенок, выродок *(франц.)*.

ды он сам назвал свои картины «грезами»; и действительно, элементы сюрреализма в его творчестве были, они остались еще от двадцатых годов, и в этом сказалось его пристрастие к анахронизмам. Был также случай, когда он назвал свои полотна гобеленами; по его рисункам в обюссонском atelier [1] и в самом деле ткали стенные ковры. Некоторые считали Бресли эклектиком («дитя немыслимого брака между Сэмюелем Палмером и Шагалом»,— выразился один критик в статье о ретроспективе в галерее Тейт), что было заметно на всем протяжении его профессиональной карьеры, хотя окончательно он определился незадолго до переезда в Котминэ; отмечалось и некоторое сходство его с Ноланом, несмотря на то что его картины менее понятны, более загадочны и структурны... «Кельтский стиль» — вот нередко употребляемый применительно к нему термин (лесные мотивы, таинственные фигуры и контрасты).

Это отчасти признавал сам Бресли: когда кто-то попросил его назвать своих главных учителей, он ответил — Пизанелло и Диас де ла Пенья. Ответ был искренний — что случалось редко,— но лишь наполовину правдивый. Нет нужды доказывать, что ссылка на Диаса и барбизонскую школу была иронией над самим собой. Когда же Бресли спросили, чем привлек его Пизанелло, он назвал картину «Видение св. Евстафия» из лондонской Национальной галереи и признался, что она не давала ему покоя всю жизнь. Если кто-то говорил ему, что влияние этой картины на первый взгляд мало в чем проявляется, он не задумываясь отвечал: Пизанелло и его покровители в начале пятнадцатого века находились под обаянием Артурова цикла [2].

Именно эта сторона творчества старого художника и привела Дэвида Уильямса (родившегося в 1942 году — в том самом, когда к Бресли пришел первый успех в Англии) в Котминэ в сентябре 1973 года. До ретроспективы в галерее Тейт Бресли не вызывал у него особого интереса, но уже тогда его поражала некоторая аналогия искусства этого художника с искусством — вернее, со стилем — интернациональной готики, которая его как ученого интересовала всегда. Два года спустя он написал на эту тему статью. В знак уважения он послал ее Бресли, но тот ничего не ответил. С тех пор прошел год, Дэвид почти выбросил этот эпизод из головы и, уж конечно, стал гораздо меньше уделять внимания творчеству старика. И вдруг, почти как гром среди ясного неба,— предложение издательства написать биографический и критический очерк к книге «Искусство Генри Бресли», причем издательство уведомляло, что предложение это делается с согласия самого художника.

Так что к старому мастеру поехал не совсем ему не известный молодой человек. Родители Дэвида Уильямса — отец и мать — были архитекторы с именем, имевшие достаточно обширную совместную практику. Их сын уже в раннем возрасте проявил врожденную склонность к искусству, острое восприятие цвета и рос в окружении, от которого получал лишь поддержку. Со временем он поступил в художественный колледж, где в конце концов остановил выбор на живописи. Отличный студент, он уже на третьем курсе писал вещи, пользовавшиеся спросом у покупателей. Он был rara avis [3] не только в этом отношении: в противоположность большинству товарищей-студентов он отличался еще и ясностью мышления. Выросший в семье, где неплохо разбирались в современном искусстве и его проблемах, постоянно и досконально обсуждали их, он научился хорошо говорить и писать.

---

[1] Мастерской; здесь — ткацкой фабрике *(франц.)*.
[2] Цикл романов о легендарном короле бриттов Артуре.
[3] Редкостью *(лат.)*.

Приобрел серьезные познания в истории искусства, чему способствовали не только его личное рвение, но и частые поездки в Тоскану, где он жил в купленном родителями бывшем крестьянском доме. Он понимал, что ему повезло, и знал, что его менее щедро одаренные средой и природой сверстники завидуют ему. Он всегда стремился нравиться людям и умело сочетал правдивость с чувством такта. В бытность свою студентом он пользовался — в этом, вероятно, заключалось самое удивительное — всеобщей любовью; то же случилось и потом, когда он стал преподавателем и лектором,— даже те, кого он как искусствовед подвергал критике, не питали к нему ненависти, ибо он-то, по крайней мере, никогда не устраивал разноса ради разноса. Лишь в очень редких случаях, отзываясь о том или ином художнике, о той или иной выставке, он не находил ничего заслуживающего похвалы.

Окончив колледж, он без чьей-либо подсказки поступил на один год в институт Курто. Затем в течение двух лет сочетал преподавание живописи с лекциями по эстетике. В своем собственном творчестве в этот период он испытывал, не без выгоды для себя, влияние оп-арта и Бриджет Райли. И сделался одним из тех молодых художников, работы которых удовлетворяли покупателей, не имевших достаточно средств на приобретение картин самой Райли. В 1967 году он сошелся с одной из своих студенток-третьекурсниц, и эта связь скоро переросла в любовь. Они поженились и купили с помощью родителей дом в Блэкхите. Дэвид решил было попробовать зарабатывать на жизнь исключительно живописью, но рождение Александры, первой из двух дочерей, и ряд других обстоятельств (в частности, то, что к этому времени он, начав освобождаться от влияния Райли, почувствовал себя как художник не очень уверенно) вынудили его искать дополнительные источники дохода. Преподавать снова в студии он не захотел и стал лектором с неполной нагрузкой. Случай свел его с одним человеком, который предложил ему писать рецензии; он согласился и год спустя стал зарабатывать достаточно, что позволило ему отказаться от лекций. Так с той поры и пошла его жизнь.

Его собственное творчество начало завоевывать довольно прочную репутацию (по мере того как проходило его увлечение оп-артом), что обеспечивало его выставкам коммерческий успех. Хотя он и оставался абстрактным художником в общепринятом понимании этого прилагательного (живописцем-колористом, если пользоваться современным жаргоном), он знал, что склоняется в сторону природы и отходит от хитроумного иллюзионизма Райли. Его живописные работы отличались технической отточенностью, продуманной архитектоникой, унаследованной от родителей, и замечательной мягкостью тонов. Грубо говоря, они хорошо смотрелись на стенах жилых комнат, что и служило одной из веских причин (Дэвид понимал это и не смущался) его коммерческого успеха; другая причина заключалась в том, что, в отличие от большинства абстракционистов, он никогда не увлекался большими полотнами. Это, вероятно, тоже было перенято у отца и матери; пристрастие к монументальности, характерное для художников по ту сторону Атлантики, к изготовлению полотен для огромных залов музеев современного искусства не вызывало у него сочувствия. Он не относился к тому сорту людей, которым совестно признать, что их произведения, из-за своих малых размеров, украшают стены квартир и особняков и доставляют удовольствие частным владельцам.

Ему претила амбициозность, однако он не был лишен честолюбия. Живопись по-прежнему приносила ему больше денег, чем статьи, и это значило для него много, как и то, если можно так выразиться, положение, которое он занимал среди художников своего поколения. Он считал недостойной всякую мысль о погоне за богат-

ством и славой и в то же время зорко следил за конкурентами и за тем, какую они имеют прессу. Он отнюдь не пребывал в блаженном неведении: как рецензент, он считал, что лучше переоценить наиболее опасного противника, чем недооценить его.

Его супружеская жизнь протекала, можно сказать, весьма спокойно, если не считать того короткого периода, когда Бет, взбунтовавшись против «постоянного материнства», стала под знамя движения за равноправие женщин, но скоро успокоилась, так как в это время вышли из печати две детские книжки с ее иллюстрациями, уже был договор на третью и велись переговоры о четвертой. Браком своих родителей Дэвид всегда восхищался. Теперь и его собственный брак начал принимать такой же характер — легкие товарищеские отношения и взаимная выручка. Когда ему предложили написать вступление к книге о Бресли, он воспринял это как еще одно свидетельство того, что дела у него, в общем, идут неплохо.

Беспокоило его только одно: знает ли Бресли, что он тоже живописец или, точнее, живописец известного направления и, кроме того, искусствовед? Директор издательства говорил, что старик этими вопросами не интересовался. Статью о себе он видел и сказал, что она «читается», но его больше занимало качество цветных репродукций в будущей книге. Мнение Бресли о том, что полная беспредметность — ложный путь в искусстве, было широко известно, поэтому он вряд ли стал бы тратить время на ознакомление с творчеством самого Дэвида. С другой стороны, он мог теперь относиться терпимее к абстрактному искусству, хотя в 1969 году, живя в Лондоне, призывал все кары небесные на голову Виктора Пасмура. Однако более вероятно другое: будучи оторван от лондонского мира искусства, он и в самом деле не подозревал о том, что пригревает у себя на груди змею. Дэвид надеялся избежать споров, но если это не удастся, то он примет бой и попробует втолковать старику, что современному обществу уже не свойственна подобная узость взглядов. Доказательством служит хотя бы тот факт, что Дэвид принял предложение издательства. Бресли «работал», а то, что с точки зрения эмоциональной и стилистической его работы коренным образом отличались — или стояли далеко — от предпочитаемых кем-то предшественников («Стиля» [1], Бена Николсона и других, в том числе архиренегата Пасмура), для искусства двадцатого века было несущественно.

Дэвид был молод и, главное, терпим, непредубежден и любознателен.

Он воспользовался получасом свободного времени, пока «Генри» не разбудили, и спустился вниз посмотреть произведения искусства. Время от времени выглядывал из окон в сад: лужайка по-прежнему пустовала. В доме было так же тихо, как в момент его приезда. Из картин, висевших в длинном зале, только одна была кисти Бресли, но полюбоваться все равно было чем. Пейзаж, как Дэвид и догадался сначала,— это Дерен. Три прекрасных рисунка Пермеке. Энсор и Марке. Ранний Боннар. Характерный нервный карандашный набросок без подписи — конечно, это Дюфи. А вот великолепный Явленский (невозможно представить, как он сюда попал), Отто Дикс (пробный оттиск гравюры, подписанный автором), а рядом, как бы для сравнения, рисунок Невинсона. Два Метью Смита, один Пикабия, небольшой натюрморт с цветами (должно быть, ранний Матисс, прав-

[1] Авангардистское объединение голландских архитекторов и художников, существовавшее в 1917—1931 гг.

да, не совсем похож)... но еще больше было картин и рисунков, авторов которых Дэвид не мог назвать. Хотя произведения более крайних школ отсутствовали, в целом искусство начала двадцатого века было представлено здесь хорошо, многие небольшие музеи дорого бы дали за такую коллекцию. Разумеется, Бресли предпочитал довоенное искусство — по-видимому, он всегда располагал для этого средствами. Единственный ребенок в семье, он получил в наследство от матери, умершей в 1925 году, солидное состояние. Его отец, один из тех викторианских джентльменов, которые жили припеваючи, не имея никаких определенных занятий, погиб в 1907 году во время пожара в гостинице. По свидетельству Майры Ливи, он тоже, хотя и дилетантски, занимался коллекционированием картин.

Для своей картины Бресли выбрал самое почетное место — в центре зала над старым, выложенным из камня камином. Это была «Охота при луне» — вероятно, наиболее известная из его работ, созданных в Котминэ; именно о ней Дэвид собирался писать подробно, ему ужасно хотелось еще раз внимательно посмотреть ее на досуге... чтобы убедиться по крайней мере в том, что он не переоценивал ее достоинств. Он почувствовал некоторое облегчение от того, что при вторичном знакомстве (первое состоялось четыре года назад на выставке в галерее Тейт) картина оказалась ничуть не хуже. Более того, она выгодно отличалась от той, которую он воспроизводил в своей памяти или видел на репродукциях. Как и во многих других произведениях Бресли, здесь явно сказывалась большая предварительная иконографическая работа (в данном случае изучению подверглись «Ночная охота» Уччелло и многочисленные подражания ей, появившиеся в последующие столетия), что наводило на мысль о смелом сравнении, о сознательном риске... подобно тому, как испанские рисунки Бресли были вызовом великой тени Гойи — автор не просто подражал ему, а пародировал,— так и воспоминание о картине Уччелло из музея Ашмола некоторым образом углубляло и усиливало впечатление от полотна, перед которым сидел сейчас Дэвид. Оно придавало необходимую напряженность: за таинственностью и неопределенностью (нет ни гончих, ни коней, ни дичи... только неясные темные фигуры среди деревьев — и тем не менее название кажется оправданным), за современностью множества поверхностных деталей скрывались и уважение к вековой традиции, и издевка над ней. Дэвид затруднился бы назвать эту работу шедевром: местами краска неровная, а при более внимательном рассмотрении — намеренно откровенное impasto[1]; в целом же изображение несколько статичное, ему недостает светлых тонов (впрочем, это, наверно, опять воспоминание о картине Уччелло). И все же произведение это значительное, оно впечатляло и выглядело очень недурно на фоне картин других английских художников послевоенного периода. Самое удивительное, пожалуй, заключалось в том, что эта картина, как и вся серия, была написана человеком преклонных лет. «Охоту при луне» Бресли закончил в 1965 году, на шестьдесят девятом году жизни. А ведь с тех пор прошло еще восемь лет.

И вдруг, как бы в ответ на немой вопрос Дэвида, на пороге двери со стороны сада появился сам художник во плоти.

— Уильямс, мой дорогой.

Он шагнул вперед и протянул руку; на нем были голубые брюки, синяя рубашка — неожиданная вспышка Оксфорда и Кембриджа — и красный шелковый шейный платок. Голова совершенно седая, но в бровях еще сохранились темные волоски; нос луковицей, губы сложены в обманчиво капризную гримасу, на загорелом лице — серо-го-

[1] Прием живописи, состоящий в наложении краски густым слоем.

лубые, с мешками, глаза. Движения преувеличенно энергичные, точно он сознавал, что силы у него уже на исходе; меньше ростом и стройнее, чем Дэвид представлял его себе по фотографиям.

— Великая честь быть в вашем доме, сэр.

— Чепуха. Чепуха.— Старик потрепал Дэвида по локтю, его веселые, насмешливые глаза пытливо и вместе высокомерно глядели на гостя из-под бровей и белой пряди волос на лбу.— О вас позаботились?

— Да. Все в порядке.

— Надеюсь, Мышь не заморочила вам голову. У нее не все дома.— Старик стоял подбоченясь, явно стараясь казаться моложе и живее — ровней Дэвиду.— Воображает себя Лиззи Сиддал. А я, значит, тот самый отвратительный маленький итальяшка... Оскорбительно, черт побери, а?

Дэвид засмеялся:

— Я действительно заметил некоторую...

Бресли закатил глаза.

— Дорогой мой, вы и понятия не имеете. До сих пор. Девчонки этого возраста. Ну, а как насчет чая? Да? Мы в саду.

Когда они двинулись к выходу, Дэвид указал на «Охоту при луне»:

— Рад, что снова вижу это полотно. Дай бог, чтобы полиграфисты сумели достойно воспроизвести его.

Бресли пожал плечами, как бы показывая, что этот вопрос нисколько его не трогает или что он безразличен к столь откровенной лести. Он снова бросил на Дэвида испытующий взгляд:

— А вы? Говорят, вы первый сорт.

— Да что вы, куда мне.

— Читал вашу работу. Все эти ребята — о них я и не знал ничего. Хорошо написали.

— Но неверно?

Бресли коснулся его руки.

— Я же не ученый, друг мой. Вам это может показаться удивительным, но я не знаю многого из того, что вы, вероятно, впитали чуть ли не с молоком матери. Ну, что делать. Придется вам с этим смириться, а?

Они вышли в сад. Девушка по прозвищу Мышь, по-прежнему босая и в том же белом арабском наряде, шла по лужайке со стороны дальнего крыла дома с чайным подносом в руках. Она не обратила на мужчин никакого внимания.

— Что я говорил? — проворчал Бресли.— Хлыста бы ей хорошего по мягкому месту.

Дэвид закусил губу, чтобы не рассмеяться. Подойдя к столу под катальпой, он заметил вторую девушку: она стояла в том уголке лужайки, который был скрыт за густым кустарником и не виден со стороны дома. Должно быть, все это время она читала — он видел, как она направилась в их сторону с книгой в руке, оставив на траве соломенную шляпу с красной лентой. Если Мышь выглядела странно, то эта особа — просто нелепо. Ростом она была еще ниже, очень худая, с узким лицом и копной вьющихся, красноватых от хны волос. Ее уступка требованиям приличия сводилась лишь к тому, что она надела нижнюю трикотажную рубашку — не то мужскую, не то подростковую, выкрашенную в черный цвет. Короткое это одеяние едва-едва прикрывало ее чресла. На веках лежали черные тени. Она напоминала тряпичную куклу, этакую неврастеничную уродку, персонаж из трущобной части Кингс-роуд.

— Это Энн,— сказала Мышь.

— Известная под кличкой Уродка,— добавил Бресли.

Бресли жестом пригласил Дэвида сесть рядом с ним. Дэвид медлил, видя, что свободным остается лишь один стул; но Уродка довольно неуклюже опустилась на траву возле подруги. Из-под ее черной рубашки стали видны красные трусики. Мышь принялась разливать чай.

— Первый раз в этих краях, Уильямс?

Вопрос давал повод для вежливой беседы; впрочем, восторги Дэвида по поводу Бретани и ее ландшафта были вполне искренни. Старику, это, видимо, понравилось, он начал рассказывать историю своего дома: о том, как нашел его и почему покинул Париж. Со смехом поведал о том, как ему создали репутацию оригинала-отшельника,— должно быть, ему доставляло удовольствие беседовать с другим мужчиной. Во время разговора он ни разу не повернулся лицом к девушкам, совершенно игнорируя их, и Дэвиду все больше и больше казалось, что им неприятно его присутствие,— он не мог сказать, из-за того ли, что он отвлек на себя внимание старика, внес в дом искусственную, натянутую атмосферу, или просто они уже слышали все, что говорил ему сейчас старик, и скучали. Между тем Бресли, как бы желая лишний раз опровергнуть укрепившуюся за ним репутацию отшельника, заговорил о валлийских пейзажах и о раннем детстве в Уэльсе, до 1914 года. Дэвид знал, что по матери Бресли — валлиец, что в годы войны он жил в графстве Брекнокшир; но он не знал, что старик бережно хранит память об этом крае и тоскует по его холмам.

Старик имел обыкновение выражаться замысловато, отрывисто и с такими интонациями, по которым трудно было определить, спрашивает он или утверждает; говорил он на странном, вышедшем из употребления жаргоне, беспрестанно оснащая свою речь непристойностями, точно он был не человек высокого интеллекта, а какой-нибудь эксцентричный отставной адмирал (сравнение, вызвавшее у Дэвида скрытую усмешку). Словечки, которыми пользовался Бресли, звучали в его устах поразительно неуместно — странно было слышать старомодные вычурные выражения, употребляемые английскими аристократами, от человека, чья жизнь была отрицанием всего, что эти аристократы утверждали. Столь же нелепо выглядела его зачесанная набок седая челка, к которой Бресли, должно быть, привык с юности и которая давно уже по милости Гитлера не пользуется популярностью у более молодых людей. Она придавала ему мальчишеский вид, но пунцовое холерическое лицо и водянистые глаза изобличали человека весьма зрелого и непростого. Ему явно хотелось показать себя более безобидным старым чудаком, чем на самом деле; и, должно быть, он знал, что никого этим не обманет.

И все же, если бы девицы не были так молчаливы — Уродка даже уселась поудобней, спиной к креслу подруги, и, взяв книгу, снова принялась за чтение,— Дэвид чувствовал бы себя сравнительно свободно. Мышь сидела в своем белом элегантном одеянии и слушала; но слушала как-то рассеянно, точно мысли ее были далеко — может быть, она представляла себя изображенной на полотне Милле. Всякий раз, когда Дэвид ловил ее взгляд, на ее довольно миловидном лице появлялась едва заметная тень причастности к беседе; но именно это принужденное выражение и выдавало ее невнимание. Ему захотелось узнать, какая еще есть правда, кроме той, которая видна на поверхности. Он никак не предполагал встретить здесь этих девушек; из разговора с издателем у него сложилось впечатление, что старик живет один, если не считать пожилой экономки-француженки

ки. Отношение девиц к старику казалось вполне дочерним. Лишь однажды во время чаепития Уродка показала когти.

Дэвид, полагая, что затрагивает безопасную тему, упомянул Пизанелло и его фрески, недавно найденные в Мантуе. Бресли видел репродукции и, думалось Дэвиду, с неподдельным интересом слушал рассказ человека, знакомого с ними по оригиналам. Кстати выяснилось, что старик и в самом деле несведущ во фресковой технике (Дэвид сначала не верил этому, хотя его и предупреждали). Но не успел он пуститься в рассуждения об arricio, intonaco, sinopie[1] и прочем, как Бресли прервал его:

— Уродка, дорогая, брось ты, ради бога, эту дерьмовую книжку и слушай.

Уродка положила книгу в мягкой обложке на землю и скрестила руки на груди.

— Извините.

Извинение относилось к Дэвиду — старика она не удостоила взглядом,— но в тоне ее звучала нескрываемая скука, точно она хотела сказать: ты нудный человек, но раз он настаивает...

— Если ты употребляешь это слово, черт побери, то скажи его как следует, а не для проформы.

— Я не знала, что мы тоже участвуем.

— Чушь.

— Но я все равно слушала.— Она говорила с легким акцентом кокни[2], голос у нее был усталый и грубый.

— Не будь такой дерзкой, черт тебя дери.

— Да, слушала.

— Чушь.

Она сделала гримасу, оглянулась на Мышь.

— Генри-и!

Дэвид улыбнулся:

— Что читаете?

— Друг мой, не ввязывайтесь. Будьте так любезны.— Старик наклонился вперед и нацелил на нее палец.— Чтобы этого больше не было. Учись.

— Хорошо, Генри.

— Извините, любезнейший. Продолжайте.

Этот небольшой инцидент толкнул Мышь на неожиданный поступок. Она украдкой кивнула Дэвиду за спиною Бресли: хотела ли она этим сказать, что не произошло ничего необычного, или посоветовать ему продолжать говорить, пока не разразился настоящий скандал,— это было неясно. Но когда он заговорил снова, ему показалось, что она слушает несколько более заинтересованно. Даже задала ему вопрос, показывая, что кое-что знает о Пизанелло. Должно быть, старик рассказывал ей об этом художнике.

Погодя немного Бресли встал и пригласил Дэвида посмотреть его «рабочую комнату» в одном из строений за садом. Девушки даже не пошевелились. Проходя следом за Бресли через арку в стене, Дэвид оглянулся на худую загорелую фигурку в черной трикотажной рубашке. Уродка снова держала книгу в руках. Когда они вышли на покрытую гравием дорожку, ведущую налево к строениям, старик подмигнул и сказал:

— Всегда одно и то же. Попробуй переспи с такими сучками. Потеряешь чувство пропорции.

— Они студентки?

— Мышь. Чем себя считает другая, одному богу известно.

---

[1] Нанесение грунта, штукатурка, охра красная *(итал.)*.

[2] Наречие, на котором говорят обитатели бедных кварталов Лондона.

Но ему явно не хотелось говорить о девицах, словно они значили для него не больше, чем мотыльки, прилетевшие на огонек свечи. Он стал рассказывать Дэвиду о переделках в помещениях и о том, что в них было раньше. Они вошли в главную мастерскую — бывший амбар, где был уничтожен верхний этаж. У широкого окна, обращенного на север, к посыпанному гравием дворику, стоял длинный стол, на котором лежали в беспорядке рисунки и листы чистой бумаги, рядом с ним — стол с кистями и красками, распространявшими знакомые запахи; большую же часть помещения занимала новая, законченная на три четверти картина размером шесть на двенадцать футов на специальном станке с передвижными лесенками. Это был опять-таки лес, но с поляной в центре, гораздо более населенной, чем обычно, и не так сильно напоминающей сказочное подводное царство; темно-синее, почти черное небо создавало впечатление не то ночи, не то душного дня перед грозой, ощущение опасности, нависшей над человеком. Но здесь уже сказывалось непосредственное влияние (Дэвид уже привык искать чье-нибудь влияние) Брейгелей и даже некоторое подражание самому себе — «Охоте при луне», висевшей в зале. Дэвид с улыбкой посмотрел на Бресли:

— Ключ?

— Кермесса? Пожалуй. Еще не уверен.— Старик задержал взгляд на своей картине.— Играет со мной в прятки. Ждет своего часа, вот что.

— А по-моему, очень хороша. Уже сейчас.

— Потому мне и нужно женское общество. Уметь выбрать момент. Кровотечения и прочее. Знать, когда не следует работать. Девять десятых успеха.— Он посмотрел на Дэвида.— Да вы же все это знаете. Сами художник, а?

Дэвид затаил дыхание и поспешил уйти от скользкой темы: рассказал о Бет и о том, что она работает в одной с ним мастерской,—он понимал, что́ Бресли имел в виду. Старик как бы в знак одобрения развел руками и ничего не сказал; относительно творчества самого Дэвида из вежливости допытываться не стал. Отвернулся и сел на табурет, взял в руки карандашный натюрморт с разбросанными на столе дикими цветами — ворсянками и чертополохом. Рисунок был выполнен с впечатляющей, хотя несколько безжизненной, тщательностью.

— Мышь. Уже чувствуется почерк, вы не находите?

— Прекрасная линия.

Бресли кивнул на огромное полотно:

— Разрешил ей помогать. Черновую работу.

— На таком полотне...— пробормотал Дэвид.

— Она умница, Уильямс. Не заблуждайтесь на ее счет. И воздержитесь от насмешек.— Старик снова посмотрел на рисунок.— Заслуживает лучшего. Без нее я бы не смог, правда.

— Уверен, что она и сама многому здесь учится.

— Знаете, что говорят люди. Старый распутник и тому подобное. Человек моих лет.

Дэвид улыбнулся.

— Уже не говорят.

Но Бресли, казалось, не слышал.

— А я плюю на это. Всегда плевал. Пусть думают что хотят.

Повернувшись лицом к картине — а Дэвид стоял рядом и смотрел на нее,— он заговорил о старости и о том, что вопреки мнению молодежи воображение художника, его способность постижения с возрастом не атрофируются. Недостает ему только физических и моральных сил, чтобы осуществить задуманное,— как старому бедняге, лив-

рейному слуге, которому тоже без посторонней помощи не обойтись. Сделав это вынужденное признание, Бресли явно смутился.

— «Отцелюбие римлянки»[1]. Знаете, что это такое? Дряхлый старик сосет грудь молодой женщины. Эта мысль часто меня посещает.

— Мне кажется, это выгодно не только одной стороне.— Дэвид показал рукой на натюрморт.— Знали бы вы, как сейчас обучают искусству в Англии.

— Вы думаете?

— Уверен. Большинство студентов даже рисовать не умеет.

Бресли провел ладонью по седой голове; в его взгляде снова мелькнуло что-то трогательно-мальчишеское, точно старик не был уверен в себе. Дэвид начинал невольно проникаться сочувствием к этому человеку, угадывая под внешней грубоватостью манеры и языка застенчивый, но открытый характер; видимо, старик решил, что может довериться своему собеседнику.

— Следовало бы отправить ее домой. Духу не хватает.

— Разве это не от нее зависит?

— А она ничего не говорила? Когда вы приехали?

— Разыгрывала из себя ангела-хранителя — между прочим, весьма убедительно.

— Скорее клушу, осевшую на насесте.— Слова эти были сказаны почему-то с мрачной усмешкой; старик, не вдаваясь в объяснения, встрепенулся и тронул Дэвида за руку, как бы извиняясь перед ним.— К черту. Приехали поджаривать меня на вертеле, а?

Дэвид спросил, как он готовится к работе над картиной.

— Методом проб и ошибок. Много рисую. Смотрите.

Он подвел Дэвида к дальнему концу стола. На эскизах лежала та же печать робости в странном сочетании с уверенностью, что угадывалась в тоне его высказываний о Мыши. Словно он боялся критики и в то же время считал, что заслужил ее.

Его новая картина, видимо, родилась из очень смутных воспоминаний раннего детства о поездке на ярмарку, теперь он уже не помнил точно, где была эта ярмарка; пяти- или шестилетним мальчиком он желал этой поездки, она доставляла ему огромную радость — это неодолимое желание до сих пор сохранилось в памяти художника, им тогда было пронизано все: ребенку хотелось подойти к каждому лотку, к каждой лавочке, все увидеть своими глазами, все попробовать. А потом — гроза, которая для взрослых, судя по всему, не явилась неожиданностью, мальчика же потрясла и ужасно разочаровала. Перебирая эскизы, выполненные гораздо тщательнее и в большем числе вариантов, чем он предполагал, Дэвид видел, что внешние приметы ярмарки становятся все менее и менее заметными и в окончательном изображении исчезают совершенно. Как будто, постоянно меняя композицию и отрабатывая детали, чтобы избежать буквалистики, старик задался целью скорректировать неуклюжую натуралистичность, концептуальную связь. Но сюжет объяснял странную глубину, забвение места действия. Отвлеченные ассоциации, пятнышки света на фоне бесконечного мрака и все остальное выглядело, пожалуй, чуть слишком банально. В целом на картине лежал излишний отпечаток мрачной загадочности; иными словами, нечто вроде пессимистического трюизма о положении человека. Но тон, настроение, сила утверждения выглядели убедительно — и этого было более чем достаточно, чтобы преодолеть предубеждение, какое питал Дэвид против конкретных сюжетов в живописи.

[1] Название картины Рубенса, основанной на легенде о молодой римлянке, которая кормила грудью заключенного в темницу отца, чтобы спасти его от смерти. Картина находится в Эрмитаже.

Далее беседа потекла по более широкому руслу, и Дэвиду удалось увести старика к его прошлому, к периоду жизни во Франции в двадцатые годы, дружбы с Браком и Метью Смитом. Преклонение Бресли перед Браком давно уже не было тайной, но старик, видимо, хотел убедиться в том, что Дэвиду об этом известно. По его мнению, сравнивать Брака с Пикассо, Матиссом и «компанией» — значит ставить великого человека на одну доску с великими подростками.

— Они это знали. Он это знал. Да и вообще все знают, кроме чертовой публики.

Дэвид не стал спорить. Старик произносил имя Пикассо так, что оно приобретало неприличное звучание. Но в целом, пока они разговаривали, он старался воздерживаться от непристойных выражений. Маска невежества стала спадать, обнажая лицо старого космополита. Дэвид начал подозревать, что имеет дело с бумажным тигром или, во всяком случае, с человеком, который все еще жил в мире, существовавшем до его появления на свет. Вспышки агрессивности Бресли были основаны на смехотворных, изживших себя представлениях о том, что может шокировать людей, служить той красной тряпкой, которая приводит их в бешенство; как это ни грустно, но разговор с Бресли напоминал игру матадора со слепым быком. Только какой-нибудь самодовольный кретин мог попасться такому быку на рога.

Было без малого шесть часов вечера, когда они вернулись в дом. Обе девушки снова куда-то исчезли. Бресли повел Дэвида в гостиную на первом этаже посмотреть другие картины. Посыпались анекдоты, категорические оценки. Одного прославленного художника он упрекнул за гладкость:

— Слишком легко, черт побери. Этот, знаете ли, может производить по дюжине картин в день. Только лентяй. Это его и спасло. Тонкая бестия.

Дэвид спросил, чего ради он покупал эти вещи, и старик откровенно ответил:

— Ради денег, дорогой. Капитал. Никогда не рассчитывал, что мои собственные вещи представят большую ценность. Ну, а это — кто, вы думаете?

Они остановились перед небольшим натюрмортом с цветами, который Дэвид при первом ознакомлении приписал Матиссу. Дэвид покачал головой.

— С тех пор писал одну дребедень.

Но этой подсказки оказалось недостаточно — среди такой коллекции. Дэвид улыбнулся:

— Сдаюсь.

— Миро. Пятнадцатый год.

— Боже милостивый.

— Грустно.— Бресли поник головой, точно стоял над могилой человека, умершего в расцвете лет.

Были там и другие маленькие шедевры, авторов которых Дэвид не смог назвать сам: Серюзье, замечательный пейзаж Филиже в духе Гогена... но когда они дошли до дальнего угла зала, Бресли открыл дверь:

— А вот здесь, Уильямс, у меня художник получше других. Вот увидите. Сегодня за ужином.

Дверь вела в кухню; за столом сидел и чистил овощи седовласый мужчина со впалыми щеками; пожилая женщина, хлопотавшая у современной кухонной плиты, повернула голову и улыбнулась. Дэвида познакомили с ними: Жан-Пьер и Матильда, они вели домашнее хозяйство и ухаживали за садом. Была там еще большая восточноевропейская овчарка. Пес вскочил было на ноги, но Жан-Пьер оса-

дил его. Пса звали Макмиллан — по созвучию с «Вийлон»[1]; Бресли с усмешкой заметил, что пес — тоже «старый самозванец». Старик заговорил по-французски — впервые за весь вечер — странно изменившимся голосом и, насколько мог судить Дэвид, совершенно свободно, как на родном языке: вероятно, английский язык стал для него более чужим, чем французский. Дэвид догадался, что они обсуждают меню. Бресли подошел к плите и, приподнимая крышки, стал нюхать содержимое кастрюль, как это делают офицеры, инспектирующие солдатскую кухню. Потом извлекли и осмотрели щуку. Пожилой француз стал что-то рассказывать. Видимо, это он поймал щуку, а собака, когда рыбина оказалась на берегу, пыталась схватить ее. Бресли наклонился и погрозил ей пальцем: прибереги, мол, свои зубы для воров; Дэвид с радостью отметил про себя, что в момент его прибытия в имение овчарки не оказалось поблизости. Судя по всему, это вечернее посещение кухни — часть ритуала. Дух семейственности, простота отношений, вид тихой французской четы приятно контрастировали с несколько нездоровой атмосферой, которую ощущал Дэвид из-за присутствия двух девушек.

Когда они возвратились в гостиную, Бресли сказал Дэвиду, чтобы он чувствовал себя как дома. А ему нужно написать несколько писем. Перед ужином, в половине восьмого, они соберутся вместе выпить.

— Надеюсь, у вас не слишком официально?

— Никаких церемоний, друг мой. Хоть нагишом приходите, если нравится.— Он подмигнул.— Девушки будут не против.

Дэвид улыбнулся:

— Понятно.

Старик помахал рукой и направился к лестнице. На полдороге остановился и сказал:

— Свет-то не сошелся клином на голых грудях, а?

Дэвид постоял немного в раздумье и тоже пошел к себе наверх. Сел в глубокое кресло и стал писать. Пожалел, что не может воспроизвести буквально все слова старика, однако первые два часа все равно оказались весьма интересными, а потом, наверное, фактов еще прибавится. Кончив писать, он лег на кровать, подложил руки под голову и устремил взгляд в потолок. В комнате, несмотря на открытые ставни, было очень тепло и душно. Странное дело, Бресли несколько разочаровал его как личность — слишком уж много позы и старческого кривлянья, слишком велик разлад человека с его творчеством; кроме того, как Дэвид ни старался об этом не думать, он был вопреки логике немного обижен на то, что старик ничего не спросил о его собственной работе. Он понимал, что обижаться нелепо, что чувство это — всего лишь реакция на явную мономанию; была тут и доля зависти... довольно роскошный старый особняк, просторная мастерская, коллекция картин, легкий налет чего-то порочного, двусмысленного в этом доме, особенно действовавшего на воображение при воспоминании о привычной старушке Бет и о детях; уединенность этого мирка, отчуждение, неожиданные вспышки искренности, патина... вид цветущей сельской местности, по которой он весь день ехал в машине, обилие созревающих яблок.

Но он был несправедлив к Бет: ведь когда в понедельник утром опасения насчет ветрянки Сэнди подтвердились и у них произошел неприятный разговор, она отнеслась к своим родительским обязанностям более ответственно, чем он. Теща, приехавшая к ним специально для того, чтобы остаться на время их отсутствия с детьми, и

[1] Правильно — Вийон. Крупнейший поэт французского средневековья, взявший фамилию своего воспитателя капеллана Вийона.

вполне способная справиться с ними, приняла его, Дэвида, сторону, и тем не менее жена настояла на своем. Тому причиной — ее неспокойный характер, всегдашняя несговорчивость и, как он подозревал, некоторые угрызения совести из-за кратковременного бунта против тирании детей вскоре после рождения Луизы. Бет заявила, что даже если все обойдется благополучно, она была бы неспокойна, если бы уехала, потому что продолжала бы оставаться в неведении; Дэвид же должен ехать — ведь это, в конце концов, его работа. А поездка на неделю в Ардеш, которую они планировали после Бретани, может еще состояться. Наконец, когда он в понедельник вечером собрался в Саутгемптон, они договорились так: если в четверг она не пришлет ему в Котминэ телеграмму — значит, на следующий день будет в Париже. Дэвид тотчас же отправился за билетом на самолет и вернулся домой не только с билетом, но с цветами и бутылкой шампанского. Теща одобрила этот жест. Бет отнеслась к нему суховато. Ее огорчило то, что он, будучи расстроенным, так как ему не улыбалось ехать одному, тем более с такой миссией, слишком уж демонстративно пренебрег своим родительским долгом. Но ее последние слова были: «Я прощу тебя в Париже».

Дверь рядом с лестницей — та, за которой исчез давеча Бресли,— на минуту приоткрылась, и до его слуха донеслись звуки музыки — не то радио, не то проигрыватель, похоже на Вивальди. И снова тишина. Дэвид почувствовал, что он здесь чужой и, в сущности, непрошеный гость. Мысли его вернулись к девушкам. Его отнюдь не шокировало то, что они валялись со стариком в постели. Вероятно, им хорошо платили за услуги — в буквальном и переносном смысле; должно быть, они знали, по какой цене продаются его произведения, не говоря уже о капитале, который можно извлечь из его коллекции на аукционе. Дэвид не переставал ловить себя на мысли о том, что их присутствие раздражает его. Конечно же, у них есть своя цель и они пользуются слабостью старика. Он чутьем улавливал какую-то тайну, в которую ему не дано проникнуть.

Он снова пожалел, что рядом с ним нет Бет. Та всегда отличалась большей прямотой и не так боялась обидеть кого-нибудь, поэтому смогла бы извлечь из этих девиц больше сведений.

Он был рад, что, перед тем как спуститься вниз, немного принарядился: джинсовый костюм, рубашка и шарф вместо галстука. Мышь, в кремовой блузе со стоячим воротничком и длинной рыжеватой юбке, накрывала на стол в дальнем конце гостиной. Горела люстра — за окнами сгущались сумерки. Войдя в комнату, Дэвид увидел седой затылок Бресли, сидевшего на диване перед камином, а рядом с ним — прислонившуюся к его плечу курчавую головку Уродки. Откинувшись на спинку дивана и положив ноги на пуф, она читала вслух какой-то французский журнал. На ней было черное шелковое декольтированное платье с оборками на испанский манер. На ее голых плечах покоилась рука старика. При приближении Дэвида он не переменил позы, а лишь показал свободной рукой на Мышь.

— Возьмите чего-нибудь выпить, мой друг.

Он тоже переоделся: на нем был светлый летний пиджак, белая рубашка и лиловый галстук-бабочка. Уродка повернула голову, скользнула темными глазами по Дэвиду, скривила ярко-красные губы и начала медленно переводить прочитанное на английский язык. Дэвид улыбнулся, потоптался немного, потом подошел к столу. Мышь оторвалась от своих дел, подняла на него холодный взгляд:

— Что будете пить?

— То же, что и вы.

— «Нуайи-Прат»?

— Прекрасно.

Она подошла к старому резному armoire[1] возле двери, ведущей в кухню, где стояли стаканы, бутылки, ведерко со льдом.

— Лимон?

— Да, пожалуйста.

Он взял в руку стакан и смотрел, как она приготовляет коктейль: вермут, немного шипучего фруктового напитка и, наконец, виски... осторожно, соблюдая пропорции, даже поднося стакан к глазам и проверяя уровень жидкости с помощью двух приставленных пальцев, перед тем как добавить сверху такое же количество содовой. Сквозь неплотную ткань ее блузки, напоминающую старинные кружева, просвечивало голое тело; блузка была закрытая, с длинными рукавами, суженными на запястьях, со стоячим воротничком в стиле эдвардианской эпохи; в общем, вид достаточно строгий и скромный, если бы Дэвид не обнаружил при ближайшем рассмотрении, что под блузкой нет бюстгальтера. Пока девушка наполняла стаканы, он смотрел на ее профиль, на невозмутимое выражение ее лица. По ее ловким, уверенным движениям видно было, что она привыкла к роли хозяйки. Дэвид не понимал, почему старик находит нужным подсмеиваться над ней; в конце концов хороший вкус и ум — гораздо более ценные качества, чем глупость. Да и не было теперь в ее облике ничего прерафаэлитского — обыкновенная, довольно смазливая девчонка семидесятых годов... и гораздо более простая в обращении, чем та нелепая чувственная кукла, что сидела на диване и опять читала французский журнал. Время от времени старик поправлял ее, и она перечитывала неверно произнесенное слово. Мышь отнесла им коктейли и вернулась к Дэвиду. Он подал ей стакан и вдруг почувствовал на себе ее пристальный взгляд; глаза девушки глядели настороженно — казалось, она наполовину уже прочла его мысли. Она молча подняла стакан за его здоровье и отпила глоток. Подперла ладонью одной руки локоть другой. И наконец улыбнулась.

— Хорошо ли мы вели себя?

— Превосходно. Очень полезный был разговор.

— Дайте ему срок.

Дэвид широко улыбнулся. Девушка определенно начала ему нравиться. Правильное, будто выточенное лицо, красивый рот и очень ясные серо-голубые глаза, казавшиеся еще светлее на фоне загорелой кожи и совсем не отрешенные, как во время чаепития. Теперь она слегка подвела их, отчего они приобрели чуточку славянскую удлиненную форму и смотрели прямо и открыто, что ему всегда нравилось. Он понимал, что рушится одно из его представлений о ней. Ему уже не верилось, что она способна использовать старика в корыстных целях.

— Он показал мне один ваш рисунок. Ворсянки? Мне понравилось.

Она на мгновение опустила глаза, желая, видимо, показать, что хочет, но не решается сказать ему что-то; потом снова взглянула на него:

— А мне понравилась ваша выставка в Редферене прошлой осенью.

Дэвид вздрогнул от удивления, которое лишь отчасти было притворным; снова улыбнулся:

— Никак не думал.

— Два раза ходила.

[1] Буфету *(франц.)*.

— Где вы учились? — спросил он.

— В Лидсе. Диплом с отличием. Потом два семестра в ККИ.

Он с должным изумлением взглянул на нее.

— Господи, да неужели вы...

— Здесь я узнаю больше.

Он не стал спорить — его дело сторона, но все же заметил, что, как бы она ни была права, аспирантура в таком труднодоступном заведении, как Королевский колледж искусств,— далеко не пустяк, от такого с легким сердцем не откажешься.

— Я не жалею. Генри знает, что ему повезло со мной.

Она сказала эти слова с улыбкой, но в этой улыбке не было ни иронии, ни самодовольства, и Дэвид еще более изменил свое отношение к девушке. Она сама себя отрекомендовала и предстала в его глазах достойным, серьезным человеком. Он понял, что сильно заблуждался на ее счет; видимо, его искусно разыгрывали вначале, когда он сюда приехал. Он живо представил себе, какую помощь она и в самом деле оказывает старику в студии; что касается сексуальных услуг, то их, как он начал догадываться, оказывала лишь та, другая девица.

— Новая картина замечательна. Не понимаю, откуда у него силы так много работать.

— Он ведь думает только о себе. Главным образом.

— Этому вы здесь и учитесь?

— Смотрю.

— Он сказал, что очень ценит вас.

— В сущности, он ребенок. Ему нужны игрушки. Привязанность, например. Чтобы можно было взять ее и вдребезги разбить.

— Но ваша привязанность сохранилась?

Она пожала плечами:

— Нам приходится немножко подыгрывать ему. Делать вид, что мы благоговеем перед его установившейся репутацией порочного человека. Нечто вроде гарема.

Он улыбнулся и посмотрел себе под ноги.

— Признаюсь, я не раз думал, действительно ли это так.

— Гостю, который был здесь до вас, он в первые же минуты похвастал, что накануне ночью трижды переспал с нами. Не показывайте вида, что не верите ему. По этой части.

Дэвид засмеялся:

— Хорошо.

— Знает, что никто ему не верит, но не в том суть.

— Понятно.

Она отхлебнула вермута.

— Чтоб не оставалось иллюзий: Энн и я не отказываем ему в тех маленьких удовольствиях, на которые он еще способен.

Ее глаза были прямо устремлены на него. За откровенностью в них угадывалась готовность к отпору, предостережение. Они оба потупились; Дэвид скользнул взглядом по очертаниям ее грудей, просвечивающих сквозь блузку, и быстро отвел глаза. Казалось, она была лишена кокетства, в облике ее не было и намека на кричащую чувственность подруги. Самообладание девушки было столь велико, что ее красота, ее едва прикрытая нагота теряли значение; и благодаря ее манере держаться это особенно было заметно.

Она продолжала:

— Он совсем не умеет выражать свои мысли словами. Как вы, вероятно, заметили. Отчасти потому, что слишком долго жил за границей. Но есть в нем что-то гораздо более глубокое. Он должен все

увидеть и почувствовать. В буквальном смысле. Силуэтов молоденьких девушек среди цветов ему недостаточно.

— Теперь вижу, как ему повезло.

— Я показала вам только приходную часть книги.

— В этом я тоже отдаю себе отчет.

Она взглянула украдкой в сторону старика и снова перевела глаза на Дэвида.

— Не смущайтесь, если он начнет грубить. Не надо отступать, он этого не терпит. Держитесь твердо. И не теряйте выдержки.— Она улыбнулась. — Извините за поучительный тон. Но я хорошо его знаю.

Он взболтнул содержимое стакана, ломтик лимона погрузился на дно.

— По правде говоря, мне не совсем понятно, почему он позволил мне приехать. Если знает о моей работе.

— Потому я и предостерегаю вас. Он спрашивал меня, и мне пришлось сказать ему. Он ведь все равно так или иначе мог узнать.

— О господи.

— Не волнуйтесь. Бросит несколько язвительных реплик и этим, я думаю, удовлетворится. Не обращайте внимания.

Он посмотрел на нее с удрученным видом.

— Мне кажется, мое присутствие ужасно вам докучает.

— Потому что вы увидели наши кислые физиономии. Не слишком любезно, правда?

Она улыбалась, и он улыбнулся в ответ.

— Ну, раз вы сами так говорите...

— Да мы в восторге, что вы приехали. Только не стоит слишком уж подчеркивать это на глазах у Генри.

— Теперь я все понимаю.

В ее глазах вдруг блеснул озорной огонек.

— Вам и Энн надо получше узнать. С ней сложнее, чем со мной.

Но поговорить об Энн им так и не удалось. Дверь из кухни приоткрылась, и из нее высунулась седая голова француженки-экономки.

— Je peux servir, mademoiselle?[1]

— Oui, Mathilde. Je viens vous aider [2].

Мышь ушла на кухню. Уродка была уже на ногах и тянула Бресли за руки, помогая ему подняться. Вся спина у нее из-за безмерно низкого выреза была голая. Они направились рука об руку к тому месту, где стоял Дэвид. Любопытно было смотреть, как смешно она семенит ногами; было в этом что-то раздражающе притворное, обезьянье, резко контрастирующее со спокойной походкой ее седовласого партнера. Дэвид усомнился, что сможет когда-либо «узнать» ее.

Накрыта была только часть стола. Бресли стал во главе, Уродка села по правую от него руку.

— Уильямс, мой дорогой.

Старик указал Дэвиду на место справа от Уродки. Пришли Матильда и Мышь, неся небольшую супницу, блюдо crudités[3] и другое — с холодными мясными закусками, сливочное масло. Суп предназначался для Бресли. Он продолжал стоять, дожидаясь — стародавняя галантность,— когда Мышь займет свое место. Усадив ее, он нагнулся и нежно поцеловал ее в темя. Девушки обменялись ничего не говорившим взглядом. Несмотря на различие во внешности и умственном развитии, легко было заметить, что они близки и понимают друг друга без слов. Мышь налила старику супа. Тот заправил угол большой салфетки под рубашку между двумя пуговицами и расстелил ее на коле-

[1] Можно подавать, мадемуазель?

[2] Да, Матильда. Я сейчас вам помогу *(франц.)*.

[3] Свежих овощей *(франц.)*.

нях. Уродка движением головы показала, чтобы Дэвид брал еду первым. Экономка прошла в угол комнаты, зажгла керосиновую лампу и, поднеся ее к столу, поставила на свободное место напротив Дэвида. По пути на кухню протянула руку к выключателю и погасила свет. Но в верхнем коридоре, выступавшем над дальним концом этого помещения, продолжала гореть невидимая лампочка, выхватывавшая из темноты изящную диагональ старинной лестницы. За окнами, над кронами деревьев, едва розовели последние отсветы заката, лица сидевших за столом заливало спокойное молочное сияние лампы; Мышь взяла бутылку — этикетки на ней почему-то не было — и налила вина Дэвиду, старику и себе. Уродка, по-видимому, не пила, да и к еде почти не притрагивалась. Сидела, положив голые бронзовые локти на стол, и подбирала с тарелки кусочки свежих овощей, то и дело поглядывая своими темными глазами на Мышь. Дэвида она словно не замечала. В комнате стало тихо — казалось, все ждали, когда Бресли даст знак начать разговор. Но молчание не смущало Дэвида: он сильно проголодался и к тому же чувствовал себя гораздо непринужденнее после того, как девушка, сидевшая напротив него, так хорошо прояснила обстановку. Свет лампы создавал впечатление покоя, делал все это похожим на полотно Шардена или Жоржа де ла Тура. Тут Уродка вдруг поперхнулась. Дэвид метнул на нее взгляд: нет, она давилась не пищей, а от смеха.

— Идиотка,— пробормотала Мышь.

— Извините.

Она крепко сжала губы и откинулась на спинку стула, силясь сдержать смех, потом схватила салфетку, прижала ее к лицу и выскочила из-за стола. Отойдя шагов на пять-шесть, остановилась спиной к остальным. Бресли продолжал спокойно есть суп. Мышь улыбнулась Дэвиду:

— Не принимайте на свой счет.

— Дать бы ей как следует по мягкому месту,— проворчал Бресли.

Уродка продолжала стоять, выставив на обозрение свой длинный позвоночник и смуглую тощую шею, покрытую рыжим пушком. Потом отошла прочь, в полумрак, к камину.

— А Мышь-то — ваша поклонница, Уильямс. Она вам говорила?

— Да, мы с ней уже учредили общество взаимного восхищения.

— Очень разборчивое создание, наша Мышь.

Дэвид улыбнулся.

— По стопам Пифагора, да?

И старик продолжал поглощать суп. Дэвид взглянул на Мышь, как бы взывая к ней о помощи.

— Генри спрашивает, увлекаетесь ли вы абстракцией.

Дэвид слышал, как старик, уперев взгляд в ложку с супом, пробормотал:

— Обструкция.

— Да. Боюсь, что это... правда.

Еще не успев поймать быстрый взгляд Мыши, он понял, что допустил ошибку. Старик ухмыльнулся:

— Почему же боитесь, мой друг?

Дэвид небрежно ответил:

— Это всего лишь риторическая фигура.

— Говорят, очень умственно. Мышь сказала: вызываете большой восторг.

— Als ich kann,— пробормотал Дэвид.

Бресли поднял глаза.

— Повторите?

В это время у стола вдруг появилась Уродка. В руке у нее были

три розовых хризантемы, вынутых из вазы, которую Дэвид видел на камине. Один цветок она положила рядом с ним, другой — со стариком и третий — с Мышью. Потом села на стул и сжала руки на коленях. Бресли протянул руку и отечески потрепал ее по плечу.

— Так что́ вы сказали, Уильямс?

— Работаю в меру своих способностей.— И поспешно добавил: — Я скорее надеялся бы идти по стопам...— Но тут же понял, опять с опозданием, что делает вторую ошибку.

— По чьим стопам, мой друг?

— Брака?

Это была уже явная ошибка. У Дэвида перехватило дух.

— Вы имеете в виду его кубистскую бессмыслицу?

— Для меня она имеет смысл, сэр.

Старик помолчал. Еще поел супа.

— Все мы в молодости — отродье ублюдков.— Дэвид улыбнулся и хотел было возразить, но прикусил язык.— Много зверств видел в Испании. Невыразимые вещи. На войне бывает. Не только они. Наши — тоже.— Доев суп, он положил ложку, откинулся назад и устремил взгляд на Дэвида.— Бой окончен, мой дорогой. Думали хладнокровно прикончить меня? Я на это не иду.

— Как меня и предупреждали, мистер Бресли.

Старик вдруг расслабился, в его глазах блеснул веселый огонек.

— Тем более если знали, мой мальчик.

Дэвид развел руками: он знал. Мышь спросила:

— Хочешь еще супа, Генри?

— Слишком много чеснока.

— Вчера было ничуть не меньше.

Старик что-то буркнул и потянулся к бутылке. Уродка подняла руки и прочесала пальцами волосы, словно боясь, как бы они не прилипли к коже; потом, не опуская рук, слегка повернулась к Дэвиду:

— Нравится вам моя татуировка?

В подмышечной впадине у нее синело изображение маргаритки.

До конца ужина Дэвид, по молчаливому уговору с Мышью, старательно избегал разговора об искусстве. В этом ему помогала сама еда: quenelles [1] из щуки под соусом beurre blanc [2] (таких блюд он ни разу еще не пробовал), баранина pré salé [3]. Беседовали о французской кухне, потом о Бретани, о характере бретонца. Дэвид узнал, что Котминэ находится в Верхней Бретани, а не в Basse [4], то есть не в Bretagne Bretonnante [5], что дальше к западу и где местный язык еще не вышел из употребления. «Кот» (coët) означает дерево или лес, а «минэ» (minais) происходит от слова «монахи». Окружающие леса принадлежали некогда аббатству. Эту часть истории они опустили — говорили лишь о той, которую обозначает слово «coët». Беседа шла главным образом между Мышью и Дэвидом, хотя Мышь время от времени поворачивалась к Бресли, как бы прося его подтвердить или дополнить сказанное. Уродка не произнесла почти ни слова. Дэвид уловил разницу в их положении: Мыши позволялось иметь свое «я», Уродку же просто терпели. Как выяснилось в процессе разговора, она тоже когда-то изучала искусство, только занималась графикой, а не живописью. Познакомились они в Лидсе. Но она производила впечатление человека, который не слишком высоко ставит свои познания,— эта компания была ей не по плечу.

[1] Фрикадельки *(франц.)*.

[2] Молочным с маслом *(франц.)*.

[3] Засоленная *(франц.)*.

[4] Нижней *(франц.)*.

[5] Бретонской Бретани *(франц.)*.

Старик, казалось, был доволен своей маленькой победой и настроился предстать перед Дэвидом, насколько возможно, таким же, каким тот видел его до ужина. Но если Мыши удавалось направлять разговор в безопасное русло, то ей не удавалось мешать Бресли пить. Сама она пила очень мало, Дэвид тоже потерял надежду угнаться за хозяином. Из armoire извлекли вторую бутылку, но и она к концу ужина опустела. Глаза Бресли помутнели. Пьяным он не выглядел, бокал держал уверенной рукой — лишь взгляд его выдавал, что стародавний демон снова овладел им. Фразы, которые он время от времени бросал, становились все короче — казалось, он никого уже не слушал. Когда Мышь пожаловалась, что они совсем не бывают в кино, беседа переключилась на фильмы, которые Дэвид видел в последнее время в Лондоне. Но старик оборвал разговор на полуслове.

— Еще бутылку, Мышь.

Девушка посмотрела на него, но он отвел глаза в сторону.

— В честь нашего гостя.

И тем не менее Мышь колебалась. Старик уперся взглядом в пустой бокал, поднял его и поставил на стол. Не резко, не раздраженно, но с некоторой долей нетерпения. Мышь встала и пошла к armoire. Видно было, что настал момент, когда лучше уступить, чем настаивать. Бресли развалился на стуле и уставился из-под нависшей на лоб седой челки на Дэвида, на лице его застыла почти добродушная улыбка. Уродка, глядя в стол, спросила:

— Генри, можно мне пойти прилечь?

Бресли продолжал смотреть на Дэвида.

— Зачем?

— Книгу почитаю.

— Ты чертова кукла.

— Ну, пожалуйста.

— Ладно, проваливай.

Он даже не удостоил ее взглядом. Мышь принесла третью бутылку. Уродка с мольбой посмотрела на подругу, словно требовалось и ее разрешение. Та едва заметно кивнула, и в тот же миг Дэвид почувствовал, как пальцы Уродки на секунду сжали его ногу выше колена. Она протянула руку под столом, явно желая его подбодрить. Потом встала, пересекла комнату и пошла по лестнице наверх. Бресли придвинул бутылку к Дэвиду. Это был не жест вежливости, а вызов.

— Благодарю, с меня хватит.

— Коньяк? Кальвадос?

— Нет, спасибо.

Старик наполнил свой бокал до краев.

— Марихуана? — Он кивнул в сторону лестницы.— Это и есть книга, которую она будет читать.

Мышь спокойно возразила:

— Она этим больше не занимается. Ты же прекрасно знаешь.

Он сделал большой глоток вина.

— А по-моему, все вы, молодые сопляки, этим занимаетесь.

— Ко мне это не относится,— как бы между прочим сказал Дэвид.

— Мешает пользоваться логарифмической линейкой, да?

— Возможно. Но я не математик.

— Тогда как же вы это называете?

Мышь сидела опустив глаза. Помочь Дэвиду она уже не могла — разве что в роли молчаливой свидетельницы. Не было смысла притворяться, будто не ясно, что старик подразумевает под словом «это». Дэвид встретился взглядом с Бресли.

— Мистер Бресли, большинство из нас полагает, что термин «абстракция» утратил смысл. Учитывая, что наше представление о реальности сильно изменилось за последние пятьдесят лет.

Старик, казалось, задумался над тем, что услышал, но ненадолго.

— Я называю это изменой. Величайшей изменой в истории искусства.

От вина его щеки и нос покраснели, глаза сделались почти матовыми. Он по-прежнему сидел развалясь, только повернул свое кресло так, чтобы смотреть в лицо Дэвиду. В то же время он таким образом очутился ближе к девушке. За ужином Дэвид слишком увлекся беседой с нею, был слишком внимателен... это он теперь понял, да к тому же старик, должно быть, следил за их беседой и до ужина. И теперь решил показать себя ее хозяином.

— Триумф евнуха.

Вот так-то.

— Но это все-таки лучше, чем триумф кровавого диктатора?

— Ничем не лучше. Все дерьмо. И Гитлер дерьмо. Или ничтожество.

Мышь, не глядя на Дэвида, пояснила:

— Генри считает, что абстрактное искусство есть бегство от ответственности перед человеком и обществом.

Дэвид решил было, что Мышь солидарна с Бресли, потом догадался, что она просто взяла на себя роль переводчицы.

— Но разве философии не нужна логика? А прикладной математике не нужна чистая форма? Так же и искусство должно иметь свои основы.

— Бред. Не основы. Зады.— Старик кивнул на Мышь.— Пара сисек и... И все, что положено. Такова реальность. А не ваши дурацкие теории и педерастические краски. Я знаю, Уильямс, против чего вы все ополчились.

Мышь тем же ровным, невозмутимым тоном перевела:

— Вы боитесь человеческого тела.

— Просто меня больше интересует разум, чем половые органы.

— Да поможет бог вашей жене.

— Кажется, мы говорили о живописи,— спокойно заметил Дэвид.

— Сколько у вас было женщин, Уильямс?

— Это не ваше дело, мистер Бресли.

Наступила напряженная пауза, старик глядел неподвижным взглядом, соображая, что сказать в ответ; сцена эта напомнила поединок фехтовальщиков, снятый замедленной съемкой.

— Кастрация. Вот ваши правила игры. Разрушение.

— Есть более страшные разрушители, чем нефигуративное искусство.

— Бред.

— Попробуйте убедить в этом жителей Хиросимы. Или тех, кого жгли напалмом.

Старик сердито фыркнул. И снова — молчание.

— Точные науки лишены души. Беспомощны. Крыса в лабиринте.

Он допил свой бокал и потребовал нетерпеливым движением руки, чтобы Мышь налила ему еще. Дэвид молча сидел, хотя его так и подмывало встать из-за стола и спросить, зачем его вообще приглашали в Котминэ. Он чувствовал, что готов в любую минуту сорваться, несмотря на предостережение девушки. Разговор перешел на грубую брань и личности, и Дэвид понимал, что пытаться защитить себя или привести разумные доводы — значит подлить масла в огонь.

— Знаю я вашего брата.— Старик, уставясь на полный бокал, от-

рывисто выбрасывал слова.— Предали крепость. Продали. Называете себя авангардом. Экспериментаторы. Как бы не так. Государственная измена — вот что это такое. Научная похлебка. Пустили под откос всю честную компанию.

— Абстрактная живопись — уже не авангард. И разве лучшая пропаганда гуманизма не основана на свободе творчества?

Снова пауза.

— Трепотня.

Дэвид принужденно улыбнулся.

— Значит, назад, к социалистическому реализму? К контролю со стороны государства?

— А вас что контролирует, Уилсон?

— Уильямс,— поправила Мышь.

— Бросьте эту либеральную болтовню. Наслушался я ее на своем веку. *Игра по правилам.* Трусы.— Бресли нацелился на Дэвида пальцем.— Слишком стар для этого, мой мальчик. Слишком много повидал. Слишком много людей погибло во имя порядочности. Терпимость. Чтоб зады себе не перепачкать.

Он презрительно, залпом осушил бокал и протянул руку к бутылке. Горлышко стукнулось о край бокала, вино расплескалось. Мышь взяла у него наполненный до краев бокал и отлила немного себе, потом спокойно вытерла стол перед стариком. Дэвид молчал. Он чувствовал, что раздражение прошло, но ему было неловко.

— Хорошие вина — знаете, как их делают? Подливают мочи. Мочатся в бочку.— Он нетвердой рукой поднес бокал ко рту, потом поставил на место. Паузы в его речи становились все длиннее.— Десяток англичан не стоит и мизинца одного француза.— Еще одна пауза.— Не масло. Пигмент. Сплошное дерьмо. Если это может пойти кому-то на пользу. Merde. Экскременты. Excrementum. Вот что растет. Вот она, ваша основа. А вовсе не ваши чертовы штучки хорошего абстрактного вкуса...— Он снова умолк, как бы придумывая, что бы еще добавить.— Я даже для подтирки их не возьму.

Наступила тягостная тишина. Из леса донесся крик совы. Девушка сидела несколько поодаль от стола, опустив глаза, положив руки на колени; она, казалось, приготовилась ждать целую вечность, пока не кончится это несвязное бормотание старика. Дэвид подумал: как часто приходится ей сносить этот чудовищный богемный пьяный бред? К чему опять ломать копья, когда вопрос этот давно решен — de facto и de jure [1] — еще задолго до рождения Дэвида? Не всякая форма естественна, а цвет не подчинен ей... Споры на эту тему так же излишни, как споры о знаменитой теории относительности Эйнштейна. Ведь расщепили же атомное ядро. Можно оспаривать применение, но не принцип. Так думал Дэвид. Лицо его раскраснелось от волнения. Да и выпил он тоже больше обычного.

— Разочаровались во мне, Уильямс? Спился, мол, старик? In vino [2] растрачивает себя.

Дэвид покачал головой:

— Нет. Просто нахожу, что переоценивал вас.

Снова молчание.

— Вы действительно живописец, Уильямс? Или всего-навсего бездарный пустобрех?

Дэвид не ответил. Снова молчание. Старик отпил из бокала.

— Скажите что-нибудь.

— Ненависть и раздражение — роскошь, которую мы не в состоянии себе позволять. Кем бы мы ни были.

[1] Фактически и юридически *(лат.)*.

[2] В вине *(лат.)*.

— Тогда — да поможет вам бог.

Дэвид усмехнулся:

— Его именем тоже злоупотреблять не стоит.

Мышь нагнулась к столу и налила старику еще вина.

— Когда я был молодым, знаете, что значило подставить щеку? Как называли парня, который подставляет щеку?

— Нет.

— Юродивым. Вы, Уилсон, юродивый?

На этот раз Мышь не сочла нужным поправлять его, а Дэвид не счел нужным отвечать.

— Стань на колени и спусти штаны. Это все решает, так?

— Нет, не решает. Так же, как и страх.

— Как что?

— Боязнь потерять... то, чего отнять нельзя.

Старик недоуменно смотрел на него.

— Что он болтает?

Мышь спокойно объяснила:

— Он хочет сказать, Генри, что твоему искусству и твоим взглядам на искусство ничто не угрожает. Места хватит на всех.

Она не взглянула на Дэвида, но немного подалась вперед, отодвинулась от старика и, поставив локоть на край стола, подперла ладонью подбородок. Незаметно приложила палец к губам, давая Дэвиду знак молчать. Снаружи вдруг послышался неистовый, тревожный лай Макмиллана и в тот же миг — громкий голос мужа экономки. Ни старик, ни девушка не обратили на шум никакого внимания: видимо, для них это были привычные ночные звуки. Дэвиду же они показались чрезвычайно символичными, чреватыми опасностями — отзвуками напряженного внутреннего мира старика.

— Такая теперь мода, да?

Мышь посмотрела на Дэвида. В глазах ее мелькнул веселый огонек.

— По мнению Генри, нельзя относиться терпимо к тому, что считаешь дурным.

— Старая история. Сиди на чертовом английском заборе. Голосуй за Адольфа.

Молчание. И вдруг заговорила Мышь:

— Генри, нельзя бороться с идеями тоталитаризма тоталитарными методами. Так ты лишь способствуешь их размножению.

До его притупленного сознания, видимо, дошло, что она приняла сторону Дэвида. Старик отвел взгляд — туда, где у другого края стола сгущалась тень. Бутылка с остатками вина стояла теперь слева от Мыши, вне пределов его досягаемости.

— Хотелось сказать вам кое-что,— медленно проговорил он.

Не было ясно, что он имел в виду: то ли «я не намеревался оскорблять вас лично», то ли «забыл, что хотел сказать».

Дэвид пробормотал:

— Да, я понимаю.

Старик снова перевел взгляд на него. Глаза его с трудом удерживали фокус.

— Как вас зовут?

— Уильямс. Дэвид Уильямс.

— Допивай вино, Генри,— сказала Мышь.

— Не в ладах со словами. Никогда не был силен.

— Ничего, мне понятно.

— Нет ненависти — не можешь и любить. Не можешь любить — не можешь писать.

— Ясно.

— Чертова геометрия. Не годится. Не помогает. Все пробовали. Псу под хвост.— Глаза Бресли смотрели на Дэвида с отчаянной сосредоточенностью, почти впивались в него. Старик явно потерял ход мыслей.

Мышь подсказала:

— Создавать — значит говорить.

— Нельзя писать без слов. Линии.

Девушка окинула комнату взглядом. Голос ее звучал очень ровно:

— Искусство есть форма речи. Речь должна опираться на то, что нужно человеку, а не абстрактные правила грамматики. Ни на что, кроме слова. Реально существующего слова.

— И еще: идеи. Ни к чему.

Дэвид кивнул. Мышь продолжала:

— Отвлеченные понятия в самой своей основе опасны для искусства, потому что отвергают реальность человеческого существования. А единственный ответ фашизму — это реальность человеческого существования.

— Машина. Как ее? Компьютер.

— Понимаю,— сказал Дэвид.

— Ташист. Фотрие. Этот малый — Вольс. Как испуганные овцы. Кап, кап.— Бресли немного помолчал.— Этот янки, как его зовут?

Дэвид и Мышь ответили в один голос, но он не понял. Тогда Мышь повторила имя.

— Джексон Боллок.— Бресли снова устремил взгляд в темноту.— Лучше уж чертова бомба, чем Джексон Боллок [1].

Все умолкли. Дэвид разглядывал старинный стол из потемневшего дуба — исцарапанный, потертый, покрытый вековой патиной; сколько старческих голосов прозвучало здесь за столетия, голосов, отгонявших прочь угрожающую, беспощадную приливную волну! Как будто у времени бывают отливы.

Но вот старик заговорил; голос его звучал удивительно чисто, точно до этого он только притворялся пьяным и теперь подытоживал сказанное последней несуразицей:

— Башня из черного дерева. Вот как я это понимаю.

Дэвид взглянул вопросительно на девушку, но та уже не смотрела на него. Поставить точку стало явно куда важнее, чем продолжать интерпретировать Бресли. Теперь было ясно, что старик отнюдь не притворялся пьяным: Дэвид видел, как он шарит своими мутными глазами по столу. Вот он уткнулся, наконец, взглядом в бокал (а может быть, сразу в несколько бокалов) и решительно, но с усилием протянул руку. Мышь, опередив его, взяла бокал за ножку и осторожно вложила в руку старика. Тот с трудом донес его до рта и хотел опорожнить залпом. Вино потекло по подбородку, закапало на белую рубашку. Мышь схватила свою салфетку и приложила к его груди.

— А теперь спать,— сказала она.

— Еще капельку.

— Нет.— Она взяла недопитую бутылку и поставила на пол рядом со своим стулом.— Все уже выпито.

Глаза старика нашли Дэвида.

— Qu'est-ce qu'il fout ici?[2]

Девушка встала и, взяв его под локоть, хотела помочь ему подняться. Он сказал:

— Спать.

---

[1] Имеется в виду американский художник Джексон Поллок (1912—1956) — один из главных представителей «живописи действия». Создавал картины, характеризовавшиеся не обдуманной заранее композицией.

[2] Что он тут делает? *(франц.)*.

— Да, Генри.

Но он продолжал сидеть в пьяном оцепенении — очень старый, чуть сгорбившийся. Девушка терпеливо ждала. Ее опущенный взгляд встретился со взглядом Дэвида, странно серьезный, точно она боялась прочесть в его глазах презрение из-за той роли, которую ей приходится выполнять. Он молча ткнул себя пальцем в грудь: «Могу я быть полезен?» Она кивнула, но подняла палец кверху: «Не сейчас». А спустя мгновение нагнулась и поцеловала старика в висок.

— Пойдем же. Попробуй встать.

Старик привстал с видом послушного, застенчивого ребенка, упершись в край стола. Ноги плохо держали его, и он пошатнулся, едва не упав на стол. Дэвид поспешил поддержать его с другой стороны. И вдруг старик снова рухнул на кресло. Тогда они подняли его сами. Лишь направившись с ним к лестнице, они по-настоящему поняли, насколько он пьян. Глаза его были закрыты — казалось, он потерял сознание; лишь каким-то чудом — то ли инстинктивно, то ли по давней привычке — продолжал переставлять ноги. Мышь сняла с него галстук-бабочку и расстегнула ворот рубашки. Наконец они втащили его по лестнице наверх, в большую комнату, обращенную окном на запад.

Дэвид заметил, что в комнате две кровати: двуспальная и односпальная. Уродка, лежавшая на односпальной, при виде Дэвида встала. Она была по-прежнему в черном платье, только поверх него натянула еще белый джемпер. Здесь на стенах тоже висели картины и рисунки, а у окна на столе стояли банки с пастелью и карандашами.

— Ах, Генри. Старый проказник.

Мышь сказала Дэвиду поверх поникшей головы старика:

— Теперь мы сами справимся.

— Вы уверены?

Бресли пробормотал:

— Туалет.

Девушки подхватили его под руки и повели к боковой двери. Все трое исчезли в ванной, оставив растерянного Дэвида одного. Случайно взгляд его остановился на картине, висевшей над кроватью. Брак— он уже где-то видел репродукцию. Должно быть, она числилась в «частном собрании», но он никак не предполагал, что ее владельцем может быть Бресли. Он криво усмехнулся, вспомнив недавний разговор: какое было все-таки мальчишество в поисках самозащиты козырять этим именем перед стариком, пытаться установить связь между собой и этим художником. Из ванной вышла и закрыла за собой дверь Уродка. Вот и еще несоответствие — с одной стороны, картина, которую на любом аукционе оценят шестизначной цифрой, с другой — маленькое существо сомнительной с виду репутации, стоявшее перед ним в другом конце комнаты. Слышно было, как старика рвет.

— Он каждый вечер такой?

— Иногда.— Она слабо улыбнулась.— Не в вас дело. В других.

— Помочь мне раздеть его?

Она покрутила головой.

— Не беспокойтесь. Право же. Мы к этому привыкли.— Видя, что он с сомнением смотрит на нее, она повторила: — Право же.

Он хотел сказать, насколько восхищен тем, что они обе для старика делают, и вдруг обнаружил, что не находит нужных слов.

— Ну... тогда пожелайте спокойной ночи... Не знаю ее настоящего имени.

— Ди. Диана. Спокойной ночи.

— И вам тоже.

Она плотно сжала губы и попрощалась с ним легким кивком головы. Он ушел.

Придя к себе, он надел пижаму, лег на кровать и, опершись на локоть, взял детективный роман, который купил по дороге. Он решил, что спать еще рано — надо быть готовым на тот случай, если им опять понадобится его помощь; к тому же нечего было и думать о сне, несмотря на усталость. Он даже читать не мог, пока не прошло возбуждение. Вечер был из ряда вон выходящий, и Дэвид впервые порадовался, что Бет не поехала. Она сочла бы, что это выше ее сил, и, вероятно, потеряла бы самообладание. Хотя нельзя не признать, что эта жестокая перепалка раскрыла все слабости старика. В сущности, перед ним был взбалмошный ребенок. А Диана — молодец: с каким потрясающим умением она с ним управилась; девчонка что надо, да и вторая тоже. Наверняка в ней есть что-то лучшее, неразличимое с первого взгляда: лояльность, мужество своего рода. Вспомнились спокойная речь Мыши, точность ее суждений, ее завидное хладнокровие — интересно, какое он, Дэвид, произвел на нее впечатление. Вспомнился скептически-насмешливый разговор с Бет о том, оправдает ли старик свою репутацию. Бет пригрозила, что, если тот не потискает ее хотя бы два раза, она потребует деньги назад... Ну что ж, по крайней мере эта сторона личности старика теперь выяснена. Дэвиду будет что рассказать, когда он вернется домой. Он попробовал сосредоточиться на детективном романе.

Прошло минут двадцать с тех пор, как он предоставил девушек их тирану. Дом погрузился в безмолвие. Но вот до его слуха донесся звук открывающейся двери, легкие шаги по коридору, скрип половицы у порога его комнаты. Короткая пауза — и тихий стук в дверь.

— Войдите.

В приоткрытой двери показалась голова Мыши.

— Увидела, что у вас еще свет. Все в порядке, он спит.

— Я как-то не отдавал себе отчета, что он настолько опьянел.

— Нам иногда приходится позволять ему лишнее. А вы хорошо держались.

— Я рад, что вы предупредили меня.

— Завтра он будет каяться. Кроткий, как ягненок.— Она улыбнулась.— Завтрак часов в девять? Впрочем, неважно. Спите сколько хотите.

Она собралась уходить, но он остановил ее:

— А что все-таки означали его последние слова? Башня из черного дерева?

— О...— Мышь улыбнулась.— Ничего. Одно из его осадных орудий.— Она склонила голову набок.— То, что, по его мнению, пришло на смену башне из слоновой кости.

— Абстракция?

Она покачала головой.

— Все то, из-за чего он не любит современное искусство. Все, что неясно, потому что художник боится быть понятным... в общем, вы знаете. Человек слишком стар, чтобы копаться в материале, и все сваливает в кучу? Но к вам лично это не относится. Он не может выразить свою мысль, не обидев собеседника.— Мышь опять улыбнулась, все так же продолжая выглядывать из-за двери.— О'кей?

Он улыбнулся в ответ и кивнул.

Голова Мыши исчезла, но девушка пошла не в комнату старика, а дальше по коридору. Скоро тихонько щелкнул дверной замок. Жаль — ему хотелось поговорить с ней подольше. Старый мир, где люди учатся и преподают: одни студентки тебе нравятся, другим — ты нравишься; атмосфера Котминэ в какой-то мере напомнила ему то

время, когда в его жизнь еще не вошла Бет, но не потому, что он очень уж увлекался студентками и волочился за ними. Они с Бет были мужем и женой задолго до того, как вступили в официальный брак.

Дэвид почитал немного, потом выключил свет и, как обычно, почти тотчас погрузился в сон.

И опять Мышь оказалась права. В том, что наступило горькое раскаянье, Дэвид убедился, как только спустился ровно в девять утра вниз. Он стоял в нерешительности у подножия лестницы, не зная, куда идти завтракать, а в это время в холл со стороны сада вошел Бресли. Для человека, который всю жизнь много пьет, а потом стремится восстановить силы, старик выглядел удивительно бодрым и подтянутым — в светлых брюках и синей спортивной рубашке.

— Мой *дорогой. Невыразимо* сожалею о вчерашнем. Девушки сказали, что я был *возмутительно* груб.

— Ну что вы. Пустяки, право.

— Нализался страшно. Скандал.

Дэвид улыбнулся.

— Все уже забыто.

— Проклятие моей жизни. Так и не научился вовремя останавливаться.

— Не принимайте близко к сердцу,— сказал Дэвид и пожал протянутую руку старика.

— Очень великодушно с вашей стороны, мой друг.— Старик удержал его руку, в глазах мелькнула насмешка.— Я, видимо, должен звать вас Дэвид. По фамилии нынче уж очень церемонно. Верно?

Слово «церемонно» он произнес так, точно это было какое-то смелое жаргонное выражение.

— Пожалуйста.

— Великолепно. А меня зовите Генри. Да? А теперь пойдем перекусим чего-нибудь. По утрам мы едим на кухне.

Когда они шли по большой комнате нижнего этажа, Бресли сообщил:

— Девушки предлагают небольшой déjeuner sur l'herbe [1]. Пикник. Неплохая мысль, а? — За окнами сияло солнце, над кронами деревьев висела легкая дымка.— Горжусь своим лесом. Стоит взглянуть.

— С удовольствием,— сказал Дэвид.

Девушек на кухне не было. Они, как выяснилось, давно уехали в Плелан, ближайшую деревню, за продуктами... будто нарочно (или так Дэвиду подумалось), чтобы дать старику возможность реабилитировать себя. После завтрака они прогулялись по усадьбе. Бресли с гордостью показал гостю свой огород, щеголяя, видимо, недавно приобретенными познаниями по части названий растений и агрономических приемов. За восточной стеной дома они встретили Жан-Пьера, рыхлившего грядки; прислушиваясь к беседе старика с мужем экономки о больном тюльпанном деревце и о том, как его лечить. Дэвид вновь испытал уже знакомое приятное чувство, подсказывавшее, что в жизни Бресли главное — вовсе не вчерашний «рецессивный» приступ злобы. Видно было, что старик привык к Котминэ, привык к местной природе; когда они, осмотрев огород, прошли во фруктовый сад и остановились перед старым деревом со спелыми плодами, Дэвида угостили грушей, которую рекомендуется есть прямо с дере-

[1] Завтрак на траве *(франц.)* — название известной картины Мане.

ва, и старик, разговорившись, признался, что считает себя глупцом: надо же было провести почти всю жизнь в городе и оставить так мало времени для радостей сельской жизни. Дэвид, проглотив кусок груши, спросил, почему это открытие пришло так поздно. Бресли презрительно фыркнул, давая понять, что недоволен собой, потом ткнул тростью в упавшую на землю грушу.

— Сука Париж, мой друг. Знаете эти стихи? Граф Рочестерский, не так ли? «В какой нужде ни приведется жить, найдешь клочок земли, чтоб семя посадить». Прямо в точку. Этим все сказано.

Дэвид улыбнулся. Они двинулись дальше.

— Зря не женился. Было бы гораздо дешевле.

— Зато много потеряли бы?

Старик снова презрительно фыркнул.

— Но одна стоит пятидесяти, а?

Он явно не почувствовал иронии этой фразы: ведь и «одна» ему уже не по зубам; и словно в подтверждение его слов на подъездной дороге, ведущей из внешнего мира, появился маленький белый «рено». За рулем сидела Мышь. Она помахала им рукой, но не остановилась. Дэвид и Бресли повернули назад, к дому. Старик показал тростью на машину:

— Завидую вам, ребята. В мои молодые годы девушки были не такие.

— Я полагал, что в двадцатые годы они были восхитительны.

Старик поднял палку в знак категорического несогласия.

— Полнейший вздор, мой друг. Не представляете. Полжизни уговариваешь, чтоб она легла с тобой. И полжизни жалеешь, что легла. А то еще и похуже. Триппер схватишь от какой-нибудь шлюхи. Собачья жизнь. Не понимаю, как мы ее сносили.

Но Дэвид остался при своем мнении и знал, что другого от него и не ждут. В душе старик ни о чем не жалел, а если и жалел, то лишь о невозможном, о другой жизни. Беспокойная чувственность молодых лет все еще не покидала его старого тела; внешность его никогда не была особенно привлекательной, но жила в нем какая-то неуемная дьявольская сила, бросавшая вызов единобрачию. Дэвид попробовал представить себе Бресли в молодости: неудачник, равнодушный к своим бесчисленным неудачам, до крайности эгоистичный (в постели и вне ее), невозможный — и потому в него верили. А теперь даже те многочисленные скептики, что, должно быть, отказывались в него верить, были спокойны: он добился всего — известности, богатства, женщин, права быть таким, каким был всегда; эгоизм стал его ореолом, у него был свой мир, где удовлетворялась малейшая его прихоть, а весь остальной мир находился далеко, за зеленым лесным морем. Людям, подобным Дэвиду, всегда склонным рассматривать свою жизнь (как и свою живопись) в виде нормального логического процесса и считающим, что будущие успехи человека зависят от его умения сделать разумный выбор сейчас, это казалось не совсем справедливым. Разумеется, Дэвид понимал, что успеха никогда не добьешься, следуя правилам, что известную роль здесь играют случай и все остальное, подобно тому, как живопись действия и живопись момента составляют, по крайней мере теоретически, важную часть спектра современного искусства. И тем не менее созданный им образ продолжал жить в сознании: на вершине славы стоял старый, самодовольно улыбающийся сатир в ковровых домашних туфлях, с радостью посылающий проклятия здравому смыслу и расчету.

В одиннадцать часов они двинулись по длинной лесной дороге в путь: девушки с корзинами в руках шли впереди, Дэвид со стариком — за ними; он нес синий складной шезлонг с алюминиевым кар-

касом, который Бресли пренебрежительно называл переносным диваном для престарелых. Мышь настояла, чтобы они взяли его с собой. Старик шел, перекинув плащ через руку, на голове у него была старая помятая панама с широкими полями; с видом обаятельного феодала он показывал тростью то на тенистые заросли, то на светлые поляны, то на особенно примечательные перспективы «своего» леса. Разговор начал возвращаться к тому, ради чего Дэвид предпринял эту поездку. Безмолвие, какое-то странное отсутствие птиц — как изобразить безмолвие на полотне? Или театр. Замечал ли когда-нибудь Дэвид, что пустая сцена имеет свои особенности?

Но Дэвид больше думал сейчас о том, как использовать все это во вступительной статье. «*Всякий, кому выпадает счастье пройтись с мастером...*»,— нет: «*...с Генри Бресли по его любимому Пемпонскому лесу, который и теперь еще щедро вдохновляет его...*» Дымка над лесом рассеялась, погода стояла удивительно теплая — скорее августовская, чем сентябрьская. Чудесный день. Нет, нельзя так писать. Тем не менее подчеркнутая предупредительность старика радовала: приятно было сознавать, что вчерашнее боевое крещение неожиданно обернулось благом. То, что дух средневековой бретонской литературы, если не ее символы и аллегории, сказался на серии Котминэ,— факт общеизвестный, хотя Дэвид и не смог установить — сам Бресли публично об этом не высказывался,— насколько ее воздействие было действительно велико. Перед тем как отправиться в Котминэ, он полистал справочную литературу, но сейчас решил не выказывать своей осведомленности; и обнаружил, что Бресли эрудированнее и начитаннее, чем можно было предполагать по его отрывистой, лаконичной речи. Старик объяснил, по обыкновению довольно бессвязно, неожиданное пристрастие к романтическим легендам в двенадцатом—тринадцатом веках, тайну острова Британия (нечто вроде Дикого Севера, а? Чем рыцари не ковбои?), слухи о котором поползли по Европе благодаря его французской тезке; внезапное увлечение любовными, авантюрными и колдовскими темами, значение некогда необъятного леса — того самого Пемпонского леса (у Кретьена де Труа он называется Броселиандским), по которому они сейчас шли,— как главного места действия; появление закрытого английского сада средневекового искусства, невероятное томление, символически изображенное в этих странствующих всадниках, похищенных красавицах, драконах и волшебниках, Тристане, Мерлине и Ланселоте...

— Все это чепуха,— сказал Бресли.— Отдельные места, понимаете, Дэвид. Лишь то, что необходимо. Что наводит на мысль. Точнее — стимулирует.— Потом он переключился на Марию Французскую и «Элидюка».— Хорошая сказка, черт побери. Прочел несколько раз. Как звали этого мошенника-швейцарца? Юнг, да? Похоже на его штучки. Архетипы и всякое такое.

Шедшие впереди девушки свернули на боковую, более узкую и тенистую дорогу. Бресли и Дэвид отставали от них шагов на сорок. Старик взмахнул тростью.

— К примеру, вот эти девицы. Прямо из «Элидюка».

Он принялся пересказывать содержание. Но в его стенографическом изложении произведение это напоминало скорее фарс в духе Ноэла Кауарда, чем прекрасную средневековую легенду об обманутой любви, и, слушая его, Дэвид несколько раз подавлял улыбку. Да и внешность девушек (Уродка — в красной рубашке, черных бумажных штанах и резиновых сапогах, «веллингтонах», Мышь в темно-зеленой вязаной фуфайке — теперь Дэвид заметил, что она не всегда пренебрегает бюстгальтером,— и светлых джинсах) не помогала уловить сходство с героинями «Элидюка». Дэвид все больше и больше

убеждался в правоте Мыши: беда старика в том, что он почти не умеет выражать свои мысли словами. Чего бы он ни касался в разговоре, все приобретало в его устах если не пошлый, то уж обязательно искаженный смысл. Слушая его, надо было все время помнить, как он передает свои чувства с помощью кисти,— разница получалась громадная. Искусство создавало представление о человеке впечатлительном и сложном, чего никак нельзя было предположить по его речи. Хотя такое сравнение и обидело бы его, он отчасти напоминал старомодного члена Королевской академии, гораздо более склонного выступать в роли изящной опоры отжившего общества, чем поборника серьезного искусства. В этом, очевидно, и заключалась одна из главных причин его постоянного самоизгнания: старик, конечно, понимал, что его особа уже не будет иметь веса в Великобритании семидесятых годов. Сохранить свою репутацию он может, только оставаясь здесь. Конечно, ни одно из этих наблюдений нельзя включать во вступительную статью, но Дэвид находил их весьма интересными. У старика, как и у этого леса, были свои древние тайны.

Девушки остановились, поджидая мужчин. Они не знали точно, в каком месте надо сворачивать в лес, чтобы попасть на пруд, где намечалось устроить пикник. Поискали дуб с красным мазком на стволе. Мышь решила, что они уже пропустили его, но старик велел идти дальше и правильно сделал: пройдя еще около ста ярдов, они увидели этот дуб и, сойдя с дороги, стали пробираться между деревьями по отлогому склону. Скоро подлесок сделался гуще, впереди сверкнула полоска воды, а еще через несколько минут они вышли на поросший травой берег étang [1]. Водоем этот скорее походил на небольшое озеро, чем на пруд: четыреста ярдов, если не больше, ширины от того места, где они остановились, а вправо и влево от них тянулась изогнутая линия берега. Посреди пруда плавало с десяток диких уток. Почти вплотную к воде подступал лес, вокруг — никаких признаков жилья; гладкая, как зеркало, вода голубела под ясным сентябрьским небом. Уголок этот показался Дэвиду знакомым, déja vu [2]: Бресли изобразил его на двух полотнах, появившихся в последние годы. Очаровательное место, чудом сохранившее нетронутый вид. Они расположились в негустой тени одиноко стоявшей пихты. Разложили шезлонг, и Бресли с довольным видом тотчас же опустился в него и вытянул ноги; потом попросил поставить спинку в вертикальное положение.

— Ну давайте, девушки. Снимайте брюки — и купаться.

Уродка посмотрела на Дэвида и отвела глаза в сторону:

— Мы стесняемся.

— А вы, Дэвид, не хотите поплавать? С ними за компанию?

Дэвид посмотрел вопросительно на Мышь, но та склонила голову над корзинами. Предложение ошеломило его своей неожиданностью. О том, что будет купание, его не предупреждали.

— Ну что ж... может быть, потом?

— Вот видишь,— сказала Уродка.

— У тебя, может, кровотечение?

— О, Генри. Ради бога.

— Он женатый, милая. Видал все ваши прелести.

Мышь подняла голову и бросила на Дэвида не то виноватый, не то насмешливый взгляд:

— Купальные костюмы считаются неэтичными. Они делают нас еще более несносными, чем обычно.

---

[1] Пруда *(франц.)*.

[2] Уже виденным *(франц.)*.

Она смягчила издевку улыбкой, обращенной к старику. Дэвид пробормотал:

— Разумеется.

Мышь посмотрела на Уродку:

— Пойдем на отмель, Энн. Там дно тверже.— Она достала из корзины полотенце и пошла, но теперь Уродка вроде бы застеснялась. Она бросила неприязненный взгляд на мужчин.

— К тому же старым любителям удобнее подсматривать за птичками.

Старик захохотал, она показала ему язык. Потом все же взяла полотенце и зашагала следом за подругой.

— Садитесь, друг мой. Это она вас дурачит. Ничего она не стесняется.

Дэвид сел на жесткую осеннюю траву. Сцена купания будто специально была придумана, чтобы продемонстрировать перед ним испытания, которым их подвергают, хотя прошедший вечер и без того, кажется, был достаточно наглядной демонстрацией. Ему казалось, что девушки вступили в маленький заговор: а теперь, мол, наша очередь тебя шокировать. Отмель — узкий, поросший травой мыс — врезалась в водную гладь пруда ярдов на шестьдесят. Как только девушки пошли по ней, утки с плеском взлетели, сделали большой круг над прудом и исчезли за кронами деревьев. На краю отмели девушки остановились, и Мышь стала раздеваться. Сняв фуфайку, она вывернула ее лицевой стороной наружу и бросила на траву. Потом расстегнула бюстгальтер. Уродка покосилась в сторону Дэвида и Бресли, потом скинула сапоги и спустила одну из лямок, на которых держались штаны. Мышь тем временем сняла джинсы вместе с трусиками, разделила их и, положив рядом с фуфайкой и бюстгальтером, вошла в воду. Разделась и Уродка. Перед тем как последовать за подругой, она повернулась к мужчинам лицом и, раскинув руки в сторону, сделала нелепое, вызывающее движение, как во время стриптиза. Старик снова захохотал и коснулся тростью плеча Дэвида. Он сидел на своем троне, похожий на султана, любующегося обнаженными фигурами молодых рабынь. Когда они продвигались по отлогому дну к середине пруда, их загорелые спины четко выделялись на фоне лазурной воды. Потом Мышь резким движением окунулась и поплыла кролем. Плавала она довольно хорошо. Уродка вела себя осторожнее, боясь замочить свои драгоценные мелко завитые волосы; наконец, все так же осторожно, она опустилась в воду и медленно поплыла брассом.

— Жаль, что вы женаты,— сказал Бресли.— Им нужен крепкий мужик.

Во время ленча Дэвид почувствовал себя гораздо уверенней. Да и напрасно он конфузился. Если бы, к примеру, была здесь Бет... Они с ней и сами купались голышом, когда выезжали за город, специально искали безлюдные пляжи. И сейчас она не задумываясь присоединилась бы к девушкам.

Отчасти ему помог старик. Пока Мышь и Уродка купались, он возобновил беседу, вернее, как бы доказывая, что окончательно раскаялся, стал расспрашивать Дэвида о нем самом. Не о том, как и что он пишет — этих вопросов старик явно избегал,— а о том, как попал «на эту стезю»,— о его жизни, о родителях, о Бет и их детях. Даже выразил желание принять у себя все семейство: привезите как-нибудь жену и дочек, хочу познакомиться, люблю маленьких девчушек... Дэвиду, не лишенному тщеславия, это приглашение польстило.

То, что произошло после ужина — хотя все это и было поставлено по дороге сюда в контекст средневековья,— было для него сущей мукой. Теперь совершенно ясно, что испытание он выдержал; оставалось выяснить, какую роль, помимо роли советчицы, сыграла тут Мышь. Не исключено, что, когда старик проспался, она напрямик высказала ему кое-какие истины, напомнив при этом, что его репутация, пусть ненадолго, отчасти в руках Дэвида.

Тем временем девушки вылезли из воды, вытерлись полотенцами и легли рядышком на мысе. Испытание, которому Дэвида подвергли, было как подводный риф; и теперь, миновав опасную зону, он почувствовал себя в тихой лагуне. Еще одно напоминание — на этот раз о Гогене: коричневые груди и сад Эдема. Как удивительно естественно вписываются в Котминэ и в его жизненный уклад такие моменты — чуточку мифические и не подвластные времени. Несовременные. А вот настал и еще один такой момент. Девушки встали. То ли они пересмотрели свое понятие о скромности, то ли не захотели выслушивать насмешки старика, только с отмели возвращались раздетыми, неся одежду в руках. При этом они не выказывали никакого смущения; в их манере угадывалось некоторое сходство с нарочитым, невероятным безразличием обитателей нудистской колонии.

— Эй, мы есть хотим,— сказала Уродка.

Без одежды она казалась еще более похожей на мальчишку. Девушки опустились на колени и стали распаковывать корзины с припасами, а Дэвид помог Бресли передвинуться поближе к краю тени. Гоген исчез, уступив место Мане.

Немного спустя, во время еды, обнаженные тела девушек уже стали казаться чем-то вполне естественным. На старика они тоже подействовали умиротворяюще. Он уже не говорил непристойностей, на лице его появилось спокойное, ублаготворенное, как у языческого божка, выражение. Аппетитные французские булки, коробочки с пирожными, которые девушки привезли из Плелана... вина не было: старик пил минеральную воду «виши», девушки — молоко, Дэвиду дали бутылку пива. Уродка сидела по-турецки. Было в ее облике что-то негроидное, аборигенное, гермафродитное (возможно, экзотическая прическа и очень смуглая кожа). Нечто такое, что продолжало отталкивать Дэвида психологически, хотя он и не вполне сознавал, что именно... Но если Мышь определенно начала проявлять своего рода разумное милосердие, то на поведении Уродки лежала печать бездумия, какой-то порочности. Хотя она и не отпускала двусмысленных шуточек, видно было, что собственная нагота в присутствии мужчин и возбуждает ее, и забавляет. Применительно к другим людям это принято называть «умением вести себя», применительно же к ней, при ее легко угадываемой искушенности, это было что-то другое — не моральное совращение, конечно, а как бы намек на то, что Дэвид получает нечто задаром, и это совпадало с его ощущением, что он должен еще показать ей, чего стоит. Его присутствие продолжало немного ей докучать. Дэвид не представлял себе, что еще можно узнать о ней, кроме того, что она нагловата, чуточку склонна к нарциссизму и ведет определенный образ жизни, прикрывая жизненные неудачи. Она явно существовала за счет уравновешенности и искренности своей подруги и могла похвастаться лишь тем, что ее здесь терпят.

Отталкивала она Дэвида еще и своими физическими данными. Мышь, несмотря на хрупкость, обладала более женственной фигурой (длинные ноги, небольшие, упругие груди). Она сидела напротив Дэвида, подобрав под себя ноги, упершись рукой в землю. Он подсте-

регал удобный момент, чтобы его не могли засечь, и украдкой оглядывал ее тело, когда она отворачивалась, чтобы достать что-нибудь из корзины. Говорили они на весьма банальные темы, и снова в сознании Дэвида замаячил призрак супружеской неверности — не то чтобы он об этом всерьез подумал, но если бы он не был женат, если бы Бет... Иными словами, Бет присущи известные недостатки: она не всегда понимает его, слишком практична в житейских делах, а вот Мышь, эта приятно сдержанная и в то же время открытая молодая женщина — хозяйка положения (Дэвид обнаружил в ней то, к чему стремился в своем творчестве: сочетание непредубежденности с прямотой), не стала бы их демонстрировать и уж во всяком случае ими пользоваться — слишком она для этого умна. Нет, Дэвид не разлюбил Бет, он был доволен, что после Котминэ они встретятся и проведут время во Франции одни, без детей (в этом скрывалось молчаливое согласие Бет на материнство — согласие иметь третьего ребенка, на этот раз сына)... но искушение все же было. А почему бы и нет — вот только если бы он не был тем, что он есть, да к тому же если бы ему предложили... словом, такая возможность начисто исключалась или была крайне гадательна.

Кожа Мыши в местах, освещенных солнцем, отливала бронзой, там же, где на нее ложилась тень, казалась матовой, но более нежной. Соски, линии подмышечных впадин. Шрам на одном из пальцев ноги. Небрежно спутанные, подсыхающие соломенные волосы и миниатюрность, изящество линий в духе Quattrocento [1] (ее одежда и эти длинные юбки, которые она носила, создавали обманчивое впечатление) резко контрастировали с животным началом, которое присутствовало в ней. Она сидела к нему боком, лицом к пруду, и чистила яблоко; потом протянула одну четвертушку старику, другую — Дэвиду. Безукоризненная и волнующая чистота.

Для Генри наступило время сиесты. Уродка встала и опустила спинку шезлонга. Потом скользнула на колени и что-то шепнула старику на ухо. Тот протянул руку, обнял ее за талию, медленно передвинул руку к плечу и привлек к себе девушку; она наклонилась и коснулась губами его губ. Он сложил руки на животе, а она прикрыла ему глаза красным платком. Красиво очерченный рот, розовая луковица носа. Девушка встала, задержала на нем на некоторое время взгляд и, повернувшись к Дэвиду и Мыши, скорчила смешную гримасу.

Мышь улыбнулась Дэвиду и сказала:

— Свободное время. Теперь лучше отойти подальше, чтоб не мешать ему.

Они встали. Девушки взяли полотенца, а Уродка вытащила из корзины свою книгу, затем все трое отправились на отмель, находившуюся ярдах в тридцати оттуда, вне слышимости старика. Девушки постелили полотенца и растянулись на животе, ногами к воде, подперев подбородок руками. Дэвид сначала сел футах в пяти-шести от них, а потом прилег, опершись на локоть. Почему-то совсем некстати вспомнилась картина: два малыша слушают елизаветинского моряка. Он взглянул на обложку книги, которую читала Уродка: «Маг». Наверно, астрология, что же еще может заинтересовать ее. Но она вдруг посмотрела на него с улыбкой и спросила:

— Жалеете, что приехали?

— Нет, что вы.

— Диана рассказала мне. О вчерашнем вечере. Извините. Я предвидела, чем это кончится, и не могла усидеть.

[1] Четырнадцатого века *(итал.)*.

Он улыбнулся.

— Я и сам попросил бы разрешения уйти, если бы знал заранее.

Уродка поцеловала два пальца и тронула ими плечо Мыши.

— Бедняжка Ди. Я всегда предоставляю это ей.

Бедняжка Ди улыбнулась и опустила глаза. Дэвид спросил:

— Сколько же, вы думаете, сумеете еще здесь продержаться?

Уродка сухо указала на Мышь: пусть, мол, она отвечает. Та передернула плечами.

— Я не думаю о будущем.

— Как бывший преподаватель живописи...

— Я знаю.

Уродка снова состроила Дэвиду гримасу.

— Одного здравого смысла тут мало.

— Не в этом дело,— сказала Мышь.

— Трудно расстаться?

— Очевидно, дело в случае. Знаете, как это бывает. Сюда меня случай привел, он же и уведет.

— Каким образом он вас привел?

Она взглянула на Уродку — не без иронии.

— Ну давай, расскажи ему.

— Очень уж глупая история.— Мышь отвела глаза в сторону.

Дэвид пробормотал:

— Я весь внимание.

Мышь вынула руку из-под подбородка и вытянула травинку; груди ее были в тени; она пожала плечами.

— Летом прошлого года. В августе. Я была здесь, во Франции, с одним другом. Тоже студент, скульптор. Он увлекался эпохой неолита, и мы пробирались на попутных машинах в Карнак.— Она взглянула на Дэвида.— Аллеи менгиров? По чистой случайности недалеко от Ренна, на шоссе двадцать четыре, нас подобрал школьный учитель из Плормеля. Прямо на дороге. Мы сказали ему, что мы английские студенты, изучаем искусство, а он рассказал нам о Генри. Разумеется, нам это имя было знакомо, я даже знала, что он живет где-то здесь, в Бретани.— Она чуть повернулась, приподняв бедро. Впадина на спине, нежные загорелые щеки. Она тряхнула головой.— Тут нам пришла в голову сумасбродная мысль нагрянуть к нему непрошеными гостями. Раскинули палатки в Пемпонском лесу. Наутро, часов в одиннадцать, явились к Генри. Притворились, что не заметили надписи на воротах. Думали, нам дадут пинка, и почти не ошиблись. Но мы фонтанировали как одержимые. До чего мы обожаем его работы. Как они вдохновляют все наше поколение. И так далее. Он вдруг поверил, и как только у нас хватило духу... словом, вы понимаете. Все это происходило у входа. Он впустил нас и повел по дому. Картины в длинном зале. Мы же с трудом удерживались от смеха. Эта его манера говорить... он кажется таким старым чудаком.— Мышь вытянула руки на траве, посмотрела на них.— Потом мастерская. Я поняла, чем он занимается. Наверно, и у вас вчера было такое же чувство. Я ошалела. Как будто в другой мир попала.— Она снова подперла подбородок и уставилась на деревья.— Три года вдалбливают тебе, как надо правильно писать. И чем дольше учишься, тем меньше знаешь. И вдруг встречаешь этакий нелепый старый мешок с костями и видишь, что он делает все наоборот. И все твои маленькие победы и достижения оказываются ничтожными. Вы уж извините,— быстро проговорила она.— Я вовсе не хочу этим сказать, что и у вас должно быть такое же чувство. Но у меня оно было.

— Ну что вы. Я вполне вас понимаю.

Она улыбнулась.

— А не должны бы. Вы же много, много лучше.

— Сомневаюсь, что это так, но не в этом дело.

— Вот, собственно, и все. Если не считать конца этой истории. Том пошел за фотоаппаратом — мы оставили свои рюкзаки за дверью. Генри сказал мне, что я очень привлекательная «девчурка»: жаль, мол, что он недостаточно молод. Я засмеялась и пожалела, что слишком молода. А он вдруг взял мои руки в свои и стал целовать. Довольно старомодно. И так неожиданно. Вернулся Том и сделал несколько снимков. Генри вдруг спросил, не останемся ли мы пообедать. Но мы решили, что это лишь красивый жест с его стороны и нам следует отказаться. Глупо. Он никогда не делает красивых жестов. Если не преследует какой-нибудь цели. Пожалуй, об этой цели я уже начала догадываться — по его глазам. Да и Тому, насколько я понимала, хотелось ехать дальше. Одним словом, все кончилось очень плохо. Знаете, как это бывает: отворачиваешься от человека, думая, что он для тебя — ничто, а потом обнаруживаешь, что это не так; только поздно обнаруживаешь.— Она бросила косой взгляд в сторону пихты.— Думаю, он понял тогда, что мы просто дурачились. Что в действительности он совсем нас не интересовал. В какой-то мере это была правда. Для нас он был всего лишь громкое имя. Такая глупость. Погоня за знаменитостями.— Мышь помолчала.— Странно. Даже после ухода я чувствовала себя неловко. Мне хотелось вернуться.

С минуту она молчала. Уродка опустила локти на землю и повернула лицо к подруге.

— Прошло два семестра — девять месяцев; мне в Лондоне было очень тоскливо. С Томом все кончилось. Я чувствовала, что колледж мне ничего не дает. Но колледж тут был ни при чем. Дело было во мне самой.— Она снова вытянула травинку.— Когда встречаешься со знаменитостью, то и на творчество этого человека начинаешь смотреть по-новому. Оно уже не остается незамеченным. Тот августовский день не выходил у меня из головы. Как грубо мы обошлись с одиноким, в сущности, человеком, вся беда которого заключается в том, что у него плохо подвешен язык. Ну и... другие мысли в этом же роде. Имеющие отношение к моей собственной работе. Однажды я взяла да и написала ему письмо. О себе. Пожалела, что не осталась тогда на обед. Что допустила такую бестактность. И спросила, не нужна ли ему помощь по хозяйству. Может быть, смешивать краски. Что угодно.

— А он не забыл вас?

— Я послала ему фотографии, которые сделал Том. Мы с Генри стоим рядом.— Мышь улыбнулась своим мыслям.— Вот это было письмо: не успела его в почтовый ящик опустить, как мурашки по спине побежали — от безумного стыда. Я была уверена, что он не ответит.

— Но он ответил.

— Телеграммой. «Хорошенькая девушка всегда пригодится. Когда?»

Уродка сказала:

— Милый старикан. Прямо быка за рога.

Мышь поморщилась.

— Приехала я сюда с самыми наивными взглядами. Конечно, его прошлое было мне известно. Его репутация. Но я думала, что справлюсь. Буду держаться строго, давая понять, что гожусь ему во внучки. И уйду, если дело дойдет до крайностей.— Она опустила глаза.— Но у Генри есть одно необыкновенное качество. Какая-то волшебная сила. Уж не говорю о его живописи. Он умеет... растворить в тебе

все принципы. Сделать так, что они теряют в твоих глазах значение. Ну, например, может приучить человека не стыдиться своего тела. И, наоборот, стыдиться условностей. Однажды он довольно удачно выразился: исключения не подтверждают правил, они есть исключения из правил.— Ей явно не хватало слов. Она подняла голову и улыбнулась.— В общем, мы никому не можем этого объяснить. Чтобы понять это, надо влезть в нашу шкуру.

Уродка сказала:

— Скорее это похоже на уход за больным.

Наступила пауза. Дэвид спросил:

— А вы, Энн, как сюда попали?

За нее ответила Мышь:

— Мне стало немного тягостно. Не с кем было словом перемолвиться. В Лидсе мы вместе снимали квартиру. Потом не теряли друг друга из вида, и я знала, что Энн не очень нравится на преподавательском факультете. Так что, как только она его закончила...

— Я приехала сюда на неделю. Ха-ха.

Взглянув на ее смешную гримасу, Дэвид улыбнулся.

— Здесь, по крайней мере, интересней, чем преподавать рисование?

— И платят больше.

— Он может себе это позволить.

Мышь сказала:

— Мне приходится даже возвращать ему деньги. У нас же с ним *нет* соглашения. Он прямо пачками швыряет нам деньги. Сто фунтов. Двести. Когда мы бываем с ним в Ренне, то боимся на витрины смотреть. Он все порывается что-нибудь нам купить.

— В сущности, он добрый человек,— сказала Уродка. И перевернулась на спину. Почти мальчишечья, с темными сосками, грудь, рыжие волосы; она подняла колено, почесала над ним и снова опустила ногу.

Мышь сказала:

— В работе он очень странный. Удивительно терпелив, когда работает кистью. Даже когда рисует. Сама я порой прихожу в ярость, если у меня не получается. Вы рвете на части? А Генри выбрасывает. Но всегда с сожалением. Он относится к своей работе как к чему-то священному. Даже когда не ладится. С людьми он другой.— Она помолчала, покачала головой.— А в мастерской почти все время молчит. Точно немой или боится, что слова все испортят.

— Еще бы,— сказала Уродка небесам,— слова-то он какие употребляет.— И, подражая голосу старика, произнесла:— «У тебя, может, кровотечение?» Это что такое, я вас спрашиваю? — И вытянула руку вверх, словно отталкивая от себя даже само воспоминание.

— Для него это вроде компенсации.

Уродка щелкнула языком в знак согласия.

— Знаю. Бедный старый ублюдок. Для него это, право, должно быть ужасно.— Она повернулась на бок и взглянула на Мышь.— Странно, правда, Ди? Его все еще интересует секс — хоть и по-смешному, по-стариковски.— Она посмотрела на Дэвида.— Знаете, когда я впервые... вспоминаешь болванов своего возраста и все прочее. Но он был, наверно, экстра-класс. В молодости... да, кстати, о господи, послушали бы вы, что он рассказывает.— Она снова состроила Дэвиду гримасу.— О добрых старых временах. Что он нам тут как-то вечером рассказывал, Ди?

— Глупости. Просто сочинял.

— Очень, черт побери, надеюсь, что это так.

Мышь сказала:

— Это был контакт. Не секс. Воспоминания. Человеческая сторона отношений. Вот что он пытался нам сказать в тот вечер.

Дэвид уловил разницу между девушками. Одна из них хотела затушевать сексуальную сторону их жизни, другая напоминала о ней. Ему вдруг пришло в голову, что Уродка пользуется его присутствием, чтобы подчеркнуть наличие расхождений с подругой, и тут он был на ее стороне.

— Должно быть, экономка и ее муж — люди широких взглядов.

Мышь опустила глаза.

— Только никому, пожалуйста, не говорите, но знаете ли вы, где был Жан-Пьер в конце сороковых — начале пятидесятых годов?— Дэвид покачал головой.— В тюрьме. За убийство.

— Боже милостивый.

— Убил отца. Семейная ссора из-за земли. Французские крестьяне. В сорок шестом году, когда Генри вернулся в Париж, он взял Матильду в прислуги. О том, что случилось с Жан-Пьером, он знал. Мне сама Матильда сказала. В их глазах Генри безупречен. Он не отвернулся от них.

Уродка фыркнула.

— И даже повернулся к ним. К Матильде.

Мышь вопросительно посмотрела на Дэвида.

— Помните довольно грузную натурщицу в некоторых его первых послевоенных работах?

— О господи. Никогда бы не подумал.

— Даже Матильда не любит об этом вспоминать. Только говорит, что «мосье Анри» внушил ей веру в жизнь. Научил ждать, говорит. Кроме того, она единственная, на кого Генри никогда, ну никогда не повышал голоса. Однажды за ужином он разозлился за что-то на Энн. И ушел на кухню. Через пять минут вхожу туда. Он — там. Ест за одним столом с Матильдой и слушает, как она читает вслух письмо от сестры. Точно священник со своей любимой прихожанкой.— Мышь улыбнулась.— Даже приревновать можно.

— А вас он рисует?

— Рука у него стала трястись. Есть один портрет Энн. Прекрасный шаржевый рисунок. Помните знаменитую Иветту Гильбер на афише Лотрека? Так это — пародия на нее.

Уродка, словно гребнем, провела пальцами по своим мелко завитым волосам.

— И нарисовал *так быстро*. Всего за полминуты. Ну, самое большее за минуту, верно, Ди? Фантастика. Честное слово.

Она снова легла на живот и подперла руками подбородок. Ногти у нее были темно-красные.

Мышь опять с любопытством взглянула на Дэвида.

— Говорил он с вами о вашем очерке?

— Сказал только, что не знает названных мною имен. За исключением Пизанелло.

— Не верьте. У него невероятная память на полотна. Я сохранила некоторые его рисунки. Когда он пытается рассказать о чьей-то картине, а я не понимаю, которую он имеет в виду, то он иногда изображает ее на бумаге. Как Энн говорила. Молниеносно. Вплоть до малейшей детали.

— Это звучит ободряюще.

— Он никогда не согласился бы на ваше участие в подготовке книги, если бы вы не были так близки к истине.

— А я уже начал недоумевать.

— Он всегда знает, что делает. Лучше, чем вы думаете. Даже когда ведет себя возмутительно. Однажды — Энн тогда еще не было

с нами — я повезла его в Ренн посмотреть «Смерть в Венеции». Думала, ему понравится. Хотя бы как зрелище. Первые двадцать минут он был золото, а не человек. Потом появляется на экране этот ангелоподобный мальчик. В следующий раз, когда он появился, Генри говорит: «Какая миленькая девчурка. Она во многих картинах снималась?»

Дэвид рассмеялся. В ее глазах тоже заискрился смех. Серьезность с лица сошла, она уже не казалась старше своих лет.

— Вы и не представляете, какой он невозможный. Начал спорить со мной о том, мальчик это или девочка. Во весь голос. По-английски, конечно. Потом стал распространяться о мальчиках-педерастах и современном декадансе. Зрители вокруг нас зашикали. А он вступил с ними в перебранку — по-французски. Не знал, говорит, что в Ренне столько гомиков. В конце концов...— Мышь приставила палец к виску,— разразился скандал. Мне пришлось увести его, пока не вызвали полицию. Всю дорогу, пока мы ехали домой, он убеждал меня, что «кинема», как он называет кино, началось с прихода и кончилось уходом Дугласа Фербенкса и Мэри Пикфорд. Непроходимое упрямство. За последние двадцать лет и десяти фильмов не посмотрел. Но уже все знает. Так же, как вчера вечером с вами. Чем убедительнее ваши аргументы, тем меньше он вас слушает.

— Разыгрывает спектакль?

— Это такой своеобразный стиль. В нем есть даже что-то искреннее. Словно он хочет сказать: «Я не снизойду до твоего возраста. Я стар, хочу быть самим собой и понимать тебя не желаю».

Уродка сказала:

— К примеру, как он разговаривает. Не перестает называть меня гулящей девкой. Я смеюсь, говорю ему: «Генри, гулящие девки перевелись вместе с корсетами и панталонами». Куда там. Он от этого только в еще больший раж входит, правда, Ди?

— Однако выходки эти не такие уж бессмысленные, как кажется. Он хочет, чтобы мы видели в нем что-то смешное. Вернее — ненавистное.

— Чтобы прощали ему его слабости.

Наступило молчание. Солнце, хотя и осеннее, припекало. Бабочка-адмирал, бесшумно махая крылышками, повисла над изгибом спины Мыши. Дэвид знал, что́ у них сейчас на душе: тоска по добрым старым временам в художественном колледже; желание пооткровенничать, пожаловаться на судьбу; испытать человеколюбие учителя, проверить его готовность к сочувствию; не просто исповедаться, а услышать слова утешения.

Мышь заговорила, обращаясь к траве:

— Надеюсь, вас это не шокирует.

— Я восхищаюсь тем, как вы разумно о нем судите.

— Вот в этом-то мы порой и сомневаемся.— И добавила: — А вдруг мы оправдываем клички, которые он нам дал.

Дэвид улыбнулся:

— По-моему, вы далеко не робкого десятка.

— Если не считать того, что я сбежала.

— Но вы же говорили, что здесь больше узнаете.

— О жизни — да, но...

— Но не в творческом плане?

— Стараюсь начать все сначала. Еще не знаю.

— Значит, действуете не по-мышиному.

Уродка сказала:

— А мне наплевать. Уж лучше сражаться со стариком Генри, чем с сорока болванами в школе.

Мышь улыбнулась, а Уродка подтолкнула ее плечом.

— Тебе-то что.— Она взглянула на Дэвида.— Сказать по чести, я жила черт знает как. В студенческие годы. Наркотики. Правда, не самые сильные. Ну, вы понимаете. Спала с кем попало. Ди знает, с какими подонками я путалась. Правда.— Она толкнула ногой ногу подруги.— Ведь так, Ди? — Мышь кивнула. Уродка посмотрела мимо Дэвида — туда, где спал старик.— С ним я хоть не чувствую себя потаскухой. Этот по крайней мере ценит меня. Никогда не забуду одного типа. Он был просто... ну, понимаете, большая шишка. И знаете, что он мне говорил? — Дэвид отрицательно покачал головой.— «Почему ты такая тощая?» Честное слово, как подумаю, чего я только не пережила. А этот бедняга Генри смотрит на меня со слезами благодарности, когда у него получается.— Она потупилась, будто спохватившись, что слишком уж разоткровенничалась, потом вдруг усмехнулась и посмотрела на Дэвида.— Можете составить себе состояние в «Ньюс оф зи уорлд»[1].

— Думаю, что права на авторство принадлежат вам.

Она пристально посмотрела на него, в ее взгляде мелькнули вопрос и насмешка одновременно. У нее были темно-карие глаза, самое привлекательное в ее маленьком личике. Они выдавали прямоту характера и с близкого расстояния казались нежными. Только теперь, за эти сорок минут разговора, Дэвид понял, что узнает о ней кое-что новое. За грубоватостью ее речи угадывались благорасположение и искренность, не врожденная искренность Мыши, выросшей в вольнодумной буржуазной среде и обладающей неплохим умом и несомненным талантом, а искренность представительницы трудового люда, приобретенная дорогой ценой, ценой «жизни черт знает как». Теперь понятны были их дружба и взаимоотношения: они не только повторяли, но и дополняли друг друга. Возможно, такое впечатление складывалось благодаря их наготе, солнцу, воде, тихим голосам, молчаливой глади затерянного пруда; он чувствовал, как таинственные узы все крепче и крепче связывают его с этими тремя чужими людьми, точно он знал их не двадцать четыре часа, а гораздо дольше, те же, кого он знал, за это время как-то поблекли и исчезли с его горизонта. Реально существовал лишь день сегодняшний, а вчерашний и завтрашний дни превратились в мифы. И еще было ощущение собственной исключительности; казалось почти непостижимым, что он живет в той среде и в ту эпоху, которые допускают столь быстрое развитие событий; когда, выражаясь более банально, человеку его профессии выпадают такие счастливые случаи. Что сказали бы друзья, увидев его в таком обществе? И в эту минуту он подумал о Бет.

Под взглядом Уродки он отвел глаза в сторону. Наступила короткая пауза. И тут Мышь посмотрела вокруг с некоторой неловкостью (потому что тоже, видимо, понимала, что исповедь получилась чересчур откровенной), потом — на подругу.

— Хочу еще поплавать.

— О'кей.

Мышь села спиной к Дэвиду. Уродка улыбнулась.

— Будьте нашим гостем.

Он это предвидел и уже знал, как поступит. Оглянулся на яхту, в тени которой лежал старик.

— Если ничего не спровоцирую.

Она высоко подняла брови — в духе Граучо Маркса.

[1] «Вести со всего света» — хроникальный журнальчик сенсационного типа.

— Разве что нас.

Мышь повернулась и шлепнула ее ладонью по заду. Потом встала и пошла к воде. Молчание; Уродка продолжала лежать, разглядывая траву.

— Зря добро пропадает, правда? — сказала она, понизив голос.

— Видимо, она знает, что делает.

Уродка криво усмехнулась:

— Шутите.

Дэвид посмотрел на тонкий стан Мыши, погружавшийся все глубже в воду,— настоящая Диана, тонкая, стройная; видимо, наступила на что-то острое и сделала шаг в сторону.

— Вы считаете, что надо отсюда уезжать?

— Я и живу-то здесь только из-за нее.— Она опустила глаза.— Как это ни странно, но именно она тут лишняя. Я и старик Генри — мы живем, так сказать, по принципу: хоть день, но мой, понимаете? Мы уже не можем играть в невинность, даже если бы захотели. А Диана — совсем другое дело.

Мышь окунулась и поплыла.

— И она этого не понимает?

— Сказать по правде, нет. Глупая она. С умными девушками это иногда случается. Генри-то она насквозь видит, это верно. Не видит только себя.— Теперь Уродка сама избегала смотреть Дэвиду в глаза: она была чуть ли не смущена.— А вы бы попробовали вызвать ее на разговор. Сегодня вечером, например. Генри мы уложим спать пораньше. Ей нужен кто-нибудь со стороны.

— Ну, конечно.. Я попробую.

— О'кей.— Она помолчала, потом вдруг встала и снова села на пятки. Ухмыльнулась.— Вы ей нравитесь. Говорит, что вы замечательный художник. Она только пыль в глаза вам пускала. Вчера, когда вы приехали.

— Я знаю, она мне уже говорила.

Уродка окинула его оценивающим взглядом, потом поднялась на ноги и на миг застыла, точно Венера, в стыдливой позе.

— Мы будем смотреть,— сказала она и пошла купаться.

Дэвид встал, разделся и отправился следом. Уже будучи по пояс в воде, поравнялся с Уродкой. Та одарила его улыбкой и, тихо взвизгнув, поплыла вперед. Секунду спустя он тоже нырнул и поплыл туда, где над поверхностью виднелась вдалеке голова Мыши.

Пятью часами позже эта же голова предстала его глазам за обеденным столом, и теперь он уже ни о чем другом не мог думать. До ужина он видел Мышь только мельком, потому что она и Уродка были заняты на кухне. К ужину она надела черную рубашку и другую длинную юбку, ярко-оранжевую с коричневыми полосами — ночь и осень,— а волосы зачесала кверху, придав им классически элегантный и вместе чуточку небрежный вид. В поведении ее угадывалось едва заметное желание произвести впечатление, и это ей удавалось. Чем больше Дэвид присматривался к ней, чем больше узнавал, тем больше она ему нравилась: ее характер, система взглядов и вкусов, ее женственность. Он это понял и скрывал. Не только от нее, но и от самого себя. Скрывал в том смысле, что не нашел еще ответа на вопрос: почему она так стремительно влекла его к себе, почему именно такое сочетание физического и психологического, сдержанного и открытого, управляемого и стихийного (он начинал верить тому, что говорила Уродка) находило столь сильный отклик в его душе. Странное дело: теплится в человеке чувство, о котором

он даже не подозревает, и вдруг, как гром среди ясного неба, захлестывает его. Дэвиду казалось, что он околдован, пленен. Он объяснил это в первую очередь отсутствием Бет. Они были так близки, что он утратил представление о мужской свободе и только теперь ощутил себя самостоятельной личностью. Вспоминая истекший день, он испытывал огромное наслаждение. День, такой сложный и вместе такой простой; такой насыщенный новыми впечатлениями и такой примитивный, атавистический, не подвластный времени. И сверх того, он чувствовал, что его здесь признали, что считают чуть ли не своим.

То, что Дэвид выкупался с девушками, помогло ему войти к ним в доверие. Потом он понял, что так именно и должен был поступить, чтобы показать себя молодцом в глазах Уродки и тем оправдать более интеллектуальную Мышь, выбравшую себе такую подругу. Ярдах в ста от берега он нагнал ее. Плывя на почтительном расстоянии друг от друга, они поболтали немного о пруде, о температуре воды, о прелести купания. Он заметил, что Уродка повернула к берегу. Бресли, казалось, все еще спал. Потом и они медленно поплыли обратно, по направлению к худенькой фигурке, вытиравшейся полотенцем. Он вышел из воды вместе с Мышью; Уродка протянула ему свое мокрое полотенце. Солнечный свет, деревья, сознание того, что на тебя смотрят... но если он и стыдился чего-нибудь, то не присутствия девушек — разве что своей белой кожи рядом с их загорелыми телами.

Он оделся не сразу, а сперва сел возле своей одежды, упершись руками в землю. Девушки легли, как и прежде, на спину, головой к нему и ногами — к воде. Безмолвие пруда, полное уединение... Впрочем, не совсем — на противоположном берегу, в самой отдаленной точке мелькнуло что-то: рыболов, взмах удочки, голубое пятно крестьянской рубахи. Дэвид молчал. Он испытывал сладострастное чувство — не вполне осознанное первобытное влечение самца к особям другого пола, желание видеть себя в роли шейха. Нарочито брошенная стариком фраза насчет того, что́ требуется этим двум девушкам, наводила его на мечтательные мысли, притупляла чувство ответственности... развязывала инстинкты, которые человек обычно подавляет в себе. Немногим больше двенадцати часов тому назад он почти сбросил их со счетов, перечеркнул, как нечто недостойное внимания, и вот сейчас убедился: то, что во время пикника казалось весьма гадательным, сейчас начало приобретать реальные, конкретные черты и уже не представлялось таким невозможным. Вот так же случается с живописцем, который за несколько часов иногда достигает большего, чем за несколько дней или даже недель кропотливого труда. Дэвид, конечно, знал, отчего у него такое ощущение. От сознания того, что у него очень мало времени, что его ждет проза жизни, что впереди — дальняя дорога в Париж (в предместье Парижа), где надо быть ровно через сутки, в точно назначенное время. Гениальность старика проявилась, пожалуй, в том, что он бежал из города в таинственную глушь и обрел в этом древнем зеленом крае кельтов животворную силу. Счастливец старик: не утратил восприимчивости, оставаясь глубоко аморальным человеком, и благодаря своей славе приобрел последнее в жизни уютное пристанище и сухо рациональное расположение вот этих женщин. Дэвид оглянулся, Бресли все еще спал как мертвый. Притихшие девушки лежали так, что он мог сколько угодно разглядывать их, в чем они, очевидно, отдавали себе отчет. Их молчание значило, что они щадят его стыдливость, разговаривая, они должны были бы поворачиваться к нему лицом, и это тоже было их тайным преимуществом. Он вдруг познал зов насилия, совершенно не свойственного его натуре. Что-то нежное и

провоцирующее в самой беззащитности девушек глубоко взбудоражило его.

Он встал и оделся. Он расскажет Бет — он всегда ей все рассказывает — рано или поздно; но лишь после того, как они переспят.

Они медленно двинулись домой; девушкам вдруг пришло в голову немного отклониться от маршрута, чтобы показать ему живописные развалины фермы, а заодно набрать ежевики, росшей в изобилии на некогда расчищенном под пашню участке. В смеси с яблоками, сказали они, получится прекрасная начинка для традиционного английского пирога. Старик заявил, что «эта дрянь» ему отвратительна, но ворчал он беззлобно и даже помогал пригибать крюком трости высокие ветки. Минут пятнадцать они были по-детски увлечены этим занятием. Еще один повод для грустных воспоминаний: ему-то уже не придется полакомиться пирогом, в чем он заблуждался, ибо девушки тут же отправились на кухню: Мышь — месить тесто, Энн — готовить начинку. «Специально для вас»,— объявили они, как бы желая загладить свою вину за то, что уязвили его мужское самолюбие, поставили в неравное положение. Он был тронут.

Часть пути от зарослей ежевики до дома Дэвид шел рядом с Мышью — впереди Уродки и старика. Мышь почему-то вдруг засмущалась немного, словно знала, что говорила Дэвиду подруга; он чувствовал, что, с одной стороны, ей хочется поговорить, а с другой — она боится сказать лишнее. Вспомнили о Королевском колледже, почему она ушла оттуда, но разговор был нейтральный, вообще. Из того, что она сказала, можно было заключить, что в колледже она испытывала нечто вроде клаустрофобии — слишком много избранных талантов собралось на слишком тесном пространстве — и растерялась, когда увидела работы других; в общем, виновата она сама. Дэвид вдруг увидел перед собой совсем другую девушку — легко возбудимую, болезненно самокритичную, до крайности дотошную. Да, она такая, если судить по той работе, которую он видел вчера. В то же время Мышь старалась показать, что она не слишком обеспокоена своей несостоявшейся карьерой, во всяком случае не настолько, чтобы докучать Дэвиду своими излияниями. Они перевели разговор на более нейтральную тему — о художественном образовании вообще. Дэвида, таким образом, предупреждали: как самостоятельна личность, она — совсем другой человек и «усвоить» ее в отрыве от Уродки, выполняющей роль катализатора, гораздо труднее. Мышь даже остановилась и обернулась, поджидая, когда подойдут те двое. Дэвид был почти уверен: остановилась она не потому, что боялась вызвать у Генри ревность. Просто разговор у них не получился. Но от этого она не стала казаться ему менее привлекательной.

Ничто, пожалуй, не говорило так о его душевном состоянии, как терзавшая его по дороге мысль о том, ждет или не ждет его в Котминэ телеграмма от Бет. Не было смысла обманывать себя. Он откровенно надеялся, что отъезд Бет в Париж почему-либо задержится (только, конечно, не потому, что серьезно расхворалась Сэнди). Такую возможность они ведь не исключали, ее отъезд действительно мог задержаться на день или два. А ему и нужен-то всего один лишний день. Но мечта его не сбылась: никаких телеграмм в их отсутствие не поступало.

Зато — в порядке компенсации — он получил еще одну, последнюю возможность побеседовать с Бресли tête-à-tête [1]. На большую часть вопросов биографического характера Бресли ответил в своей обычной манере, но Дэвид все же чувствовал, что основные факты

[1] Наедине *(франц.)*.

он излагает правильно. Некоторые же ответы звучали даже искренне. Дэвид попросил старика объяснить явный парадокс: его пацифизм в 1916 году и последующая служба санитаром в Интернациональной бригаде во время гражданской войны в Испании.

— Трусил, мой дорогой друг. В буквальном смысле. Была у меня целая коллекция всякой дряни. Я-то на это плевал, считал чепухой. Рассел просветил меня. Слушал его речи, публичные лекции. Умнейшая голова, добрейшее сердце. Единственный в своем роде. Таких больше не встречал.— Они сидели за столом у окна его спальни, сзади них стояли две кровати. Дэвид попросил показать ему Брака. Старик сказал, что когда-то у него была еще одна картина этого художника, но ее пришлось продать, чтобы купить Котминэ и произвести в нем необходимые переделки.— Годы-то идут,— с улыбкой продолжал Бресли.— А я вот все, знаете ли, думаю. Может, это не была просто трусость. Надо же в конце концов выяснить. И выбросить из головы. Понимаете?

— Кажется, да.

Старик смотрел в окно. Солнце уже заходило, его лучи освещали стволы деревьев.

— Ужасно боялся. Все время. Ненавидел войну. Но надо было рисовать. Только это и помогло выдержать.— Бресли улыбнулся.— Не смерти боялся. Молил бога о смерти. А вот боль до сих пор чудится. Не выходит из памяти. Хотел зафиксировать ее. Уничтожить. Но не сумел изобразить.

— Может быть, вам так кажется. Все остальные считают иначе.

Старик покачал головой:

— Это все равно как соль сыпать на хвост. Не на дурака напали.

Дэвид постарался отвлечь старика от этой больной темы и даже под конец рискнул предложить ему собственное лекарство. Если он отрицает параллели, о которых Дэвид говорит в своем очерке, то как совместить это с тем, что девушки восхищены его способностью помнить картины других художников? Бресли бросил на него косой взгляд и потянул себя за нос.

— Выдали меня сучки, а?

— Пока вы спали, я выкручивал им руки.

Старик опустил глаза и погладил рукой край стола.

— Хорошую картину никогда не забываю, Дэвид.— Он снова посмотрел в сад.— Имена — да. Но что значит имя? Почти ничего.— Он указал большим пальцем на картину Брака и подмигнул. Изображение-то, мол, остается, а это — главное.

— Стало быть, я могу не изымать себя из библиографии?

Бресли, словно не слыша вопроса, сказал:

— Повешенный. Не веронец. Лиса. Кажется. Уже не помню.

Он имел в виду одну деталь в глубине фрески Пизанелло «Св. Георгий и принцесса», которая послужила темой для одного из самых мрачных полотен серии Котминэ; оно не имело названия, но могло бы быть названо «Скорбь» — лес, фигуры повешенных и живых, которые, казалось, завидовали повешенным.

— Лисы не припоминаю.

— «Книга мучеников». Гравюра на дереве. Старый экземпляр был у нас дома. Привела меня в ужас. Шести-семи лет. Гораздо страшнее, чем в жизни. Испания.

Дэвид решился задать еще один вопрос:

— Почему вы так неохотно раскрываете свои источники?

Вопрос явно понравился старику — словно Дэвид, задав его, угодил в ловушку.

— Мой дорогой мальчик. Писал, чтобы писать. Всю жизнь. И не

давать умникам вроде вас похваляться своими познаниями. Все равно что испражняться, да? Вы спрашиваете, зачем я это делаю. Как делаю. Ведь от запора можно умереть. Мне ровным счетом наплевать, как возникают мои замыслы. Никогда не придавал этому значения. Само собой получается, и все тут. Даже не знаю, как это начинается. Не до конца понимаю значение. И понимать не хочу.— Он кивнул головой на Брака.— У старого Жоржа была фраза: «Trop de racine». Да? Слишком много корня. Начала. Прошлого. А самого цветка нет. Вот этого самого. На стене. Faut couper la racine. Отрезать корень. Так он говорил.

— Живописцы не должны быть интеллектуалами?

Старик улыбнулся:

— Выродки. В жизни не встречал стоящего художника, который не считал бы себя интеллектуалом. Старый осел Пикассо. Ужасающий тип. Так и щелкает на тебя зубами. Скорее бы акуле доверился, чем ему.

— Но ведь он дает достаточно ясно понять, о чем пишет?

Старик даже фыркнул, показывая всю меру своего несогласия.

— Вздор, мой дорогой. Fumisterie [1]. Сплошь.— И добавил: — Слишком быстро работал. На протяжении всей жизни — сплошное перепроизводство. Дурачил людей.

— А «Герника»?

— Хорошее надгробие. Позволяет всяким подонкам, в свое время плевавшим на Испанию, выражать теперь свои благородные чувства.

В тоне Бресли звучала горечь; вдруг вспыхнул крошечный красный огонек; что-то еще болело. Дэвид видел, что разговор возвращается к спорам об абстракционизме и реализме и к воспоминаниям об Испании. Неприязнь старика к Пикассо стала понятна. Но Бресли сам отступил.

— Si jeunesse savait...[2] Знаете?

— Конечно.

— Вот и все. Просто берите кисть и работайте. Это мой совет. А умные разговоры пускай ведут те несчастные гомики, которые не умеют писать.

Дэвид улыбнулся и опустил глаза. Потом встал, намереваясь уйти, но старик остановил его.

— Рад, что вы поладили с девчонками, Дэвид. Хотел вам сказать. Все-таки им развлечение.

— Они хорошие девушки.

— Вроде довольны, вы не находите?

— Жалоб, во всяком случае, не слышал.

— Не много я могу им теперь дать. Разве что денег на карманные расходы.— Старик выжидательно помолчал.— Всегда стесняюсь разговаривать о жалованье и прочем.

— Я убежден, что они здесь не ради денег.

— Все-таки лучше, когда регулярно. Вы не думаете?

— А почему вы Мышь об этом не спросите?

Старик снова посмотрел в окно.

— Очень щепетильная девчурка. В денежных делах.

— Хотите, я у них выясню?

Бресли поднял руку.

— Нет, нет, мой друг. Я только советуюсь с вами. Как мужчина с мужчиной, понимаете?.. Ужасно боюсь потерять Мышь. Стараюсь скрывать это.

[1] Вранье, мистификация *(франц.)*.

[2] Если б молодость знала... *(франц.)*.

— По-моему, она это понимает.

Старик кивнул и слегка пожал плечами, как бы желая сказать, что время и судьба в конце концов возьмут свое; на этом разговор кончился.

Обо всем этом Дэвид размышлял, лежа вскоре у себя в ванне,— о том, что может связывать между собой этих людей при всем их несходстве, взаимном непонимании, недомолвках, скрытых за фасадом откровенности. Вряд ли надолго сохранится этот тройственный семейный союз — mènage à trois, в котором участвуют красивые, молодые, эмансипированные женщины. Будут и ревность, и предпочтения, и размолвки... в этом замкнутом, обособленном мирке, столь непохожем на реальный, будничный мир Дэвида: Блэкхит, уличная сутолока в часы пик, вечеринки, друзья, выставки, дети, субботние хождения по магазинам, родители... Лондон, стяжательский и расточительный. Как сильно может тосковать человек по... такому уголку, как Котминэ. Надо поговорить с Бет и обязательно попробовать подыскать такое место, например, в Уэльсе или где-нибудь на западе — есть же там что-нибудь, кроме Сент-Айвза [1], где вокруг двух-трех серьезных художников увивается целое сонмище позеров.

Несчастные гомики, которые не умеют писать. Да.

В памяти Дэвида, конечно, останется природная неотесанность старика. Но грубость речи и поведения в конечном счете обманчивы — как обманчива внешняя агрессивность некоторых зверей, потому что агрессивность эта, в сущности, обусловлена желанием обрести мир и пространство, а не демонстрировать свою животную силу. Гротескные обличья старика — всего лишь внешние проявления его подлинного «я», стремящегося вырваться на волю. Его настоящее обиталище — не manoir, а окружающий лес. Всю жизнь он, должно быть, искал для себя укрытие; крайне застенчивый, робкий, на людях он принуждал себя держаться как раз наоборот. Возможно, это и явилось первопричиной его отъезда из Англии. Оказавшись же во Франции, он почувствовал себя англичанином. Можно лишь удивляться, сколько национального духа сохранилось в нем за долгие годы эмиграции, как стойко он сопротивлялся вторжению французской культуры. Нечто сугубо английское в серии Котминэ было отмечено Дэвидом уже в первых набросках его вступительной статьи, и теперь он решил, что это его наблюдение следует еще развить и усилить. Не в нем ли ключ к пониманию этого человека? Хитрый старый изгой, прячущийся за яркой ширмой озорника и космополита, так же, наверное, неотделим от своей родины, как Робин Гуд.

За ужином преобладала атмосфера корректности, соответствующая правилам гостеприимства. Хотя Генри, перед тем как сесть за стол, и выпил виски, во время еды он ограничился двумя бокалами вина, и то разбавленного водой. Вид у него был усталый, удрученный: вчерашняя попойка все-таки давала себя знать. Каждая морщинка на его лице говорила о старости, и Дэвиду казалось, что девушки чуть ли не нарочно подчеркивают пропасть между ними и Генри. Уродка, впав в болтливое настроение, стала рассказывать Дэвиду на своем эллиптическом английском языке, пересыпанном жаргонными словечками, о том, каких мучений стоили ей занятия на преподавательском факультете. Старик смотрел на нее с таким выражением, словно ее внезапное оживление немного удивляло его и... ставило в тупик. Большую часть того, что она говорила, он, видимо, просто не понимал: микропреподавание, искусство систем, пси-

[1] Деревня на полуострове Корнуэлл в Англии.

хотерапия — все эти понятия казались ему пришедшими с другой планеты. Дэвид представлял себе, как озадачен был этот человек, продолжавший мыслить категориями титанических битв начала двадцатого века, когда услышал, что увлекательная теория искусства и его революционная практика свелись к технике массового образования, к «деятельности», стоящей где-то между английским и математикой. «Les demoiselles d'Avignon»[1] — и миллиард банок плакатной краски.

Выпили кофе — старик почти совсем умолк. Мышь посоветовала ему идти спать.

— Чепуха. Хочется послушать вас, молодых.

Она мягко сказала:

— Не притворяйся. Ты очень устал.

Генри поворчал немного, взглянул на Дэвида, надеясь на его мужскую солидарность, но тот молчал. Мышь повела его наверх. Как только они исчезли из виду, Уродка пересела на стул старика и налила Дэвиду еще кофе. В этот вечер она была одета не так экзотично, как накануне: черное платье от Кейт Гринуэй, усеянное розовыми и зелеными цветочками. Деревенская простота этого наряда шла к ней больше или, вернее, к тому, что Дэвиду начинало в ней нравиться. Она сказала:

— Когда Ди вернется, пойдем наверх. Надо, чтобы вы посмотрели ее работы.

— Я бы с удовольствием.

— Она насчет этого дурочка. Стесняется.

Он помешал свой кофе.

— Что произошло с ее дружком?

— С Томом? — Она пожала плечами.— А, обычное дело. Не мог смириться. Когда ее приняли в Королевский колледж. А он надеялся, что его примут.

— Это бывает.

— Такие, как он, воображают, что им все доступно. Закрытые частные школы и прочее. Лично я терпеть его не могла. Он всегда был такой самоуверенный. Одна только Ди этого не замечала.

— Она очень страдала?

Уродка кивнула.

— Я же говорю. Наивная она. В некоторых отношениях.— Она умолкла, перестала вертеть ложку и внимательно посмотрела на его освещенное лампой лицо — взгляд у нее был удивительно прямой.

— Могу я открыть вам тайну, Дэвид?

— Конечно,— улыбнулся он.

— То, что я еще днем хотела сказать.— Она бросила взгляд в сторону лестницы и понизила голос: — Он хочет, чтобы она вышла за него замуж.

— О, господи.

— Это такая нелепость, я...

— Да неужели она...

Она покачала головой.

— Вы ее не знаете. Она умнее меня во многих отношениях, но, честное слово, иногда делает глупости. Вся эта история, например.— Она грустно усмехнулась.— Две потрясающие девки. Куриные мозги у нас, что ли? Мы даже острить на этот счет перестали. Правда, с вами вот немного развлеклись. Но это — первый раз за много недель.

— Она ему отказала?

[1] «Авиньонские девушки» — картина Пикассо *(франц.)*.

— Говорит, что да. Но ведь она все еще здесь, верно? Вбила себе в голову, что он ей вроде отца, что ли.— Уродка снова посмотрела Дэвиду в глаза.— А ведь она потрясающая девка, Дэвид. Честное слово, вы даже не представляете. Мои мама и папа — свидетели Иеговы [1]. Совсем с ума спятили. Дома у меня черт-те какие дела. Я хочу сказать — у меня и дома-то никакого нет. Если бы не Ди, я бы пропала. Уже в прошлом году. Счастье, что могла хоть ей писать.— Дэвид хотел сказать что-то, но она перебила его:— И такая непоследовательная.— Уродка обвела рукой помещение.— Даже вот это все — для нее причина не выходить за него замуж. Сумасшедшая. Так испортить себе жизнь и ничем не попользоваться.

— Никого из людей своего возраста она здесь не встретит.

— В том-то и дело.— Она полулегла на локте, глядя на Дэвида через стол. Они беседовали, все так же понизив голос.— А если и встретит, то не обратит внимания. На прошлой неделе, например, мы поехали в Ренн за покупками. Пристали к нам двое парней-французов. В кафе. Студенты. Ну, разговор там, шутки. Неплохие оказались ребята. Трепались с ними вовсю. Ди сказала им, что мы на каникулы сюда приехали, остановились у ее родственников.— Уродка скривила лицо.— А они взяли да потом и приехали к нам сюда.— Она пропустила волосы сквозь пальцы.— Невероятно. Вы не поверите. Ди вдруг повела себя как офицер службы безопасности. Как она отбрила этих ребят! И — прямо домой, раздеваться, потому что Генри, видите ли, одиноко и хочется поиграть. Я хочу сказать — в определенном смысле. Вы знаете — в каком. Не в физическом. Этим он заниматься уже не может, просто... знаете, Дэвид, секс, честное слово, все это я видела. И гораздо хуже. Но Ди — другое дело. В Лидсе она обожглась. Сильно. Потому ей не надо быть со мной. Она считает: либо так, как с Генри, либо — как жила я. Она понятия не имеет, как на самом-то деле должно быть. Какая это может быть жизнь.

— А вы не...

Но он не успел спросить, намерена ли она уехать отсюда одна. Сверху донесся звук закрывающейся двери. Уродка выпрямилась на своем стуле, а Дэвид обернулся, глядя на слабо освещенную лестницу, по которой спускалась та, о ком только что шел разговор. Мышь помахала им — озерцу света, в котором они сидели, и, сойдя вниз, пошла к ним — стройная, спокойная, сдержанная, живое опровержение того, что сказала о ней подруга. Она снова села напротив Дэвида и облегченно вздохнула.

— Сегодня он вел себя хорошо.

— Как вы и предсказывали.

Она скрестила два пальца руки. Чтобы не сглазить.

— И о чем это мы беседовали?

— О тебе.

Дэвид добавил:

— И о том, покажете ли вы мне ваши работы.

Она опустила глаза.

— Не так уж много показывать.

— Ну, что есть.

— В большинстве это — рисунки. Живописью я почти не занималась.

Уродка встала.

— Я сама покажу. Если хочешь, оставайся здесь.

Девушки переглянулись. В глазах одной светился вызов, в глазах другой — боязнь. Чувствовалось, что они уже спорили на эту тему. Наконец, та, что боялась, улыбнулась и встала.

[1] Религиозная секта.

Дэвид поднялся следом за ними наверх и, миновав дверь своей комнаты, прошел по коридору в восточный конец дома. Там была еще одна большая комната. Хотя в ней тоже стояла кровать, ее убранство скорее напоминало гостиную. Или комнату студентки, если бы на стенах висели не оригинальные, отлично выполненные работы, а ремесленные поделки или репродукции. Уродка подошла к стоявшему в углу проигрывателю и стала перебирать пластинки. Мышь сказала:

— Идите сюда.

Он подошел к длинному рабочему столу: флаконы с тушью, акварельные краски, наклонная чертежная доска с неоконченным рисунком. Безукоризненный порядок, полная противоположность тому, что он видел в мастерской старика... Такой же порядок Дэвид любил поддерживать на собственном домашнем «верстаке». Мышь сняла с полки папку и положила перед собой.

— К концу пребывания в Лидсе я целиком отдалась абстрактному искусству. С тем и в Королевский колледж поступила. А то, что вы сейчас видите,— это, в сущности, возврат к прошлому.— Она робко улыбнулась.— Чему я, как мне начало казаться, прежде напрасно не уделяла внимания.

С точки зрения техники исполнения рисунок производил хорошее впечатление, но ему, пожалуй, недоставало индивидуальности. Приятная сдержанность, которую она проявляла в обращении с людьми, на бумаге превращалась в холодность, в нечто излишне прилежное и voulu [1]. Удивляло полное отсутствие стремительного полета линии, твердости и силы, характерных для Бресли,— сопоставление это пришло Дэвиду на ум не по памяти, поскольку рисунок, о котором Мышь рассказывала ему днем у пруда (маленький шарж на Уродку в стиле Лотрека), оказался в той же папке. На рисунке лежал отпечаток торопливости и вместе инстинктивного мастерства живой линии. Разумеется, Дэвид делал лестные замечания, задавал стандартные вопросы, угадывал то, что она хотела изобразить, и отмечал наиболее удачные места. Уродка стояла теперь рядом с ним. Он ожидал услышать поп-музыку, но ошибся: это был Шопен, и звук был приглушен — шел лишь фоном.

В папке лежали также акварели, не относящиеся к предметному искусству. Сочетания цветов некоторым образом напоминали те, которыми пользовался сам Дэвид. Эти работы понравились ему больше: оттенки, контрасты, ощущение поиска; лучше, чем сверхпедантичные карандашные этюды. Мышь открыла шкаф, стоявший у противоположной стены, и достала четыре полотна.

— Приходится прятать их от Генри. Извините, если они покажутся вам плохими работами Дэвида Уильямса.

Она поискала место, где их повесить, сняла карандашный рисунок и передала Дэвиду. Гвен Джон. Только сейчас он обратил внимание, что это — портрет Генри. Примерно в возрасте Дэвида. Бресли сидел выпрямившись на деревянном стуле, несколько театральный и величественный, несмотря на будничный костюм, молодой неистовый модернист конца двадцатых годов.

Мышь направила свет лампы с гибкой стойкой на выбранное ею место. Дэвид положил снятый со стены рисунок на стол.

Полотна, которые она показала, внешне ничем не напоминали его собственные, разве лишь тем, что они тоже представляли собой изящные и точные абстракции и тоже были меньшего размера, чем большинство картин, выполненных в этой манере. Весьма вероятно, что он и не заметил бы никакого своего влияния, если бы она не пре-

[1] Нарочитое *(франц.)*.

дупредила его сама. Но качество полотен, их проблематика и гибкость решений — а в этом он разбирался превосходно — не вызывали сомнения. Тут притворства не требовалось.

— Теперь я понимаю, почему вас приняли в колледж.

— Иногда получается. Иногда нет.

— Это нормально. Получается.

Уродка сказала:

— Продолжайте. Скажите ей, что это чертовски здорово.

— Не могу. Зависть одолевает.

— Она и просит-то всего по пятьсот за штуку.

— Энн, не говори глупостей.

Дэвид сказал:

— Давайте посмотрим еще вот эту последнюю, что висит рядом с эскизом.

На эскизе была изображена роза, вьющаяся по стене; на картине — переплетение розовых, серых и кремовых полос, опасная палитра, но Мышь сумела избежать опасности. Он* сам побоялся бы использовать эти цвета, с заложенной в них сентиментальностью, отсутствием полутонов. В его части зодиака преобладали цвета, в которые сегодня была одета Мышь: цвета осени и зимы.

Последующие двадцать минут, если не больше, ушли на беседу о живописи: Дэвид рассказал о своей технике и о том, как снова заинтересовался литографией, как «выращивает» свои идеи... говорил он так, как когда-то перед студентами, хотя теперь уже утратил эту привычку. Бет жила почти его жизнью и не нуждалась в объяснениях — она и так все хорошо понимала; к тому же между их стилями не было никакого сходства. Что касается Мыши, то он улавливал — отчасти сознательно, отчасти интуитивно,— что она хочет сказать. В этом действительно угадывалась аналогия; при том, что Мышь, как женщина, отдавала предпочтение текстуре и цветовым сочетаниям, а не форме, она пользовалась в своих абстракциях не искусственными, а природными цветовыми гаммами. По ее словам, Генри повлиял на нее в одном отношении: он считал, что цвет можно нарисовать; принуждая себя доказывать его неправоту, она многое постигла.

Все трое сели: Дэвид в кресло, девушки — напротив него на диван. Он выяснил новые подробности о них — об их семьях, об их дружбе. О Генри и о жизни в Котминэ никто, по молчаливому согласию, уже не упоминал. Самой разговорчивой снова стала Уродка. Смешно рассказала об ужасном изуверстве своих родителей, о бунтарских выходках братьев и младшей сестры, о кошмарном детстве и юности на задворках Актона. Мышь говорила о своих родных не так охотно. Из ее слов можно было понять, что она — единственный ребенок в семье, ее отец — владелец и управляющий небольшого машиностроительного завода в Суиндоне. У матери — «артистические» наклонности, и она — в качестве хобби — держит антикварный магазин в Хенгерфорде. У них там потрясающий дом, вставила Уродка. Георгианский. Такой шикарный. Дэвид заключил, что родители Мыши — довольно состоятельные люди, что они слишком интеллигентны и не принадлежат к числу закоснелых провинциалов и что она не желает о них распространяться.

Наступила пауза. Дэвид подыскивал слова, чтобы незаметно перевести разговор на настоящее и будущее, но в это время Уродка вскочила с дивана и, подойдя к нему, сказала:

— Я иду спать, Дэвид. А вам не обязательно. Ди — птичка ночная.

Она послала ему воздушный поцелуй и ушла. Это было так не-

ожиданно, так неприкрыто, что он растерялся. Девушка, с которой его оставили, не смотрела на него; она тоже понимала, что уход Энн — слишком уж откровенная инсценировка. Он спросил:

— Устали?

— Если вы не устали, то и я нет.— После неловкого молчания она тихо добавила: — Генри снятся кошмары. Одна из нас обычно спит в его комнате.

Он откинулся на спинку кресла.

— Как же он до вас-то существовал?

— Последняя подруга ушла от него два года назад. Шведка. Предала его. Ради денег. Я толком не знаю, сам он об этом никогда не рассказывает. Матильда говорит, что из-за денег.

— Значит, какое-то время справлялся один?

Она поняла намек. С едва заметной улыбкой ответила:

— В прошлом году он мало работал. Ему действительно нужна помощь в мастерской.

— И, насколько я понимаю, он эту помощь будет получать и в дальнейшем? — Это было скорее утверждение, чем вопрос, и Мышь опустила глаза.

— Энн успела вам рассказать.

— Немного. Но если...

— Нет, мне просто...

Она переменила позу и, подобрав босые ноги под себя, привалилась спиной к подлокотнику дивана. Пальцы ее теребили пуговицу на черной рубашке. Рубашка была из необработанного шелка, с легким блеском, по манжетам и воротнику шла тонкая золотая кайма.

— Что она вам сказала?

— Сказала, что обеспокоена.

Она долго молчала, потом, понизив голос, спросила:

— Тем, что Генри хочет на мне жениться?

— Да.

— Вас это удивило?

Дэвид ответил не сразу:

— Немного.

Она понимающе кивнула.

— Я еще не решила.— Она пожала плечами.— Когда женщина делает все, что делала бы жена...

— А может, как раз наоборот?

— Я нужна ему.

— Я не совсем это имел в виду.

Мышь промолчала. Он почувствовал, что в ней снова, как тогда, после сбора ежевики, идет внутренняя борьба: и хочется поговорить, и боязно. Но на этот раз она решила быть более откровенной.

— Очень трудно объяснить это, Дэвид. Конечно, я не могу любить его физически. И прекрасно сознаю, что и его любовь — это в значительной степени обычное проявление эгоизма. Желание свалить на кого-то свои житейские заботы. Но ему, по правде говоря, уже надоело разыгрывать из себя этакого беспутного старого чудака. Он только для посторонних такой. На самом же деле он — довольно одинокий и напуганный старик. Не думаю, что он будет продолжать писать, если я уеду. Мой отъезд убил бы его. Возможно, даже в буквальном смысле.

— А почему вопрос стоит так: либо замуж, либо уезжать?

— Он так не стоит. Я просто чувствую, что не могу бросить его сейчас. Ну, не все ли мне равно? Тем более раз это приносит ему счастье.

Мышь, потупившись немного, продолжала крутить пуговицу.

Своим видом она слегка напоминала провинившегося ребенка. Он посмотрел на ее изысканную, нарочито небрежную прическу, на голые лодыжки и ступни. Она села и обхватила руками колени.

— Энн сказала также, что вы боитесь, как бы кто не подумал, что вы рассчитываете на его деньги.

— Я боюсь не людской молвы. А того вреда, который могут причинить эти деньги мне,— возразила Мышь.— Ведь он же прекрасно знает, чего стоит его коллеция. Брак после его смерти будет передан Маакту. Но и без него много останется. Я хочу сказать: непомерно большие деньги. В смысле вознаграждения. И он это понимает.

— А какой вред они могут вам причинить?

Она криво усмехнулась.

— Я хочу стать живописцем. А не набитой деньгами вдовой.— И тихо добавила: — Бог с ним, с Котминэ.

— Легенды о гениальных художниках, ютящихся на чердаках, нынче не в моде.

— Никакой борьбы?

— Я сам не понимаю, на чьей стороне в этом споре я стою.

Она опять улыбнулась, продолжая избегать его взгляда.

— Мне всего двадцать три года. Думаю, в таком возрасте рано еще утверждать, что тебе никогда не захочется жить в другом месте. И жить как-то иначе.

— А вы подвержены искушениям?

Она ответила не сразу:

— Этот огромный мир за пределами усадьбы. Я даже в Ренн стараюсь больше не ездить. Эти автомобили. Люди. Происшествия. Мои родители, я просто должна скоро поехать домой и повидать их. Все откладываю. Абсурд какой-то. Словно меня околдовали. Я даже вашего приезда боялась. Я действительно в восторге от вашей выставки. И все-таки настроила себя недружелюбно по отношению к вам. Только потому, что вы — оттуда, что можете расстроить меня и... вы понимаете.

Она оставила одну из своих картин на стене над диваном. Дэвид понимал, что это не из тщеславия. Теперь он уже нисколько не сомневался в правоте Энн: ее холодная самоуверенность в первый вечер, как и равнодушие, которое она выказала при первом знакомстве,— всего лишь поза. Картина, оставленная на стене, служила как бы напоминанием о том, что между ними есть нечто общее, и сознание этой общности росло. Его уже не угнетали паузы, возникавшие в их разговоре.

— Ваши родители знают о том, что здесь происходит?

— Не все... но они не такие, как у Энн. Им я могла бы объяснить.— Она пожала плечами.— Так что вопрос не в этом. Угнетает сама мысль о расставании с этим лесным мирком. Где все почему-то кажется возможным. Я просто боюсь решиться. На что-нибудь.— Послышался слабый шорох: ночная бабочка билась об абажур лампы. Диана взглянула на нее и снова опустила глаза.— И потом возникает вопрос, может ли человек стать пристойным художником и одновременно... вести нормальную жизнь.

— Вы не станете писать лучше, если будете вести ненормальную жизнь.

— Делать то, чего от меня хотят другие.

— Нет. Вы должны делать то, что вы считаете нужным. А все другие пусть идут к чертям.

— Я не знаю, как отступить. В этом моя беда. Никогда не останавливаюсь на полдороге.

— А вот колледж бросили.

— Случай с колледжем — совсем не в моем характере. Вы не представляете. Пыталась доказать, что я — это не я. А попала из огня да в полымя. Сейчас мне даже хуже, чем было.

Она задумчиво смотрела на свои колени. Комната освещалась только лампой, стоявшей за ее спиной на полу. Дэвид почти не отрывал глаз от ее затененного профиля. Их окружало ночное безмолвие, точно они были одни в этом доме и во всей вселенной. Он чувствовал, что зашел дальше, чем предполагал, в область неведомого и непредсказуемого; и в то же время все казалось странно закономерным. Это должно было случиться, для этого были причины — пусть слишком несущественные, слишком неуловимые, чтобы их можно было предвидеть и теперь подвергнуть анализу.

— Ваш... роман скверно кончился?

— Да.

— По его вине?

— В сущности, нет. Я слишком многого от него ждала. Он завистлив, не мог вынести, когда меня приняли в колледж.

— Энн мне рассказывала.— Дэвид помолчал, потом добавил: — Не очень-то я помогаю беседе.

— Ну что вы. Наоборот.

— Говорю банальности.

— Это не так.

И снова тишина; казалось, они в лесу, где невидимые птицы нет-нет да и заведут свои трели, непрестанно перелетая с места на место. Она сказала:

— Энн обладает замечательной способностью к самоотречению. Никогда не вешает носа. Придет время, найдется человек, который оценит ее по достоинству. При всех ее странностях.

— Что будет, если она оставит вас здесь одну?

— Об этом я стараюсь не думать.

— Почему?

Опять она ответила не сразу.

— Энн — последняя ниточка, связывающая меня... с реальным миром? — И добавила: — Знаю, я пользуюсь ею. Ее привязанностью. Ее неустроенностью. Вечная студентка.— Диана погладила ладонью спинку дивана.— Иногда я начинаю сомневаться, есть ли у меня вообще призвание.

Она высказала вслух то, о чем в течение предшествующего дня не раз задумывался сам Дэвид. Он видел, что ее стремление принизить себя, показать, что она хуже подруги, имеет под собой почву. Видимо, физическая сторона ее отношений с Генри была глубоко противна ее «невинной» натуре. В этом смысле она считала себя порочнее Энн. В то же время ее по-настоящему угнетало отсутствие нормальных отношений, чувство самки, требовавшей...

Он мягко заметил:

— Случай безнадежный. Если я вправе судить.

— Несерьезная я. Мы даже говорили с ней на эту тему. Мы...

— Мне кажется, эта ваша удивительная честность по отношению к себе чревата опасностью. Понимаете? Надо дать волю интуиции.

— Не очень-то я верю в свою интуицию.

— Почему?

— Ну, хотя бы потому, что я росла единственным ребенком в семье. Не с кем было себя сравнивать. Плохо понимала своих сверстников. Так именно и случилось у меня сначала с Энн. Мы жили под одной крышей, но в течение многих месяцев я относилась к ней с

неприязнью, считая ее обыкновенной потаскушкой. Но вот однажды зашла к ней в комнату попросить чего-то и застала в слезах. Что-то стряслось с ее сестрой, неприятность в семье. Мы разговорились. Она мне все о себе рассказала. И больше мы уже не вспоминали старое.— Диана помолчала.— А вот с Томом — наоборот. Сначала я пожалела его. В глубине души он был ужасно неуверен в себе. Так бывает. В одном случае отворачиваешься от человека с золотым сердцем, а в другом — отдаешься душой и телом тому, кто этого не заслуживает. Потом я сделала еще одну попытку. После Тома. В колледже. Сошлась с одним первокурсником. Славный парень, но... ему нужна была только постель. Как спасение от одиночества.

— Может быть, вы слишком многого требуете.

— Ищу человека, который бы понял меня?

— Это нелегко. Тем более если вы прячетесь.

Она покачала головой.

— Возможно, я и не хочу, чтобы меня поняли. Сама не знаю.

Диана опять умолкла. Уставилась на свою юбку. Теперь, когда она обнажила перед ним свою душу, он вспомнил ее физическую наготу на пляже и понял, что надобность в словах быстро исчезает, что никакие слова, даже самые искренние и теплые, не могут заменить то, чего требует обстановка. У лампы снова забилась бабочка. Такие же бабочки облепили снаружи окно; эти неразумные хрупкие серовато-коричневые существа силились совершить невозможное. Психеи. Жестокость стекла: прозрачно, как воздух, и непробиваемо, как сталь. Диана сказала:

— Я так опасаюсь незнакомых людей. На днях в Ренне к нам с Энн пристали два студента-юриста. Она вам говорила?

Она посмотрела на него, и он покачал головой.

— Ужасно боялась, что они узнают про Котминэ. Что захотят приехать сюда. Как будто я девственница. Или монашка. Вот так. Познакомишься с людьми, а потом начинаются осложнения. Впрочем, я, может быть, сама все усложняю.

Дэвид сдержал улыбку: она сама себя опровергала. Возможно, она это почувствовала.

— О присутствующих я не говорю.

Он тихо сказал:

— Вряд ли я — исключение.

Диана кивнула, но промолчала. Она словно застыла на диване, не в силах оторвать глаз от своих рук и перевести взгляд на него.

— Мне хотелось познакомиться с вами. В ноябре прошлого года. После выставки. Подойти к вам и поговорить о своей работе.

Он подался вперед.

— Так почему же... это ведь так легко было устроить. (Из беседы с Дианой в лесу Дэвид выяснил, что ее преподаватель в колледже — его знакомый.)

Она слабо улыбнулась.

— Да все потому же. Даже здесь вы узнали об этом только сейчас. И еще потому, что мне уже пришлось один раз войти непрошеной в жизнь преуспевающего живописца.

Он вдруг представил себе, что могло бы тогда случиться; достаточно было ее слова, одного телефонного звонка — и встреча могла бы состояться. А что потом? Та же история, только не в Котминэ, а в Лондоне? Этого он не знал. Знал только, что в данную минуту опасность становилась все более реальной и, видимо, неотвратимой. Теперь, узнав ее ближе, он понял, почему она не сказала тогда своего слова. Причиной была не столько робость, сколько самолюбие. В каталоге выставки была напечатана его фотография; там же упомина-

лось, что он женат и имеет детей. Возможно, и это сыграло роль. Уже тогда она боялась возможных осложнений. Один из способов избежать осложнений — не рисковать совсем.

— Жалеете, что не встретились тогда со мной?

— Теперь уж поздно жалеть.

Снова наступило молчание. Она наклонилась вперед и уткнулась лбом в колени. Несколько мгновений он боялся, что она заплачет. Но она вдруг встрепенулась, словно отгоняя от себя мрачные мысли, сняла ноги с дивана, встала и подошла к рабочему столу. Нагнув голову, взглянула на папку, потом вперила взгляд в ночную тьму за окном.

— Извините. Вы ехали сюда совсем не за этим.

— Мне ужасно хочется помочь вам.

Она принялась завязывать тесемки папки.

— Вы уже помогли. Больше, чем вам кажется.

— Вряд ли.

С минуту или две она молчала.

— Что, по-вашему, я должна предпринять?

Он помедлил и улыбнулся.

— Найти кого-нибудь вроде меня? Неженатого? Если не считаете, что это совершенно безнадежно.

Завязав бантиком последнюю пару тесемок на папке, она спросила:

— А Генри?

— Даже Рембрандту не позволено губить чью-либо жизнь.

— Боюсь, что она уже загублена.

— Это говорите не вы. Это ваша жалость к себе говорит.

— Малодушие.

— Малодушие — тоже не вы.— Дэвид обратил внимание, что она опять повернулась лицом к окну.— Я знаю, что он страшно боится потерять вас. Сам мне сказал. Перед ужином. Но ведь он всю жизнь теряет женщин. Мне кажется, он перенесет это легче, чем вы думаете. К тому же мы могли бы как-то смягчить удар. Ну, хотя бы найти еще кого-нибудь, кто помогал бы ему в мастерской.

В эту минуту он чувствовал себя предателем; но предавал он ради ее же пользы. Она положила папку обратно на полку, передвинула деревянный стул ближе к середине стола. Не снимая рук со спинки стула, отвернула от Дэвида лицо.

— Это не безнадежно, Дэвид. Но где я найду такого человека?

— Вы знаете ответ на этот вопрос.

— Боюсь, что в колледж меня уже не возьмут.

— Мне не составит труда выяснить. По возвращении.

Она отошла от стола и встала за диваном. Посмотрела оттуда на него.

— Могу я вам написать? Если я...

— У Генри есть мой адрес. В любое время. Совершенно серьезно.

Она опустила глаза. Он понимал, что ему тоже следует встать; принявшись завязывать тесемки на папке, она как бы намекала ему на то, что беседа подошла к концу, уже поздно, потому она больше и не садилась. В то же время он сознавал, что она не хочет, чтобы он уходил, да и сам он этого не хотел; что сейчас, как никогда раньше, настоящая правда остается невысказанной, скрытой за ширмой искренности и игры в наставника и студентку. Притворство и недомолвки, не до конца выраженное взаимное чувство носились в воздухе, о них говорили и ее фигура, темневшая против света лампы, и их молчание, и вид кровати в углу, и сотни призраков, бродящих по комнатам старого дома. Его удивило, что это чувство пришло так

быстро... как будто выросло само собой, без его участия. Оно рвалось наружу, несмотря на преграды, стремилось освободить правду от покрова условностей. Он желал этой правды, искал оправдания желанию, угадывал мысли девушки, забегая вперед, предвосхищая — физически и психологически — близость с ней. Сознание того, что завтрашний день не за горами, что скоро все это кончится, становилось невыносимым. Он не мог не цепляться за это чувство, хотя ему было стыдно, ибо он сознавал, что в чем-то потерял лицо, был изобличен, как голый король. Он пробормотал:

— Мне пора уходить.

Она улыбнулась ему простой, естественной улыбкой, как бы давая понять, что он многое напридумывал.

— У меня привычка гулять по саду. Как у Мод. Перед сном.

— Это — приглашение?

— Обещаю: о себе — больше ни слова.

Затаенное напряжение исчезло. Она подошла к шкафу, вытащила из него вязаную кофту и вернулась, на ходу надевая ее, высвобождая пучок волос сзади. Улыбающаяся, почти веселая.

— Ботинки у вас не промокают? Вечерами там обильная роса.

— Все в порядке.

Они молча спустились по лестнице к двери в сад. Парадным ходом решили не пользоваться из опасения, что Макмиллан поднимет шум. Дэвид подождал, пока она наденет сапоги, потом они вышли из дома. В тумане над крышей всходила почти полная луна; бледно мерцали звезды, ярко сверкала какая-то планета. Одно из окон было освещено лампочкой, горевшей в коридоре напротив комнаты Генри. Они прошли по траве, потом пересекли дворик и миновали мастерскую старика. Ворота в дальнем конце дворика вели в небольшой фруктовый сад. За ними, между деревьями, тянулась подстриженная травяная аллея, а вдали чернела стена леса. Роса усеяла траву жемчужными каплями. Но воздух был теплый, неподвижный. Один из последних летних вечеров. Призрачные яблони, лишенные цвета. Стрекот сверчков. Дэвид украдкой взглянул на девушку; та шла, глядя себе под ноги,— молчаливая, верная данному обещанию. Но он уже не терялся в догадках. Вот она, невысказанная правда. Он ощущал ее каждым нервом, каждым нервным волокном. И сделал свой ход: нарушил молчание.

— Мне кажется, что я здесь уже месяц.

— Это на вас колдовство подействовало.

— Вы так думаете?

— Все эти легенды. Я уже не смеюсь над ними.

Они разговаривали почти шепотом, как воры, стараясь не встревожить невидимого пса. Ему хотелось взять ее за руку.

Последнее усилие воли, чтоб удержаться от сближения.

— Он еще придет. Странствующий рыцарь.

— Всего на два дня. А потом уйдет.

Правда высказана. А они продолжали идти, словно и не было ничего сказано, по крайней мере еще пять секунд.

— Диана, я не отважусь вам ответить.

— Я и не ждала ответа.

Он держал руки в карманах пиджака и упрямо шагал вперед.

— Если бы у человека было две параллельных жизни...

Она прошептала:

— Миражи.— Потом: — Просто дело в том, что мы — в Котминэ.

— Где, оказывается, не все возможно.— И добавил: — Увы.

— Вы так взбудоражили мое воображение. Когда я узнала, что вы сюда едете. Одного не ожидала: что не захочу с вами расстаться.

— Так же как я.
— Если бы приехали не один, все было бы иначе.
— Да.

Снова он испытал это странное чувство, будто исчезло время и исчезли границы возможного; ощущение, словно ты очутился в мире колдовства и легенд. Он продолжал ловить себя на том, что в мыслях своих забегает вперед.

И подумал о Бет: спит, наверно, у себя в Блэкхите, совсем в другом мире. Он был абсолютно уверен, что рядом с ней сейчас нет другого мужчины, и это чувство уверенности было ему дороже всего. Наивная мысль: если он сам способен изменить, то почему не способна она? Это было бы нелогично. Не отказывает же себе каждый из них в других удовольствиях: во вкусном обеде, в покупке нарядов, в посещении выставки. Они даже не осуждают своих друзей за то, что те проповедуют сексуальную свободу. Если они и выступают против чего-либо, так это против канонизации нравственных норм. Супружеская верность или неверность — это дело вкуса; так же, как делом вкуса может быть пристрастие к тем или иным кушаньям или к тканям, которые они вместе выбирают для штор. Или — кто на что и с кем живет. Так почему сейчас — исключение? Отчего не воспользоваться благоприятным случаем, не подчиниться зову артистической души? Не внести разнообразие в ее унылую жизнь со стариком? Бери, что можешь взять. Хотя этого и мало: немного тепла, объятие, близость двух тел. Мгновенное облегчение. И ужасное протрезвление, сознание огромной утраты — утраты того, что ты так кропотливо создавал.

Дойдя до конца сада, они остановились у ворот. За ними виднелась темная лесная дорога. Она сказала:
— Это я виновата. Я...
— Вы?
— Сказки. О спящих принцессах.
— Их-то страдания кончались свадьбой.

Дэвид подумал: а устоял ли бы перед соблазном хоть один порядочный принц только потому, что не верил в возможность венчания? Диана ждала — она не сказала больше ни слова, вернее же, все сказала своим молчанием. Перед тобой уже нет преград. Если хочешь.

Он предполагал ограничиться быстрым поцелуем. Но едва коснувшись губами ее губ и ощутив теплоту ее тела, когда она обняла его, понял, что это не будет быстрым поцелуем. Всякая надежда на то, что дело обойдется без эротики, исчезла. Ее влекло к нему физически, а не только эмоционально; такое же безрассудное влечение испытывал и он. Они прислонились к калитке, Диана судорожно прижалась к нему. Он чувствовал ее бедра, язык, все ее тело, которое она предлагала ему, и не противился. Она первая прервала поцелуй и, резко отвернув лицо, уткнулась головой ему в шею. Они все еще не выпускали друг друга из объятий. Он поцеловал ее в темя. Так они простояли, не проронив ни звука, с минуту. Он гладил ее по спине, вглядываясь в ночную тьму сада; ему чудилось, что на его месте стоит кто-то другой, сам же он смотрит на этого человека со стороны. Наконец, она осторожно отстранилась от него и, понурив голову, стала лицом к калитке, спиной к нему. Он обнял ее за плечи, привлек к себе и снова поцеловал в волосы.
— Простите меня.
— Я сама этого хотела.
— Не только за это. За все.

Она сказала:

— Неужели это настоящее? Ведь есть же чувство.

— Есть.

Они помолчали.

— Все время, пока мы разговаривали, я думала: если он захочет ко мне в постель, я соглашусь, и этим все решится. Я буду знать. Казалось, ничего нет проще.

— Если бы это было возможно.

— Слишком много этих «если бы». Какая ирония. Читаешь о Тристане и Изольде. Лежат в лесу, а между ними — меч. Полоумные средневековые люди. Вся эта болтовня о целомудрии. А потом...

Она высвободилась из его объятий и, отойдя на несколько шагов в сторону, стала у столба в ограде.

— Прошу вас, не плачьте.

— Не обращайте внимания, Дэвид. Сейчас справлюсь. Пожалуйста, не извиняйтесь передо мной. Я все понимаю.

Он подыскивал слова — и не находил их; или находил, но они ничего не объясняли. Мысли его опять смешались: он думал уже не о сексе, не о том, что она ему нравится, а о том, что приоткрыло ему на миг одно ее слово... И тут вдруг он вспомнил шедевр Пизанелло, который однажды анализировал, не величайший, но, пожалуй, самый интересный и загадочный во всем европейском искусстве,— они случайно заговорили в тот вечер о нем со стариком, заговорили о главном в этой картине: святом покровителе рыцарства с совершенно отрешенным, потерянным взглядом и бесконечно возмущенном взгляде жертвы — принцессы Трапезундской, которую ему предстоит спасти. Сейчас у нее было лицо Бет. И Дэвиду открылось то, что раньше ускользало от него.

Тоненькая фигурка девушки, застывшей при виде повернувшегося дракона, слабая улыбка на ее лице. Она протянула руку.

— Сделаем вид, что ничего не случилось?

Он взял ее за руку, и они пошли обратно в дом.

— Я мог бы столько сказать,— пробормотал он.

— Знаю.

Она стиснула его ладонь: не надо ничего говорить. Их пальцы сплелись в крепкий узел, словно боялись, что их разнимут, оторвут друг от друга; словно понимали, какие глупцы эти смертные или, во всяком случае, как глупы их смертные желания и их смертные слова. Он снова представил себе ее обнаженную фигуру, все изгибы ее тела, когда она лежала на траве; ощутил ее губы, их податливость. Ловушка брака, когда физическое влечение переходит в привязанность; знакомые переживания, знакомые игры, безопасное для обоих познание искусства и науки; когда забываешь свое отчаянное невежество и дикое желание познать. Отдаться. Взять.

Ему пришлось выпустить ее руку, чтобы открыть и закрыть калитку из сада во дворик. Засов издал тихий металлический звук, где-то у фасада дома залаял Макмиллан. Он снова взял ее за руку. Когда они молча проходили мимо мастерской, он увидел сквозь северное окно длинную черную тень незаконченного полотна «Кермесса». Потом — снова сад. Недоверчивый пес-неврастеник продолжал лаять. Они подошли к дому и вошли внутрь. Она высвободила руку, нагнулась и сняла сапоги. Сверху сюда проникал слабый свет лампочки. Она выпрямилась, и он попытался разглядеть в полумраке ее глаза. Он сказал:

— Это ничего не решит. Но все же я хочу к вам в постель. Можно?

Она долго смотрела на него, потом потупилась и покачала головой.

— Почему нет?

— Странствующие рыцари не должны лишаться своих доспехов.

— И их фальшивого блеска?

— Я не сказала, что он фальшивый.

— Как самоочищение.

— Я не желаю очищаться.

Он высказал вслух то, что, как ему казалось, скрывалось за судорожным сплетением пальцев и ее молчанием. Обладание телом значит больше, чем слова; то, что происходит сейчас, значит больше, чем то, что может произойти завтра или послезавтра. Он сказал:

— Вы же знаете, что это не просто для того...

— Вот из-за этого тоже.

Он все еще не понимал.

— Оттого, что я не решился сразу?

Она покачала головой и посмотрела ему в глаза.

— Я вас никогда не забуду. И эти два дня.

Она неожиданно шагнула и схватила его за руки, чтобы не дать ему обнять себя. В тот же миг он почувствовал прикосновение ее губ к своим губам; затем она направилась к лестнице. Поставив ногу на ступеньку, обернулась — Дэвид шел за ней — и стала подниматься дальше. Миновала комнату Генри и пошла, не оглядываясь, дальше по коридору. У двери его комнаты остановилась спиной к нему.

— Дайте мне хотя бы обнять вас.

— Будет только хуже.

— Но всего час тому назад вы...

— Час тому назад это были не вы. И я была другая.

— Но те, другие, были правы.

Она бросила взгляд в конец коридора.

— Где вы будете завтра в это время, Дэвид?

— Я все же хочу к вам, Диана.

— Из жалости.

— Я не могу без вас.

— Переспать и забыть?

— Зачем так жестоко? — спросил он с обидой.

— Потому что мы не животные.

— Раз не животные, то у нас и будет иначе.

— Будет еще хуже. Это не забудется.

Он подошел и положил руки ей на плечи.

— Послушайте, все эти осложнения — одни слова. Я хочу раздеть вас и...

На один короткий миг ему показалось, что он нашел ответ. Где-то в глубине души она еще колебалась. Его сводили с ума ее близость, ее молчание, их никем не нарушаемое уединение; несколько шагов до ее комнаты, а там — полумрак, торопливое сбрасывание одежды, обладание, облегчение...

Не поворачиваясь к нему, она быстро сжала его правую руку, лежавшую на его плече. И пошла прочь. Не веря очевидному, он в отчаянии прошептал ее имя. Но она продолжала идти. Он хотел догнать ее, но не смог пошевельнуться, словно рок пригвоздил его к полу. Вот она вошла к себе в комнату и закрыла за собой дверь, оставив его одного — измученного, опустошенного, бесцеремонно отвергнутого уже после того, как он принял важное решение. Он шагнул за порог своей комнаты и остановился в полумраке, взбешенный сознанием упущенной возможности; взглянув в старое зеркало в золотой раме, увидел смутные очертания своего лица. Призрак, не человек.

Весь ужас заключался в том, что он все еще чего-то ждал, что-то предвкушал, в чем-то хотел разобраться. Такие психические явления изредка бывают: читаешь о них, рисуешь в своем воображении — и не замечаешь, когда они в конце концов становятся фактом. Одна частица его существа силилась преуменьшить неудачу, истолковать ее всего лишь как отказ капризной женщины; другая ощущала всю остроту и огромность утраты — им пренебрегли, с ним расправились, безмерно обидели... и обманули. Дэвид сгорал от желания — и понимал, что момент упущен; его невыносимо жгло то, что на самом деле не существует, мучило чувство, которое до сих пор казалось ему таким же анахронизмом, как давно вымершие дронты[1]. Он сейчас понимал: происшедшее с ним — куда больше чем просто интрижка; это нечто противоречащее логике, процесс, порождающий из ничего новые солнца, новые эволюции, новые вселенные. Это что-то метафизическое, существующее помимо девушки; страдание, жизнь, лишенная свободы, истинную природу которой он только что постиг.

Впервые он познал нечто выходящее за рамки существования — страстное желание жить.

А пока — здесь, сейчас — его охватило неодолимое мстительное чувство, желание наказать себя, девушку, находившуюся так близко, и Бет, находившуюся так далеко, в ночном Лондоне. То слово, которое она употребила... он снова увидел ее сидящей на диване, понуро стоящей у садовой калитки, ее лицо в полутемном холле... невыносимо, невыносимо, невыносимо.

Дэвид вернулся в коридор, бросил взгляд на дверь комнаты Генри и пошел в противоположную сторону. Он не стал стучать и попробовал войти так — дверь не подавалась. Он снова нажал на ручку и выждал несколько секунд. Потом постучал. Никто не отозвался.

Проснулся он от звука открываемой двери, которую оставил на ночь незапертой. Часы показывали четверть девятого. К постели подошла Уродка и, когда он сел, протянула ему стакан апельсинового сока. Несколько мгновений он приходил в себя; потом вспомнил.

— К вам с ранним визитом. Ваша светлость.

— Благодарю,— сказал он и отпил большой глоток сока.

На ней были джемпер с высоким воротом и юбка до колен, что придавало ей непривычный деловой вид. Она пристально посмотрела на него, потом неожиданно присела у него в ногах. В руке у нее был вырванный из блокнота листок бумаги. Она вслух прочла: «Передай Генри, что я уехала за покупками. Вернусь после ленча». Она перевела взгляд на стену возле двери, старательно избегая смотреть Дэвиду в глаза, и терпеливо ждала его объяснений.

— Ее уже нет?

— Похоже, что да, не правда ли? — Не дождавшись от него ответа, Уродка продолжала: — Так что же произошло?

Он помолчал в нерешительности, потом ответил:

— Что-то вроде размолвки.

— Так. Из-за чего?

— Пусть она сама вам расскажет.

Но на Уродку его грубоватый тон явно не действовал.

— Вы разговаривали? Просто любопытно знать, почему она так спешно уехала.

---

[1] Вымершее в конце XVII в. семейство голубиных птиц.

— Ясно почему. Не хотела видеть меня.

— Но почему, черт побери? — Уродка бросила на него укоризненный взгляд.— После вчерашнего. Я же не слепая. Обычно Ди дичится незнакомцев. Только чудо может заставить ее открыться.

— Я это так и понял.

— А вы поговорили — и все.— Уродка снова кольнула его взглядом.— Как это низко с вашей стороны, честное слово. Дело тут совсем не в сексе, я же знаю. Ей хороший мужик нужен. Только один. Чтобы он мог сказать ей, что с ней все в порядке, все у нее в норме, что она возбуждает мужчин.

— По-моему, она и сама это знает.

— Тогда почему же она сбежала?

— Потому что нам нечего больше друг другу сказать.

— А вы не могли забыть про ваши чертовы принципы хотя бы на одну ночь.

Он произнес, обращаясь к стакану в руке:

— У вас превратное мнение обо мне.

Она пристально посмотрела на него, потом стукнула себя ладонью по лбу.

— О господи. Не может быть. Она не...

— Не захотела,— пробормотал он.

Она наклонилась вперед и взялась руками за голову.

— Сдаюсь.

— Не надо сдаваться. Вы ей нужны сейчас. Более чем когда-либо.

Она выпрямилась, посмотрела на него с кривой усмешкой, тронула рукой его ногу под одеялом.

— Извините. Мне следовало самой догадаться.

Она встала с кровати и подошла к окну. Открыла ставни и долго смотрела во дворик. Не поворачивая головы, спросила:

— А старик Генри?

— Все по-прежнему.

— Значит, мне это не привиделось?

Он лежал, опершись на локоть, глядя на простыни. Он чувствовал себя нагим в буквальном и переносном смысле и все же желал высказаться до конца.

— Не думал, что такие вещи возможны.

— Это вам Котминэ. Как в сказке. Когда впервые сюда попадаешь. А потом начинаешь понимать, что это — всего лишь дурной сон.— После долгой паузы Уродка добавила: — Господи, что за грязь, правда? — Она окинула взглядом голубое небо.— Этот старый садист... А вы казались такой хорошей парой. И нуждались друг в друге.— Она с упреком посмотрела на него.— Зря вы не воспользовались случаем, Дэвид. Хотя бы раз в жизни. Назло старому ублюдку. Хотя бы ради меня.

— Недостает нам вашей решимости, Энн. В этом все дело.

— О да, конечно. Я же умственно ограниченная.

— Чепуха,— мягко возразил он.

Она отошла от окна и стала в ногах его кровати.

— Не понравилась я вам, когда вы только что приехали?

— Первые впечатления сглаживаются.

Она испытующе заглянула ему в глаза, присмотрелась к его улыбке. Потом решительно сжала губы и взялась рукой за край джемпера. На талии, повыше юбки, обнажилось коричневое тело.

— Хотите, я заменю вам ее? По-быстрому?

Он засмеялся:

— Вы просто невозможны.

Она стала коленом на край кровати, скрестила руки, как бы готовясь снять с себя джемпер, и склонилась к нему. Ее глаза задорно блестели.

— Я знаю все приемы.

Он протянул ей пустой стакан.

— Попробую представить их себе. Когда буду бриться.

Она прижала руки к сердцу и закатила глаза. Потом выпрямилась и взяла у него стакан. Постояла глядя на него сверху вниз.

— По-моему, Ди рехнулась.— Она потормошила его за кончик носа.— А вы недурны. Хотя и врожденный святоша.

И тут последовал второй парфянский удар. Уже выйдя в коридор, она снова открыла дверь и просунула голову:

— Кстати, не могла не обратить внимания. На пляже было на что посмотреть.

Ее доброта, ее откровенность; блаженны невоспитанные. Не успели утихнуть ее шаги, как ощущение теплоты и симпатии исчезло. Дэвид лег на спину и уставился в потолок. Он силился разобраться в происшедшем, понять, где сделал ложный шаг и почему она отвергла его. Он чувствовал себя глубоко разочарованным, подавленным и потрясенным. Впереди — невыносимый день. Ее тело, ее лицо, ее душа, ее зов: она где-то там, среди деревьев, ждет его. Это невероятно, но он действительно влюбился; и если не совсем в нее, то, по крайней мере, в идею любви. Как бы он поступил, если бы она появилась сейчас в дверях и попросила его не уезжать, увезти ее отсюда? Он не знал. Наверное, горечь поражения, мысль о вечно упускаемом шансе была бы менее острой, если бы они легли в постель и она отдалась бы ему в ту короткую ночь.

Но он понимал, что и это — заблуждение. Тогда окончательное расставание было бы невозможным. Даже если бы он уехал в Париж, как должен уехать сейчас; пожалуй, откуда угодно он мог бы уехать навсегда, но отсюда... все равно им суждено было бы встретиться. Здесь или где-то еще.

Этого он избежал. Но освобождение казалось ему скорее приговором, чем помилованием.

К полудню, проехав уже около трети двухсотпятидесятимильного пути до Парижа, он все еще не пришел в себя. Машину вел по бесконечному route nationale [1] человек-автомат. Душа осталась в Котминэ. Старик в течение всего завтрака рассыпался в любезностях, уговаривал Дэвида непременно приехать еще раз вместе с женой, извинялся за свои недостатки, за старость, за «пустые разговоры», даже желал ему успеха в собственном творчестве; но все это не могло сгладить горького сознания, что, принимая формально приглашение Бресли, Дэвид разыгрывал фарс. Дорога в Котминэ ему закрыта навсегда, он никогда не сможет привезти сюда Бет. Стоя у машины, они пожали друг другу руки. Он поцеловал Энн в обе щеки и, улучив момент, шепнул ей на ухо:

— Расскажите ей... о нашем разговоре? — Она кивнула.— И поцелуйте ее за меня.

По лицу ее мелькнула сдержанная усмешка.

— Ну, до этого мы еще не докатились.

Но в ее глазах светился веселый огонек. Это был последний случай, когда ему захотелось улыбнуться.

Путешествие началось с неприятности: отъехав от ворот усадьбы всего на триста ярдов, Дэвид заметил на дороге, у самого передка

[1] Национальному шоссе *(франц.)*.

машины, что-то буровато-рыжее, похожее на мышь — но слишком большое для мыши и по-змеиному гибкое — но слишком короткое для змеи. Мелькнуло и исчезло под колесами. Дэвид притормозил и оглянулся: на темном гудроне пустынной лесной дороги виднелось небольшое пятно. Любопытство, мазохизм, желание продлить минуты расставания заставили его выйти из машины и вернуться назад. Это был горностай. Одно колесо проехало прямо по нему. Он был мертв, раздавлен. Уцелела только головка. Крошечный глаз зверька злобно глядел на Дэвида, из зияющей пасти текла струйка крови, похожая на красный цветок. Дэвид постоял немного, потом вернулся к машине. Многообещающее начало дня.

На всем протяжении пути в Ренн он надеялся, что встретит где-нибудь на обочине белый «рено» и рядом с ним — знакомую женскую фигуру. Надеялся до тех пор, пока не выехал на автостраду, огибавшую город с юга. И лишь тогда с мучительной ясностью осознал, что больше уже не увидит ее. Это было похоже на возмездие — ее исчезновение сегодня утром служило тому подтверждением. Значит, вина лежит на нем. Только слишком поздно он это понял. Вспомнил разговор у садовой калитки, когда она высвободилась из его объятий, как он отпустил ее, проявив губительную нерешительность. Даже и потом, в доме, она угадала в его поведении нечто настораживающее, внушающее недоверие к его словам. Он не оправдал ее надежд ни как современный мужчина, ни как средневековый рыцарь — жаждал физической близости и избегал ее.

В мозгу его начали рождаться фантастические сценарии. Самолет, на котором летит Бет, терпит аварию. Он никогда не был женат. Он женат, но Бет — это и есть Диана. Она выходит замуж за Генри, который вскоре умирает. Она приезжает в Лондон, не может жить без него, и он бросает Бет. И все эти истории заканчиваются в Котминэ, где в идеальной гармонии соседствуют труд, любовь и залитый лунным светом сад.

Бесплодные эти фантазии недостойны были даже юноши и лишь подтверждали его заурядность; ведь с ним произошло что-то вроде шока: хотя реальность первых нескольких минут, последовавших за ее уходом, успела отойти в мир бессознательного, он все еще недоумевал, как могло случиться такое, как это могло так сильно всколыхнуть его и расстроить и насколько же он прежде был самовлюблен. И стало так ясно, чего он лишен. Его несостоятельность заключалась в том, что он не считал возможным грех. Генри знал, что грех — это вызов жизни; не безрассудство, а акт мужества и воображения. Он грешил по необходимости и в силу инстинкта; Дэвид же не согрешил из страха. Не захотел согрешить, как выразилась Энн, назло старому ублюдку. Его мучила не цель, а средства ее достижения. Мучило не то, что думает о себе он сам, а то, что думают о нем люди. Страх перед собственным тщеславием, эгоизмом, «естеством», который ему приходится прикрывать такими понятиями, как «честность» и «непредубежденность». Вот почему он тайно и с таким удовольствием предавался самоанализу. Таким образом, предельное тщеславие (а применительно к художнику — глупость) отнюдь не кажется бесполезным. Оно объясняет, почему в собственном творчестве он так высоко ценит недосказанное, скромность изобразительных средств, стремление удовлетворить требованиям собственного критико-словесного лексикона — абсурдный прием, с помощью которого он мысленно оценивает свое произведение, когда создает его. Все это доказывает, что он боится вызова.

Но именно вызов ему и был брошен, причем вызов, далеко выходящий за сферу морального и сексуального. Теперь он уже хоро-

шо понимал, что это было похоже на ловушку. Ты обходил явный подводный риф в первый вечер в разговоре со стариком, а дальше уже срабатывало самоослепление, зазнайство, так называемая воспитанность, желание понравиться. Оказалось, что настоящая подводная скала поджидала его где-то далеко за пределами голубой лагуны.

Чем больше он удалялся от Котминэ, тем меньше склонен был оправдывать себя. Немного успокаивало то, что он сможет более или менее открыто смотреть Бет в глаза, но даже этот «утешительный приз» был лишь видимостью; казалось, его наградили не по заслугам. Ведь «верен»-то он лишь потому и остался, что кто-то повернул ключ в замке. Более того: даже если бы эта формальная невинность и имела для него какое-то значение, его настоящим преступлением было то, что он колебался, лавировал, уклонялся.

Котминэ было зеркалом, и жизнь, к которой он возвращался, была в нем отражена и препарирована с беспощадной ясностью... какой жалкой теперь выглядела эта жизнь, какой бесцветной и спокойной, какой безопасной. Отсутствие риска — вот в чем ее главная суть. Потому он и ехал сейчас быстрее обычного. На дорогах между городами было сравнительно мало транспорта, он располагал достаточным временем, злополучный самолет прибывал только вечером, в начале восьмого. Когда человек ничем не рискует, не принимает никаких вызовов, он превращается в робота. Секрет старика в том, что он не терпит никаких преград между собой и тем, что изображает; и дело тут не в том, какую цель преследует художник или какими техническими приемами он пользуется, а в том, насколько полно, насколько смело идет по пути постоянной переделки самого себя.

Медленно и неуклонно надвигалось на Дэвида сознание, что его вчерашняя неудача лишь символична и не затрагивает основы основ. То, что он упал в глазах молодой женщины,— тривиальный эпизод из комедии, которая именуется игрою полов. Суть же в том, что он не воспользовался — даже не попробовал воспользоваться — личной свободой в экзистенциалистском смысле. Прежде он, как художник, не сомневался в своем призвании, хотя и не все свои произведения считал безупречными с точки зрения техники исполнения, но он всегда полагал, что в нем заложены те качества, которые рано или поздно позволят ему создать непреходящие художественные ценности. Теперь же он увидел страшную картину — он в тупике, ибо он родился в период, который грядущие поколения, говоря об истории искусства, назовут «пустыней»: ведь факт же, что Констебль, Тернер, Норвичская школа выродились в середине столетия и позже в бесплодный академизм. У искусства всегда бывали взлеты и падения, и кто знает, не явится ли конец двадцатого века периодом его наибольшего упадка? Дэвид знал, как ответил бы на этот вопрос старик: да, явится, если не будут приложены все усилия для того, чтобы развенчать наиболее восхваляемые ценности и мнимые победы.

Пожалуй, уже слово «абстракция» говорит само за себя. Художник боится, как бы его живопись не отразила его образа жизни, а возможно, этот образ жизни так дискредитировал себя, художник так старается устроиться поуютнее, что он невольно стремится замаскировать пустотелую реальность с помощью технического мастерства и хорошего вкуса. Геометрия. Безопасность, скрывающая отсутствие какого-либо содержания.

Единственное, что у старика сохранилось, это пуповина, связывающая его с прошлым. Один шаг назад, и он — рядом с Пизанелло. Духовно во всяком случае. Дэвид же углубился в книги, рассматривает искусство как общественный институт, науку, академическую дисциплину — как дело, требующее субсидий и дебатов в различных

комиссиях. И это было главным объектом ярости старика. Дэвид и его сверстники, а также те, кто придет им на смену, уподобившись зверям, рожденным в неволе, будут только созерцать из своих клеток ту зеленую свободу, которой пользуется старик. Дэвид понял, что произошло с ним за истекшие два дня: точно подопытной обезьяне, ему дали возможность взглянуть на свое утраченное подлинное «я». Его ввело в заблуждение излишнее следование моде, поощряемая официально фривольность, кажущиеся свободы современного искусства; он не догадывался, что все эти свободы проистекают из глубокого разочарования, похороненного, но еще не совсем задавленного сознания несвободы. Ситуация, характерная для всей новейшей истории художественного образования в Англии. Пресловутая выставка дипломных работ, на которой студенты факультета изящных искусств ничего, кроме чистых холстов, не показали,— что может служить более убедительным свидетельством затхлого лицемерия преподавателей и безнадежного банкротства обучаемых? Не будучи в состоянии заработать себе на жизнь искусством, человек учит других пародировать самые основы этого искусства, пытается внушить людям, будто гении рождаются за одну ночь — для этого достаточно одного эксперимента,— а не ценой многолетнего упорного труда художника-одиночки. Будто случайный мгновенный успех вроде белого кролика в цилиндре фокусника оправдывает злостный обман, которому подвергаются тысячи простаков; будто все художественное образование не опирается на прогнившую систему преподавания, превращающую искусство в неразрешимую шараду. Когда школы лгут...

Возможно, то же творится и в других видах искусства — в литературе, музыке. Дэвид этого не знал. Он лишь испытывал душевную боль, отвращение к самому себе. Кастрация. Триумф евнуха. Он прекрасно понимал, что кроется за неуклюжими нападками старика, за его глумлением над «Герникой». Пренебрежение природой и реальностью исказило до безобразия отношения между живописцем и зрителем; ныне художник творит для интеллектуалов и теоретиков — не для людей вообще и, что хуже всего, не для себя самого. Конечно, это приносит дивиденды в материальном отношении и в смысле популярности, но пренебрежение телом человека, его естественным, чувственным восприятием привело к порочному кругу, к водовороту, к уходу в небытие; ныне живописец и критик согласны лишь в том, что существуют и имеют какое-то значение они одни. Хорошее надгробие для разного отребья, которому на всех наплевать.

Такие художники прикрываются тем, что приемлют современные течения, забывая при этом о чрезвычайно ускорившемся прогрессе в восприятии мира, забывая о том, как быстро авангардизм перерос в art pompier — дерзкое и банальное искусство. Виной всему — не только их собственный вариант абстракции, а непрерывная цепь послевоенных школ: абстрактный экспрессионизм, концептуализм, фотореализм, оп-арт и поп-арт... il faut couper la racine — пусть так. Но искусство, лишенное корней, вращающееся по орбите в мертвом космосе, не имеет смысла. Оно напоминает пеструшек, одержимых губительной гонкой за Lebensraum [1] в арктических водах, в бездонной ночи, слепых ко всему, кроме собственных иллюзий.

Башня из черного дерева.

Когда он подъезжал к Иль-де-Франсу — дорога теперь пролегала по скучному жнивью, окружающему Шартр,— небо, точно перекликаясь с его унылым настроением, покрылось тучами. Лето умерло,

[1] Жизненным пространством *(нем.)*.

пришла осень, а с нею — конец зеленой растительности. Странно. И подавленное состояние у него не проходило.

Наконец он достиг предместий Парижа. Петляя по улицам, он отвлекся на некоторое время от копания в себе. В начале шестого остановился у приличной на вид гостиницы недалеко от Орли. В Париж они с Бет не собирались заезжать, решив следовать прямо в Ардеш, где находился коттедж их знакомого, а до него — еще целый день езды. Поэтому надо было где-то остановиться и передохнуть. Тем более что завтрашний день не сулил ничего приятного. Во всех отношениях.

Он принял душ и заставил себя перечитать наброски своей вступительной статьи к книге «Искусство Генри Бресли», пока его личные впечатления еще не утратили свежести, чтобы посмотреть, что надо изменить, что добавить, на чем сделать упор. Безнадежно. Фразы и суждения, которые всего несколько дней тому назад нравились ему... Вздор, дребедень. Банальности, профессиональный жаргон, претенциозность. За напыщенными словами вставала реальность Котминэ. Он прилег на кровать и опустил веки. Потом встал и подошел к окну. Впервые за многие годы почувствовал, что вот-вот заплачет. Абсурд, абсурд. Он погибнет, если больше не увидит ее. Он стал искать почтовую бумагу, но нигде ее не обнаружил, в гостиницах такого типа почтовой бумаги не водится, здесь останавливаются только на ночлег. Он достал из чемодана блокнот и, положив перед собой, смотрел на него, не в силах написать что-нибудь. Так бывает с художником, который трудится над картиной, зная, что она плохая, и поэтому ему хочется уйти от нее не оглядываясь и ни с кем не встречаясь.

В основе всего этого было сознание того, что он никогда не станет другим, что будет писать по-прежнему, выбросит этот день из памяти, всему придумает иное толкование, вообразит себя этаким ошалелым, потерявшим голову проезжим постояльцем. Рана заживет, корка отвалится, и кожа будет гладкой, как прежде. Он стал жертвой здравого смысла, не верил по-настоящему в случай и не умел им пользоваться. Вспоминая потом этот эпизод, он в конце концов внушит себе, что принял тогда мудрое решение, совершил благородный поступок; что пламя страсти, опалившее его,— это мечта, мимолетное видение, реальность же — еще один из его замыслов, набросок, затерявшийся в студии, в глубине шкафа среди старых альбомов с эскизами.

Так будет потом; пока же он знал, что отказался (даже если ему больше не суждено с ней повстречаться) от возможности изменить свою жизнь и что дальнейшая судьба его творчества — его качество и его способность выдержать испытание временем — зависит от признания этого факта. Он испытывал запоздалую, но жгучую зависть к старику. Дело в конечном счете сводится к тому, с чем человек родился: либо он имеет склонность к крайним проявлениям индивидуализма, к отделению мысли от чувства, либо не имеет. Дэвид ее не имел. Отвратительная, мстительная несправедливость заключалась в том, что искусство глубоко аморально. Как бы человек ни усердствовал, все равно он останется в проигрыше: все достается свиньям и ничего — тем, кто имеет заслуги. Котминэ беспощадно продемонстрировало: то, с чем он родился, при нем и останется. Он был, есть и будет порядочным человеком и вечной посредственностью.

Это определение часами, казалось, витало в воздухе, прежде чем пришло ему на ум. Стоя у окна, он пристально смотрел туда, где над мрачным морем крыш, мокрых от моросящего дождя, ему чудилась

светлая полоска неба — полоска, напоминавшая о том, чем он мог бы быть.

Приехав в Орли, он узнал, что самолет опаздывает на полчаса. В Хитроу туман. Дэвид ненавидел аэропорты: равнодушие, пассажирские орды, безликость людей, ощущение опасности. Он стоял у окна в зале ожидания и вглядывался в унылую даль аэродрома. Сумерки. Казалось, Котминэ осталось где-то в другой вселенной — один день пути, равный вечности. Дэвид попробовал представить себе, что они сейчас там делают: Диана накрывает на стол, Энн занимается французским. Тишина, лес, голос старика. Лай Макмиллана. Дэвид страдал, как может страдать человек, понесший тяжелую утрату — утрату не того, чем обладал, а того, что познал. Что она говорила, что чувствовала, о чем думала. Боль, которую он испытывал, проникала в сознание глубже, чем все расспросы об искусстве, его искусстве, его личной судьбе. На несколько мучительных мгновений он очень четко представил себе собственный облик и облик всего человечества. Внутренний голос — последняя надежда на избавление, на свободную волю — побуждал его сжечь все корабли, вернуться, искать спасения в бегстве. Но на кораблях, как на великих художниках прошлого, стойких против любого пламени, лежала длинная тень. Тень молодого англичанина — неподвижного, но устремленного вперед, в сторону своего дома, всматривающегося в отдаленный ряд застывших посадочных огней.

Объявили о прибытии самолета, и он спустился вниз, чтобы встретить Бет. Ее вещи он привез с собой в машине, поэтому она вышла к нему налегке, в числе первых пассажиров. Помахала ему рукой. Он поднял руку. Новое пальто — сюрприз для него — слегка колыхалось от ее резких движений; видимо, она гордилась своей обновкой. Веселый Париж. Свободная женщина. И смотри-ка: без детей.

Она появляется с беспощадностью настоящего; на ее лице—спокойная радость; вполне естественно, что он тут, где же ему еще быть. И он придает своему лицу выражение такой же уверенности.

Она останавливается в нескольких шагах от него.

— Привет.— Она кусает губы.— А у меня на какой-то момент мелькнула страшная мысль.— Пауза.— Вдруг ты мне больше не муж.

Отрепетировано. Он улыбается.

Целует ее в губы.

Они идут рядом, говорят о детях.

Ему кажется, что он с трудом волочит ноги; вероятно, так чувствует себя человек, недавно перенесший операцию и еще не совсем пришедший в себя; в его притупленном сознании мелькает что-то неумолимо ускользающее. Очертания лица, золотистые волосы, звук закрывающейся двери. *Я сама этого хотела.* Как во сне: было, но не помнишь что. Захлебнувшийся крик, день, сгоревший дотла.

Она спрашивает:

— Ну, а ты, милый, как?

Он сдается тому, что осталось: абстракции.

— Уцелел.



## Послесловие

В английской литературе нам открылось еще одно имя — Джон Фаулз. Знакомясь с новым писателем и пытаясь определить особенности его художественного почерка, этико-философского взгляда на мир, мы невольно стараемся уподобить его уже известным нам именам. Так, А. Мердок мы сопоставляем с У. Голдингом, М. Спарк возводим к И. Во, ищем сходство между Г. Грином и Ф. Мориаком, между Ч. П. Сноу

и его учителями Э. Троллопом и А. Беннетом. Но вот Джон Фаулз с большим трудом поддается таким уподоблениям. Он — явление в известной степени уникальное в английской литературе последнего десятилетия. Умелый рассказчик, мастерски владеющий различными стилями английской прозы, он захватывает читателя напряженной фабулой и в то же время в своих книгах-притчах, постепенно обнаруживающих пласты, ярусы значений, ставит философские проблемы существования человека. Смелый экспериментатор, писатель, обладающий редкой эрудицией, Джон Фаулз сознательно наполняет свои книги аллюзиями: литературными, историческими, философскими, художественными — и потому чтение его произведений нередко превращается в сложную интеллектуальную игру. В то же время Фаулз осуждает любой вид эскепизма, в том числе и эстетство. Это художник, живо откликающийся на общественно значимые проблемы своего времени.

Средневековые рыцари, современные полицейские из Скотланд-Ярда, женщины викторианской эпохи и молоденькие эмансипированные студентки 70-х годов, изощренные садисты, маньяки, великие художники, представители «новой левой» — таков далеко не полный перечень героев, густо населяющих мир Джона Фаулза, географические и временные границы которого растянулись от Лондона до Греции и от английской провинции середины прошлого века и Франции эпохи средневековья до США и Египта 70-х гг. XX века.

Джон Фаулз родился в 1926 году в небольшом городке Ли-он-Си в графстве Эссекс в семье священника. Подобно многим своим сверстникам, юность которых совпала со второй мировой войной, Фаулз довольно поздно, в 1950 году, окончил Оксфордский университет по специальности романо-германской филологии. Потом он читал курс кельтского эпоса в одном из французских университетов. Год преподавал английский язык в частной школе на острове Спетсаи в Греции. В 1953 году вернулся в Англию, поселился в провинциальном городке Лайм Регис (графство Дорсет), где с тех пор живет весьма уединенно и почти безвыездно, посвящая все свое время творчеству, а досуг — занятию сельским хозяйством. Фаулз сознательно сторонится «паблисити». Самым важным для писателя он считает вдумчивое, неторопливое чтение, общение с природой и уединенную, располагающую к размышлениям жизнь.

Писать Фаулз начал, будучи студентом последнего курса. Именно к этому периоду относятся наброски его наиболее усложненного и спорного романа «Маг».

Однако первым опубликованным произведением Фаулза стал другой роман — «Коллекционер» (1958). К немалому удивлению начинающего автора, «Коллекционер» сразу же стал бестселлером [1]. Своей композиционной, сюжетной и стилистической оригинальностью книга поразила даже искушенных критиков. Детективная история о похищении разбогатевшим на тотализаторе клерком, неким Клеггом, студентки художественного училища, названной писателем Мирандой по аналогии со «светлой» героиней шекспировской «Бури», воспринимается как жутковатая романтическая повесть. Драма взаимоотношений этих двух людей становится экзистенциальной драмой в стиле Ж. П. Сартра или ранней А. Мердок. У Шекспира торжествуют гармония, красота, добро: Калибан посрамлен. Но современная Миранда Фаулза гибнет — и современный Калибан — Клегг мечтает пополнить свою коллекцию новой жертвой.

Следующее произведение писателя «Аристос: автопортрет в идеях» (1964) — сборник афоризмов в духе Монтеня и Вольтера — посвящен проблемам искусства и философии. Название Фаулз заимствовал у Гераклита, для которого «Аристос» — «хороший человек, обладающий независимостью суждений, стремящийся к обретению истинной мудрости и истинного знания». Именно такое самодвижение личности и связанный с этим процессом круг философских и этических проблем постоянно находятся в центре внимания Фаулза.

По мнению писателя, только искусство, самая совершенная человеческая деятельность, способно помочь современному человеку, герою его книг, обрести истину — личную и социальную. Сознание высоких задач, стоящих перед искусством, заставляет писателя взыскательно относиться к собственному творчеству.

О напряженной работе Фаулза красноречиво повествуют даты публикаций его книг: «Маг» (1965) появился лишь через семь лет после «Коллекционера». А если вспомнить, что работу над ним Фаулз начал еще в студенческие годы, то семь лет растянутся до четырнадцати.

Главный герой романа «Маг» — Николас Урфе, стопроцентный представитель английского среднего класса, попадает под влияние своего друга и наставника, таинственного «мага» Мориса Кончиса, личности яркой и творческой. Кончис, подвергнув Урфе мучительным испытаниям, показывает ему всю тщетность и ограниченность его предыдущей жизни и подводит юношу к самому важному в этической системе Фаулза — нравственному осознанию собственной личности. В ряде вставных бурлескно-сатирических новелл, сюжеты которых Фаулз заимствует у Филдинга, Смоллета, Сервантеса, беспощадно высмеиваются психоанализ, эротическая вседозволенность, «массовая культура». А в философском плане здесь отчетливо звучит приговор попыткам «научного», по Фаулзу, то есть сугубо рационалистического, подхода к действительности.

Почти десять лет Фаулз отдал созданию своего любимого и, по его мнению, технически наиболее совершенного произведения «Женщина французского лейтенанта»

[1] В 1964 году по роману был снят фильм, а в 1973 году сделана пьеса.

(1969). Это роман-эксперимент, «роман о романе», в котором автор постоянно откровенным вмешательством в текст обнаруживает свое присутствие. Например, читателю предлагаются три возможных конца, на страницах романа с ним ведется беседа, в которой обсуждаются достоинства и недостатки персонажей, судьбы романа, обнажается механизм повествования. «Женщина французского лейтенанта» — также и один из первых романов «ретро», получивших широкое распространение в европейской и американской прозе последних лет. Это дерзкая попытка средствами искусства воскресить для современника век Диккенса и Харди, оживить для человека XX столетия психологию людей того времени и, проникнув с позиций сегодняшнего дня за ширму викторианских запретов, увидеть, как «век минувший» уже вынашивал в себе и нравственную вседозволенность, и культ насилия, и разгул «массового» искусства. И, наконец, в этом романе, как и в других своих произведениях, Фаулз на примере весьма шаблонной любовной истории вновь ставит вопрос о путях обретения личностью истины — духовно очищенного, нравственно просветленного существования.

В 1977 г. вышел четвертый, в значительной степени автобиографический, роман Фаулза «Даниэл Мартин». В этом растянувшемся на семьсот страниц произведении, по определению английских критиков, «самом толстом романе года», меньше усложненной игры с читателем, больше ясности и прямоты в суждениях. По словам самого писателя, книга открыла новый этап в его творчестве, для которого свойственно «более реалистическое изображение действительности».

В романе подробно прослеживается духовная эволюция главного его героя Даниэла Мартина, постепенное обретение им духовной целостности и подлинной любви. Такова внешняя канва романа. Истинное же его содержание — изображение английской интеллигенции, ее судеб в XX веке. Это прежде всего роман идей. Герои спорят о кризисном положении Англии, о путях развития Америки и «третьего мира», о марксизме и его роли в судьбе личности и общества, о религии, искусстве, ответственности художника. Они ведут беседы о том, какие политические, общественные, нравственные характеристики стоят за понятием «англичанин», каковы последствия двух войн для Европы и Америки.

«Даниэл Мартин» вызвал споры. Английские критики, привыкшие к камерно-психологическому характеру прозы своих современников, отнеслись к роману весьма сдержанно. В отличие от своих американских коллег они не увидели симптоматичности этого произведения именно для английской литературы 70-х годов. «Даниэл Мартин»,— заметил Дж. Фаулз,— защита и объяснение самой немодной в нашем веке философии — гуманизма». А ведь именно гуманистические поиски с каждым годом становятся все более характерными для произведений серьезных художников Великобритании.

В 1977 году, почти одновременно с «Даниэлом Мартином», был переиздан «Маг». Фаулз сказал тогда: «Меня не удовлетворяла техническая сторона моей ранней прозы. И вообще мысленно я постоянно возвращаюсь к написанному, пытаюсь определить, насколько я был прав в оценке людей и событий».

Результатом такого возвращения к созданному, стремления заново «проиграть» собственные сюжеты и дать свою художественную интерпретацию классическим сюжетам мировой литературы стала написанная автором «Башня из черного дерева».

История ее создания такова. Работая над «Даниэлом Мартином», Дж. Фаулз ощутил потребность подвести итоги своим многолетним творческим раздумьям. Он на время отложил роман и принялся за «вариации» старых тем и сюжетов. Так были написаны «Башня из черного дерева» и четыре другие новеллы: «Элидюк», «Бедный Коко», «Загадка», «Облако». Все они составили сборник, который Фаулз первоначально назвал «Вариации». Позднее, уже перед самым выходом книги в свет в 1974 г., Фаулз, придавая особое значение самой большой новелле — «Башне из черного дерева»,— вынес ее заглавие в название.

Своеобразным ключом ко всему сборнику является вторая новелла, «Элидюк», представляющая мастерскую обработку одного из ле[1] бретонской поэтессы XII в. Марии Французской. В ней с наибольшей отчетливостью разрабатывается характерная для кельтской мифологии, к которой постоянно обращается Дж. Фаулз, тема любви — ее таинства, трагизма и жертвенности. С другой стороны, «Элидюк» варьирует темы и сюжеты «Женщины французского лейтенанта».

Литературной моделью, обыгрываемой в «Бедном Коко», стал «готический роман ужасов» с типичными для этого жанра похищениями, ночными встречами, насилием. В творчестве самого Фаулза эта детективно-психологическая новелла с важным социальным подтекстом восходит к его первому роману «Коллекционер». Фаулз насыщает традиционную оболочку детективного сюжета актуальным по звучанию содержанием: поднимает злободневный вопрос молодежного бунта, превратившегося, особенно в его крайних проявлениях, в пропаганду насилия. Фаулз весьма озабочен и тем фактом, что современное, цивилизованное английское общество, так сказать «поколение отцов», обнаруживает свою полную несостоятельность в решении этих социальных проблем.

---

[1] Стихотворный рассказ на сюжет, заимствованный из какого-либо бретонского предания.

Элементы детективной модели в духе Г. К. Честертона, А. Кристи варьируются и в новелле «Загадка». В ней Фаулз развивает одну из своих излюбленных тем — примата искусства над наукой, важности интуитивно-чувственного подхода к жизни.

Отчуждение, эгоизм как норма отношений между людьми — тема утонченного психологического повествования в новелле «Облако». По своей стилистической аранжировке проза близка импрессионистскому рисунку. Местами грань между реальным планом и вымыслом, фантазией, грезами героев, наплывами их мыслей, ощущений стирается, и некоторой усложненностью образов новелла начинает напоминать первый вариант романа «Маг».

Вариацией на темы «Мага» стало и центральное произведение сборника «Башня из черного дерева».

«В этой новелле,— заметил Дж. Фаулз,— я хотел демистифицировать образ мага из моего раннего романа. Мне кажется, что этот персонаж излишне таинствен. Тогда как «Башня из черного дерева» — это реалистическая версия «Мага».

Хотя сам Фаулз называет «Башню» новеллой, по объему она приближается к повести, а по своему существу, поставленным проблемам и богатству характеров — к роману. Эта повесть весьма удачно выбрана для первого знакомства советского читателя с искусством Джона Фаулза, поскольку является своеобразной квинтэссенцией творчества писателя, выражением его философских, этических и эстетических поисков.

В повести переплетены два плана — реальный, сегодняшний, социально-бытовой и второй — философский, мифологический или, как бы сказал сам Фаулз, «универсальный». На первом уровне «Башня» воспринимается как рассказ о неожиданном приключении Дэвида Уильямса. Образованный, обаятельный собеседник, прекрасный семьянин, он постепенно приоткрывает свою сущность типичного представителя английского среднего класса, больше всего ценящего в жизни собственное удобство и благополучие. Мастерство нравописателя проявляется и в динамичном образе «гениального скандалиста» Бресли, и в изображении его «декадентских» отношений с Мышью и Уродкой, чьи судьбы, в свою очередь, типичны для современной молодежи Запада. Характеры Бресли, Уильямса, Мыши и Уродки «заданы» историей, в них просматриваются ее закономерности.

Первый смысловой уровень сливается со вторым — философским, который, в свою очередь, также имеет два плана значения. Эстетический — об отношении искусства к жизни, этический — о поисках человеком нравственной основы своего существования.

В английской литературе есть немало произведений о художниках: например, превосходно известный нашему читателю роман С. Моэма «Луна и грош». Образ художника у Фаулза — образ собирательный. Его прототипом послужили многие живописцы: Августус Джон, Сикерт, Метью Смит и отчасти Пикассо. По-видимому давая своему герою фамилию Бресли, Фаулз имел в виду и художника Обри Бердслея, знаменитого иллюстратора артуровского цикла. Но думается, что Великобритания последних лет не знает другой книги, в которой бы осуждение абстрактного искусства, лишившего себя основного принципа живописи — изобразительности, прозвучало бы в конечном счете так убедительно.

Такое искусство в повести представляет Дэвид Уильямс, отчасти к нему тяготеет и Мышь. Но для Бресли и для Фаулза — это «башня из черного дерева», к которой во время своих странствий приблизился Чайльд Гарольд, или то, что традиционно называется «башня из слоновой кости».

Однако в повести искусство — не только чудо человеческого гения, но и мерило, оценивающее путь и судьбу личности, его социальную и нравственную полноценность.

На этом уровне Фаулз умело переключает восприятие читателя в план мифологический. Автор заставляет нас вместе с ним другими глазами взглянуть на «обычности»: поездку Уильямса в Котминэ, пикник на озере, прогулку по лесу, на ночную беседу героя с Мышью, по-иному мы читаем строки Кретьена де Труа, взятые эпиграфом к повести.

Современный рыцарь Галахад отправляется в странствие в поисках своего Грааля. Он оказывается в волшебном, заколдованном мире, встречает даму сердца, спящую красавицу XX века. Тематическая структура этого современного мифа оказывается той же, что и в преданиях артуровского цикла Т. Мэлори — испытание делом и чувством.

Как и в других своих произведениях, Фаулз вырывает героя из привычного окружения, привычных связей (Клегг и Миранда в «Коллекционере» заточены в его доме; Николас Урфе в «Маге» живет в странной атмосфере дворца Кончиса; Чарльз Смитсон в «Женщине французского лейтенанта», оставив Лондон, попадает в обстановку провинциального Лайм Регис, внезапно превратившегося в арену борьбы чувств, долга, влечения). Все они погружаются по воле автора в мир, не признающий общепринятых филистерских норм. И потому получается, что Дэвид Уильямс совершил путешествие, итогом которого стало не загадочное, пользующееся дурной славой Котминэ и даже не создание предисловия к солидной монографии «Искусство Генри Бресли», но встреча со своим «я».

Котминэ, где пространство и время предельно напряжены, сконцентрированы, где дом и прилегающий к нему лес как бы равны миру, в котором человек ищет свое «я», а время — три дня — по сути своей вмещает человеческую жизнь, Котминэ — это

зеркалу, обладающее правом и силой нравственного приговора. Здесь, в мире материализовавшегося искусства, Дэвид узнает правду о себе.

За пределами Котминэ Дэвид Уильямс — всеми уважаемый, признанный живописец, имеющий свою школу, его выставки пользуются успехом, картины — спросом. В Котминэ он начинает постепенно понимать, что его полотна — дань капризной моде, однодневка, годящаяся лишь для украшения светских гостиных. Даже в разговорах с Бресли, косноязычным до такой степени, что ему необходим переводчик, прекрасный собеседник Дэвид терпит поражение. Да, он способен в ясной, логичной форме изложить свои мысли на бумаге. Для него это ремесло, за которое неплохо платят. Но для Бресли любой спор — самоотдача. Он путается в словах, но не в мыслях, и он предельно ясен в линиях, в своем выстраданном сердцем искусстве.

Котминэ безжалостно разрушает и другие спасительные самообманы, которыми до встречи с Бресли, Мышью и Уродкой тешил себя Дэвид. Ему казалось, что он свободен, счастлив, что он личность цельная и нравственная. Но общение с Бресли, сила его личности, его нарочитая раскованность заставляют Дэвида задуматься, в каких тисках комфортабельной несвободы, не допускающей вольного самораскрытия личности, он жил все эти годы.

Зараженный этой болезнью западного мира двадцатого века, Дэвид не может откликнуться и на чувство Мыши. Оно оказывается ему, ценящему в любви и браке удобную свободу отношений, не под силу. Но мир Котминэ, духовный мир искусства, несмотря и вопреки тому, что реальные отношения его обитателей построены на компромиссе, и в этом сила искусства Фаулза, не мирится ни с чем половинчатым, лживым, неистинным. И потому, не выдержав и этого испытания, современный рыцарь бежит.

Подвергнув героя испытанию, Фаулз оставляет его на перепутье. Такова участь Николаса Урфе, Чарльза Смитсона, Даниэла Мартина и их двойника — Дэвида Уильямса. И потому у всех книг Фаулза открытые концовки: их дальнейший путь должен додумать сам читатель. Поэтому такое большое значение имеют последние слова повести. На вопрос жены, своего удобного партнера в жизни, как он провел время в Котминэ, Дэвид отвечает: «Уцелел». Но он вкладывает в эти слова совсем иной смысл. Да, он уцелел, не дал силе Котминэ, власти искусства и чувства, разрушить его ложное, «неистинное» бытие. И все же, прощаясь с Дэвидом, мы не можем с уверенностью сказать, что опыт трех дней, проведенных им в обществе Бресли, Мыши и Уродки, пройдет для него без следа.

В послесловии невозможно затронуть все аспекты многогранной прозы «Башни». Можно было бы отдельно говорить и о стилистическом мастерстве Фаулза, о его динамичном театральном диалоге, лиризме в описаниях природы, о емких, полных скрытого смысла деталях.

Но есть еще один момент, который, вероятно, вызовет споры, и потому на нем хочется остановиться подробнее. Как относиться к нравственной раскрепощенности (может быть, кто-нибудь, читая эти строки, мысленно поправит раскрепощенность на распущенность), с которой мы столкнулись в повести? Обнаженные девушки, вольные разговоры...

Мир Котминэ как бы расставляет читающему двойную ловушку, проверяет нашу способность видеть отношения в истинно нравственном свете. Здесь Фаулз прибегает к своему излюбленному приему — игре.

Сцена на берегу, двусмысленные отношения Бресли, глубокого старика, с девушками, которых молва считает его любовницами,— все это роднит повесть с произведениями «массовой литературы», эксплуатирующей сексуальную тематику. Однако такое сходство оказывается только внешним, оборачивается литературным приемом, трюком, с помощью которого Фаулз, напротив, изобличает нравственную вседозволенность и утверждает духовный аспект чувства.

Как это ни парадоксально, в богемной обстановке Котминэ легкая, ни к чему не обязывающая интрижка невозможна. Внешняя доступность девушек, кажущаяся распущенность Мыши — видимость. Она целомудренно чиста и столь же неприступна, как ее литературные сестры — героини кельтских преданий. Здесь могут любить всерьез, требовать полной самоотдачи и жертвы. Здесь презирают викторианские условности, которые заглушили в человеке естественность, здесь благоговеют перед плотью и отрицают потребление тела, которое Фаулз совершенно недвусмысленно называет порнографией, еще одним, глубоко ненавистным ему вариантом бегства в «башню из черного дерева» лжечувства.

Однако нравственный пафос, сближающий это произведение с романтической традицией, не мешает Фаулзу показать, что реальный мир Котминэ далек от мифологического. Он — тоже бегство из современного мира с его проблемами.

Откровенная дидактичность, нравственный приговор, отчетливо звучащий в книгах Фаулза, его погруженность в этические вопросы делают этого писателя явлением глубоко английским и еще раз показывают нам, сколь жива в искусстве Великобритании великая традиция Диккенса — традиция гуманизма.

**Е. ГЕНИЕВА**

# Критика

Н. МАТЯШ

## НОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ В ИСПАНСКОЙ ДРАМАТУРГИИ 70-х ГОДОВ

Захламленная квартира, сверх всякой меры заставленная вещами — приходится пользоваться компасом, чтобы не заблудиться среди них,— вот обстановка, на фоне которой разворачивается действие пьесы «Неистовое дитя» (1974). Главные герои ее — молодая супружеская чета, Гарри и Долли, и их «ребенок» — сидящий в колыбели юноша, он живо комментирует события. Автор — Мануэль Мартинес Медьеро, один из тех, кто составляет новое направление в испанской драматургии 70-х годов, которое прогрессивная критика сразу стала называть «независимым».

Но сначала несколько слов о пьесе. В основе ее — напряженный детективный сюжет: поиски вора, похитившего огромную сумму денег. Хотя действие происходит в Лондоне — поскольку, как указывает автор, «это единственное место, где можно ограбить Английский национальный банк»,— пьеса является едкой сатирой на образ жизни Испании тех лет.

Золотой телец — идол, которому поклоняются Гарри и Долли, исступленно повторяющая: «Я хочу денег... Меня интересуют только деньги». И когда Гарри, несколько часов назад совершивший «ограбление века», напыщенно заявляет: «Мне никогда не приходило в голову, что можно украсть», его жена спокойно возражает: «Это потому, что ты ненормальный».

На мышиную возню этих людей с презрением взирает из колыбели «неистовое дитя» — собирательный образ леворадикального студенчества, в котором драматургу виделась тогда сила, способная повлиять на ход общественного развития. Дитя, напоминающее, как указано в ремарке, «большого розовощекого судью», не испытывает ни малейшего сочувствия к родителям. «Никчемные потребители», — презрительно бросает им отпрыск.

Но вот события достигают апогея: выясняется, что похищенное сокровище находится в квартире. В поиски включаются консьержка дома, где живут супруги, и случайная знакомая Гарри. Поскольку каждый желает быть единоличным обладателем богатства, герои пьесы по очереди убивают друг друга. Когда в живых остается одна Долли, «неистовое дитя» решает, что пришла пора вмешаться. Выпрыгнув из колыбели, он убивает мать, а затем швыряет гранату в чемодан с деньгами, выражая таким образом ненависть к этому символу буржуазного общества.

В современной западной литературе тема «потребительского общества», где обесцениваются высокие идеалы и разрушается человеческая личность, а деньги становятся единственным мерилом всего и вся, давно заняла одно из ведущих мест. В литературе Испании тема эта зазвучит чуть позже, чем в других капиталистических странах, в силу особенностей ее исторического развития. Происходит это в 60-е годы, когда в стране «развивалась экономика, шла ускоренная индустриализация, возникали новые отрасли, внедрялись технологические и организационные нововведения, усиливалась географическая и социальная мобильность населения»[1]. Указанные процессы повлекли за собой изменения в образе жизни, что, в свою очередь, нашло отражение и в литературе: в романах Альфонсо Гроссо «Тайфун

[1] Испания 1918—1972. Исторический очерк. М., «Наука», 1975, стр. 387. *(Здесь и далее — прим. автора статьи.)*

«Инес» приближается» (1968), Хосе Мария Санхуана «Реквием в память о всех нас» (1968), отчасти — в последнем романе-трилогии Аны Марии Матуте «Торгаши» (1969). Но наиболее своеобразно тема эта преломилась в драматургии 70-х годов.

О «независимых» испанцы услышали впервые в 1970 году на театральном фестивале в Сан-Себастьяне. Тогда силами полупрофессиональных актерских объединений намечалась постановка трех пьес: «Современные фарсы» Антонио Мартинеса Бальестероса, «Нищие» Хосе Руибаля и «Милорд Кукс» Хосе Мария Пухоля, но вмешательство цензуры прервало работу уже открывшегося фестиваля. К тому же времени относится и вызвавшее шум запрещение после двух представлений в Мадриде спектакля «Кастаньета-70», созданного молодежным театральным коллективом «Та́бано»,— остроумной и злой сатиры на политическое устройство Испании, пародии на различные аспекты жизни страны. Именно с 1970 года (хотя некоторые пьесы написаны в конце 60-х) и принято вести историю этого, пожалуй, самого неожиданного явления, возникшего в испанском современном театре на фоне сугубо реалистической антифранкистской драматургии.

Известный экономический подъем 60-х годов привел к распространению мифа об «обществе изобилия». Молодые испанские драматурги резки и бескомпромиссны в критике этого общества, чуждого человеческой личности. В их пьесах высмеивается фальшь и полная девальвация нравственных и духовных ценностей, пагубное влияние буржуазного прогресса на человека, на взаимоотношения людей.

На сцене — небольшое «жизненное пространство», со всех сторон ограниченное камнями, символизирующими современный город — пространство, забитое предметами, которые в избытке предлагает потребителю реклама (одноактная пьеса Хосе Руибаля «Мутанты», 1969). Героев всего двое — Женщина и Мужчина. Женщина в буквальном смысле слова задыхается в этом нагромождении вещей и одержима страхом, что от нехватки воздуха погибнет еще не родившийся ребенок; Мужчина же чувствует себя хорошо только среди машин. Все естественное внушает ему ужас. Жене нечем дышать — нужно купить вентилятор; она мечтает о солнце и море — он покупает кварцевую лампу. В своем упоении современной цивилизацией, которая-де может дать человеку буквально все, Мужчина не замечает, что давно стал придатком к машине и не может отойти от нее даже для того, чтобы взглянуть на новорожденного первенца.

Бездушие «общества потребления» — главный объект критики Руибаля и в другой пьесе, «Суперадминистратор» (1969). Здесь машины не только выполняют любое, в том числе и самое бессмысленное желание, но и следят за героем, фиксируя каждое произнесенное слово, каждый вздох. В этой пьесе, как и в «Мутантах», человек, полностью подчиненный машине, начинает жить по законам, лишенным всякой гуманности. Суть их формулирует Суперадминистратор, объясняя, почему он уволил тысячи людей, погибших потом от голода: «Я их вышвырнул, потому что они больше не годились. У них не было должной подготовки. Они старые, а техника сегодня очень сурова. Конкуренция безжалостна. Если не проглотишь ты — проглотят тебя».

К новому направлению относятся многие драматурги. Некоторые опубликовали всего по две-три пьесы, другие — по нескольку сборников. У каждого из них — собственная палитра: взвинченная эмоциональность и надрыв Анселя Гарсиа Пинтадо контрастируют с беспощадной насмешкой и сарказмом Мартинеса Медьеро, с холодной сдержанностью Руибаля. Зачастую разнятся и творческие принципы: Франсиско Ньева тяготеет к яркой зрелищности, вычурно-условной театральности; Мартинес Бальестерос — к изящной интеллектуальной драматургии; Херонимо Лопес Моссо — к более простым выразительным средствам. Но общего у них гораздо больше. И в первую очередь — радикальный разрыв с господствовавшей в те годы в Испании идеологией и системой, стремление создать острый социально-политический театр. С самого начала «независимая» драматургия заявила о себе как подчеркнуто антифранкистская, что и определило отношение к ней властей.

Резкий и непримиримый критицизм этой драматургии имеет точный адресат: франкистскую идеологию. Объектом сарказма Мартинеса Медьеро, Гарсиа Пинтадо, Руибаля и их соратников стали такие расхожие тезисы официальной пропаганды, как пресловутое «единство испанцев», в основе которого лежит философия испанского традиционализма; особый путь исторического развития страны, проистекающий якобы из свойств национального характера; склонность к религиозности и т. д.

Уже с момента появления эти пьесы были на особом счету у цензуры, практически сделавшей невозможным их доступ к широкому зрителю. Испанцы знакомились с ними по публикациям главным образом в журнале «Пример акто». Но получилось так, что злободневные произведения, о которых писали и говорили гораздо больше, чем о коммерческих спектаклях, были полностью изгнаны с основных сцен. Если они и ставились, то в экспериментальных или университетских театрах, ориентировавшихся на подготовленного зрителя, но даже и в этих случаях бывало немало ограничений. Например, нередко давалось разрешение только на одно представление, и пьеса официально не числилась среди запрещенных. Такая судьба постигла большую часть из написанного Анхелем Гарсиа Пинтадо, Мануэлем Пересом Касо, Херонимо Лопесом Моссо, Хосе Руибалем. Однако же вполне по-

---

Н. МАТЯШ
НОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ В ИСПАНСКОЙ ДРАМАТУРГИИ 70-х ГОДОВ

нятное и естественное желание увидеть свои произведения на сцене никого из них не заставило идти на компромиссы. «Я пишу так, будто цензуры не существует,— сказал в 1974 году Руибаль.— Это мой способ уничтожать ее. Думаю, что нечто подобное делают и другие».

Такое положение вещей и дало критике повод называть «независимую» драматургию, кроме того, «подпольной», или «невидимой». Но несмотря на вынужденное полулегальное положение, драматургия эта стала фактом культурной жизни 70-х годов, свидетельством отношения нового поколения к испанской действительности.

Едко смеется Мартинес Медьеро над «святая святых» испанского общества — семьей, изображенной в пьесе «Неистовое дитя» как пародия на нормальные человеческие отношения. Несмотря на неприкрытую враждебность, Гарри и Долли на людях умудряются делать вид, что являют собой образцовую супружескую пару. И, глядя на них, растроганно восклицает консьержка: «В загубленном мире, повергнутом в бездну материализма, и вдруг — такой оазис!»

Национально-революционная война 1936—1939 годов — одна из тем, к которым по сей день приковано внимание испанской литературы; порой она присутствует как бы «за кадром», определяя судьбу героев, порой становится предметом пристального анализа. Достаточно вспомнить романы «Последние знамена» и «Мы, побежденные» Анхеля Мариа де Леры, «Солдаты плачут ночью» Аны Марии Матуте, «Разговор о войне» Хосе Асенхо Седано, получивший в 1977 году премию имени Надаля (одну из крупнейших в стране).

О разногласиях между поколением отцов, «выигравших» войну, и их детьми, отказывающимися принять лживую систему ценностей, видящих испанскую историю и современность другими глазами, говорит пьеса Гарсиа Пинтадо со странным названием «Джоконда — шрам, или Чистота оружия» (1970). Автор ее, журналист по профессии, начал писать для театра в 1967 году. С тех пор им создано полтора десятка пьес, значительную часть которых запретила франкистская цензура.

На сцене яростно пререкаются Отец — проповедник милитаризма, одной из основ фашистской идеологии, старый ревностный вояка, беспрестанно чистящий свою винтовку,— и его Сын. Безмолвный свидетель их стычек — бессмертная картина Леонардо да Винчи. Доходящая до патологии вражда Отца и Сына — не просто отсутствие взаимопонимания. За семейным конфликтом угадывается пропасть между двумя тенденциями в жизни общества: между теми, кто не желает перемен в Испании, судорожно цепляясь за франкизм, его идеологическую и экономическую программы, и теми, кто стремится к иной жизни. Отец бесконечно гордится своим участием в войне, где он сражался, конечно же, против республиканцев, и памятью о ней — шрамом. С навязчивостью одержимого старик возвращается к нему в разговоре. Шрам для Отца — как бы символ торжества реакции: «Ничто его не берет. Он неуязвим... Он выше всех случайных колебаний, естественных для нашей динамики...»

Нигде в пьесе прямо не указано, о какой войне идет речь, более того — герои одеты в японские национальные костюмы, тем не менее реплики Отца, дословно повторяющие стереотипные фразы франкистской пропаганды, говорят сами за себя. «Я столько там оставил,— заявляет он.— Но многое и приобрел». «Смысл истории, например»,— усмехается Сын. «Мы несли единство, они — хаос»,— говорит о своих противниках Отец. Он стремится доказать, что социальный порядок и благоденствие, которые якобы царят в стране,— прямое следствие одержанной победы.

Но экстаз Отца при воспоминании о прошлом вызывает у Сына лишь иронию. У этих двух людей нет точек соприкосновения. «Я тебя не понимаю»,— говорит Отец. «Это меня успокаивает,— парирует Сын.— Вы даже душу пустили на распродажу!» — кричит он.

Стремясь предельно заострить критику пороков испанского общества, молодые драматурги нередко прибегают к гротеску. Форма их пьес непривычна для Испании и весьма отличается от той, что характерна для прогрессивной испанской драматургии в предшествующие годы.

Герои «независимых», как правило, лишены психологической индивидуальности. Они скорее функциональные элементы в усложненной, подчас требующей расшифровки, системе действия пьесы. Персонажи нередко обобщены до символа: Сын, Отец, Гость, Соперник. Ситуации, в которые они помещены, подчас подчеркнуто алогичны. Однако ошеломляющие порой сцены: мужчина, имеющий «привычку» ломать руку жене; сын, протестующий против тирании отца и наносящий себе удары ножом; муж, обрубающий руки, чтобы не слышать назойливых напоминаний жены о необходимости их вымыть,— не что иное, как последовательное доведение до крайности того, что драматурги видят в действительности. Все это порождено жестокостью, проступающей в повседневном человеческом общении, убожеством духовной жизни.

Знакомство с произведениями «независимых» заставляет вспомнить о театре абсурда. Действительно, эти драматурги учились у него; за молодым направлением, как его эстетическая характеристика, даже закрепилось название «критический абсурд». И это определение — *критический* — как нельзя лучше отражает принципиальную разницу, существующую, несмотря на очевидное типологическое сходство, между театром абсурда и «независимой» драматургией 70-х годов. Если театр абсурда, исследуя условия человеческого существования, по сути своей изначально внеисторичен, то испанских драматургов отличает пристальное внимание именно к национальным пробле-

мам. «Метафорический абсурд нас многому научил,— писал Гарсиа Пинтадо.— И все же мы кровно связаны с испанской действительностью. Поэтому мы стараемся... не уходить от насущных вопросов, не превращаться в «воздушных пешеходов», как Ионеско».

Использование приемов театра абсурда имело особый смысл: оно не только давало известную свободу в критике современного общества, но и позволяло избегать осложнений с цензурой. По той же причине действие пьес сплошь и рядом переносилось в другую страну. Конечно, подобный незатейливый камуфляж мало кого способен был обмануть, но злую пьесу Мартинеса Медьеро «Неистовое дитя» разрешили для постановки даже на коммерческой сцене как раз потому, как считает ее автор, что события разыгрываются в Англии. Из пьес Гарсиа Пинтадо в начале 70-х годов не была запрещена единственная, где точно указано место действия: Ирландия. Впрочем, так случалось далеко не всегда. Например, «Остроумное изобретение школы плакальщиков» (1970) М. Переса Касо запретили сразу и безоговорочно, хотя действие и происходит в Древнем Египте. Образ умирающего фараона, который по всей стране не может найти людей, готовых оплакивать его после смерти, и вынужден учредить специальную «школу» для обучения тех, кто будет провожать его в последний путь, был истолкован — и не без основания — как намек на Франко.

Своеобразие «независимой» драматургии прежде всего в ее аллегоричности, в значительной степени определенной противоестественными условиями, в которых зародился этот театр. Именно мысль о том, что писать при франкизме можно было, лишь «прибегая к метафорам и аллегориям или используя язык символов», подчеркивал в своей статье «Существует ли сегодня испанская культура?» (предисловие к сборнику «Испанская культура при франкизме», 1977) известный нашему читателю испанский критик Хосе Мария Кастельет[1].

Художественное своеобразие «независимой» драматургии определяется не только известным ученичеством — часто лишь формального порядка — у театра абсурда. Гораздо важнее здесь национальная традиция, а именно: стремление ассимилировать ценный опыт драматургического наследия Рамона дель Валье-Инклана (1869—1936). «Одной из особенностей, отличающих нас от предшествующего поколения испанских драматургов,— по словам Хосе Руибаля,— является признание Валье-Инклана лучшим нашим драматургом XX века». Говоря это, он в первую очередь имел в виду эсперпенто — созданный в 20-е годы оригинальный сатирический жанр. Реальность, особенно ее уродливые стороны, воспроизводилась в эсперпенто гротескно, в странно искаженном виде, как бы отражаясь в кривом зеркале. Подобная эстетическая деформация воспринималась Валье-Инкланом как единственно верное художественное соответствие испанскому обществу того времени. Что же касается зрителя, то, увидев эсперпенто на сцене, он поначалу чувствовал себя ошарашенным, недоумевал, но постепенно в причудливых картинах эсперпенто узнавал окружающий антигуманный мир. Вклад Валье-Инклана в театральную культуру его эпохи велик. Он ввел в драматургию технику, близкую той, что Брехт позже назовет очуждением, пересмотрел существовавшее ранее жанровое деление, создал социальный сатирический театр огромной силы. Его драматургия в зародыше содержала многие открытия послевоенной западноевропейской сцены. Поэтому так и привлекают молодых в эсперпенто Валье-Инклана богатые возможности для экспериментирования, заложенные в этом жанре, а также и новые — далеко еще не освоенные — способы отражения острейших общественных противоречий современности.

В своих пьесах «независимые» не просто критиковали испанское общество, но пытались осмыслить перспективы его развития — чуть обгоняя историю, заглянуть вперед. Показательна в этом отношении пьеса Мануэля Мартинеса Медьеро «Гладильщицы» (1971). Ее героини, две сестры, старые девы, убивают время, безжалостно насмехаясь друг над другом. Иногда в их разговорах мелькает имя третьей, за легкомыслие изгнанной из отчего дома и преданной забвению.

Кажущаяся незамысловатость происходящего скрывает второй план, ради которого и написана пьеса. Становится очевидным, что старшие сестры и их дом — аллегорическое изображение консервативной Испании, судорожно цепляющейся за привычный образ жизни, стремящейся отгородиться от внешнего мира, не допустить ни малейшего дуновения свежего ветерка, смелой мысли.

Одно из любимых развлечений сестер — воображаемая игра в футбол, которая не идет дальше объяснения правил. Дионисьяка, выступая в роли судьи, обвиняет сестру в излишнем пристрастии к внутренним левым, угрожает ей изгнанием из отчего дома, если та не примет безоговорочно правил игры. «Наша команда — не какая-нибудь там,— с гордостью говорит она.— Мы играем без внутренних левых сил... У нас превосходные крайние правые, хоть и ввезенные извне». Но и между этими двумя сестрами нет полного единогласия, что должно, по-видимому, означать наличие различных тенденций даже в лагере правых. Клавелина, испытывая искушение «отведать запретных плодов» свободы, ищет примирения с изгнанницей, символизирующей Европу. Это желание наталкивается на резкий отпор Дионисьяки: «Когда ее комната опустела, наш дом очистился от скверны. А ты теперь ци-

[1] Его статья «Поэзия Хосе Агустина Гойтисоло» была опубликована в «ИЛ» № 11, 1975.

Н. МАТЯШ

НОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ В ИСПАНСКОЙ ДРАМАТУРГИИ 70-х ГОДОВ

нично хочешь повернуть назад?» О каком «назад» идет речь — вполне ясно, ибо в этот момент на задник сцены проецируются диапозитивы, изображающие массовые митинги, демонстрации, слышатся революционные лозунги. «Только благодаря мне,— настаивает Дионисьяка,— духовные ценности нашего дома сохраняются в неприкосновенности». При этих словах в памяти всплывает другой тезис франкистской идеологии — об особой, якобы присущей лишь испанской нации духовности. Когда все доводы оказываются бессильными, в ход пускается последний: Дионисьяка грозится умереть. Подобная мысль приводит в ужас ее сестру: «Как же ты умрешь сейчас, когда у нас такие высокие доходы? Кроме того, это дало бы мне свободу, а я ее боюсь». Довольная, Дионисьяка успокаивает ее: «Ты не станешь свободной. У меня и на этот случай все заготовлено». Более чем прозрачный намек на периодически возникавшие в стране слухи об уходе Франко на покой и возможном изменении внутреннего курса страны.

Внезапно приезжает третья сестра, сопровождаемая свитой поклонников. «Ее появление,— говорится в ремарке,— выглядит как прибытие несостоявшегося мессии. Она закована в цепи, и гибель всех надежд сразу становится очевидной». Жизнь в старом доме меняется, но происходит дальнейшая, хотя и несколько осовремененная, деградация, ханжество и пуританское лицемерие сменяются разгулом и полным моральным упадком: таковы, по мнению Мартинеса Медьеро, духовные последствия сближения Испании с Западной Европой.

Как уже говорилось, пьесы «независимых» драматургов — явление для испанского театра необычное. Но это отнюдь не означает, что они стоят особняком в культурной панораме страны. Их пьесы служат, по существу, тем же целям национальной самокритики, что были провозглашены в конце 60-х — начале 70-х годов Хосе Мария Кастельетом, романистами Хуаном и Луисом Гойтисоло, Хуаном Бенетом, Альфонсо Гроссо[1]. Насущная и неотступно стоящая перед ними потребность развенчать национальные мифы, уничтожить их в сознании людей, разрушить то, что замедляет ход истории,— вот что определяет характер творчества этих писателей.

Попытка в образной форме представить особенности переходного периода послефранкистской Испании оборачивается иногда у «независимых» достаточно точным анализом тенденций общественного развития. Не случайно единственная пока в Испании монография, посвященная этому явлению национальной культуры, называется «Новый испанский театр: культурная, нет — социальная альтернатива» (1977).

Словно бы пророческой во многих отношениях оказалась написанная всего за несколько месяцев до смерти Франко пьеса Мартинеса Медьеро «Сестры Буффало Билла» (1975). В ней три действующих лица: Амадео и две его сестры—Семирамис и Клео, которые провели всю жизнь взаперти, под неусыпным наблюдением брата, домашнего диктатора и тирана. Только от него они получают — в сильно искаженном виде — сведения о внешнем мире.

Амадео объясняет сестрам, что их род ведет начало от Буффало Билла, известного американского ковбоя и охотника на бизонов, во время войны с индейцами служившего в армии и прославившегося своей жестокостью. Буффало Билл Мартинеса Медьеро, конечно, не исторический персонаж, а собирательный образ, олицетворяющий патологическую жестокость и любование ею.

Сестер Амадео изводит бесконечными разговорами о войне и своих подвигах. И вот звон колокола призывает на очередное сражение. На сей раз его слышат и сестры, что приводит Амадео в замешательство: они ни в коем случае не должны общаться с внешним миром, только тогда власть Амадео в доме будет полной. «Наверное, это апертуризм»[1],— хладнокровно замечает Клео и тем окончательно лишает его душевного равновесия. Не забыв предварительно надеть на сестер цепи, Амадео уходит. Это сражение оказывается для него последним...

Поначалу Семирамис и Клео преображаются. Однако скоро становится очевидным их неумение использовать обретенную свободу. Все чаще вспоминают они Амадео, а тот время от времени воскресает, появляясь в самые неожиданные моменты. Семирамис верит, что Амадео зачислен в сонм святых, и полна прожектов сделать на этом бизнес — написать биографию брата, продавать реликвии. Клео старается вернуть сестру к действительности, доказать, что «воскрешения» — лишь результат их собственного неумения избавиться от привычного образа мыслей и жить самостоятельно. Но научиться этому им так и не удастся: Амадео появляется все чаще, и постепенно только в его присутствии сестры чувствуют себя уверенно.

Постановка «Сестер Буффало Билла» в Мадридском театре имени Валье-Инклана в конце 1975 года вызвала очередной приступ ненависти правых. Режиссер, драматург, актеры, владельцы театра получали десятки анонимных писем с угрозами физической расправы. Во время одного из представлений в зале взорвалась бомба со слезоточивым газом. «В следующий раз мы начиним ее динамитом»,— предупредили работников театра. К травле присоединилась и реакционная пресса, глубоко оскорбленная спектаклем, который-де «порочит память генералиссимуса Франко».

В нынешней Испании немало перемен; она переживает трудный процесс ломки пред-

[1] Подробно творчество этой группы романистов рассмотрено в статье И. Тертерян «История начинается — история продолжается», «Вопросы литературы» № 6, 1978.

[1] Так принято называть политику Франко в последние годы режима, направленную на ликвидацию изоляции Испании от других стран.

ставлений, насаждавшихся в течение сорока долгих лет.

Демократические преобразования, начавшиеся в стране, затронули и область искусства: опубликован ряд запрещавшихся ранее книг, на экране появились фильмы, с которыми испанский зритель не мог познакомиться десятилетиями, углубляется художественное осмысление недавнего прошлого. Но бурный рост политической активности, столь характерный для испанской культуры последних лет, имеет и свою оборотную сторону: беззастенчивую спекуляцию на огромном интересе людей к общественным проблемам. Кроме того, свобода выражения, которую получило испанское искусство за последние два года, нередко используется для пропаганды низкопробной, а то и просто порнографической литературы и кинопродукции.

Испанская сцена не составляет в этом плане исключения. Постановка такого спектакля, как «О, Калькутта!», появление множества зрелищ подобного рода, имеюших, кстати, немалый кассовый успех, свидетельствует о том, как много еще предстоит сделать для обновления национального театра.

Летом 1978 года журнал «Пипирихайна» провел анкету «среди тех, кого не ставят». Она была адресована, в первую очередь, «независимым» драматургам. В качестве причин, закрывающих пьесам доступ на сцену, их авторы почти единогласно указали на безнадежно устаревшую испанскую театральную систему и социальный состав зрителей, их устоявшиеся вкусы. В предисловии к сборнику своих одноактных драм, изданному в 1975 году, Хосе Руибаль заметил, что существуют два способа писать: «для публики и против нее», а это подразумевает две различные этические и художественные позиции. «Драматург, который отваживается писать против публики, против рутины и умственного застоя своего времени, не унижает зрителя, а наоборот, обогащает его». Такую позицию и сегодня занимают «независимые» драматурги. Поэтому многим зрителям отнюдь не доставляет удовольствия узнавать себя в героях пьес.

С отменой в январе 1978 года театральной цензуры драматургия «независимых» перестала быть «подпольной». Роль ее меняется: из орудия оппозиции она может стать со временем средством воспитания нового зрителя. Ведь многое из того, что обличалось ими несколько лет назад с острым социально-политическим чутьем, и сегодня не изжито в испанской действительности.

«Некоторые мои пьесы благополучно почили, зато другие еще более актуальны, чем прежде,— писал недавно Мануэль Мартинес Медьеро.— Например, «Гладильщицы» с каждым днем становятся все более современными. Нечто похожее происходит и с «Сестрами Буффало Билла», в которой Семирамис продолжает мечтать о возвращении Амадео». И как бы подтверждением этой мысли стала недавняя постановка «Гладильщиц» мадридским «Театро Алфил». Внимание, с которым был встречен зрителями спектакль, свидетельствует о том, что проблемы, поднятые автором, продолжают волновать испанцев, хорошо понимающих, что франкизм не кончается со смертью Франко: идеология, в течение почти четырех десятилетий господствовавшая в Испании, оставила тяжелый след в сознании людей и в жизни общества. Поэтому и не утратила своего значения драматургия, созданная в предшествующие годы. «Пьесы, появившиеся в период диктатуры, если только они талантливы, неразрывно связаны со своей эпохой, и в то же время им было суждено пережить ее, как это случилось с эсперпенто Валье-Инклана, написанными против диктатуры Примо де Риверы»,— говорится в недавно появившейся статье видного театрального критика Испании Хосе Монлеона «Антифранкистский театр сегодня». Действительно, «независимая» драматургия и сейчас, в ответственный для страны момент, помогает разрушить созданные франкистской пропагандой мифы, понять суть происходящих процессов.

◆

АТУКВЕЙ ОКАЙ

# «ДЕНЬ ГРЯДЕТ...»

## Заметки о современной поэзии Ганы

Талантливого Атуквея (Джона) Окая многие из москвичей знают лично — он несколько лет учился в Литературном институте им. М. Горького. Как поэт Окай внес много нового в литературу своей страны — Республики Ганы: новые темы, новые идеи, новые ритмы[1]. Сегодня он выступает на страницах журнала в качестве страстного критика, выделяющего из массы ганских стихов те, в которых есть призыв к нынешнему поколению африканцев разорвать серую паутину старых социальных связей, вырваться из религиозных темниц, начать иную жизнь. Среди поэтов-трибунов Окай называет Одея Офея, обратившегося к молодым гражданам Ганы с яростной поэмой «Мое поколение», в которой рефреном проходят гневные слова: «Что-то должно произойти! Пусть что-то произойдет!» И понятно, что этот призыв не может не найти отклика у самого Окая. Недаром взволнованные строки этой поэмы он сопоставляет с собственными стихами.

Л. ЯБЛОЧКОВ

В одном из романов Камерона Доуду есть сцена, когда у постели умирающего Квабены Кваакье собираются его родные. Они выкрикивают его имя: «Квабена Кваакье, Квабена Кваакье, Квабена Кваакье-е-е!» — и вскоре, услышав их вопли, жители деревни присоединяются к ним и начинают повторять это имя, а некоторые выбегают на дорогу, что ведет в деревню, и продолжают звать там. «Мы верим,— объясняет писатель,— что человек лишается сознания, когда душа убегает из его тела, и, если мы будем звать как можно громче, она услышит нас и вернется». В 1973 году на ежегодном конгрессе Ассоциации писателей Ганы в своем докладе «Роль ганских писателей в революции» я обратился к этому образу. «Роль писателя-творца в рамках общества уникальна потому, что он использует силу своего искусства, чтобы призвать убегающую душу вернуться в тело нации. Каждый новый творец в нашем обществе — это еще один голос, взывающий к убегающей душе, чтобы она вернулась».

На примере замечательной поэмы Одея Офея «Мое поколение» рассмотрим, в какой мере современная ганская поэзия отражает и как воссоздает действительность Ганы наших дней. Одна из ведущих тем в творчестве ганских поэтов — их поколение, его день, сегодняшний и завтрашний, иными словами — долгий, страшный путь народа, словно бредущего сквозь мрак кошмарного туннеля. Мы увидим, как писали об этом и другие ганские поэты, опять-таки в сопоставлении с поэмой Офея «Мое поколение».

Реалистическая сущность поэмы, острейшая разработка темы ставят ее в один ряд с такими произведениями наших видных поэтов, как «Вопрос» Джавы Апронти, «Далек наш путь» Кобены Аквы, «Вознесенный шимпанзе» Сетели Ашонг-Катая, «Глубоко в сознании черного» Рафаэля Арматту, как и «Логарифмы Лоргорлиджи» автора этих строк.

А если обратиться к другой культуре и другой эпохе, «Мое поколение» перекликается с лермонтовской «Думой». Лермонтов начинает с признания: «Печально я гляжу на наше поколенье!», а дальше говорит, что его грядущее—«иль пусто, иль темно» и

[1] Произведения Окая неоднократно публиковались на страницах «ИЛ».

«под бременем познанья и сомненья в бездействии состарится оно». В этих горестных обвинениях Белинский услышал громовую силу бурного одушевления, исполинскую энергию благородного негодования и глубокую грусть. «Эти стихи,— по его словам,— писаны кровью; они вышли из глубины оскорбленного духа: это вопль, это стон человека, для которого отсутствие внутренней жизни есть зло, в тысячу раз ужаснейшее физической смерти!..»

Слова Белинского вполне применимы и к поэме Офея «Мое поколение». Одно из ее достоинств — глубокая искренность и ясность мысли. Она выражает — и сама порождена ими — «полуночный мрак и отчаяние», которые, по мысли Арматту (умершего в 1952 году), безраздельно царят «глубоко в сознании черного», где «ничто не ново, не светло». Офей тоже рассматривает, воплощает и осуждает жизнь черного, коротаемую, говоря словами Арматту, в бездумных забавах. В своей поэме он ищет истину и утверждает ее:

Но, истину ища,
Слепящее я вижу пламя ада.
О, Абосом!
И, истину крича,
Шипенье слышу, что молчать мне надо,
О, Атуквей![1]
Есть
конституция
у Бога.

Поэма «Логарифмы Лоргорлиджи» тоже начинается с утверждения о том, что я намерен говорить правду без всяких прикрас:

ясное слово — не дерзость
но
«в мире где мы живем»
квантовая физика неравенства
взрывает чашу человеческого пресыщения
квантовая физика неравенства
сокрушает деревушку моей души молотом голода
разгребает житницы моего разума ангелом бедности
ясное слово — не дерзость.

## ЛЮДИ И «ЗВЕРЬЕ В КОСТЮМАХ»

В «Моем поколении» Офей создает яркую, впечатляющую, действенную систему образов. Он рисует интеллектуалов, которые избегают любых обязательств, считают себя выше социальных проблем, выше простых людей, выше борьбы за освобождение общества, в котором все могли бы жить полноценной жизнью. Они жонглируют заумными словами и длинными фразами, стараясь ошеломить тех, кто обращается к ним за помощью. Вот как он их видит:

Философы вне обязательств играют
с семантическими тонкостями,
и кенгурята
с белым конским волосом на головенках творят
компьютерное правосудие
для лысых.
ПУСТЬ ЧТО-ТО ПРОИЗОЙДЕТ.

А вот образ молодежи, ставшей жертвой окружающей действительности:

Сок юности
бродит
в растущих костях —
хрупких костях дряхлости,
хранимых,
как объедки Кокомпе[1].

Чаянья молодежи гибнут в самом зародыше, потому что им нет и не может быть воплощения. А рядом поэт рисует образы паразитирующих буржуа: крупных чиновников, дельцов, наживающихся любыми средствами, биржевых спекулянтов — всех, кто двадцать четыре часа в сутки бесчеловечно эксплуатирует нищих тружеников:

Шайка бездельников, упрямое зверье,
чья пища — пот трудящихся.
ПУСТЬ ЧТО-ТО ПРОИЗОЙДЕТ.
Я вижу: зверье в костюмах
дрожит
в прохладе кондиционеров
и плавится
в плавильнях солнца.

Другие образы обнажают раболепие, проявления колониального мышления, еще тяготеющего над душами некоторых людей в нашей стране; мещанскую пошлость тех, кто разгуливает под жарким ганским солнцем в костюмах-тройках (такой расход им по карману); тех, кто тщится замаскировать внутреннюю пустоту, придать себе видимость чего-то солидного, внушающего доверие, даже почтение, и запирается в кокон контор с их искусственной прохладой — в мирке, куда закрыт доступ простому человеку.

## ДУХ ЖРИЦЫ В СОЛОМЕННОЙ ЮБКЕ

В третьей части поэмы — «Пожимая плечами» — Офей разоблачает роль церкви и всех догматических религий, по его убеждению, усыпляющих сознание народа. Вот что происходило во времена колониализма и происходит сейчас:

Пожимая плечами,
утирая носы,
на коленях
молясь: «Иису-у-се!»,
бормоча святые избитости:
Блаженны...
Блаженны
нищие духом:
их есть Царство
Небесное.
Плачущие
будут утешены.
Кроткие наследуют
землю.
Алчущие и жаждущие
правды
насытятся...

Обрисовав христианский обряд, Офей переходит к исламу:

Пожимая плечами,
утирая носы,
совершая намаз,
молясь Мухаммеду,
бормоча суру:
хвала Аллаху, Господу миров,

[1] Божество народности фанти.

[1] Абосом и Атуквей — божества народности фанти.

АТУКВЕЙ ОКАЙ
«ДЕНЬ ГРЯДЕТ...»

милостивому, милосердному,
Царю в день суда.
Веди нас по дороге прямой.
по дороге тех, кого ты
облагодетельствовал!..

А затем пишет о ганце, поклоняющемся своим богам и предкам:

Пожимая плечами,
утирая носы,
на корточках
молясь Абосому,
бормоча над возлиянием:
Оньянкопонг Тверемпонг,
нса;
Асасе Яаа,
нса;
Асаджефо Асаманфо,
нса![1]

Религиозный опиум, экзальтированные слова, говорит Офей, не изменяют действительности, в которой самое существование простого человека зависит порою от таких заурядных вещей, как, например, соль, сахар, красный перец или тыква:

И опять вы
пожимаете...
утираете...
молитесь...
бормочете...
Но там, на рынке Макола,
от простой соли до сахара,
от красного перца до тыкв
дух жрицы в соломенной юбке
бежит,
бежит на кошачьих лапах,
чтобы возгласить:
Ао аньеми ме,
хени войяа
эдзеке!
О-о-о, да!
Далек наш путь
до нашей цели!

Дух жрицы в соломенной юбке бежит на кошачьих лапах, чтобы возгласить в самых простых и выразительных словах трагическую сущность ведущей тематической линии всей поэмы.

Недаром именно к словам, возглашенным жрицей, поэт добавляет свой крик возмущения и гнева:

О да
далек наш путь
до нашей цели!
И все
. . . . . бессилие
. . . . . равнодушие
и массовое смятение!

Возгласы жрицы в соломенной юбке произвели такое впечатление на другого молодого поэта, что примерно через неделю после того, как мы впервые услышали «Мое поколение» на собрании Ассоциации писателей Ганы, он прочел новые стихи, не только впитавшие дух поэмы Офея, но и озаглавленные пророческими словами: «Мои братья, далек наш путь». Автор их — прекрасный, многообещающий поэт и романист Дж. Т. Кобена Акуа.

## ПОВСЕДНЕВНОСТЬ И ПРОРОЧЕСТВО

Приведу небольшой, но красноречивый пример соотнесения образной системы «Моего поколения» с повседневностью — еще одно доказательство тревожно-пророческой природы поэмы. Она была написана в середине или в конце 1974 года, опубликована в декабре 1975-го. Но вскоре именно соль, сахар, красный перец — безобидные, казалось бы, приправы, без которых, однако, нельзя сварить супа,— настолько подорожали именно на «прославленном» рынке Макола, что, прежде чем отправиться за покупками, лучше было сначала проверить состояние своих финансов.

Сегодня жизнь в Гане тяжела и сурова. «Лоргорлиджийско-логарифмическая» природа ее наглядно проявляется в таком хотя бы положении, когда чернорабочий, получая в день около четырех седи, за койку в больнице вынужден платить два седи в день. Возмущенная совесть поэта разоблачает действительность в парадоксальных и неожиданных образах:

Это брачный марш без единой песни —
где невеста?
Это траурный марш без единой слезы —
где умерший?
Вы, вы, воплощение смертных невест
этого смятения,
вы должны пробудить
неприкаянного мертвеца,
оживить и вырвать
из этого смятения.
И каждый напрасный день
приносит год
мучительной отсрочки.
ПУСТЬ ЧТО-ТО ПРОИЗОЙДЕТ.

## ПЕССИМИЗМ — МРАК КОШМАРНОГО ТУННЕЛЯ

Стихотворение Рафаэля Арматту «Глубоко в сознании черного» проникнуто невыносимым, гнетущим пессимизмом: трагична утрата веры в то, что африканец сам способен обрести себя. Стихотворение это занимает центральное место в творчестве поэта, и я приведу его целиком:

Глубоко в сознании черного ничто
не ново,
Не светло, только полуночный мрак
с отчаянием.
Мы говорим вам это, мы — те,
кто смеет,
Ибо мы постигли колдовские чары,
что лишь немногим
Ведомы. Подстерегает неизъяснимый
ужас тебя
В глубинах сознания черного. Мозг
его
Жестокое убийственное солнце сжигает
до костей,
Одну золу и пепел серый
оставляя.
О, если бы это было затишье перед
бурей,
Из черной тучи могло бы
прорваться солнце.
Но не в наши дни. Нет-нет,
не в наши дни!
Не смертному уму придать ему
иную форму
Иль сделать так, чтоб черный, коротая
жизнь
в бездумных забавах,
Плодил бы не одних покорных
прислужников[1].

[1] Молитва на языке тви.

[1] Стихотворение Р. Арматту, написанное в форме сонета, дается в подстрочном переводе.

Стихотворение Джо де Графт «Скала позади крепости» создает картину ужасов именно благодаря лаконизму описания:

Под навесом бензоколонки
Сумасшедший, сбежавший из больницы,
Тихо похрапывает,
Свернувшись кольцом, как раздавленный рак;
Две проститутки домой бредут,
Хмурые от усталости,
Пропахшие запахом многих мужчин;
Оборванный сторож, держа чадящий фонарь,
Свой склад обошел,
И снова ложится на сырой от росы тюфячок
У кирпичной стены.

Это — массы, простой люд, от чьего имени якобы делается все, что делается. Поэт смотрит, как в предрассветный час к старой крепости подъезжают три черных тюремных фургона с арестованными и за ними захлопываются ворота. Он увидел в фургонах скорчившиеся фигуры и понял, что эти люди обречены — «люди, искавшие для жизни оправданье в борьбе с несправедливостью».

В отличие от Арматту Джо де Графт не поддается чувству безысходности. Стихотворение проникнуто убеждением, что вопреки всему «дело Свободы и Справедливости не погибло».

Фрэнк Паркс в «Слепых кормчих» ощущает себя слабой «бесхребетной соринкой», которую «уносят жирные клубы фабричного дыма»:

Рассудок теряя не от боли своей, не от боли мира,
Веру ища в виденьях заведомо ложных,
Я знаю: благоразумие — гибель души.

И сомнения настигают его летучим облаком.

Что не дает опоры,
Бесформенно, как сон,
Бесплодно, как могила.

Его пессимизм глубок, утрата веры безвозвратна, утрата надежды абсолютна. Он признается, что ощущает себя «бесхребетной соринкой» и загадочно провозглашает, что

Спасенье мира скрыто
В заброшенном саду,
В движениях слепого червяка.

## ЖИЗНЬ, КОРОТАЕМАЯ В БЕЗДУМНЫХ ЗАБАВАХ

То, что Арматту назвал «жизнью черного, коротаемой в бездумных забавах», Одей Офей раскрывает в таких образах, беспощадно обнажая самую суть трагедии:

Моя кровь кипит
от пустой похвальбы;
что-то смердит —
вы чихаете;
мученики скорбят —
вы ликуете;
петухи поют
свое «кукареку»,
а вы спите
в любовной позе;
сколько мужчин,
сколько женщин
. . . . немых,
как любовники
в куче.

В поэме «Логарифмы Лоргорлиджи», обращаясь к этой теме в части, носящей название «Мыс чьей Надежды?», я спрашивал, кому мы можем сказать: идите и скажите им,

что полуденный блеск их губ
под африканским солнцем режет нам глаза?
Что от импортированной жареной свинины
рты и губы у них лоснятся
маслянистой пленкой жира,
точно неоновые вывески
продовольственных магазинов...

В стихотворении Кофи Авунора «Вести» перед нами предстает еще одно лицо эксплуататоров народа:

И спросили они, собирать урожай
или нет. Кто сеял зерно?
Мы не знаем; но пожинателей
мы знаем

Эти пожинатели, разумеется, вовсе не каменщики, которых Офей увидел «в бесприютном сне», и не ткачи, которые чудятся ему в «янезе» — самой дешевой ткани, но скорее «философы вне обязательств», играющие «с семантическими тонкостями», и «кенгурята с белым конским волосом на головенках» (судьи?), творящие «компьютерное правосудие для лысых». Короче говоря, пожинатели урожая — это

шайка бездельников, упрямое зверье,
чья пища — пот трудящихся.

## БРЕМЯ ПУТИ

Наше бремя давило и давит нас по-разному. В своей поэме «Вопрос» Джава Апронти с болью, но откровенно напоминает черным о горькой правде:

Вы молча смотрели,
Как строились корабли,
Что увозили вас
В страну колодников.

Офей спрашивает, долго ли мы будем «равнодушно сидеть» под копытами свиней и козлов. Что-то должно произойти, кричит он. И снова спрашивает:

. . . . . Долго ли?
. . . . . Долго ли
будем сидеть мы
равнодушно
в этой грязи,
в свином дерьме?
. . . . . и в козлином дерьме?
. . . . . в свином дерьме и в козлином дерьме?
ЧТО-ТО ДОЛЖНО ПРОИЗОЙТИ.
ЧТО-ТО ДОЛЖНО ПРОИЗОЙТИ.
ЧТО-ТО ДОЛЖНО ПРОИЗОЙТИ.

---

АТУКВЕЙ ОКАЙ
«ДЕНЬ ГРЯДЕТ...»

Авунор описывает долгий путь народа как нескончаемый сезон сухого ветра. Мы, сыны этой земли, «несем миллионы крестов через безграничность времени, влача ужас этого пути, неся миллионы крестов времени»:

Деревья пустыни воют под ударами ветра,
ибо все реки иссякли
и песок засыпает глаза,
широко раскрытые в ночном мраке.

В «Логарифмах Лоргорлиджи» я описал душу бездомного человека, парящую «над горизонтом напрасных надежд»:

Голова человека
клонится под тяжестью
слез,
рожденных безмолвными мыслями,
что бродят
в сознании,
как стадо тощих коров.

Мы видим, как наши мечты обесцениваются, и «макаем черствый хлеб в воду без сахара», мы видим, как страдают матери, в чьих детях видят лишь «третье лицо единственного числа».

## «ДЕНЬ ГРЯДЕТ КАК МЕЧТА...»

Наши предки, пишет один из крупнейших наших поэтов Квези Брю в «Ликах предков», не могли заставить замолчать барабаны, «что шепчут нам из-под черных мускулистых рук».

Сегодня барабаны не шепчут, больше они не шепчут, а выбивают сигнал бедствия. Офей утверждает: перемены давно назрели; он кричит: «Пусть что-то произойдет! Что-то должно произойти!»

В своей поэме «Три фазы Африки» поэт Фрэнк Паркс показывает, как униженные земли восстают в черном Возрождении, и призывает жечь библии, точно благовония. Он утверждает: «те, что едут на белых ослятах, низвергнутся в прах ими же сотворенного разрушения». Он, как и Офей, изобличает церковь:

Те, что жуют горькое зерно гнета,
Пожнут земные радости,
Вспоенные их потом,
И глинобитные хижины встанут
Над мусорными кучами
Вчерашних соборов.

В стихотворении «Вести» о долгом страшном пути народа Авунор не отказывается от надежды, он знает, что народ неустанно ищет выхода из темного туннеля, из хаоса.

Барабаны бьют день за днем, день за
днем,
бьют, призывая к избавлению
от ужаса бремени
этого пути.

Джава Апронти знает, что черный способен достичь всего — даже Луны. В своем прекрасном стихотворении «Вопрос» он напоминает, что

Колодники построили
Америку,
И в этом году
Они отправляются на Луну.

Рвите травы,
Пойте заклинания,
Гремите ракушками,
Бейте в барабаны,
Дуйте в рога,
И первыми —
Я верю, это вам по силам,—
Достигнете Луны.

А если вновь обратиться к собственному творчеству, то автор этих строк верит, что мы еще найдем дорогу к нашему спасению, и заверяет народ, «третье лицо единственного числа», что

хоть наше развитие было оборвано
и заморожено в самом разгаре,
все же алгебра революции
разрабатывается...
. . . . . .
le peuple oui! Массы — да!

В стихотворении «Глубоко в сознании черного» Арматту не видел в будущем никаких надежд, и все-таки ему казалось, что время его поколения, быть может, всего лишь затишье перед бурей. Однако он думал, что солнце вырвется из-за туч этой бури много десятилетий, если не веков, спустя после того, как его поколение исчезнет.

О, если бы это было затишье перед
бурей,
из черных туч могло бы
прорваться солнце.
Но не в наши дни. Нет-нет,
не в наши дни!

Офей же призывает искать истину и утверждать ее. Его кровь «кипит от пустой похвальбы». И, подобно Иисусу перед домом Лазаря, он стучится в дверь мечты своего народа, его благого будущего, потому что в отличие от многих верит, что это будущее не мертво.

Он твердо знает, что делает, и решает, что вопреки всему лучше

стучать и проиграть,
чем даже не пытаться...

Вот почему его поэма полна не только мужества, но и надежды, и веры. Он бесконечно убежден, что в его народе достаточно внутренней энергии, чтобы преодолеть кошмарный туннель

. . . . . бессилия
. . . . . равнодушия
и массового смятения!

Он убежден в этом, ибо видит:

...день
грядет как мечта,
мечта, возглашенная,
не сокрушенная.

...день
грядет, и мое поколенье восстанет
в ярости и гневе,
а потому я вечности кричу:
МОЕ ПОКОЛЕНИЕ . . . . . .
МОЕ ПОКОЛЕНИЕ . . . . . .
МОЕ ПОКОЛЕНИЕ . . . . . .
НЕ УМРЕТ!

*Перевод статьи и стихов с английского*
*И. ГУРОВОЙ*

◆

*Интервью*

# МИЦОС АЛЕКСАНДРОПУЛОС: «СКВОЗЬ ПРИЗМУ ЛИТЕРАТУРЫ — ДВИЖЕНИЕ РУССКОЙ ИСТОРИИ»

*В 1978 году афинское издательство «Кедрос» завершило выпуск трехтомной «Истории русской литературы», созданной видным греческим прозаиком Мицосом Александропулосом. В его переводе в том же издательстве увидели свет «Слово о полку Игореве», «Житие протопопа Аввакума» и совсем недавно — «Повесть о взятии Царьграда турками» которые греческая критика охарактеризовала как «переводческий подвиг».*

*Выход «Истории русской литературы» расценивается в стране как «значительный вклад в развитие и укрепление культурных связей между Грецией и СССР». В статье, опубликованной газетой «Катимерини», известный прозаик и критик Т Франгопулос пишет, что «повествование Александропулоса захватывает обаянием простоты и естественности, однако главное достоинство этого монументального труда—в глубокой продуманности и систематизации огромного фактического материала.*

*Редакция «Иностранной литературы» обратилась к Мицосу Александропулосу, произведения которого известны советскому читателю (назовем романы «Ночи и рассветы», «Горы», а также сборники рассказов «К звездам», «Чудеса происходят вовремя»), с просьбой ответить на несколько вопросов.*

**— Что побудило вас, прозаика, взять на себя осуществление труда, каким является «История русской литературы»?**

— Мысль написать о русской литературе именно такую работу возникла не сразу, не вдруг. Она вызревала постепенно и окончательно оформилась тогда, когда в руках у меня скопился большой материал. Мое знакомство с русской культурой было многолетним и, можно сказать, близким, что создавало благоприятные предпосылки и для познания, и для вчувствования — для того эмоционального влечения, без которого такое дело немыслимо.

Обратите внимание еще на одно обстоятельство, которое, вероятно, сыграло решающую роль: случилось так, что мои личные творческие планы побудили меня проявить особый интерес к определенным периодам русской культуры. Когда я писал роман «Сцены из жизни Максима Грека», мне необходимо было добиться живого ощущения атмосферы русской духовной жизни XV—XVI вв. Аналогичная потребность возникла при переводе на греческий «Слова о полку Игореве» и «Жития протопопа Аввакума». Для того чтобы освоить эти древние памятники, необходимо было поднять огромный дополнительный материал; а после завершения работы багаж накопленных знаний уже сам по себе потребовал их дальнейшей реализации. Я задумался над тем, что знает обо всем этом греческий читатель, и пришел к выводу, что вклад, который мог бы внести,

будет полезным, заполнит определенные пробелы. И начал ощущать это творческой необходимостью...

**— А что знают греческие читатели о русской литературе?**

— Интерес греков к русской культуре всегда был очень живым. Еще в начале XX века на греческий язык была переведена «История новейшей русской литературы 1848—1892» Скабичевского. В тридцатых годах «Историю русской литературы» написал Никос Казандзакис, и эта книга сыграла свою важную роль. Совсем недавно с английского переведена «История русской литературы» Д. Мирского. Как видите, сделано не так уж мало. Кроме того, существует непосредственный контакт через переводы. Самые крупные произведения русской классики известны у нас широко, они издавались неоднократно, и некоторые в очень хороших переводах.

**— Какие цели ставили вы перед своей «Историей русской литературы»? Что в первую очередь считали наиболее важным рассказать своему читателю?**

— Мне хотелось дать современной читательской публике Греции как можно более полную картину развития русской литературы, начиная с самых ее истоков, и сквозь призму литературы осветить движение русской истории. Я опирался на богатый опыт, накопленный русским и советским литературоведением и историографией. Вместе с тем ориентировался на ту среду, для которой предназначалась моя книга, в которой ей предстоит жить. Учитывал уровень знаний моих читателей, их запросы и духовные потребности. Только прояснив для себя эти вопросы, я мог найти и нужный тон изложения, и критерии отбора. Что касается конкретных задач, то главные из них, пожалуй, таковы:

1. Насколько возможно в рамках истории литературы осуществить непосредственный контакт читателя с текстом. Поэтому в предисловии я выделил и осветил ключевые теоретические вопросы и потом уже дал волю свободному изложению материала с обширным цитированием литературных произведений — чтобы читатель мог вкусить их сам.

2. Параллельно со сведениями о литературном процессе я старался дать читателю представление об исторических условиях того или иного периода, а также о главных научных проблемах, связанных с его изучением. Имейте в виду, что толкования, которым подвергалась у нас в прошлом история русской культуры, не соответствуют уровню современной науки. Так, например, в силу ряда причин весьма далеки от истины знания греков о русском средневековье и его культуре. Невежение отягощается к тому же эллиноцентристскими тенденциями, стремлением всячески подчеркнуть значительность византийского влияния, что совсем не способствовало развитию объективного научного исследования. Влияние Византии, конечно, бесспорно и для меня, но знание памятников древнерусской литературы помогает различить на фоне этого влияния национальное своеобразие, столь же явственное и убедительное, как при сопоставлении икон Феофана Грека и Андрея Рублева или же русских и византийских церквей XII века.

Второй том «Истории» посвящен XIX веку. В подходе к ряду явлений этого периода еще ощущается изумление, которое испытала Европа второй половины минувшего века перед стремительной и могучей поступью великой русской прозы. Возникший тогда известный миф о загадочности русской души, о мессианстве православия оказался достаточно живучим, и облако метафизической туманности подчас еще окутывает разговоры о литературе, которую более всего отличает живой отклик на конкретные проблемы национальной жизни и беспрецедентная в истории действенность художественного слова. Я пытался показать это нашему читателю.

Третий том охватывает примерно тридцатилетний период перед революцией 1917 года, насыщенный чрезвычайно интересными явлениями, во многом отвечающими сегодняшним исканиям литературы и общественной мысли Греции. В этот период происходит и несколько революций в художественной сфере, атомный взрыв в самом ядре литературного творчества — в с л о в е. С ним связано много начинаний, имеющих большое практическое и теоретическое значение. К сожалению, наши читатели знают из этого периода лишь несколько имен и не видят общей панорамы событий, которые словно теснятся в глубоком ущелье между великой русской классикой и всемирно-исторической революцией 1917 года. Я старался как можно шире представить сам литературный материал, а также использовать опыт очень серьезной работы, проделанной в этой области за последние годы советским литературоведением.

3. И наконец, последнее. Я стремился к тому, чтобы мой читатель вынес из книги обновленное представление о предреволюционной общественной жизни России — по ее освещению в литературе. Я убежден, что история литературы дает глубокое и достоверное знание истории народа. И если бы вы предложили мне свести к одному побуждения, подтолкнувшие меня к написанию «Истории русской литературы», я бы сказал, что именно это было моей главной целью. Мне хотелось показать нашему читателю историческую и психологическую почву, на которой начиная с 1917 года созидается социализм, общественная система, к которой идет все человечество. Хотелось, чтобы он увидел, какие многообразные проблемы возникают в тот исторический момент, когда теория становится практикой, жизнью. Чтобы он понял многое из того, что свершилось и свершается

ДОЖООГИЙН ЦЭДЭВ

# ВРЕМЯ — ЧЕЛОВЕК — ЛИТЕРАТУРА

## О монгольской прозе наших дней

«...Он думал, что нет на свете других мест, кроме зимнего, летнего, осеннего и весеннего пастбищ. Ведь рос он в замкнутом мирке худона, который подобен был пространству под перевернутым котлом... Но с того дня, как друг Сына старого мира дал залп из орудия революции, под перевернутый котел проник свет. Пробудился аймак, проснулась вся страна. И узнал он, что и за горизонтом есть земля, узнал о пяти океанах и пяти континентах. И вместе со всеми начал он путь в новый мир». Так писал основоположник современной монгольской литературы Д. Нацагдорж в рассказе «Сын старого мира».

Этот путь в новый мир трудящаяся Монголия начала вместе с победой Народной революции 1921 года, на которую решающее влияние оказал Великий Октябрь.

Монгольская народно-революционная партия провозгласила одной из первостепенных задач осуществление в стране революции в области культуры. А это означало пробуждение творческих и созидательных сил народа, возникновение качественно новых искусства и литературы.

В строительстве социалистической культуры мы опирались и на свое классическое наследие, на многовековые традиции монгольского фольклора и письменную литературу, корни которой, как теперь известно, уходят в глубины XII—XIII веков. Это создавало предпосылки для того, чтобы обратить прогрессивные, демократические идеи прошлого на пользу обществу, строящему новую жизнь. Вместе с тем литераторы, выходцы из народа, ставшие активными деятелями культурного фронта, видели свою задачу в беспощадной критике старого общества, замкнутого мирка «перевернутого котла», в разоблачении средствами художественного слова тяжелого наследия, доставшегося Монголии от феодализма и «желтой» религии[1]. Все это служило главной цели: утверждению нового, социалистического образа жизни.

Первая ласточка современной монгольской литературы — революционная песня. Традиционная по форме («короткая» песня), она несла в себе новые идеи, идеи революционной борьбы. «Шелком шитое знамя», «Шивэ-Кяхта», «Красное знамя» — эти песни и сегодня пользуются у нас большой популярностью. Нельзя не упомянуть и произведений, положивших начало нашей современной прозе и драматургии. Это печатавшиеся в первые годы революции рассказы-улигеры, исполнявшиеся со сцены куплеты-диалоги, небольшие театрализованные представления.

Художественное отображение процессов, благодаря которым в Монголии, озаренной светом революции, Сын старого мира становится Сыном нового мира, происходит коренная ломка его психологии, и составило главное содержание монгольской литературы послереволюционного времени.

Д. Нацагдорж в своих произведениях умел передать дыхание эпохи, он глубоко чувствовал биение сердца народного. Широко, масштабно воплощая главные черты характера нового человека, он стал образцом для других художников слова.

Большой вклад в отечественную литературу, вслед за Д. Нацагдоржем, внесли Ц. Дамдинсурэн, С. Буяннэмэх, Д. Цэвэгмид. Созданные в дальнейшем произведения представителей самых разнообразных литературных жанров — прозаиков, поэтов, драматургов, документалистов — сыграли свою важную роль в духовной жизни народа.

Состоявшийся в 1940 году X съезд МНРП подтвердил: «Теперь уже можно с уверенностью сказать, что мы прочно встали на путь некапиталистического развития». Цель партии, указал съезд,— «довести до конца антиимпериалистическую и антифеодальную революцию и дальше неустанно укреплять независимость страны...» Все это нашло отражение в нашей литературе.

В поэзии в те годы бурно развивался жанр эпической поэмы на тему революционной героики («На могиле», «Сказание о Болд-баторе, победившем всепожирающего мангаса», «Бурый конь», «Праздничная ночь», «Пограничник»). Дальнейшее развитие эта тема получила в киносценариях — «Амурсана», «Три шарайгольских хана», «Братья», «Чогту-тайджи».

[1] Имеется в виду ламаизм *(прим. перев.)*.

Нельзя не вспомнить и о времени, когда под лозунгом «Художественное творчество — на защиту родины» были созданы многочисленные произведения — рассказы и поэмы, в которых воплощались поддержка и помощь советскому народу в его героической борьбе против фашизма, а также защита родной земли от посягательств японских милитаристов. Образы мужественных сынов родины, сражавшихся с врагом до победного конца, создал Д. Сэнгэ в повести «Аюши», написанной по горячим следам боевых действий.

Так возник жанр повести, и можно сказать, что это был шаг к возникновению в дальнейшем крупной повествовательной формы — романа, эпопеи.

На протяжении последних десятилетий в монгольской литературе идет ощутимый процесс все более глубокого освоения действительности, обогащения художественных средств. И самое характерное в ней — развитие современной прозы, в первую очередь романа. Сейчас уже накопился достаточно богатый материал для более полного исследования этого явления,— недаром IV съезд монгольских писателей особо отметил, что ныне мы с полным правом можем говорить о монгольском романе.

Начиная с 1950 года, монгольские писатели создали немало романов, из которых следует отметить «Зарю над степью» Б. Ринчена, «Прозрачный Тамир» Ч. Лодойдамбы, «Тревожные годы» Д. Намдага, «Горный поток» Л. Тудэва, «Красное солнце» С. Дашдэндэва, «Горе и счастье» Ц. Уламбаяра, «Путь» Н. Банзрагча и другие. Почти все они известны и советскому читателю.

Монгольские писатели в большинстве своем успешно работают в этом жанре, требующем знания жизни, неустанного труда, времени и мастерства. Разрабатывается как историко-революционная, так и сугубо современная проблематика.

Литераторы сосредоточили внимание на показе того, как на основных этапах революции, в великом деле кооперирования аратства, освоения целины, индустриализации менялся духовный облик человека. Среди положительных явлений в современной литературе — переход от описательности к проникновению во внутренний мир героя, его психологию. Пример тому мы находим в произведениях Д. Намдага, Э. Оюун, Ч. Ойдова, Л. Вангана, Ч. Лодойдамбы, С. Эрдэнэ.

Увидели свет произведения Ч. Лхамсурэна, Ч. Чимида, Д. Тарвы, Б. Явуухулана, Ц. Гайтава, Д. Пурэвдоржа и других талантливых писателей более молодого поколения. Созданы лирические и эпические поэмы, баллады, отобразившие дела и труды монгольского народа — то новое, что ежедневно рождается во всех областях жизни страны.

И можно заметить, что в отличие от 50—60-х годов, когда в большей мере преобладала историко-революционная тематика, литераторы 70-х годов повернулись лицом к современности. Они повествуют об изменениях, происшедших в жизни скотоводов после революции, о зарождении рабочего класса, появлении новой смены. В центре их произведений — судьбы скотоводов, шахтеров, транспортников, лесорубов, садоводов. С уверенностью можно сказать, что главным героем романа 70-х годов стал человек труда, а главенствующей темой — процесс идейного роста, воспитания его в коллективе.

Разумеется, идейное содержание романа и художественные его достоинства измеряются прежде всего способностью писателя постигать действительность, его отношением к ней, художественными его поисками.

Характерен, к примеру, жизненный путь Дамбия, одного из главных героев «Кочевья» Л. Тудэва. Этому скромному, трудолюбивому человеку из народа пришлось преодолевать свои частнособственнические взгляды и осознать необходимость совершенно иных общественных отношений. И надо сказать, что писатель сумел создать художественно убедительный образ, показав, как меняется миропонимание его героя под воздействием труда в коллективе, основанном на социалистических началах.

В «Великой судьбе» С. Удвал обращается к образу героя национально-освободительного движения монгольского народа, участника Народной революции — Хатанбатора Магсаржава. Писательнице удалось воссоздать конкретную историческую эпоху, показать различные стороны народной жизни, в частности, той среды, в которой рос и воспитывался будущий герой. И о чем бы ни писала С. Удвал — о каждодневных заботах простых людей или о легендарном полководце,— она стремится к правдивому, реалистически полнокровному повествованию.

Стремление литераторов стать ближе к современникам, глубже вникать в их психологию, становится все явственнее. И потому естествен интерес читателя к документальной прозе, к мемуарам, который наблюдается в наши дни.

В 50-е годы, когда развернулось движение за освоение целинных земель, вышли в свет такие произведения, как «Весна и осень» Ч. Чимида, «Пробуждение целины» Ц. Гайтава, «Первые тринадцать» С. Удвал, «Роса на траве» Л. Чойжилсурэна, «Кукушка обзаводится семьей» Д. Гармы и другие, посвященные участникам этого события исторического значения.

Чтобы лучше понять, как складывается характер человека в ходе строительства нового общества, в конце тех же 50-х годов талантливые молодые писатели, как говорится, направили своих коней в провинцию. А через несколько лет вернулись с крупными художественными произведениями. Тогда-то и привез Л. Тудэв из Гоби-Алтая роман «Кочевье», С. Дашдоров из Средней Гоби — «Гобийскую высоту», Д. Мягмар из Архангая — «На перекрестке».

Мы и теперь полагаем полезным посылать в творческие командировки писателей, в первую очередь молодых, на про-

мышленные предприятия и в кооперативы, но прежде всего на ударные стройки — такие, как Дархан, Эрдэнэт, Бага-нуур, долина реки Халхин-Гол, Бугатайский комплекс. Это приблизит их к трудовой практике народа и тем самым будет способствовать повышению творческой активности. Кстати говоря, большинство населения нашей страны — молодежь, она становится основной созидательной силой во всех областях производства, просвещения и культуры.

Во многих произведениях, созданных на документальной основе, писатели ведут рассказ о том, как люди из братских социалистических стран вместе, плечом к плечу с нашими рабочими, нашими специалистами трудятся на важнейших объектах страны.

Недавно мы стали свидетелями радостного события — сооружения первой очереди строительства гигантского комбината «Эрдэнэт» («Горы сокровищ»), который возводят советские и монгольские специалисты. Их бригады «Найрамдал» («Дружба») стали подлинной кузницей национальных кадров.

В свет выходили уже сборники, рассказывающие о великой строительной площадке, в какую превратилась наша страна. И все же тема эта далеко не исчерпана, она ждет еще своих летописцев.

Публицистические произведения, написанные мастерами слова — их отличает острая наблюдательность, умение художественно осмыслить увиденное, знание жизни,— всегда будут вызывать читательский интерес. Поэтому, способствуя утверждению документальной и публицистической прозы, очень важно предъявлять к ней высокие требования. И здесь нельзя не сказать и об опасности, которая может подстерегать писателя,— бездумного, поверхностного копирования действительности; опасности, которой не всегда еще и не всем у нас удается избегать.

Понятно, что и показ жизненных коллизий, и исследование психологии людей — задача непростая. У наших писателей еще нередко встречаются попытки упрощения конфликтов, решения их устаревшими — не только в современном искусстве и литературе, но и в жизни — методами. Но задача в том, чтобы связывать воедино конфликты социальные и личные, входящие в понятие *время — человек — жизнь*.

Отношения между обществом и личностью всегда волновали литературу и служили предметом ее тщательного исследования. Создать образ человека — значит показать его духовный мир, который формируется и изменяется под воздействием времени и общества, показать то, что составляет смысл жизни,—семью, любовь, дружбу. Однако основное, что связывает человека с обществом,— процесс труда, именно здесь раскрываются и положительные тенденции, и конфликты.

Разумеется, вопрос о художественном уровне произведения мы стремимся рассматривать в неразрывной связи с поисками новых средств выражения. Читатели справедливо хотят ощущать в литературе новое, свежее дыхание. Вместе с тем творческие поиски, которых настоятельно требует от нас жизнь, ни в коей мере не могут быть оторваны от идейного содержания произведения.

Важнейшая задача художника слова — заставить читателя задуматься над истинной ценностью всего, что создается трудом народа, бороться с проявлениями легкомысленного отношения к жизни и труду, с эгоистическим представлением о счастье, с различными проявлениями мещанства. Поэтому так важна сейчас в литературе постановка нравственных проблем. Обращение к ним приобретает особое значение в связи с задачей, выдвинутой XVII съездом партии, — утверждение социалистического образа жизни.

В решениях XVII съезда МНРП говорится: «Священный долг деятелей литературы и искусства — поднимать проблемы современности, глубже проникать в психологию героев, овладевать разнообразием и богатством форм и стилей, неукоснительно соблюдать главные принципы социалистического реализма: партийность и народность». Эти слова — программа развития нашей литературы на современном этапе, для выполнения которой необходимо изучать опыт братских стран социализма и мировой прогрессивной литературы.

Наш творческий опыт свидетельствует о том, что монгольская литература нового времени неразрывно связана с делом мирового пролетариата, проникнута духом интернационализма.

В стремлении развивать литературу на основе принципов партийности и народности огромное значение для нас имеет пример друзей. «Пример литературы, которой присущи высокая идейность, принципиальность, уважение к человеку, достоверное изображение всех сторон жизни, мы видим в книгах советских писателей»,— говорилось в приветствии I съезда монгольских писателей в 1948 году Правлению Союза советских писателей. Эти слова 30-летней давности можно повторить и сегодня.

Писатели Монголии достойно представляют ныне отечественную литературу во многих странах мира. Они говорят с зарубежными читателями на русском, английском, немецком, французском, болгарском, чешском, венгерском, вьетнамском языках, выполняя важную миссию пропаганды достижений монгольского народа в социалистическом строительстве.

Как свой национальный праздник отмечал наш народ 60-летие Великой Октябрьской социалистической революции. Сейчас, в преддверии 60-летия Монгольской Народной Республики, на нас, писателей, ложится ответственность за обеспечение постоянного притока в литературу новых сил, за создание произведений, отвечающих высоким художественным требованиям.

*Перевод с монгольского Е. ДЕМИДОВА*

◆

Заметки на полях

# ЕЩЕ РАЗ О «ДРЕВНОСТИ НА СЛУЖБЕ СОВРЕМЕННОСТИ»

**В свое время на страницах этой рубрики[1] мы уже говорили, какое реальное содержание вкладывается в КНР в тезис Мао Цзэдуна «ставить древность на службу современности». Речь шла о том, как в ходе начатого по указке свыше «критического обсуждения» классического китайского романа «Речные заводи» пекинская пропаганда грубо извратила содержание и политический смысл этого произведения XIV века, объявив роман, прославлявший боровшуюся против императорских войск и чиновников-лихоимцев мятежную вольницу, «негативным учебным материалом», якобы проповедовавшим капитулянтство. Анализ возможных целей той кампании, ее особенностей подводил к заключению, что «маоисты по соображениям внутриполитической борьбы не гнушаются очернением замечательных памятников культуры китайского народа».**

**Это было опубликовано в апреле 1976 года. Не прошло и полугода, как ушел из жизни «великий кормчий», а следом за ним была устранена группа его ближайших сподвижников и единомышленников, получившая кличку «банда четырех». Вскоре печать запестрела статьями, критиковавшими некоторые мероприятия и установки предыдущего десятилетия, связывая их исключительно со «злокозненной» деятельностью «банды четырех», якобы на каждом шагу извращавшей указания Мао Цзэдуна и препятствовавшей осуществлению его предначертаний. Особенно резкие филиппики стали раздаваться по адресу Цзян Цин, монополизировавшей, как утверждала печать, руководство сферой культуры. В одном из недавних выступлений нового министра культуры КНР Хуан Чжэня (кстати говоря, до сих пор служившего по военному и дипломатическому ведомствам, а в области культуры проявившего себя лишь альбомом зарисовок, сделанных в походе китайской Красной армии в 1934—1935 гг.), говорится:**

> «Состоявшая из Ван Хунвэня, Чжан Чуньцяо, Цзян Цин и Яо Вэньюаня «банда четырех» является... также смертельным врагом социалистической литературы и искусства. Она беззастенчиво извращала принципиальную линию и политику председателя Мао в области литературы и искусства, бесстыдно искажала важные указания председателя Мао о работе в этой области. Стакнувшись... с гоминьдановским агентом Чжан Чуньцяо, ренегатка Цзян Цин придумала тезис о «господстве черной линии в литературе и искусстве», подвергла полному отрицанию блестящие достижения литературы и искусства со времени «движения 4 мая» и создания КНР, огульно зачислила в разряд «ядовитых трав» большое количество выдающихся произведений, ошельмовала многих руководящих деятелей и рядовых работников литературы и искусства, объявив их «представителями черной линии», «ренегатами», «шпионами», «активными контрреволюционерами»; множество хороших товарищей подверглось политическим преследованиям и жестоким ударам, многих писателей и художников «четверка» превратила в больных людей или инвалидов и даже довела до смерти!»

**В других публикациях «четверке» помимо «установления фашистской диктатуры в области литературы и искусства» и «свирепого террора в отношении революционных писателей и художников» предъявляются и другие многочисленные обвинения. Говорится о проводившейся ею «политике оглупления народа», лишении его доступа к сокровищнице знаний и культуры. Упрекают эту «вредную для страны и губительную для народа» группу и в том, что, поддерживая на словах выдвинутый два десятилетия назад Мао Цзэдуном (и получавший затем, в зависимости от политической конъюнктуры, самые различные толкования) курс «пусть расцветает сто цветов», она на**

[1] См. «ИЛ» № 4, 1976.

деле разрешала «цвести только одному цветку». Под этим «цветком» подразумеваются пресловутые «образцовые спектакли», созданные под руководством и по рецептам Цзян Цин (так утверждалось ранее — сейчас ее участие в создании спектаклей отрицается, и вдова «кормчего» обвинена в присвоении чужого труда). Заодно осуждены и выработанные на основании этих спектаклей «эстетические каноны», определяющие пропорции между положительными и отрицательными героями в произведении, круг тем и сюжетов, арсенал художественных средств. Наконец, критике подвергается «нигилистический» подход к национальному и мировому культурному наследию, его «огульное отрицание» под прикрытием проповеди некоего абсолютно «нового» искусства.

Из статьи в статью кочует набор примерно таких тезисов: Мао Цзэдун в свое время выдвинул «научное положение ставить древность на службу современности», направленное на активное использование классической литературы и искусства в строительстве нового Китая. А потом Цзян Цин и ее приспешники фактически отбросили этот лозунг, подменив его на практике лозунгом «ставить древнее на службу банды»; они «во имя узурпации руководства партией и государством произвольно охаивали или восхваляли произведения классики», извращали характер общественных явлений прошлого, лишали доступа к наследию широкие слои народа.

Вновь и вновь Мао Цзэдун и, соответственно, его «верные последователи», ныне держащие бразды правления, изображаются сторонниками «научного», объективного подхода к культуре прошлого, ее хранителями и ценителями, тогда как свергнутые деятели предстают своекорыстными манипуляторами культурного наследия — хулителями той, большей его части, которая представлялась им «идеологически вредной», и фальсификаторами тех произведений прошлых веков, которые «четверка» использовала для достижения тех или иных политических целей.

Спору нет, Цзян Цин, Яо Вэньюань и их единомышленники повинны во всех этих прегрешениях. Но только ли они? Беглого взгляда на историю духовной жизни КНР достаточно, чтобы увидеть: произвольное обращение с культурным наследием, его дискредитация в глазах общественности, конъюнктурный, субъективистский подход к классике начался задолго до «четверки» и отнюдь не исчез вместе с нею.

Причин возникновения такого подхода несколько. Можно говорить и о влиянии старокитайской традиции рассматривать произведения литературы и искусства прежде всего в их идейно-политическом аспекте и менять свою оценку с изменением исходных критериев, и о рецидивах вульгарного социологизаторства 20—30-х годов. Но главное значение имели, несомненно, высказывания и акции Мао Цзэдуна, чьи «Яньаньские выступления по вопросам литературы и искусства» усиленно навязывались его сторонниками в качестве программы развития культуры в новом Китае.

Как и о многих других проблемах, об отношении к классике Мао высказывался сбивчиво и противоречиво. Порою он восхвалял «блестящую культуру, созданную в Китае за три тысячи лет», призывал «принять богатое литературное и художественное наследие старого Китая и зарубежных стран» (правда, имея при этом в виду главным образом художественную форму, которую-де «нужно подвергнуть переделке и наполнить новым содержанием»). Но чаще звучали совсем иные тона. Мао фактически ставил знак равенства между «культурой феодального общества», в которой имелась и демократическая струя, и «феодальной культурой». Последнюю вместе с «империалистической культурой», импортированной в Китай, он именовал «старой культурой», которая «подлежит слому».

«Не сломав ее, невозможно построить никакую новую культуру».

Слова эти были произнесены в Яньани в 1942 году, а двадцать два года спустя они стали лозунгом, ежедневно повторявшимся миллионами обманутых юнцов. Под этим лозунгом в дни «культурной революции» жгли книги, разбивали статуи, закрывали библиотеки и музеи, терроризировали исследователей классики — словом, делали все то, в чем сейчас обвиняют «четверку» и ее «приспешников». Нелишне напомнить, что тогда — летом 1966 года — в Пекине, где развертывались основные события, сколько-нибудь заметное влияние на их ход могла оказывать лишь Цзян Цин как член «Группы по культурной революции»; Чжан Чуньцяо и Яо Вэньюань работали тогда в горкоме Шанхая, и еще даже не было «бунтарей»-цзаофаней, в рядах которых начал быстрый, но недолгий взлет бывший мастер текстильной фабрики Ван Хунвэнь.

Это была кульминация. Симптомы проявились значительно раньше. Еще в конце 50-х годов в прессе, в среде научной и педагогической общественности была развернута широкая и шумная кампания критики тех, кого именовали «возвышающими древность и принижающими современность». Речь шла вовсе не об остатках свергнутых классов, испытывающих ностальгию по утраченному великолепию. Имелись в виду ученые, педагоги и студенты, которые изучали классику, пропагандировали ее или собирались посвятить себя этому делу. Одновременно разносной, внеисторической и вульгаризаторской критике были подвергнуты все влиятельные работы по истории китайской литературы, выпущенные до того времени.

В числе критиковавшихся был и Лю Дацзе, автор «Истории развития китайской литературы», первое издание которой появилось до создания КНР. В 70-е годы он начал выпускать третье, переработанное издание своего труда. Недавно в литературно-теоретическом журнале «Вэньсюэ пинлунь» появилась рецензия Моу Шицзиня на вто-

рой том книги, повествующий об одном из славных периодов в истории литературы Китая — эпохе Тан (VII—IX вв.). Главный недостаток новой версии труда Лю Дацзе рецензент усматривает в том, что автор «испытал влияние» распространявшейся «четверкой» в своих политических целях антинаучной концепции о том, будто всю историю феодального общества в Китае пронизывает борьба двух идейно-политических течений — реакционного конфуцианства и прогрессивного легизма. Лю Дацзе механически приложил эту — саму по себе антинаучную и безосновательную — концепцию к истории литературы, в результате чего извратил подлинную картину литературной жизни и идейной борьбы той эпохи. Приведем лишь один пример. Моу Шицзинь пишет:

> «Попытки втиснуть тех или иных писателей в рамки не существовавшей на самом деле борьбы конфуцианцев с легистами неизбежно приводят к вопиющим натяжкам. Так, у отнесенного к числу «последователей легизма» Ван Бо (поэт середины VII в.— **В. В.**)... в собрании сочинений не удалось отыскать следов легистской идеологии. Лишь в одном стихотворении автору попались строки: «Вашему слуге от роду двадцатый год, и уже больше десяти лет он полон стремления — на земле отказаться от богатства и знатности, на небе — достичь бессмертия и святости». Из этих строк он делает заключение: «Говоря об отказе от богатства и знатности, о стремлении к бессмертию и святости, Ван Бо фактически порывает с конфуцианской идеологией». Не будем напоминать о том, что и с точки зрения конфуцианцев «богатство и знатность — что плывущее облако»; но даже если бы презрение к роскоши означало отход от конфуцианства, то уж в стремлении «к бессмертию и святости» нет ни грана легистской идеологии. Причислять на основании таких «свидетельств» Ван Бо к легистам — значит полностью обнажить несостоятельность принятого в книге метода».

Слов нет, критика книги убедительна, примеры явных искажений и превратных толкований говорят сами за себя. Мы не знаем, почему маститый автор взялся за столь неблагодарный труд; хочется думать, что им руководило стремление хотя бы таким путем донести до молодежи некоторые факты из истории классической литературы.

Но ведь нечто подобное произошло уже в 1958 году. Тогда, в обстановке маоцзэдуновского «большого скачка», был брошен клич: студенты, пишите сами для себя учебники, ваши профессора с их устарелыми понятиями не в состоянии правильно ответить на запросы дня, отразить новые идеи. Главная же «идея» была такая: все, что идет от устного и народного творчества,— хорошо, прогрессивно, а все, что связано с письменной литературной традицией,— плохо, реакционно. Руководствуясь этой концепцией, студенты-третьекурсники в считанные недели написали двухтомное пособие, изобиловавшее натяжками и передержками в не меньшей степени, нежели недавний опус Лю Дацзе. Студенческий «учебник» год спустя был переделан силами преподавателей, чей престиж вновь поднялся после провала «скачка». Интересно, как теперь поступят с книгой Лю Дацзе — поручат ему же написать четвертый вариант или создадут новый коллектив? Ясно одно: от навязываемых сверху априориых, антинаучных концепций, вдобавок часто сменяющих одна другую, страдает как китайская наука, так и читающая публика, особенно молодежь, которую приучают к прагматическому, конъюнктурному взгляду на факты и концепции.

Но вернемся к тому, с чего мы начали разговор: к «обсуждению» романа «Речные заводи». Прошло почти два года после перемен в китайском руководстве, прежде чем оно сочло возможным вновь поднять вопрос об оценке самой книги и развернувшейся вокруг нее кампании. Согласно нынешней версии, события летом 1975 года разыгрывались следующим образом. Мао Цзэдун сделал ряд высказываний о романе, запись которых попала в руки Яо Вэньюаня. Тот-де «возликовал» и решил использовать ее в интересах представляемой им группировки — для дискредитации противостоящей фракции путем уподобления ее лидеров герою романа — «капитулянту» Су Цзяну.

Так началась кампания вокруг романа. Журнал «Вэньсюэ пинлунь» писал:

> «После того как «банда четырех» самовольно извратила высказывания председателя Мао о «Речных заводях», в прессе стали утверждать, будто «Речные заводи» — плохая книга, «проповедующая капитулянтство».

Следовательно, на самом деле это не «плохая книга». Теперь пишущие о «Речных заводях» вдруг «вспомнили» то, что было известно любому образованному китайцу (и о чем писала «Иностранная литература»): все рассуждения о «капитуляции» относятся лишь к одной, притом наименее известной, версии романа, да и там капитуляция вовсе не «воспевается», поскольку она приводит героев к трагической гибели. Много говорится и о том, что книга сыграла позитивную роль в истории крестьянских восстаний в Китае. Но в чем конкретно состояло «извращение» высказываний Мао Цзэдуна? Как быть с его недвусмысленной оценкой романа («негативный учебный материал») и явно отрицательной характеристикой его главного героя Сун Цзяна? Большинство авторов обходят эти и другие подобные вопросы молчанием. Другие не очень внятно говорят о «необходимости брать высказывания председателя Мао в их совокупности» (то есть не только поздние, негативные, но и более ранние, позитивные). Сами они, однако, пример подать не спешат.

И еще один немаловажный вопрос остается в тени: если «четверка» буквально через несколько дней после «произнесения» Мао Цзэдуном суждений о романе «беззастенчиво извратила» их, почему автор не схватил «фальсификаторов» за руку?

В связи с этим вспоминается, что после исчезновения с политической арены Линь Бяо пекинская печать любила прохаживаться насчет того, что он-де «не читал книг и газет» (это, впрочем, не мешало той же печати обвинять низвергнутого деятеля в активном вмешательстве в работу органов информации, издательское дело, литературу, искусство и т. д.). Может быть, на самом деле этот упрек надо было адресовать не Линь Бяо, а его «ближайшему боевому соратнику», сиречь «великому кормчему»? В самом деле, вся центральная печать изо дня в день в течение многих месяцев ведет шумную кампанию, основанную на его «нагло искаженных» высказываниях, а он, как говорится, и бровью не ведет. Тот факт, что Мао Цзэдун не внес никаких коррективов в свою оценку романа, подтверждается обращением авторов нынешних статей в поисках положительных высказываний к работам Мао 40-х годов.

Конечно же, дело не в парадоксальной «неосведомленности» председателя КПК относительно того, о чем пишет партийная печать, и не в «извращениях» его суждений. Вполне возможно, что высказывания дряхлеющего деятеля были бессвязными и оставляли место для неоднозначных интерпретаций (об этом можно догадаться даже по отредактированному тексту, цитировавшемуся в 1975 году и воспроизведенному выше в наших заметках). Можно также предположить, что сам Мао не входил в детали развернувшейся тогда кампании. Но не подлежит сомнению, что характер и направленность его высказываний, равно как и выбор момента для их публикации, диктовались важными для Мао Цзэдуна и его ближайшего окружения мотивами.

Речь шла о том, чтобы обеспечить преемственность в политике после ухода Мао со сцены, чтобы оставить у кормила правления маоистских «ортодоксов», полностью согласных с Мао в отношении социально-политических идеалов, целей проводившегося им курса, а также применявшихся им методов. А для этого необходимо было оттеснить так называемых «прагматиков», то есть большую группу руководителей высшего звена, возглавляемую Дэн Сяопином и поддержанную Чжоу Эньлаем. Те полагали, что лежащие в основе маоизма великодержавные амбиции могут быть удовлетворены лишь посредством модернизации социально-экономической структуры и создания военно-промышленного комплекса, а для этого необходимо восстановить и развить систему образования и научные исследования. В этом они расходились с «ортодоксами».

Ближайшее окружение Мао, именуемое сейчас «четверкой», хотело осуществить свой план исподволь, не обнаруживая перед всем миром нового размежевания в среде руководства страной, и без того ослабленной пароксизмами «культурной революции». Потому-то оно вновь обратилось к иносказаниям, литературным примерам и историческим аналогиям, воспользовавшись высказываниями своего лидера о «Речных заводях».

Но замысел не удался; к власти после Мао пришла фракция «прагматиков». Стремясь довершить разгром соперников, свергнутых, но не утративших полностью своего влияния, стараясь привлечь к осуществлению своих планов «модернизации» возможно более широкие слои интеллигенции, они не могли не пойти на реабилитацию значительного числа писателей, художников и ученых, которых в годы «культурной революции» травили как «представителей черной линии», «ревизионистов» или «буржуазных авторитетов». Одновременно пришлось «восстанавливать в правах» и их произведения, и то, что составляло предмет исследований многих из них — отечественную и мировую классику. На повестку дня встал пересмотр произнесенных ранее необоснованных приговоров и необъективных оценок.

Однако при этом «верные ученики председателя Мао» озабочены тем, чтобы не нанести слишком большого ущерба репутации их духовного отца. Фактически речь идет о попытке укрепить фундамент маоизма путем отсечения от него наиболее заметных анахронизмов и несообразностей, использования более рациональных методов для достижения прежних целей. Не следует забывать и другого: если часть нынешних руководителей пострадала от «культурной революции», была объектом сменявших друг друга политических кампаний, вроде критики «Речных заводей», то остальные в той или иной мере участвовали в этих кампаниях и делали на них карьеру. Отсюда непоследовательность нынешних выводов, недомолвки, стремление найти козлов отпущения и т. д. Характерно, что еще на XI съезде КПК (спустя почти год после смерти Мао) Хуа Гофэн назвал его указания о «Речных заводях» «блестящими» и не сделал никаких оговорок относительно кампании поношения романа.

По всему видно, что нынешними руководителями идеологического фронта КНР движет не забота о судьбах родной культуры, а прежде всего соображения внутриполитической борьбы. Вряд ли можно сомневаться в том, что литература и искусство, включая классику, и в дальнейшем будут использоваться в Китае в таком же духе, что лозунг «древность на службе современности» по-прежнему будет означать произвол и субъективизм в подходе к наследию. И не исключено, что мы еще столкнемся с новыми переоценками такого творения народного гения, как эпопея «Речные заводи».

В. ВОЛЖАНИН

◆

# Публицистика

БОГУМИЛ РЖИГА

# ЦЕЛИНА НА ЭКРАНЕ ИСТОРИИ

Созидание новой эпохи в истории человечества требует неслыханных усилий. Еще раз нас убеждает в этом книга Л. И. Брежнева «Целина». Не об обороне страны от внешнего врага рассказывается в ней, а о гигантской битве совершенно иного рода: о превращении в середине пятидесятых годов безжизненных, глухих, но благодатных восточных степей страны в край развитой экономики и высокой культуры. Мы знаем, что Л. И. Брежнев был тогда руководящим партийным работником в Казахстане и в этом качестве смело и прозорливо проводил в жизнь решение Центрального Комитета партии о поднятии целины. И вот теперь, более двух десятков лет спустя, он пишет свои воспоминания, в которых оживают события той поры: расстояние времени особенно подчеркивает объективность автора.

Как я сформулировал бы свое самое первое впечатление зарубежного читателя этой замечательной книги, которая займет особое, выдающееся место в социально-политической литературе? Сказал бы прежде всего о том, что на ее страницах сочетаются трезвый экономический анализ, проницательность взгляда политика с человечностью, темпераментом, искренностью. Она содержит не только огромное количество конкретных и ярких жизненных фактов, но важные сегодня для всех нас мысли и обобщения аналитика народной жизни, досконально, «изнутри» ее знающего.

О том побуждает в первую очередь подумать эта книга, что важной чертой коммунизма являются его смелое новаторство и целеустремленность: он определяет цель и предлагает людям взглянуть на нее как на реальность близкого будущего. Именно это и сделала Коммунистическая партия Советского Союза, выдвинув чрезвычайно сложную задачу освоения восточных степей. В советском народе этот призыв получил достойный отклик. Народ не просто одобрил этот проект, он с энтузиазмом приступил к его реализации. Лозунг «Поднять целину!» вспыхнул в стране, как костер, привлек к себе трудящихся всех республик Советского Союза.

Читая «Целину», я вновь думал о молодости, духовном и нравственном здоровье советского народа, а также о его скромности, настойчивости, благородстве, способности первым подойти к решению самых насущных и сложных проблем.

Интересно и ярко изображена на страницах этой книги деятельность руководящего партийного работника на современном этапе строительства коммунизма.

Какие качества в нем первостепенны? Он должен глубоко разбираться в законах общественного развития, будучи оснащенным при этом конкретными научными и практическими знаниями, добытыми в процессе собственного изучения, почерпнутыми у опытных коллег, товарищей по общему делу (нельзя считать себя единственным и непререкаемым авторитетом во всех областях человеческой деятельности, пишет Л. И. Брежнев). Уметь сплотить самых разных людей; опираясь на коммунистов, создать из них целеустремленный, единый коллектив, который, преодолевая неизбежные проти-

боречия, окажется в состоянии эффективно осуществить намеченное. Обладать талантом работы с людьми: во́время поддержать лучших, тех, кто может вести за собой других; неспособных, нечестных — решительно заменять. Одна из «заповедей» — никакие бумаги, никакие телефонные звонки не заменят встреч с людьми и знания жизни.

Л. И. Брежнев пишет: «Обстановка... более всего напоминала политработу в дни большой наступательной операции. Для меня эти первые месяцы обернулись бесконечными поездками, сотнями встреч, коротких знакомств, когда и людей нельзя было надолго отрывать от дела, и у меня не хватало времени, потому что постоянно надо было двигаться дальше, потому что все время тянуло «на передовую»...[1].

Его интересовало все: четкое выполнение экономических задач, жизнь и работа людей, включая так называемые «мелочи», порождающие осложнения, которых можно было бы избежать. Резко осуждая пассивность, как источник многих недостатков и бед, автор при этом умеет подавить в себе желание «ускорить», «нажать»: он понимает, как важно, чтобы люди сами пришли к должному выводу. Короче говоря, взгляд его охватывает и перспективу и прошлое — процесс становления самосознания трудового человека он описывает во всей его достоверности и сложности.

Да, от людей, от уровня их сознательности зависит все. Автор знает, что не каждый в любой данный момент исполнен понимания, желания и стремления совершить максимально возможное. В особенности когда вначале в негостеприимной степи нехватки ощущались почти во всем. Нужно было уметь находить выход из труднейших ситуаций, преодолевать недружелюбие, а порой и «враждебность» природы. На передышки и разрядку времени не оставалось.

И в этом вот контексте автор поднимает вопрос о планировании человеческого счастья. Рассказывает о том, как это важно, чтобы у каждого целинника было жилье, налаженный быт, чтобы «во главе степных поселений стояли работники, болеющие не за один план, но и за все, чем живы люди». О том, как много сделали приехавшие на целину девушки, которые стали там доярками, телефонистками, учительницами, работали в поле. О том, как складывались семьи, которые получали дом, огород, необходимый инвентарь, как строились птичники, парники — люди получали возможность не только нормально жить, но и надолго обосноваться во вновь возделанной степи. Как возникали интересные многонациональные коллективы, где тон задавали передовики. Книга показывает, как зарождалось и крепло то, что мы называем героизмом будней, какое значение имели самостоятельность, простор для творческой инициативы, растущее чувство ответственности за общее дело.

Рождавшийся энтузиазм, можно сказать, «просился в поэзию». Л. И. Брежнев вовремя заинтересовал писателей тематикой целины: он хорошо знал, какую силу имеет поэтическое слово.

Сегодня освоение целины кажется делом обычным, чуть ли не само собой разумеющимся. То, что представлялось ненадежным, вызывало споры, давно забыто. Плодородная казахская степь дает государству ежегодно миллионы центнеров хлеба. Люди привыкли жить и вести хозяйство в этих степях, как и в других земледельческих областях. Великолепный замысел Коммунистической партии Советского Союза успешно осуществлен. А книга Л. И. Брежнева эту великую эпопею сохранит для истории.

Все мы знаем, что есть еще много мест на земле, где люди не едят досыта. Не меньше их будет и завтра. Весьма серьезные осложнения обещает, как известно, и энергетическая ситуация. Решить эти проблемы без мира на земле невозможно. Вот почему необходимо договориться, наконец, об ограничении вооружений, а затем и о полном разоружении. На следующей ступени мирного развития государства земного шара должны объединиться в самом благородном из устремлений — обеспечить для всего человечества достойные условия существования. Остается прибавить, что столь величественные задачи могут быть осуществлены лишь под теплым солнцем всеобщего торжества идей интернационализма и мира на нашей планете. Так бы я сформулировал первые мысли и чувства, с которыми закрываешь книгу Л. И. Брежнева.

г. Прага

*Перевод с чешского С. ПАРХОМОВСКОЙ*

[1] Л. И. Брежнев. Целина. М., Госполитиздат, 1978, стр. 79.

# КОГДА ПИСАТЕЛЬ — ЖУРНАЛИСТ...

НГУЕН ТУАН

*Известный вьетнамский прозаик Нгуен Туан, чье имя давно знакомо русскому читателю по роману «Жизнь Нгуена», новеллам и очеркам, всегда активно работал и как «газетчик». За свои публицистические книги он был удостоен Первой литературной премии Ассоциации культуры. Публикуемый очерк получен редакцией в рукописи.*

## МОНОЛОГ О ВОЙНЕ И МИРЕ, ОБРАЩЕННЫЙ К ЛЬВУ ТОЛСТОМУ

Досточтимый наставник мой и учитель.

Ступив на землю России уже после того, как отмечалось 150-летие со дня Вашего рождения, я тем не менее — быть может, с излишней самонадеянностью — считаю себя вправе поделиться с Вами заботами и тревогами моего народа. Нас разделяет не только время, но и пространство. Время и пространство! Сегодня я вновь убеждаюсь, что они не властны над истинным талантом, над силой справедливости, над искусством слова. И мои соотечественники, живущие, как сказали бы в старину, на самом краю света, читают Ваши книги не только по-вьетнамски, но — все чаще уже — и по-русски, ибо язык России, язык Человечности и Свободы, звучит сегодня в школьных классах и институтских аудиториях Вьетнама, а великие творения русской культуры, культуры других наций и народностей Вашей страны стали неотъемлемой частью духовного богатства моего народа, строящего новую жизнь.

Вам, создателю величественной эпопеи «Война и мир», хочу я сказать, что и в наши дни самым насущным, животрепещущим и сложным остается вопрос: быть ли на земле миру или войне?! Разве испокон веку даже слово «победа» не было связано в умах людей прежде всего с бранным делом, с войною? И лишь когда на значительной части земного шара утвердились новые отношения между людьми, чуждые всякой эксплуатации, социального, расового и национального гнета — а путь к торжеству этих новых отношений первой открыла и проложила Россия,— только после этого понятие «победа» стало все чаще и нераздельнее связываться с миром, с созидательным трудом человека, с его творчеством в сферах материальной и духовной, с познанием тайн природы и, наконец,— здесь тоже Россия была первой — с выходом человечества в космос... Однако мир, пусть и преображенный во многом человеческим трудом, достижениями науки и техники, расколот надвое. И для власть имущих на той его части, где царят еще старые порядки, именно война, интересам которой подчинены подчас и достижения человеческого гения,— именно война остается конечным способом решения мировых проблем. Но угрозе насилия, культ которого насаждается в старом мире, новый мир вынужден, как надежный щит, противопоставить мощь своей обороны. Вот какова в упрощенном, конечно, виде ситуация на планете. И кто знает, досточтимый мой наставник и учитель, скоро ли в правительствах разных стран появятся Министерства Мира?

Сошлюсь на пример моего народа. Исконное миролюбие вьетнамцев, вековечная тяга их к труду и покою запе-

чатлелись в старинных названиях наших гор и рек, городов, морских заливов и пристаней — от северных рубежей и до южной оконечности Вьетнама, что, подобно носу испанского корабля, рассекает ширь океана. Древние слова «мир», «согласие», «покой» входят и в имена, которыми мы при рождении нарекаем наших детей. А ведь из века в век приходилось нам брать в руки оружие, чтоб отстоять свою землю, свою свободу, человеческое достоинство, само наше существование! И как не удивиться тому, что такие огромные страны, как Китай, бывали частично или полностью завоеваны странами небольшими, скажем, Японией или феодальной Монголией, а маленький Вьетнам сумел в конечном итоге отразить агрессию французской колониальной империи или новых колонизаторов — янки? Отчего вся история вьетнамцев на нашем непросторном и не столь уж изобильном полуострове сводится к беспрестанным войнам против иноземных завоевателей? И отчего захватчики почти всегда наступали на нас с севера? События эти отразились и в лексике нашего языка; так, уже сравнительно недавно вошли в обиход у нас слова «историческая неожиданность», с которыми у каждого связано столько дум и воспоминаний. И я горжусь тем, что во Вьетнаме жили и живут люди, творившие свою историю с горячим, исполненным любви к родине, сердцем и трезвым рассудком, позволявшим им всякий раз добиваться мира для собственной земли и — в той или иной мере — для всей близлежащей Азии.

Если верить трудам историков, которые я читал, классическая история человечества предстает чуть ли не сплошным побоищем, они насчитывают 4153 крупных войны (в это число из всех освободительных войн, которые вел мой народ, включены лишь те три, когда при государях династии Чан[1] были изгнаны вторгшиеся к нам из Китая орды захватчиков). А мой индийский собрат по перу, выступавший на Международной писательской встрече в Софии, проходившей под весьма злободневным девизом «Писатели и мир», заявил в своем выступлении: «...после второй мировой войны в Азии и Африке произошло 30 больших и малых войн...» (в их числе, разумеется, и те две войны, которые вел народ Вьетнама против агрессоров).

Здесь, досточтимый мой наставник и учитель, мне хотелось бы поделиться с Вами мыслями о значении и роли истории в современном мире.

Разумеется, у каждого народа, у каждой страны своя история и свои историки. Но, я думаю, главное в том, чтобы позиция их не допускала ни малейшей неясности по отношению к войне и миру. Каковы конкретно те или иные войны? И что же такое мир? Ведь есть не просто отдельные личности, но и целые общественные слои, провозгласившие принцип: только война создает условия для полного развития всех физических, духовных и нравственных возможностей человека и целого народа. Они изобрели даже свою особую калькуляцию, следуя которой под итоговой чертой любой войны ставятся плюсы, преимущества и блага — материальные и духовные. Мир же, согласно их «теориям», связан с застоем и регрессом. Отсюда явствует, что, кроме промышленных и денежных воротил, для которых тождественны понятия «война» и «прибыль», у мира немало опаснейших, злейших врагов. Однако существует другой подход. Если будет признано всеми, что столкновение политических, экономических интересов, противоречия социальные и идеологические вовсе не должны с неизбежностью приводить к войне как единственному способу решения проблемы, и все убедятся в эффективности метода переговоров: если люди атомной эры на деле научатся ценить мир и объявят захватнические войны тягчайшим преступлением; если, наконец, все поймут, что война отнюдь не является фатальной неизбежностью для человечества, это откроет новые, неведомые прежде пути проникновения в историю и создания произведений более всеобъемлющих и надежных, ибо полезная и высокая деятельность человека будет прежде всего связана в них с утверждением мира, а позор и злодеяния — с насилием, агрессией, войной.

Эту, как сказали бы математики, «искомую» позицию мне довелось увидеть в одном из интереснейших, на мой взгляд, произведений современного изобразительного искусства. Я имею в виду написанную маслом композицию Пабло Пикассо, которая, как и Ваш роман, называется «Война и мир». Изуверству войны художник противопоставляет гармонию мира и радости труда. Мне, конечно же, неизвестно, как складывался у Пикассо замысел его композиции; но, думается, он стремился средствами своего искусства не только передать отношение к войне как величайшему преступлению против человечности, но и подчеркнуть, что война как явление историческое и социальное, как способ решения политических противоречий в нашем XX столетии неизбежно становится анахронизмом. Не оттого ли столь дикими и первобытными изображены вооруженные люди-чудища? Не потому ли и сама война (я говорю о персонаже картины), выезжает на древней и старой повозке, запряженной дряхлыми одрами? Не потому ли, наконец, повозка эта напоминает погре-

[1] Чан — вьетнамская династия, правила с 1225 по 1400 г.

бальные дроги, что не только символизирует смерть, которой всегда чревата война, но и является призывом к людям, к человечеству похоронить самое войну? На том же полотне Пикассо атрибуты «современной» войны — чумные бактерии и клубы ядовитых газов, выведенных и полученных в оснащенных по последнему слову техники лабораториях. Но сводится ли мысль художника к тому, что новые орудия убийства, попавшие ныне в одряхлевшие, хотя отнюдь не обессилевшие руки войны, в еще большей мере заставляют человечество обуздать и искоренить войну, грозящую гибелью всему людскому роду, всей его цивилизации? Угроза войны делает опасным сам прогресс науки и техники, ибо почти всякое достижение человеческой мысли в этих областях может быть употреблено не только на благо мира, но и в своекорыстных интересах войны.

Так было и раньше — скажем, когда китайцы изобрели порох. Должно быть, гремучие свойства этого вещества и сегодня еще фатальным образом ударяют в голову правителям Китая, пытающимся экспортировать в разные концы света образцы «власти, заключенной в дуле винтовки», выдавая ее за истинную модель «пролетарской революции». На международной арене подвизается все больше и больше китайских политических и военных экспертов, и стоит им объявиться в каком-либо месте, там тотчас вспыхивают междоусобицы и вооруженные конфликты, как бы в подтверждение нашей старинной пословицы: «Где дым столбом — там китайцы». Как не вспомнить, глядя на них, иные персонажи «Исторических записок» Сыма Цяня[1] или, скажем, «Троецарствия»[2]? Разве не от эпохи Борющихся царств[3] дошли до нас изощренные приемы и уловки, возводящие чуть ли не в степень науки стравливание соседей и вассалов, чередование многомудрых речений с внезапными жестокими набегами? И не в Поднебесной ли империи возник и снискал великий почет нигде до того не виданный и не ведомый «отхожий промысел» наемных политиканов-златоустов и кочующих «стратегов», кормившихся вечною смутой и побоищами? «Нет, сами они не дерутся, заставляя драться солдат, и потому, сколько ни длились бы жестокие войны, предводителям все нипочем; они... то тешат себя пирами и веселой беседой, то приносят клятвы верности, то... помалкивают, то — само собою — снова и снова воюют». Отчего столь точны эти слова? И кому принадлежат они? Знайте же, досточтимый наставник мой и учитель, слова эти сказаны были китайцем, которого я почитаю и люблю,— Лу Синем! А вот еще одна фраза, как нельзя лучше выражающая суть политической методы нынешних правителей Китая: «Пусть они себе воюют друг с другом, мы вмешиваться не будем, поглядим со стороны». Кто же сказал это? Лу Синь. Все тот же великий Лу Синь!

Я слышал, что во время разгула «культурной революции» главари хунвэйбинов распорядились снести несколько памятников Лу Синю. Но я верю, они будут поставлены заново. Вот еще одна любопытнейшая деталь, характеризующая отношение официального Пекина к Лу Синю. В Париже выходит журнал «Эроп», часто посвящающий свои номера литературам отдельных стран или творчеству выдающихся писателей,— кстати, один из его номеров был посвящен Вам, мой досточтимый наставник и учитель. В Пекине очень хотели, чтобы «Эроп» выпустил специальный номер о китайской литературе. И когда туда приехал главный редактор журнала Пьер Абраам, ему вручены были подготовленные китайской стороной материалы. Ознакомившись с ними, Пьер Абраам выразил удивление, что там никак не представлен Лу Синь, чьи книги, как он сказал, составляют славу и гордость китайской литературы, и подчеркнул, что журнал «Эроп» считал бы высокой для себя честью публикацию произведений Лу Синя. Но все на этом и кончилось. Затем, встретившись в Женеве с представителем китайского посольства, Пьер Абраам напомнил ему, что редакция ожидает подборку Лу Синя. Так и не получив ее, «Эроп» выпустил номер, на обложке которого вместо заголовка «Китайская литература» стояло слово «Китай...» (историю эту рассказал мне в Ханое Пьер Абраам).

Нам, вьетнамцам, пережившим за последние три десятка лет две тяжелейшие войны, идейный замысел Вашего романа «Война и мир» особенно близок и понятен. Я и сейчас помню наизусть одну из фраз, открывающих III том романа: «12 июня силы Западной Европы перешли границы России, и началась война, то есть совершилось противное человеческому разуму и всей человеческой природе событие. Миллионы людей совершали друг против друга такое бесчисленное количество злодеяний... которого в целые века не соберет летопись всех судов мира и на которые в этот период времени люди, совершавшие их, не смотрели как на преступления»[1]. Я понимаю, здесь выражается

[1] Сыма Цянь (ок. 145—ок. 86 гг. до н. э.)— великий китайский историк.

[2] Имеется в виду знаменитый роман Ло Гуань-чжуна (ок. 1330 — 1400), посвященный событиям эпохи Троецарствия (III в.), когда Китай распался на три государства, непрерывно воевавших между собой.

[3] Речь идет о периоде китайской истории (V — III вв. до н. э.), когда страна распалась на семь враждовавших друг с другом царств.

[1] Лев Толстой. Война и мир, тома III и IV; «Библиотека всемирной литературы», серия 2, том 114, ГИХЛ. М., стр. 7.

осуждение антигуманных, захватнических действий императора Наполеона. Но почему-то слова эти снова и снова напоминают мне о бесчеловечных действиях и планах тех ретивых потомков изобретателей пороха, которые и сегодня одержимы манией насилия и агрессии. Это они вскормили в соседней с нами Кампучии режим Пол Пота и Иенг Сари, рьяно придерживавшихся тезиса «власть заключена в винтовке», и, пользуясь малопочтенными методами эпохи Борющихся царств, натравили его на мою страну. И пусть сегодня режим Пол Пота и Иенг Сари рухнул под натиском восставшего народа Кампучии, восстановившего независимость, свободу и честь своей родины, нельзя забывать, что упомянутые выше ретивые потомки изобретателей пороха лелеют новые замыслы и могут вновь попытаться применить на деле свою «проверенную временем» стратегию и тактику. Можно ли оставаться спокойным, когда они день ото дня нагнетают напряженность на границе моей страны, сгоняя туда сотни тысяч солдат и военную технику?!

Нет, моему народу, не так давно перенесшему, повторяю, две тяжелейшие войны, не нужны новые конфликты и столкновения. Мы не хотим ни пяди чужой земли — будь то на материке или на морских островах. Нам нужен мир. Но мир этот должен быть не просто более или менее продолжительным затишьем между войнами. Мы хотим долгого, прочного мира и, понимая, что он не придет сам собою к тем, кто будет сидеть сложа руки, вместе с Вашей великой страной и другими странами, установившими у себя справедливый общественный строй, вместе со всеми людьми доброй воли на нашей планете делаем все, чтобы отстоять и укрепить мир.

И как горько нам сознавать, что еще в 1972 году, когда мы сражались не на жизнь, а на смерть против американских захватчиков, те, кто делал политику в Пекине, начали свой флирт с Соединенными Штатами — олицетворением империализма и насилия, замыслив тем самым удар в спину вьетнамской революции и ставя под угрозу строительство новой жизни в моей стране. А не они ли, распинаясь везде и повсюду, именуют себя революционерами и коммунистами?! Эти же люди превратили в орудие своей сиюминутной политической корысти выходцев из Китая, долгие годы живших и работавших вместе с нами на нашей земле. Они сеют рознь между нами и китайским народом, чьи лучшие традиции и великую культуру мы знаем и ценим...

В Москве падает снег. Он укрывает пушистой полостью Ваш дом в Хамовниках. Снег для меня — символ умиротворения и тишины.

И я спокойно смотрю в будущее. Я верю, мой досточтимый наставник и учитель, в торжество Мира и Справедливости, потому что исторический оптимизм — основа моего мировоззрения, мировоззрения коммуниста.

*Перевод с вьетнамского М. ТКАЧЕВА*

## ГАБРИЭЛЬ ГАРСИА МАРКЕС

*Габриэль Гарсиа Маркес — известный колумбийский писатель и общественный деятель, автор популярных во многих странах мира романов, в том числе «Сто лет одиночества» («Иностранная литература» № 6—8, 1979), лауреат премии им. Г. Димитрова (Болгария). Публикуемый отрывок из готовящейся к печати публицистической книги «Куба: будни блокады» взят из кубинского альманаха издательства «Каса де лас Американас» (№ 100, 1977).*

# НАЗВАНИЕ НЕ ПРИШЛО МНЕ В ГОЛОВУ

До революции на Кубе у меня никогда не возникало желания побывать в этой стране. Как и другие латиноамериканцы моего поколения, я считал Гавану большим публичным домом для янки, где порнография, получившая массовое распространение, достигла апогея еще задолго до того, как вошла в моду в остальной части «христианского мира». Всего за один доллар там можно было увидеть, как мужчина и женщина занимаются любовью в постели, поставленной прямо на сцене театра.

Этот рай пачанги[1] буквально источал из себя дьявольскую музыку, назойливо культивировал тайные прелести «сладкой жизни», чувственную манеру походки и одежды — словом, все те аксессуары разврата, которые должны были придать будничной жизни на островах в Карибском море обличье безудержного веселья.

Люди, осведомленные о Кубе лучше меня, знали, что в свое время это была самая передовая в культурном отношении колония Испании — пожалуй, единственная ее колония с подлинно высокой культурой — и что традиции литературных кружков и фестивалей искусств продолжали сохранять свою чистоту и свежесть, даже несмотря на то, что американские матросы поливали мочой памятники национальных героев, а наемные убийцы в услужении у президентов республики творили самые отъявленные беззакония. Наряду с «Комической неделей» — бульварным журнальчиком, который женатые мужчины читали втайне от своих супруг, запершись в ванной,— здесь публиковались самые изысканные издания по литературе и искусству. Наводнявшие весь континент комиксы с продолжениями, рассчитанными на бесчисленное множество лет, соседствовали с огненным всполохом фантастических подсолнухов Амелии Пелаэс[2] и герметической ртутью гекзаметров Хосе Лесамы Лимы[3]. Подобные разительные контрасты еще более запутывали представление об этой почти мифической стране, отчаянная борьба за независимость которой так и не закончилась, а политический возраст в 1955 году по-прежнему оставался непостижимой загадкой.

Именно в том самом году в Париже я впервые услышал имя Фиделя Кастро. Его произнес поэт Николас Гильен, обреченный на безнадежное изгнание в гранд-отеле «Сен-Мишель», оказавшемся наименее грязным из скопища дешевых гостиниц, где мы, шумная братия латиноамериканцев и алжирцев, поедали кислый сыр и вареную цветную капусту в ожидании возможности вернуться на родину. Апартаменты Николаса Гильена, как и почти все остальные жилища Латинского квартала, состояли из четырех стен, увешанных выцветшими драпри, двух обитых истертым плюшем кресел, умывальника и холостяцкой кровати на двоих, где еще совсем недавно делила счастье и свела счеты с жизнью загадочная пара печальных и молчаливых любовников из Сенегала. Сейчас, по прошествии двух десятков лет, мне трудно возродить в памяти облик поэта, каким я часто видел его в этой комнате, хотя я с легкостью «вписываю» его в обстановку, в которой никогда не доводилось встречаться: вот он в час сиесты, обмахиваясь ладонью от полуденной жары, сидит в плетеном кресле-качалке на террасе одного из великолепных просторных домов, знакомых нам по удивительным картинам кубинских живописцев XIX столетия... Точно помню только, что в любое время года, даже в самые холодные дни, Николас Гильен следовал чисто кубинской привычке вставать с первыми петухами — хотя никаких петухов, горланящих по утрам, в Париже, разумеется, не было и в помине. Поставив на спиртовку маленький кофейник, он с нетерпением усаживался читать газеты... В эти минуты ему, должно быть, казалось, что он дома, что утренний ветер доносит сладкий запах патоки с сахарных заводов и знакомое бренчание гитары оглашает рассвет в родном Камагуэе. И Гильен, как у себя в Камагуэе, открывал балкон и на всю улицу, будя округу, выкрикивал свежие новости из Латинской Америки, но не по-французски, а на своем родном диалекте.

О положении на континенте в ту пору как нельзя лучше можно судить по фотографии, сделанной за год до описываемых событий на конференции глав американских государств в Панаме: среди пышных военных мундиров, орденов и медалей затесалась жалкая фигура в штатском. Даже генерал Дуайт Эйзенхауэр, будучи президентом Соединенных Штатов, любитель скрадывать милый его сердцу запах пороха самыми дорогими костюмами с Бонд-стрит[1], обрядился для этой исторической фотографии в свою униформу отставного вояки.

И вот случилось так, что однажды ранним утром Николас Гильен открыл балконную дверь и выкрикнул оглушительную новость:

— Президента свергли!

Еще минуту назад спавшая улица пришла в движение: каждый из нас, эмигрантов, думал, что свергли президента его страны. Аргентинцы полагали, что это был Хуан Доминго Перон, парагвайцы — что это Альфредо Стресснер, перуанцы — Мануэль Одриа, никарагуанцы — Анастасио Сомоса, венесуэльцы — Маркос Перес Хименес, гватемальцы — Кастильо Армас, эмигранты из Доминиканской Республики — Рафаэль Леонидас Трухильо, кубинцы — Фульхенсио Батиста. Мы, колумбийцы, решили, что свергнут наш диктатор Густаво Рохас Пинилья. В действительности свергли Перона. Позднее в разговоре на эту тему Николас Гильен обрисовал нам картину

[1] Темпераментный народный танец *(здесь и далее — прим. перев.)*.

[2] Амелия Пелаэс дель Касаль (1897—1968) — известная кубинская художница, сочетавшая в своих декоративно-красочных произведениях национальные традиции с опытом мексиканского и европейского монументального искусства.

[3] Хосе Лесама Лима (1912—1977) — кубинский поэт и прозаик, основатель ряда влиятельных литературных журналов.

[1] Улица в Лондоне, где расположены фешенебельные магазины.

трагического положения на Кубе. «Единственный человек, кому принадлежит будущее,— сказал он,— это парень, которого часто можно встретить в Мексике». Гильен задумался и с проницательностью восточного мудреца закончил: «Его зовут Фидель Кастро».

Спустя три года, находясь в Каракасе, я все еще не мог предполагать, что имя этого человека совсем в недалеком будущем с неодолимой силой привлечет к себе внимание всего континента. Тогда еще никто не думал, что в Сьерра-Маэстре зреет первая в Латинской Америке социалистическая революция. Более того, все мы были уверены, что ее родиной будет Венесуэла, где порыв широчайших народных масс за двадцать четыре часа смел гигантский репрессивный аппарат генерала Маркоса Переса Хименеса.

Для людей, не оказавшихся непосредственными очевидцами, венесуэльские события представлялись попросту невероятными — столь легко и быстро они свершились и столь всеобъемлющими и действенными явились результаты, к которым они привели. Единственным лозунгом, обращенным к народу, был призыв 23 января 1958 года в 12 часов дня нажать на клаксоны автомобилей — у кого они есть,— прекратить работу, выйти на улицы и свергнуть диктатуру. Трудно было поверить в серьезность этого, многим казавшегося наивным, призыва. Тем не менее в указанный час Каракас был буквально оглушен невообразимой какофонией автомобильных гудков: в городе, уже тогда знаменитом на весь континент своими заторами транспорта, создалась такая пробка, которую даже здесь ранее никто не видывал; многочисленные группы рабочих, студентов, служащих высыпали на улицы и забросали камнями и пустыми бутылками отряды полицейских, пытавшихся защищать прогнивший режим Хименеса. С близлежащих холмов, облепленных разноцветными ранчо, придававшими пейзажу праздничный вид, скатилась буквально целая лавина бедняков. Весь Каракас превратился в поле битвы. А когда стемнело, по городу, где то и дело слышались выстрелы и рев сирен скорой помощи, разнеслась радостная весть: семейство Переса Хименеса, забравшись в армейские танки, бежало из своей резиденции и укрылось в одном из иностранных посольств. Незадолго до рассвета неожиданно наступила пронзительная тишина, а за ней последовал многоголосый взрыв ликования тысячных толп жителей Каракаса. Зазвонили церковные колокола, заревели фабричные гудки, завыли автомобильные клаксоны, и отовсюду из раскрытых окон понеслись мелодии народных песен — эти радостные песнопения венесуэльцев не прекратятся на протяжении целых двух последующих лет, ставших, как известно, годами эйфории и иллюзий.

Перес Хименес, бросив свой преступный трон, бежал с ближайшими пособниками на военном самолете в Санто-Доминго[1]. Самолет этот, еще с полудня готовый взлететь в любую минуту, ожидал его в аэропорту «Ла Карлотта», в нескольких километрах от президентского дворца Мирафлорес, но никому и в голову не пришло подкатить к самолету посадочную лестницу, когда прибыл беглый диктатор, по пятам преследуемый кавалькадой такси, которым не хватило всего лишь нескольких минут, чтобы догнать его. Переса Хименеса, похожего на огромного беспомощного ребенка в очках с черепаховой оправой, обвязали толстой веревкой и с трудом втащили в кабину самолета. Во время этой прощальной церемонии он забыл захватить с собой чемодан, оставшийся на земле. Это был обыкновенный, из черной кожи чемодан, где лежали деньги на его карманные расходы: тринадцать миллионов долларов в бумажных купюрах.

С этой поры и в течение всего 1958 года Венесуэла продолжала оставаться самой свободной страной буржуазного мира[2]. Казалось, что там произошла настоящая революция: всякий раз, когда новому правительству угрожала опасность, оно немедленно обращалось за помощью к народу, и народ выходил на улицу, чтобы противостоять любой попытке возврата старого. Решение всех, даже самых щекотливых, государственных вопросов выносилось на обсуждение широких общественных кругов. Не было таких официальных дел, которые не рассматривались бы при участии представителей политических партий, причем коммунисты всегда были впереди — по крайней мере в первые месяцы после свержения диктатуры Переса Хименеса все политические партии сознавали, что их сила заключена в поддержке народа, готового по первому зову выйти на улицы...

Между правительством Венесуэлы и Сьерра-Маэстрой установились тесные дружеские отношения. В распоряжение героев Движения 26 июля в Каракасе были предоставлены все органы общественной пропаганды. Они устраивали массовые митинги, открыто собирали и отправляли на Кубу средства для

[1] Столица Доминиканской Республики.

[2] После свержения диктатуры Переса Хименеса в январе 1958 года к власти в Венесуэле пришла правительственная хунта, которая восстановила демократические свободы, легализовала политические партии, объявила амнистию политзаключенным и ликвидировала тайную полицию. Процесс национально-демократических преобразований в стране продолжался до начала 1960 года, когда новое правительство во главе с Р. Бетанкуром (1959—1963) приняло ряд антинародных законов.

ведения партизанской войны. Венесуэльские студенты, принявшие самое живое участие в боях с диктатурой, по почте отправили студентам Гаваны женские панталоны, дабы этим весьма прозрачным намеком упрекнуть их в нерешительности. Кубинские студенты с достоинством встретили эту дерзкую выходку и менее чем через год, когда на Кубе победила революция, отослали панталоны обратно в Каракас без всяких комментариев. Печать Венесуэлы, скорее в силу сложившихся внутренних условий, нежели по воле хозяев, стала легальным рупором Сьерра-Маэстры. Читая венесуэльские журналы и газеты тех лет, можно было подумать, что Куба — вовсе не другая страна, а часть сбросившей тиранию Венесуэлы, часть, которую еще ждала свобода.

Новый, 1959 год был одним из тех немногих в истории Венесуэлы лет, которые праздновались в обстановке, свободной от гнета диктатуры. С первыми лучами рассвета Мерседес и я, только что поженившиеся в эти месяцы всеобщего ликования, возвращались после новогоднего празднества в свою квартиру в районе Сан-Бернардино. Подойдя к дому, мы обнаружили, что лифт сломался. Мы поднялись на шестой этаж, останавливаясь на лестничных площадках, чтобы перевести дух, и едва вошли в квартиру, как нас обоих охватило странное, абсурдное чувство, что сейчас наступает момент, который мы уже пережили в минувшем году: спящие улицы огласились криками многотысячной толпы, зазвонили церковные колокола, заревели фабричные гудки, завыли автомобильные клаксоны, и из всех окон понеслись радостные мелодии, прославляющие народную победу. Казалось, время повернулось вспять и Маркос Перес Хименес был заново свергнут. У нас с Мерседес не было ни телефона, ни радио, и мы, растерянные, перепрыгивая через ступеньки, помчались вниз, на ходу спрашивая друг друга, уж не от вина ли у нас эти странные слуховые галлюцинации. Выбежав на улицу, мы увидели множество людей, и первый же человек, мчавшийся мимо в рассветном сиянии, ошеломил нас еще одним невероятным совпадением: Фульхенсио Батиста с ближайшими сообщниками, бросив свой преступный трон, бежал на военном самолете в Санто-Доминго.

Двумя неделями позже я первый раз в жизни прибыл в Гавану. Подобная оказия предоставилась мне гораздо раньше, чем я мог предполагать, но при обстоятельствах, не столь уж для меня приятных. 18 января, когда я, прежде чем уйти домой, решил прибрать свой письменный стол в редакции газеты, где в то время работал, к нам в опустевшее помещение, запыхавшись, вошел один из представителей Движения 26 июля, который искал журналистов, готовых той же ночью отправиться на Кубу. Плинио Апулейо Мендоса и я, как самые решительные сторонники кубинской революции, оказались в числе первых волонтеров. У нас едва хватило времени, чтобы заехать домой и уложить чемоданы. Я настолько привык думать, что Венесуэла и Куба — это одно и то же, что забыл взять с собой паспорт. Но он не понадобился: сотрудник венесуэльской иммиграционной службы, настроенный более прокубински, нежели многие жители этого прекрасного острова, попросил у меня любой документ, удостоверяющий личность. Единственным, что я обнаружил у себя в карманах, оказалась квитанция из прачечной. Сотрудник иммиграционной службы, лопаясь от смеха, поставил на обратной стороне квитанции печать и пожелал мне счастливого пути.

Настоящая трудность возникла позже, перед самым взлетом, когда пилот обнаружил, что журналистов оказалось больше, чем мест в самолете, и что вес багажа, кино- и телеаппаратуры — выше дозволенного. Разумеется, никто не хотел покинуть самолет или поступиться взятыми в дорогу вещами. Поэтому дежурному аэропорта пришлось решиться отправить наш самолет с изрядной перегрузкой. Пилот оказался человеком серьезным, уже в летах. Дополнительную суровость его строгому лицу придавали внушительные усы с проседью. На нем был мундир из синей ткани, украшенный золочеными позументами старых ВВС Кубы. В течение почти двух часов пилот бесстрастно отвергал все наши увещевания. В конце концов одному из нас удалось найти сокрушительный довод.

— Не будьте трусом, капитан,— сказал он,— ведь «Гранма» тоже была перегружена.

Пилот посмотрел на него, а потом, закипая от молчаливого гнева, обвел всех нас глазами.

— Разница в том,— ответил он,— что среди нас нет Фиделя Кастро.

Приведенный довод все-таки помог. Пилот протянул руку к стойке, где лежали скрепленные в виде блокнота наряды на полеты, и вырвал из него листок-предписание, который под его пальцами тотчас превратился в сморщенный комочек.

— Ладно, — сказал он.— Полетим так.

Но документ о перегрузке я заберу с собой.

Он сунул комочек бумаги в карман и знаками приказал следовать за собой. Пока мы направлялись к самолету, я, обуреваемый врожденным страхом к полетам и в то же время горя желанием побывать на Кубе, спросил его голосом, в котором звучало явное сомнение:

— Капитан, вы думаете, мы долетим?

— Может быть, да,— ответил он,— с помощью пресвятой девы Каридад дель Кобре.

Самолет оказался двухмоторной рухлядью. Кто-то предположил, что его в свое время угнал в Сьерра-Маэстру летчик-дезертир авиации Батисты и что самолет пребывал в забвении под открытым небом до того самого злополучного вечера, когда его послали в Венесуэлу за журналистами, пожелавшими разбиться по пути на Кубу. Салон был очень узким и плохо вентилировался, сиденья оказались сломанными, кругом стоял невыносимый, едкий запах мочи. Каждый расположился как смог, кому-то пришлось усесться в узком проходе между чемоданами и съемочной аппаратурой. Я совсем задыхался, хотя меня и прижали к окну в хвосте самолета. Единственным, что немного успокаивало, был уверенный вид моих коллег. Но неожиданно один из тех, кто выглядел наиболее спокойным, сквозь зубы прошептал мне на ухо: «Хорошо тебе, ты не боишься лететь в этом самолете». Тут меня охватил невероятный, панический страх; я понял, что все здесь боятся полета так же, как я, и просто пытаются скрыть свой ужас под маской мнимого бесстрашия, которое, как теперь неожиданно оказалось, было написано и на моем лице. Правда, в определенный момент приходит какое-то фатальное безразличие к тому, что с тобой может случиться, когда вовсе перестаешь думать— и это единственное, что помогает долететь, не умерев от страха. Во время бессонных ночных полетов, которые мне, увы, приходится часто совершать, я обретаю это благостное состояние лишь тогда, когда сквозь стекла иллюминатора мне удается рассмотреть маленькую звездочку-сиротку, эту спутницу самолетов, пересекающих пустынные, безбрежные океаны. Напрасно искал я эту спасительную звездочку в ту жуткую ночь над Карибским морем, дрожа от страха в двухмоторной безжалостной развалине, вслепую пытающейся прорваться сквозь окаменелость черных туч, перехлест яростных ветров, адские всполохи молний и подгоняемой разве что стуком наших испуганных сердец. На рассвете на нас обрушился шквал жестокого ливня. Самолет швыряло из стороны в сторону, он издавал страшный скрип, как будто это был утлый парусник, разбиваемый напором разбушевавшейся морской стихии. А при вынужденной посадке в аэропорту Камагуэя нам казалось, что этот, с позволения сказать, самолет, словно живое существо, трясло в лихорадке и его готовые вот-вот развалиться моторы были омыты слезами спасения.

Но как только дождь прекратился, наступил великолепный весенний день, воздух снова стал хрустально-прозрачным, и в Гавану мы летели так близко над землей, что были видны заросли молодого тростника, пруды с разноцветными рыбками и диковинными растениями на дне. Еще до наступления полудня мы приземлились среди вавилонской пышности особняков, принадлежавших богатейшим из богатых жителей Гаваны, в аэропорту «Кампо Колумбия», позднее окрещенном «Городом Свободы». Этот аэропорт долгое время служил оплотом силам Батисты, а за несколько дней до нашего приезда здесь расположился Камило Сьенфуэгос[1] со своей колонной крестьян-гуахиро, ошеломленных красотами большого города.

Самое первое впечатление оказалось немного комичным, поскольку навстречу нам устремились офицеры старой авиации, перешедшие на сторону революции в последний момент, но уже успевшие в своих казармах отрастить бороды, которые придавали им вид закаленных в боях революционеров-барбудос.

Нам, прожившим в Каракасе весь предыдущий год, была не в новинку атмосфера всеобщего возбуждения и творческого беспорядка, отличавшая Гавану в начале 1959 года. Однако имелась существенная разница: в Венесуэле городское восстание, поднятое союзом нескольких партий при поддержке широких армейских кругов, сбросило иго деспотической камарильи, в то время как на Кубе шквал народного гнева в долгой, упорной борьбе смел наемные вооруженные силы, выполнявшие функцию оккупационных войск. Именно это во многом предопределило различную судьбу двух стран, что сразу бросилось нам в глаза в тот сияющий январский полдень в Гаване.

Чтобы продемонстрировать американским хозяевам мощь своей власти в стране и полную уверенность в незыблемости своего господства, Батиста превратил Гавану в совершенно ирреальный город. Этот какой-то неправдоподобный, игрушечный колорит сохранился в облике города и в первые дни после революции. Патрули-гуахиро, недавно впервые узнавшие, что такое обувь, в мундирах «на вырост», с винтовками устаревших образцов, как сомнамбулы расхаживали среди головокружительных небоскребов, машин чудес и почти что голых американок из Нового Орлеана, заинтригованных рассказами о мужественных красавцах-барбудос.

Главный вход в отель «Гавана-Хилтон», открытие которого как раз состоялось в те дни, охранял гигантский блондин в разукрашенной позументами

[1] Камило Сьенфуэгос (1932—1959) — народный герой Кубы, один из создателей национальных вооруженных сил на базе повстанческой армии страны.

униформе и каске с пышным плюмажем, как у какого-нибудь опереточного генерала. Гигант говорил на чудовищной смеси кубинского жаргона с искаверканным английским. Его ни в малейшей степени не смущала унизительная должность цербера. Одного из членов нашей делегации, венесуэльского негра, он поднял за воротник и швырнул прямо на середину улицы. Лишь благодаря вмешательству кубинских журналистов, сумевших договориться с администрацией отеля, в него стали свободно, без каких-либо расовых или социальных различий, пускать гостей, приезжавших в те дни на Кубу со всех концов света.

В первую же ночь нашего пребывания в Гаване несколько юношей из повстанческой армии, мучимые жаждой, зашли в бар отеля «Гавана-Ривьера». Они хотели всего лишь выпить по стакану воды, но метрдотель приказал выставить их на улицу. Мы, наблюдавшие эту картину журналисты, вернули ребят — в ту пору многим наши действия могли показаться одиозными — и усадили за свой стол. Позднее кубинский журналист Марио Кучилан, узнав о случившемся, с возмущением и стыдом в голосе сказал нам:

— Покончить с этим может лишь настоящая революция, и мы клянемся, что ее совершим.

*Перевод с испанского В. ГУТЕРМАНА*

# Вместо послесловия

## Из интервью польской «Культуре»

### Вопросы задавал журналист Роман Самсель

*— Вы всегда занимались одновременно и литературой и журналистикой?*

*—Да. Я думаю, что источником моей писательской информированности всегда была журналистика. Журналистика позволяла мне поддерживать постоянный контакт с действительностью. Журналистика может служить и помогать каждому писателю, она полезна.*

*— Но она неизбежно похищает время.*

*— Нужно отдавать себе отчет, что наступает момент, когда каждый определяет свое основное призвание. Я считаю, что мое призвание — профессия журналиста.*

*— Вы очень рано начали заниматься журналистикой?*

*— Да, с университетских времен. Практически я не окончил университет, так как начал работать в газете.*

*— В Боготе?*

*— Да, в Боготе. Я пошел в «Эспектадор».*

*— Но потом вы переехали в Венесуэлу?*

*— Нет, я начал работать в «Эспектадоре», а когда Рохас Пинилья закрыл газету, был корреспондентом в Париже. И остался в Париже без работы. Тогда я вернулся в Латинскую Америку, но не в Колумбию, а в Венесуэлу. После свержения Переса Хименеса, в 1958 году. Я тянул журналистскую лямку в Венесуэле вплоть до победы кубинской революции. Сразу же после победы я полетел в Гавану, работал там в Пренса Латина. Я один из основателей Пренса Латина. Я всегда работал журналистом.*

*— И теперь тоже?*

*— Да, конечно же.*

*— Год назад я читал ваш репортаж «Операция Карлотта» — о войне в Анголе, он был опубликован и в Польше.*

— Теперь мне очень удобно заниматься журналистикой. В наших странах плоха не профессия журналиста, а условия, в которых журналисты работают. Обычно газеты платят меньше, чем хватает на жизнь. При этом они вытягивают из тебя все жилы, так что уже не остается времени на писательскую работу. Сейчас у меня идеальная для журналиста ситуация. Я живу на гонорар от своих книг и могу заниматься журналистикой в собственное удовольствие. Как хочу и в какой хочу форме. Могу писать статьи о Кубе или об Анголе, это полностью зависит от меня...

— Говоря о кубинской революции, мы с вами оба отметили, что самый трудный период у кубинцев позади. Не все выдержали, тысячи эмигрировали с Кубы. Прежде всего противники революции, но также и люди равнодушные и обманутые.

— Кубинская эмиграция — одна из самых крупных в истории человечества. Эмигрировало 10 процентов всего населения, и это в короткий отрезок времени. Можно сказать, что большинство из них было обмануто. Контрреволюционеры использовали ложь и обман... Распустили слухи, будто при новом режиме детей станут отбирать у родителей и высылать их в СССР. И что якобы декрет, санкционирующий такую практику, уже подготовлен. Этот удар контрреволюционеров оказался очень сильным. И хорошо рассчитанным. Произошел самый крупный и наиболее драматичный исход. Кубинцам очень трудно жить вне Кубы. Они воссоздают Кубу, где бы ни оказались. Они едят то же самое, поют те же песни, ведут себя точно так же, как раньше на Кубе. Это весьма драматическая человеческая проблема, на которую, кстати, кубинские революционеры не закрывают глаза.

— Вы пишете книгу о Кубе. Касаетесь ли вы в ней этих вопросов?

— Я хочу представить в ней все человеческие проблемы, о которых до сих пор было сказано мало. Обращаясь к проблемам кубинской революции, друзья ее подчеркивают достижения в области просвещения, здравоохранения, экономики. Мы говорим обо всех этих известных достижениях, часто проходя мимо того особенного, что рождено в процессе сопротивления блокаде. Эта борьба создала новую культуру, новый способ воспитания детей, новый способ резки тростника, приготовления пищи и т. д., иначе говоря — новый образ жизни.

— Считаете ли вы себя также и политиком?

— Как бы вам ответить поточнее...

— Вы отказались принять предложение левых сил Колумбии выступить кандидатом левых на президентских выборах?

— Я отказался принять это предложение, потому что я политик (*смеется*). Я думаю, что у меня нет призвания к политической деятельности и нет подготовки, чтобы стать политическим лидером. Я журналист, я писатель. Я не считаю себя политиком, хотя уверен, что было бы преступлением не участвовать в политике. У меня есть слава, и я хочу отдать ее на службу политике. Хочу отдать весь тот капитал, который составляет моя слава. Отдать на службу революции в Латинской Америке.

— Когда-то, кажется в прошлом году, вы заявили в прессе, что не будете публиковать своих книг, пока не свергнут Пиночета...

— Не буду публиковать художественных произведений.

— Ваше заявление меня потрясло, ведь я считаю вас великим писателем нашего времени.

— (*После паузы.*) Большое спасибо.

— ...И думаю, что ваши усилия должны быть сосредоточены все же на создании именно художественной литературы.

— Это писательская забастовка. Объявляют же голодовку, а я объявил писательскую забастовку. Это форма сопротивления, форма саботажа по отношению к чилийской военной хунте до того времени, как свергнут Пиночета... У меня много читателей в Латинской Америке, много читателей в самом Чили. Поэтому я сказал себе, что не буду писать, пока в Чили заправляет Пиночет. Это форма моей борьбы. Я считаю, что у меня есть право на такую забастовку. Хотя признаюсь по секрету: пишу — верю, что Пиночет долго не протянет...

*Перевод с польского Э. ВЕНГЕРОВОЙ*

# ГОЛОСА КАНАДЫ

## Два комментария к проблемам, вполне современным

*Из сборника «Новые римляне: откровенные суждения канадцев о США», Эдмонтон, Канада, 1968 г.*

## МАРГАРЕТ ЛОРЕНС

*МАРГАРЕТ ЛОРЕНС — известная канадская писательница, автор романов и рассказов; по ее роману «Божественная ирония», удостоенному в Канаде премии за прозу, был поставлен фильм.*

### *Открытое письмо матери Джо Басса*

Я никогда не видела Вас. Мы никогда не встретимся. Не знаю, сколько Вам лет. Пожалуй, Вы моя ровесница — мне 41 год. Не знаю, сколько у Вас детей. У меня двое. Дочери 15, а сыну 12.

Вашему сыну тоже было 12 лет.

Мой мальчик родился в Гане. При родах не было врача. Мое состояние не внушало опасений, все шло нормально, поэтому ребенка принимала акушерка, уроженка Ганы, глава семьи, мать четырех детей. Ни один врач-мужчина не мог знать того, что знала эта женщина. «У тебя будет парень», — предрекала она в долгие часы ожидания. «Только парень может быть таким упрямым». Во время схваток она протягивала мне руки, чтобы я сжимала их, и я цеплялась за эти руки так, словно они были моей последней надеждой. «Скоро ты станешь матерью,— говорила она,— можешь поверить. Кто-кто, а я это знаю наверняка. Сама рожала». Она действительно знала. Я рожала без наркоза. Она приняла ребенка, положила его — мокрого, крохотного, в крови— на мой живот. «Что я тебе говорила?—сказала она.—Принимай своего парня. Вот он». Она была единственным свидетелем священного таинства — рождения моего сына. Ей также приходилось рожать, и она знала, что происходит. Она знала, что понять это может лишь тот, кто испытал эту боль.

Все эти двенадцать лет — тьфу-тьфу, не сглазить — моему сыну везло. Правда, пока мы жили в Африке, у него была малярия, и еще несколько раз в Канаде и в Англии он болел — ангиной и ветрянкой. И всегда я опасалась одного — меня бросало в дрожь при мысли, что с моими детьми может случиться что-нибудь плохое; я была готова пережить все что угодно, только не это.

Теперь мой сын гоняет без устали по окрестностям на велосипеде. По натуре он настоящий изобретатель, его игрушечная электрическая железная дорога оснащена сложными переключателями и замысловатой проводкой, которую он смонтировал своими руками; маленькие паровозы каким-то чудом подчиняются его команде. Пока что он окружен людьми, которые в основном относятся к нему доброжелательно. Это не значит, что он никогда не испытывал боли. Он представляет, что это такое, может быть, точнее, чем мне кажется. Но до сих пор ему удавалось справляться с ней самому.

Я видела Вашего сына, миссис Басс, только на фотографии в газете. Прочла о том, как вечером в Детройте ребята позвали его гулять. Это был неподходящий вечер для прогулки. Вашего сына застрелил полицейский. «Случайно»—как сообщалось в газете. «Случайный выстрел в шею». Полицейские целились в Билли Фарра, который выходил из винной лавки не с украденной пачкой денег в руках, а с шестью банками ворованного пива. Заметив полицейских, Билли Фарр побежал и был убит наповал. Но полицейские продолжали стрелять, и одна из пуль попала в проходившего мимо Джо Басса. Газеты не сообщали, выживет ли он и может ли вообще выжить ребенок после такого ранения. Двенадцатилетний негритянский мальчик.

Ваш сын был худощавым пареньком, чуть выше моего, но не такой крепыш. Он лежал на тротуаре с открытыми глазами. Мне кажется, он видел все вокруг и себя тоже. Он истекал кровью, рука, беспомощно откинутая в сторону, была в луже крови. Лицо не выражало ничего. Я долго смотрела на

эту фотографию. Потом отложила газету. Но не могла забыть это бесстрастное детское лицо. Лицо Вашего сына, лицо моего.

А потом я вспомнила другую фотографию в газете. Женщину из Северного Вьетнама. Только что стали применять новый, необыкновенный вид напалма. Я не разбираюсь в технических подробностях. Это самовозгорающееся вещество невозможно удалить с кожи. Оно прилипает к ней. На руках у женщины был двухлетний ребенок. Она пыталась отодрать что-то с его почерневшего от ожога лица. Я попробовала представить себе, что чувствовала эта женщина при родах своего ребенка. Казались ли они ей священным таинством?!

Миссис Басс, передо мной две фотографии. Я знаю, они не отражают всего, что происходит в Вашей стране. Знаю, что страна, в которой Вы живете, многолика. Американцы, которых я люблю, еще больше угнетены безумием, охватившим Соединенные Штаты. Я живу на Севере Америки и не могу оставаться в стороне. Я не могу говорить «они». Я обязана говорить «мы». Наверное, Вы знаете, кто враг. Возможно, враг — это я.

Однажды, тогда мне было 22 года, я написала стихи о своем отце, а может быть, о нашем кладбище, где над его могилой высечены слова: «Под этим камнем покоится мой отец, скончавшийся 10 лет назад; он так и не узнает, как не узнал его отец, каким проклятьем стал покинутый им мир». В то время мне не приходило в голову, что наступит день, когда я повторю те же самые слова, но не как ребенок, а как мать.

Я даже не могу уверенно сказать, кто виноват. Представление об ответственности стало слишком расплывчатым, и весь континент, если не целый мир, автоматически вращается, как гигантская мясорубка. Жернова мелют, но никто не хочет до конца осмыслить, что приводит их в движение. Живые люди погибают, и все больше стирается грань между этой подлинной трагедией и театральной гибелью надуманных, никогда не существовавших ковбоев.

Вымысел заглушает правду, так же как лианы оплетают деревья, губя их. И это выдается за правду жизни на экранах телевизоров.

Но в жизни все иначе. Вы знаете это, потому что пережили тот вечер, когда полицейские застрелили Вашего сына. Должен ли человек обязательно сам пройти через такие муки, прежде чем смысл происходящего по-настоящему дойдет до него? Все больше и больше я убеждаюсь, что должен.

Пятнадцать лет жизни я посвятила писательскому труду. Я верила, если вообще можно верить во что-либо, в силу слова. «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Большинство писателей верят, что, если мы хотим по-настоящему узнать друг друга и мир, в котором живем, мы должны общаться с помощью человеческой речи. Мы должны искать общий язык, потому что этот, пусть не вполне совершенный, способ общения — единственный доступный всем нам.

Я смотрю на фотографию Вашего двенадцатилетнего сына, лежащего в крови на тротуаре в Детройте. Не знаю, случись такое с моим сыном, ровесником Вашему, могла бы я и дальше писать романы, полагая, что именно этим следует заниматься? Не думаю, миссис Басс, что я могу ответить на этот вопрос.

Мне страшно за всех наших детей.

## ФАРЛИ МОУЭТ

*ФАРЛИ МОУЭТ — известный канадский писатель, прозаик и публицист. Его книги пользуются популярностью во многих странах, некоторые из них переведены на русский язык — «Люди оленьего края», «Отчаявшийся народ», «Испытание льдом», «Не кричи: волки!». В «Иностранной литературе» напечатаны главы из его юмористической книги «Лодка, не желавшая плавать» (№ 5, 1972).*

# *Письмо сыну*

Дорогой Сэнди,

недавно ты спросил у меня, зачем я трачу столько сил и энергии, сражаясь с американскими ветряными мельницами. Уловив в твоем вопросе долю сарказма, я ответил экспромтом, как обычно делаю это, выступая на телевидении: у канадца нет иного выхода — он вынужден противостоять притязаниям янки с тем, чтобы нам, как народу и как государству, не оказаться в утробе этого Орла и не исчезнуть с лица земли, оставшись на страницах мировой истории лишь в виде кучки экскрементов.

Казалось, можно было бы здесь и поставить точку. Но до сих пор этот проклятый вопрос не выходит у меня из головы. В конце концов я решил, поверь, это мне доставило мало радости, трезво пересмотреть

вновь все, что вот уже почти два десятилетия побуждает меня вести словесную битву с посягательствами Дяди Сэма. Неужели я просто-напросто попусту разбазаривал время? Боюсь, да простит меня Всевышний, что это именно так. Я потерял веру в то, что у нас есть хоть малейший шанс избежать полнейшего маразма и растления. Особенно обидно с таким опозданием осознать, что настоящей возможности ускользнуть из американских объятий у нас, собственно, никогда и не было, что мы, канадцы, настолько безнадежно поражены всеобщей готовностью оказаться использованными, поруганными, настолько заворожены своим амплуа «возлюбленных» Америки, что не только не мечтают о спасении, но с остервенением загнанных крыс готовы сопротивляться попыткам найти путь к избавлению.

Так что спрячь свою ироническую усмешку. Ты все это прекрасно понимал, не так ли? Что ж, жаль, что я прозрел поздновато. Господи, а ведь сколько людей пытались наставить меня на путь истинный! Джой Смолвуд, например, около года назад прочел мне целое отеческое наставление. «Соединенные Штаты получат все что захотят,— утверждал он.— И если мы не дадим им то, чего они хотят, они возьмут это силой. А претендуют они почти на все, чем мы располагаем».

Конечно, выразить суть такой откровенной «реальной политики» мог только матерый политикан, «съевший собаку» во всех хитросплетениях этой политики и стремившийся оправдать действия наших политических правителей, которые уже отдали янки почти все, что представляет хоть какую-либо ценность в нашей стране. Тем не менее точка зрения Джоя была благосклонно принята, поскольку те, кто властвует над нами («властвует», а не «управляет» — это понятие предполагает управление государством в сочетании с благородными устремлениями), исходя из своих собственных соображений, давным-давно продали нас. Может быть, они сразу поняли, откуда дует ветер, и, следуя своей сомнительной профессиональной практике, пошли по пути наименьшего сопротивления? Некоторые из них. Другие продавали нас преднамеренно. Когда-нибудь я расскажу тебе трогательную историю об одном из таких знаменитых торгашей — К. Д. Хау, о том, как он продавал нас с молотка. Хау, разумеется, намеревался продавать нас оптом и в розницу, всю страну. С тех пор мы заметно продвинулись в этом направлении. В наши дни каждая провинция пытается организовывать свою собственную распродажу, непосредственно конкурируя с продавцами из Оттавы. Не удивлюсь, если игру под названием «кто продаст больше и быстрее» вскоре подхватят муниципальные власти. Черт возьми, что я говорю? Это уже пройденный этап. Посмотри, с какой неистовой поспешностью бизнесмены и владельцы природных богатств Канады продают себя и то, что им принадлежит (говорю «им», а имею в виду «нам»), за ничтожные американские подачки.

С давних пор мне известно, на что способны политиканы. Моя наивность — если меня можно считать наивным — заключалась в неистребимой вере, что народ нашей страны не станет безмолвно потворствовать предательской продаже себя и своей страны за чечевичную похлебку. Я признаюсь, что ошибся, полагая, будто канадцы рискнут отказаться от подачек богатого Дядюшки и распрямить плечи. К этой истине мне еще предстоит приучить себя. Мы превратились в раболепствующую нацию по своей собственной воле.

Но бессмысленно оглядываться назад. Меня беспокоит будущее, поскольку будущее — это мир, в котором тебе предстоит жить, так что позволь сказать тебе несколько разумных слов...

Несмотря на недавнее заявление старого бедняги Лестера Пирсона, опубликованное журналом «Маклинз», в котором утверждается, что «Америка — наименее империалистическая держава в истории человечества» (клянусь богом, он выразился именно так!), в наше время янки правят громаднейшей империей, какую когда-либо знал мир. Как некогда сформулировал Генри Р. Люс (основатель двух самых популярных в Канаде журналов «Лайф» и «Тайм»), теперь мы, американцы, можем «полностью принять на себя права и обязанности наиболее могущественной и жизнеспособной державы на земле и, соответственно, распространять в мире всю силу своего влияния с такими целями и такими средствами, которые представляются нам наиболее приемлемыми».

В этом восхитительно откровенном заявлении, дополненном высказыванием Джона Фостера Даллеса: «Существуют два пути порабощения иностранного государства. Первый — завоевать его народ силой оружия. Второй — завоевать его экономику с помощью финансовых средств»,— выражена основная догма, которой руководствуется военная и политико-экономическая верхушка, управляющая США.

Усвоив суть этой догмы, ты без труда разберешься в истинном значении событий, происходящих в наши дни в Испании, Корее, Греции, на Формозе, Филиппинах, в Венесуэле, Доминиканской Республике и во всех других шестидесяти зависимых государствах, которые благопристойно именуются «партнерами» Соединенных Штатов. Обрати особое внимание на то, что большинством этих так называемых «партнеров» правят тоталитарные военные аристократические или политические хунты, стоящие в первую очередь на страже интересов прожорливого Орла, а не интересов собственных народов. Хунты, власть которых в большинстве случаев поддерживается Соединенными Штатами с помощью классических приемов: подкупа, шантажа, подрывной деятельности и вооруженного вмешательства.

Если все эти многочисленные доводы покажутся тебе чрезмерно сложными, подумай серьезно о Вьетнаме. Обрати внима-

ние, если осмелишься, на невероятное, ужасающее сходство между действиями Соединенных Штатов в этой маленькой отсталой стране и поведением Гитлера... Приняв во внимание те или иные доводы — желательно и те и другие,— подумай о том, что скрывается за притязаниями Соединенных Штатов, претендующих на роль величайшего защитника демократии. Демократии? Боже мой, это вызывает смех... Смех сквозь слезы, потому что совершенно очевидно: в наши дни Соединенные Штаты насаждают как во внутренней, так и во внешней политике самые разнообразные формы жестокости, захватничества, деградации личности и разрушения свобод, что по их же беспардонному утверждению якобы свойственно «чудовищу»-коммунизму.

Как ты думаешь, к чему я говорю все это? Я не хочу, чтобы у тебя оставались иллюзии, будто ты живешь в демократической стране, будто демократия защищает тебя. Ты, сын мой, раб, рожденный и вскормленный под эгидой Соединенных Штатов, и тебе, черт побери, лучше всего примириться с этим неумолимым фактом. Иллюзия демократии — это все, чем могут тешить себя ты и твое поколение. Ты должен признать, что суровая действительность, которую не способны замаскировать сладкоречивые разглагольствования торгашей, такова — ты раб, и не более того... Хозяин живет далеко на юге.

Ты должен отказаться от этих иллюзий, потому что, насколько я представляю себе, нет никакой гарантии, что привилегированное положение канадцев — «любимых рабов» останется неизменным. Недалек день, когда у янки исчезнет потребность нянчиться с нами,— мы будем полностью принадлежать им. И тогда мы вправе ожидать от них такого же гнета, под которым живет большинство народов, населяющих оба американских континента. Неуклонный рост тоталитаризма в самих Соединенных Штатах — зловещий признак: благие дни народа, продавшего себя в рабство, уже сейчас сочтены.

Запомни: человек, продающий себя в рабство, не может рассчитывать на благодарность своего хозяина, напротив, он вызывает его глубокое презрение. Мы, канадцы, полностью заслужили это презрение, а мудрый раб знает, что презирающий хозяин страшнее злобного.

Может быть, тебе следует подумать о политической карьере?

Хотя ты еще и не проявил необходимых способностей к двуличию, трусости, стяжательству и предательству, которые заменяют мораль в высших сферах, с опытом это может прийти. Политическая карьера — одна из немногих, которая позволит тебе, пока ты у власти, пользоваться привилегиями ренегатов и подхалимов.

Ты можешь также попробовать свои силы в бизнесе... Однако возможности бизнесмена весьма ограничены. Бизнес — святая святых. И поскольку подлинными хозяевами здесь являются граждане «Господина Соединенные Штаты» — возможностей для раба подняться к вершинам власти почти не существует. Но как политикан ты будешь находиться на службе Его Величества Бизнеса, а как ценный и доверенный раб удостоишься приличного обхождения и положения.

У тебя остается еще одна возможность: последовать примеру многих своих соотечественников и переселиться в Рим, не дожидаясь, пока морские пехотинцы придут за тобой. Для начала ты можешь добровольно стать под знамена Орла и тем самым обскакать тех представителей своего поколения, которые еще не осознали, что недалек тот день, когда сатрапы из Оттавы присоединятся к Австралии, Новой Зеландии и им подобным и направят своих новобранцев сражаться за интересы Америки. Поскольку в твоих венах нет негритянской, индейской, эскимосской или какой-либо другой сомнительной крови, ты сможешь заполучить тепленькое местечко подальше от рвущихся снарядов и обгоревших детей. В конце концов в качестве награды ты мог бы получить американское подданство, и хотя для этого тебе придется отказаться от всего, что, как тебя учили в Канаде, является лучшим в человеке, взамен ты получил бы нечто, чего был лишен до сих пор,— звание гражданина Соединенных Штатов.

Я предложил тебе лишь несколько возможных лазеек. Без труда ты сможешь отыскать еще что-нибудь в этом роде. Смысл в том, чтобы ты всерьез задумался над всем этим. Безотлагательно. У тебя и рабов, тебе подобных, времени остается в обрез. Самодовольные и близорукие, вы полагаете, что заключили превосходную сделку с добрым хозяином. Близок час, беспощадный и жестокий, когда вы узнаете правду, поймете цену своему предательству, предательству своей земли. И да поможет вам тогда бог, потому что никто другой не захочет сделать этого, даже если и смог бы.

*Перевод с английского В. ЛУГОВОЙ*

◆

## ТРАДИЦИИ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ

НИКОЛАЙ ФЕДОРЕНКО

# ЭСТЕТИКА ИКЭБАНЫ

Глубокая приязнь японцев к живым цветам, повсеместному и повседневному их использованию в виде украшения — одна из приметных национальных особенностей этого народа, связанная с исторически сложившейся в Японии системой духовных ценностей. Традиционное японское искусство аранжировки живых цветов — икэбана — известно теперь во всем мире. Это — язык цветов в их сочетаниях и красках.

Мало найдется стран, где бы люди испытывали такую чрезвычайную приверженность к растительному миру, какую мы видим у японцев. Искусство Флоры, богини цветов и весны в древнеримской мифологии, предстает в Японии своего рода культом цветов, который без преувеличения можно назвать одной из характерных черт жизни и быта этой страны.

Цветок — символ эволюции, постоянного превращения и развития. Эстетического перевоплощения. Давно замечено, например, сколь изысканна, художественна форма упавших в воду лепестков. Уродство видят японцы в бесформенности. Они прекрасно знают, умело выращивают и бесконечно ценят цветы своей земли, хотя привлекают их и цветы далеких берегов. Не без причины великий Басё в стихотворении «Моему ученику» говорит:

Путник в далекой стране!
Вернись, тебе покажу я
Истинные цветы[1].

[1] Басё Лирика М., Гослитиздат, 1964, стр. 88 (перев. В. Марковой).

Правда, следует напомнить, что у японцев, насколько нам удалось познакомиться с этим, существуют три предмета эстетического поклонения, три культа: цветов, луны, снега. Эти культы и их формы, выработанные укладом жизни в течение веков, ярко запечатлелись в поэзии, живописи, в языке. В этих символах действительность предстает как бы отражением чудесного.

Природа японских островов помогает почувствовать, понять: прекрасны цветы, луна, снег. Жизнь повелела: любоваться цветами в их смене, в нескончаемом чередовании соответственно времени года, любоваться луной в ночи полнолуния, особенно осенью, когда над Японией простирается, как там принято говорить, «ниппонбарэ» — «японская ясность», то есть ровное, однотонно чистое небо; любоваться снегом, когда он ложится на землю, словно ковер из цветов. В языке образовались понятия: ханами — «созерцание цветов», цукими — «созерцание луны», юкими — «созерцание снега». А самый обычный японский толковый словарь поясняет: «ханами» — смотреть на цветы и наслаждаться, испытывать радость, восторг. Употребляя для передачи многозначного слова «таносиму» соответствующий контексту иероглиф, хотят подчеркнуть, что включают в «таносиму» элемент, означающий «ле» («раку»)[1] — «веселье душевное», «усладу души». Укладом жизни выработана традиция торжественных

[1] Здесь приведены два чтения иероглифа.

трапез в часы любования цветами, что характерно для поэзии и эстетических норм быта и других дальневосточных народов.

Японцы создали глубоко самобытный культ природы, природы родных их островов, омываемых океаном. Именно в ней они искони находили постоянный и неиссякаемый источник всего мудрого и прекрасного, щедро питавший их национальное искусство.

Живая природа, естественное всегда служили для них ориентиром, высшим образцом, внушавшим чувство благоговейного почитания, которому японцев учат с детства.

Речь при этом идет не просто о защите природы, бережном и уважительном отношении ко всему живому на земле. Речь идет о защите и сохранении собственной души человека как высшего творения природы. Становление человека, формирование нравственных устоев и гражданственности начинается с юных лет.

Природа, как она изображается в лучших произведениях искусства, извечно нравственна, наделена мудростью, проникнута гармонией. Возведенные на острове Хонсю храмы Исэ — самые древние и почитаемые в Японии — посвящены синтоистскому культу, древней религии японцев, в основе которой лежит поклонение «силам природы и духам предков». Природу нужно не перекраивать и насильственно подчинять себе — учит эта религия. Нужно стремиться к ее постижению, с тем чтобы проникновение, познание это обратить на благо человека. Нельзя бездумно властвовать над природой, нельзя не следовать ее извечным законам.

Ф. Энгельс в свое время писал: «Не будем, однако, слишком обольщаться нашими победами над природой. За каждую такую победу она нам мстит. Каждая из этих побед имеет, правда, в первую очередь те последствия, на которые мы рассчитывали, но во вторую и третью очередь совсем другие, непредвиденные последствия, которые очень часто уничтожают значение первых» [1].

Наши дни приносят все новые свидетельства того, насколько злободневно и насущно звучит для нас это предупреждение.

Любовное отношение японского народа к цветам прекрасно выражено в поэтических строках Акахито, прославленного народного певца Японии первой половины VIII века:

Я в весеннее поле пошел за цветами,
Мне хотелось собрать там фиалок
душистых,
И поля
Показались так дороги сердцу,
Что всю ночь там провел средь цветов
до рассвета![1]

Мир цветов с их бесконечным многообразием красок и форм, их пленительной красотой, возвышенные чувства и благородные движения души, которые он внушает человеку, неизменно служили источником вдохновения для японских поэтов всех времен. Стихотворение Аривара Нарихира, поэта IX века,— один из образцов такой поэзии:

Я красотой цветов пленяться не устал,
И слишком грустно потерять их сразу...
Всегда жалею их,
Но так их жаль,
Как этой ночью,— не было ни разу![2]

Столь большой роли цветов в жизни японцев, несомненно, в значительной мере способствуют природные условия Японии. Мягкий морской климат, обилие влаги и солнечного тепла, благодатная почва позволяют японцам почти круглый год культивировать разнообразные цветы и декоративные растения. Цветоводство и садоводство приобрели в стране широчайшее распространение. Даже в крупных городах, в том числе в гигантском Токио, используется малейшая возможность, всякий клочок земли для разведения цветов и декоративных растений. В каждом японском доме, традиционном по стилю и типу постройки, непременно имеется так называемый «о-нива» — садик при доме.

Представьте себе рабочий пригород промышленного и торгового гиганта Осака. В этом пригороде люди живут в самом дешевом виде жилищ, называемых «нагая». Нагая — дом-цепочка, то есть вереница подведенных под одну крышу маленьких отдельных домиков-квартир. В каждом таком домике — одна-две комнатки, крошечная кухонька и, конечно, столь же крохотная «ванная комната» — помещение, способное вместить только ящик с горячей водой (японская ванна) и не более чем одного человека. Но одна из комнаток выходит в «о-нива» — садик размером с письменный стол. Значит, есть цветы — либо в земле, либо в горшках.

Собственно говоря, «нива» — просто сад, двор, но сердце японца не допускает обозначения этого маленького пространства «номенклатурным определением», языковой регистрацией; он хочет вложить в обозначение и кусочек своей души. Поэтому он и говорит: не «нива», а «о-нива». Что такое это «о»? Прозаическая грамматика ответит: «о» — «пре-

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 20, стр. 495—496.

[1] Японская поэзия. М., Гослитиздат, 1956, стр. 44 (перев. А. Глускиной).
[2] Там же, стр. 114.

фикс почтительности, ласкательности, уменьшительности». Значит, это не «сад», а «садик», «садочек» — что-то милое сердцу.

Много внимания и усердия вкладывают японцы в выведение новых интересных разновидностей цветов, усовершенствование их формы и окраски, улучшение сорта. Японские цветоводы стремятся к тому, чтобы цветы росли и цвели непрерывно в течение всех четырех сезонов года и чтобы при этом не нарушался определенный рисунок, ковер, сотканный самой природой из самых красивых форм и расцветок и их сочетаний.

Неудивительно поэтому, что на всей территории этого островного государства, в самых различных его районах, в городах и сельских местностях — всюду наблюдается поразительное богатство и разнообразие цветущих растений. Часто можно встретить образцы необычных, поистине экзотических сортов, очертаний, красок и оттенков растений — нередко очень крупных и даже огромных размеров.

■

Среди самых распространенных цветов Японии следует прежде всего назвать столь же утонченные, сколь и многообразные виды «золотого цветка» — хризантемы: летней, осенней, зимней, от мелких, «ординарных» размеров до необычно крупных, махровых. Это изумительное растение, принадлежащее к семейству сложноцветных, имеет роскошные, пышные цветы разной, часто самой неожиданной, окраски. Хризантема является традиционным цветком и украшает официальную государственную эмблему Японии.

К хризантеме, чаще чем к любому иному цветку, обращались японские художники, создатели живописных полотен, с неповторимым художественным совершенством запечатлевших облик этого благородного растения. Японская литература полна прекрасных образцов поэтического творчества, воспевающего хризантемы. Вот небольшое стихотворение, принадлежащее Томонори, поэту японской древности:

Как тает иней, павший на цветы
Той хризантемы, что растет у дома,
Где я живу,
Так, жизнь, растаешь ты,
Исполненная нежною любовью![1]

Тонко по настроению и своеобразно по поэтическому видению стихотворение Сугавара, писавшего в далекие дни японской старины:

Те хризантемы белые, что там
Колеблемы вдали приморским ветерком,
Все кажутся глазам
В осенний день
Прибрежною волной, а не цветком![2]

[1] Японская поэзия, стр. 152 *(перев. А. Глускиной)*.
[2] Там же, стр. 142.

В Японии, в отличие от европейских стран, широко культивируются не только осенние хризантемы, но и летние. Японские и китайские цветоводы сажают хризантемы разных сортов и оттенков с тем, чтобы их цветение не совпадало, а продолжалось нескончаемой чередой. Отцветают одни хризантемы, зацветают другие, но чем ближе к осени, тем сочнее краски и обильнее лепестки. В больших городах устраиваются выставки хризантем. А возле императорского дворца, на обширных пространствах дворцового о-нива, который тут зовется «гё-эн» — «парк», осенью, в разгар цветения хризантем, устраиваются пышные приемы в саду, для избранных гостей, разумеется.

По сравнению с самочувствием обитателя «нагая» разница, конечно, огромная! Одно — сидеть в одиночестве в малюсенькой клетушке и смотреть на крошку-садик с единственным кустиком хризантем; другое — бродить чинно в разряженной толпе, да еще в присутствии «высочайших особ»... Недаром тут уже не о-нива, а царственный парк, императорские угодья...

Японский сад поражает разнообразием расцветок и очертаний растений: темно-вишневые, белые с золотой сердцевиной, светло-голубые, терракотовые, бело-розовые с висячими, трубчатыми, вогнутыми, игольчатыми лепестками. А цветоводы продолжают создавать все новые виды хризантем, добиваясь невиданной прежде формы, оттенков и даже размеров. Нынешняя хризантема — плод многовековой работы селекционеров, поразительно, фантастически облагородивших полевую ромашку.

Наибольшей силы и яркости цветение достигает в сентябре, когда распускаются десятки и сотни видов хризантем. Медленно накаляется этот огонь красок и так же медленно гаснет. Уже потянули северные ветры, уже окрестные леса стали желто-красными, потом бледно-серыми и темными, а на клумбах рдеет пламя хризантем, будто распушенное ветром на множество язычков...

Мне вспоминается день, когда мы посетили большой цветник в окрестностях Камакуры, раскинувшийся на огромном лугу, окруженном невысокими горами. Каждый вид цветов имел свою делянку. Лето было в разгаре, а многие сорта еще не были высажены в открытый грунт. Некоторые, возможно, так и останутся в горшках и кадках. Это иногда облегчает уход за растениями. Кадка лучше удерживает влагу. Интересно отметить, что даже в таком крупном цветнике, как камакурский, где хризантемы занимали значительную территорию, каждый вид был представлен лишь немногими экземплярами.

Нам сообщили, что цветник в Камакуре располагает примерно тысячью видов

хризантем. На больших осенних выставках хризантем, ежегодно устраиваемых во многих городах Японии, демонстрируются все новые виды.

По литературным данным, хризантемы были вывезены в Европу в XVII столетии, а в Японии они выращиваются с VII века. Лишь лотос и бамбук могут соперничать с хризантемой в популярности. Нет, кажется, цветка, который воодушевил бы поэтов на такое множество стихов, а художников на такое обилие картин, как хризантема. Хризантемы на Дальнем Востоке не только декоративные растения. Их лепестки, обладающие чудесным медвяным запахом, примешиваются к ароматным сортам чая, на них настаиваются наливки и вина. В Киото и других городах мне приходилось видеть красивых, цветастых кур, названных различными сортами хризантем.

В Камакуре мы были в начале лета и не видели осенних хризантем, зато летние были нам показаны во всем их богатстве и пышности. При взгляде на хризантему трудно поверить, что этот нежный цветок так неприхотлив. В Камакуре редки морозы, но когда они случаются, хризантемы не только выживают, но и продолжают цвести. Греки называли хризантему златоцветом, и это название точно передает золотистое сияние цветка, окруженного снежно-белой короной лепестков. В древности росли только золотистые хризантемы,— не перестаешь дивиться тонам и оттенкам, которые приобрели они в позднейшие времена: розовые, медно-бронзовые, кирпично-красные.

Как в Камакуре, так и в других местах Японии нам показывали редкие экземпляры хризантем — достопримечательность местного цветоводства, его драгоценное сокровище. Нам много рассказывали о методах выведения красных и других хризантем, отличающихся крупными размерами. Перед нами открылись секреты выращивания так называемых плакучих хризантем, или каскадного цветка, который действительно создает впечатление потока, каскадом обрушивающегося вниз. Не скрою, мы были потрясены тем, что люди, занятые тысячью больших и малых дел, находили возможным в свободное время поддерживать культуру древнего цветка, да и, видимо, делали это с величайшей охотой. И нам не однажды приходилось убеждаться, что здесь находит свое выражение извечное стремление человека к красоте, его желание сделать окружающую жизнь совершеннее. В этом, казалось бы незначительном, факте мы почувствовали стремление людей взять от природы прекрасные ее дары, умножить и обогатить саму природу, все то живое, что радует и волнует душу человека.

Кто долго жил в Японии, тот не мог не заметить, что в этой стране трудно найти человека, который не любил бы живых цветов. Любовь эта поистине заложена в глубинном мироощущении японцев. Она является выражением их эстетических взглядов, их художественных вкусов. Она нашла свое воплощение в произведениях национальной живописи, которой присуща удивительная художественная убедительность, эмоциональная действенность. Живые цветы были всегда одним из излюбленных сюжетов японских художников, авторов знаменитых мозаик и фресок, резчиков по дереву и яшме. С древнейших времен в сознании японского народа любовь к цветам ассоциировалась с мыслями о прекрасном и возвышенном, с устремлениями к лучшей, совершенной, гармоничной жизни, к торжеству жизнетворных сил.

Цветы — постоянный сюжет японской живописи. Конечно, не всей. Речь идет об определенном направлении в искусстве, имеющем специфическое обозначение — «цветы и птицы». Достаточно увидеть эти два иероглифических знака, как перед вашим взором сейчас же предстанут многочисленные работы этой тематики. Европейцы часто считают их чисто декоративными. Они не совсем точны: эта живопись стала декоративной со временем, но в пору своего возникновения и расцвета она имела не только декоративное назначение. Формула «цветы и птицы» дает ключ к этому искусству: птицы изображаются с ярким оперением, с фантастическими хохолками, с причудливо изогнутыми хвостами; цветы — вместе с ветвями, рисунок воспроизводит кресты и линии. Перед нами — мир, свой, особый мир: мир красок, линий и форм. Прибавьте к этому самое существенное — тот сокровенный смысл, который японцы открывают в цвете, линии и форме. Одни — сознательно, через философию, другие — бессознательно, интуитивно, через привычную, давно сложившуюся эстетику.

■

О большом внимании японцев к цветам и их роли в духовной жизни людей свидетельствуют уже самые ранние литературные, в частности поэтические, японские источники. И не только японские. Здесь следует отметить роль древней китайской культуры в становлении культурной традиции Дальнего Востока. Так, в народных песнях древнейшего китайского поэтического памятника «Шицзин»—«Книги песен», широко известной также и в Японии, цветы являются одной из любимых тем. Значительное место занимают мотивы живых цветов в других произведениях китайской литературы — «Чуских строфах», пользующихся популярностью и в Японии. О цветах говорится в одной из древнейших песен — «Поклонение душе» — из цикла «Девять напевов», созданного родона-

чальником китайской поэзии Цюй Юанем (340—278 гг. до н. э.):

Весной цветут орхидеи,
Осенью—хризантемы.
Так и обряды наши
Тянутся чередой[1].

Замечательно, что упоминание о хризантемах, быть может еще не культивированных, а диких, содержится в литературных записях седой старины. Судя по «Таблицам хризантем», составление которых относится к X столетию, их уже тогда насчитывалось до семидесяти различных видов. Именно хризантемам, которые, по меткой характеристике японцев, «способны бороться с дыханием осени и сединами зимы», посвящены вдохновенные строки многочисленных поэтических произведений, об этих цветах сложено множество преданий и сказок.

Выдающемуся китайскому писателю XVII века Пу Сун-лину (Ляо Чжай) принадлежит замечательная новелла, где рассказывается о любителе цветов по имени Мао Цзы-цай, в семье которого секрет выращивания хризантем передавался от отцов к детям. Мао Цзы-цай стал страстным цветоводом. Услышит, бывало, что где-то появился новый сорт хризантемы,— ему и тысяча верст не страшна, тотчас же в путь, только бы достать редкостный цветок. Как-то Мао Цзы-цай отправился за хризантемой в город Наньлин и повстречался в пути с юношей по фамилии Тао, который владел искусством выращивания хризантем. Выброшенные другими, хилые растения быстро расцветали и давали начало новым сортам, как только попадали в волшебные руки Тао. Вскоре Мао Цзы-цай женился на старшей сестре Тао, по имени Хуан-ин, обе семьи породнились. Однажды Тао, выпив лишнего, упал на землю и тотчас превратился в куст хризантем. Лишь на следующий день к нему вернулся его прежний облик. Но вскоре Тао, вновь сильно захмелев, превратился в огромный куст хризантем, и на сей раз человеческий образ к нему уже не вернулся. Хуан-ин была в отчаянии, и горьким слезам ее не было конца. Посадив куст в землю, она стала усердно за ним ухаживать, обильно поливать. И, к ее крайнему изумлению, осенью на нем распустились розовые цветы, испускавшие пьянящий аромат. Так родился новый сорт хризантемы, названный «пьяный Тао». В названии этом двойной смысл: великий китайский поэт Тао Юань-мин (365—427) «любил хризантему» и пил вино с лепестками хризантемы.

Китайские цветоводы, трудясь из поколения в поколение над выведением новых разновидностей хризантем, давали им названия одно поэтичнее другого. Здесь и «летающий золотой мотылек», и «благодатный снег — предвестник урожая», и «к солнцу обращенная заря», и «яшмовая чарка с развевающейся лентой», и т. д. и т. п. Так совершенный контур, утонченная форма, создаваемая природой при активном содействии человека, соединялись с живым эмоциональным словом, поэтическим образом: на протяжении веков здесь находило свое выражение одно из проявлений идеалов прекрасного, образное раскрытие эстетического начала в жизни народа.

В этой связи интересен диалог героев книги Кавабата Ясунари «Стон горы», в котором раскрываются черты их характеров, вкусов, их видение природы:

«— Что это за цветы? Колокольчики?

— Нет, черные лилии...

— Черные лилии?

— Да, мне их принесла подруга, она обучает чайной церемонии...

— Неужели это и есть черные лилии? — не переставал удивляться Синго.

— Подруга рассказывает, что, когда в государственном музее... устраивалась недавно чайная церемония, там стояли черные и белые лилии — это было очень красиво. Они стояли в старинной бронзовой вазе с узким горлышком...

Синго смотрел на черные лилии. Их было две, и на каждом стебле по два цветка.

— Этой весной не меньше одиннадцати или даже тринадцати раз шел снег.

— Да, часто шел.

— Ранней весной, когда... еще лежал глубокий снег. И в такую пору черные лилии — просто удивительно. В горах, наверно, нарвали.

— Цветом они немного похожи на черную камелию...

Кикуко налила в вазу воды.

— В этом году в годовщину Рикю были выставлены его предсмертные стихи и меч, которым он сделал себе харакири.

— Что ты говоришь? Твоя подруга преподает чайную церемонию?

— Да. В конце войны у нее погиб муж... Она еще при нем часто устраивала чайные церемонии, и теперь это ей пригодилось.

— Какой же школы она придерживается?

— Школы муся-но кодзи...

Кикуко замерла в ожидании, чтобы поставить цветы в вазу, как только Синго выпустит их из рук.

— Они, видимо, так и растут, низко опустив головки, это не оттого, что начали вянуть.

— Да. Я ведь их сразу же поставила в воду.

— У колокольчиков головки, по-моему, низко опущены.

— Что?

— Мне кажется, эти цветы мельче, чем колокольчики, а?

— Пожалуй, мельче.

— Сначала они кажутся совсем черными, но на самом деле они не черные, а темно-фиолетовые с густым бордовым оттенком. Ладно, завтра днем рассмотрю их получше.

[1] Цюй Юань. Стихи. М., Гослитиздат, 1954, стр. 66.

— На солнце они кажутся красновато-сиреневыми.

Цветы, хотя и совсем распустились, не достигали и трех сантиметров. У них было по шесть лепестков, пестик трехпалый, тычинок — четыре или пять. Листья, обращенные в четыре стороны, равномерно покрывали весь стебель несколькими ярусами. Они были маленькие, в три, три с половиной сантиметра длиной. Синго понюхал цветок» [1].

Умение видеть природу, понимать ее, умение разговаривать с ее творениями. Но разве мы встречаемся с этим только у японцев, только в книгах Кавабата? Выше речь шла о Китае.

Здесь же уместно вспомнить, что, скажем, в поэзии Дайвьета (средневекового Вьетнама) идея обновления жизни, смены времен часто ассоциировалась с чередованием цветения и увядания различных, строго определенных цветов, составлявшим в целом как бы некий календарь. Обряд любования цветами был составной частью многих традиционных праздников вьетов, а умение составлять букеты и украшать цветами дворы и интерьеры считалось высоким искусством.

Не об этом ли идет речь, скажем, в очерке «Цветы и мороз» В. Бочарникова из деревни Нелидово Костромской области, помещенном в рубрике «С любовью к природе» газеты «Правда» 21 октября 1976 года? Разница здесь, как гласит японская пословица, не толще острия лезвия. Привожу текст:

«Изба остудилась за ночь. Проснулся рано, вышел на крыльцо, а оно белое, хрусткое. И всю траву будто обсахарили за ночь. Глянул с угора на Зайцевское поле, а там вместо теплых желтых ржаных ножен серебряный холодок: постарался мороз.

Поднялось солнце и стало теснить, выживать мороз. Опять зазеленела трава, приветливо осветилось небо. И только там, где была тень — от леса, от скирд соломы, от холма, — мороз студено-цепко держался. И у самой границы тени, рядом с белым жестким инеем, можно было видеть цветущую ромашку и василек, белую кашку и желтые горошины пижмы. Были рядом зима и лето».

Здесь — запечатленное мгновение. Мгновение чуда в природе. И в этом — истинное соучастие человека в бытии окружающего мира, глубокая его приязнь к природе.

Необыкновенно описание встречи с саранкой в романе В. Астафьева «Царь-рыба»: «...я сломил пучку, зубами содрал с нее жесткую кожу и жевал сочный побег, прыгая с камня на камень, как вдруг при выходе из завала, средь наносного хлама, пробитого там и сям пыреем, мятлицей, трясункой и всякой разной долговязой травкой, увидел лилию — яркую-яркую и в то же время как-то скромно и незаметно цветущую среди кустов и прибрежного разнотравья.

— Саранка! Саранка! — себя не помня, заблажил я и чуть не свалился с камня в ледяной поток.

Саранками в наших местах зовут всякую лилию. Самая среди них распространенная — высокая, с кукушечно-пестным пером сиреневого или сизого цвета. Лепестками ее, маслянистыми, скатанными в стружку, мы в детстве наедались до тошноты. Есть высокогорные, будто чистой, детской кровью налитые и в то же время ровно бы искусственные саранки, но это то самое искусство, которое редко случается у человека — он непременно переложит красок, полезет со своим потаенным смыслом в природу и нарушит естество своею фальшью.

Я стал на колени, дотронулся рукою до саранки, и она дрогнула под ладонью, поклонилась мне или теплу, исходившему от человеческой руки. Красногубый цветок, в глуби граммофончика притушенный бархатисто-белым донцем, засыпанным пыльцой нежданно теплой на взгляд изморози, напоминал сказочно цветущий кактус из заморских стран.

— Да как же тебя занесло-то сюда, голубушка ты моя ясная?

И здесь, на первобытно пустынном берегу реки, я смущен был собственной нежностью, хотел перед кем-то оправдаться.

Я бережно отнял лилию от луковки, чтоб на будущий год из земли снова взнялся цветок, и она насорила мне на руки белой крупки, один стебелек цветка чуть подвял, сморенно обвалился. Я бережно опустил саранку в пузырящийся поток, неподалеку от того места, где рыбачил, и вынесенная из приурманной темени на свет, тепло, опущенная в живительную, снежную воду, лилия открылась во всю ширь, будто тихая душа, освещенная яркой любовью, и бешеный поток, чудилось мне, заметно поголубел, усмирился, лаская лилию живой водою, трепетно прикасался струями к алому цветку, шевелил бледные тычинки, на которых едва приметными мушками лепилось три коричневых семечка.

Я перелистал потом справочники-травники и всякого рода пособия, но нигде не отыскал подобной саранки. Встретилось в одном атласе под названием «даурская лилия» что-то похожее на нее, и я уж решил, что больше никогда такого цветка не увижу, но однажды на юге в ухоженной курортной клумбе засияла мне приветливо туруханская лилия. «Валлота прекрасная» — было написано на табличке. Бог знает, какими долгими путями добиралась в туруханские дебри южная «Валлота», утрачивая в пути горластую роскошь, назойливую яркость. Но, может, все наоборот? Может, неж-

[1] «ИЛ» № 10, 1973 г., стр. 127—128.

НИКОЛАЙ ФЕДОРЕНКО
ЭСТЕТИКА ИКЭБАНЫ

ный северный цветок спускался на юг по рекам и морям, подхваченное бурями, летело его семя, обретая в долгом пути имя, накаляясь от жаркого красного солнца? Перекалило цветок напористым солнцем, южная ночь слишком грузно наваливалась на него чернотой, и потому лилия была жесткой на вид, ломка лепестками и напоминала скорее вареного рака, а не цветок. Лишь в середке лилии, в углублении граммофончика затаенно белела первозданная сердцевина, застенчиво освещая донышко цветка. Наружу, без опаски, с вызовом высовывались семена — не два, не три — целый пучок семян, переполненных грузом плоти, изнемогшей в раскаленном нутре, спешащих скорее оплодотвориться и упасть на землю.

Туруханскую лилию не сажали руками, не холили, не поливали из шланга хлорированной водой. Наливалась она студеным соком вечных снегов, нежили ее туманы, бледная ночь и незакатное солнце согревали и стерегли ее уединение. Она никогда не знала темной ночи и закрывалась, храня семя, лишь в мозглую непогоду и в предутренний час, когда катила с белых гор леденящая стынь и близкий угрюмый лес дышал знобящими туманами» [1]

Знаменательно, что воспитанию эстетического чувства, пониманию прекрасного, выработке морально-этических принципов нового человека придавалось у нас серьезное значение с первых шагов создания советской педагогики, несмотря на материальные лишения той поры, нужду и разруху. Коллектив надо украшать и внешним образом, подчеркивал один из вдохновенных воспитателей-коммунистов А. С. Макаренко. Поэтому даже тогда, когда их коллектив был очень беден, первым долгом всегда строил оранжереи, и не как-нибудь, а с расчетом на гектар цветов, как бы дорого это ни стоило. И обязательно розы, не какие-нибудь дрянные цветочки, а хризантемы, розы... это очень важно.

■

Большой любовью пользуются в Японии цветы-деревья. Здесь прежде всего надо назвать знаменитую японскую вишню — сакуру, увековеченную японской поэзией и наиболее широко отображенную в живописи самых различных эпох. Цветы сакуры, появляющиеся на голых изогнутых ветвях вишни весной, встречаются простые и махровые, нескольких цветов и оттенков, в том числе розового, кремового, желтого В период цветения сакуры каждый японский дом украшается ее прекрасными ветвями, которые ставят обычно в изящные фарфоровые вазы или специальные цветочницы.

[1] В. Астафьев. Царь-рыба. Журнал «Наш современник» № 5, 1976 г., стр. 85.

«Сакура видна по цветам», и японцы часами любуются прелестью весеннего дня, когда на ветвях сакуры раскрываются белые и желто-розовые бутоны. Народный обычай любоваться цветущими вишнями воспет в многочисленных творениях японской поэзии. О захватывающем зрелище цветения сакуры, заставившем, например, остановиться знатного всадника и его блестящую свиту, говорится в чрезвычайно емком, хотя и миниатюрном по размеру, стихотворении поэта Исса (1763—1827), в произведениях которого звучит живая, образная речь, задушевная лирика и тонкая ирония:

Как вишни расцвели!
Они с коня согнали
И князя-гордеца[1].

В другом стихотворении Исса воспевается поэтическая тема душевной дружбы, уз братства, навеянная цветением сакуры:

Чужих меж нами нет!
Мы все друг другу братья
Под вишнями в цвету[2]

В солнечные дни ранней весны жители японских городов стремятся попасть в парк или сад, и часто можно видеть, как толпы зачарованных людей, стоя, часами любуются белым или розоватым облаком цветущей сакуры. Не случайно это поклонение цветам отозвалось в особом понятии «кансё» (китайское слово, пришедшее в японский язык): оно означает «взирать», «созерцать», «наблюдать», «не сводить глаз». Не сводить глаз и видеть прекрасное! «Слива цветет — запах хорош, вишня цветет — глаз не оторвешь»,— гласит японская пословица.

Здесь, как перед живописным полотном, нужно отступить на несколько шагов от предмета любования, чтобы увидеть его пропорции, охватить взглядом живую картину всю целиком. Многих в эти радостные часы влекут уединенные места, горные выси, заповедные уголки девственной природы, где их воображение может быть взволновано внезапно открывающейся взору красотой. Именно таким настроением проникнуто короткое стихотворение в классическом жанре хокку, написанное поэтом Кито:

Идешь по облакам,
И вдруг на горной тропке
Сквозь дождь — вишневый цвет![3]

С темой цветения сакуры в японской поэзии органически сплетены мотивы интимных чувств, любовная лирика. Прекрасным образцом такой поэзии является стихотворение поэта японской древности Цураюки:

Как сквозь туман вишневые цветы
На горных склонах раннею весною

[1] Японская поэзия, стр. 245 (перев. В. Марковой).
[2] Там же, стр. 242 (перев. В. Марковой).
[3] Там же, стр. 219 (перев. В. Марковой).

Белеют вдалеке,—
Так промелькнула ты,
Но сердце все полно тобою![1]

С большой силой выразительности передает настроение восторга, охватившего поэта перед волшебством не только цветения, но и увядания цветов сакуры, другое короткое стихотворение Цураюки:

Туман весенний, для чего ты скрыл
Те вишни, что окончили цветенье
На склонах гор?
Не блеск нам только мил —
И увяданья миг достоин восхищенья![2]

Нигде, вероятно, не существует столь своеобразного и едва ли не всенародного культа, как культ цветов сакуры в Японии. Ветка сакуры, которая символизирует богатство и своеобразие растительного мира страны, пожалуй, полнее всего отображает эстетические вкусы японского народа. Среди разновидностей сакуры особое место занимают цветы горной вишни — ямадзакура. В этом слове японец, воспринимая его как целое, слышит в то же время и составляющие его элементы: яма — гора, сакура (в соединении: «дзакура») — вишня. А горы, вишневые деревья, цветы и есть в глазах японца олицетворение Ямато — Японии. Название Ямато по своему настроению близко к тому, что для русского содержится в имени Русь.

Известный японский ученый и поэт XVIII столетия Мотоори Норинага не без гордости провозгласил в одном из своих стихотворений:

Если люди спросят,
В чем душа Ямато,—
Распростертых в море дальних островов,
Ты им покажи цветенье горных вишен
При восходе солнца, в утренних лучах!
*(Перевод А. Глускиной)*

С большим искусством и вкусом украшают японцы свои дома, квартиры, места работы и отдыха. Японский толковый словарь дает следующее объяснение слова «икэбана»: «Икэбана — искусство ставить цветы и ветки в сосуды для цветов». Особое умение состоит в том, чтобы правильно выбрать место для цветов и декоративных растений, подобрать неповторяющееся сочетание оттенков и очертаний различных цветов, подобрать соответствующую им вазу или цветочницу. Это скорее не вазы и цветочницы, а «сосуды для цветов». Ими могут быть бронзовая чаша на резной орнаментированной фигурной деревянной подставке; медный различной формы кувшин или треножный сосуд; срезанное коленце бамбука, полое, но с перемычкой, что дает возможность наливать в него воду; плетенка, корзиночка — разных форм, из тонких пластинок бамбука, из пропитанных темным (вишневым, коричневым, черным) составом лент из дерева. И реже всего — стеклянная ваза... Впрочем, теперь в Японии попадаются и пластмассовые вазы... Как не без горечи замечают японцы, падению вкуса предела нет...

В искусстве декорирования живыми цветами существует ряд художественных идей и эстетических норм. Оно имеет свои школы и течения, отличающиеся друг от друга и принципами, и приемами. Сведущему человеку достаточно взглянуть на то, как поставлены цветы и ветки, и он тотчас определит, к какой школе или направлению относится автор этого украшения. Цветы и растения располагаются в подходящем для них обрамлении и окружении. Чаще всего цветы помещают в вазу по одному или по два, а не в виде больших букетов. Еще реже встречаются букеты цветов на столе или в залах. Японцы считают, что один-два живых цветка со стеблями и листьями в соответствующей обстановке с эстетической точки зрения могут выражать больше, чем несколько цветков или даже целая охапка. Вообще эти композиции из цветов и веток, а нередко из одних веток далеки от наших букетов. И по виду, и по идее, и по функциям в быту, в жизни человека. Каждый цветок или веточка, на взгляд японцев, имеют определенное значение. Здесь заключена целая философия. Часто, например, высокая веточка означает небосвод, средняя — человека, а самая низкая — землю. Такое соединение трех веток или одну ветку с особо расположенными отростками именуют «триадой» — «небо, земля, человек»,— глубоко уходящей корнями в духовную жизнь народа, в его философию. Эта знаменитая триада восходит к древнейшей сокровищнице мудрости, канону «Ицзин» — «Книге перемен», самому удивительному трактату китайской древности. Возникновение первоначального текста «Ицзина», как о том свидетельствуют научные источники, относят к XI—VII векам до н. э. Его основные положения складывались из опыта древних прорицателей. В процессе своего формирования «Книга перемен», отобразившая систему взглядов, мировоззрение своей эпохи, обрастала многочисленными комментариями и толкованиями, приобретала философское значение, а затем превратилась в конфуцианский канон этико-политического характера. Главная мысль, которой проникнута «Книга перемен», утверждает принцип изменчивости всего сущего, всех вещей и явлений, первоисточниками которых выступают земля и небо. При этом сам процесс непрерывно происходящих изменений объясняется как вечная коллизия, столкновение и взаимодействие противоположных сил, космических сил «Ян» — света и «Инь» — тьмы.

[1] Японская поэзия, стр. 121 (перев. А. Глускиной).
[2] Там же, стр. 119 (перев. А. Глускиной).

НИКОЛАЙ ФЕДОРЕНКО
ЭСТЕТИКА ИКЭБАНЫ

«Книга перемен» породила огромную литературу с множеством различных точек зрения на этот памятник, пленяющий своей мудростью и загадочностью. Одним из наиболее интересных трудов, созданных в связи с «Ицзином», является трактат неизвестных авторов под названием «Си цы чжуань», относящийся к X—III векам до н. э. В нем делается серьезная попытка аналитического подхода к содержанию «Книги перемен», философского ее осмысления. Именно в этом трактате получает свое толкование знаменитая триада: «Небо — вверху, земля — внизу, между ними — человек». Три начала бытия, три его ипостаси, три мира, три сферы жизни — равноценные, равнозначные. Они в вечном единстве, и в то же время каждая из них сама по себе. Они нераздельны и в то же время неслиянны. Вот о чем говорит эта незатейливая ветка, если отростки на ней расположены так, как нужно, осмысленно. Здесь философия и эстетика.

Пусть современный обыватель ничего не знает о «Книге перемен» или трактате «Си цы чжуань», кроме названия; пусть он даже не соотносит эти названия ни с чем, кроме соответствующих иероглифических знаков, которые он видит на вывесках оракулов,— все равно смутная идея триады бытия, жизни живет в нем, вложена в его сознание предшествующими веками.

Иногда цветы помещают на изящной подставке на фоне стены определенного цвета. Нередко цветы и декоративные растения комбинируются с предметами старины, произведениями искусства и ремесла, каллиграфическими свитками или художественными панно, расписными экранами. Эти предметы, высоко ценимые в Японии, как правило, бывают небольших размеров и отличаются необычайной тонкостью работы. Любовь к миниатюрности — характерная черта эстетики японцев. Собственно, не столько, быть может миниатюрность как таковая, а то, что скрывается, содержится в ней: стремление к предельной экономности формы при полноте образа, всех его деталей. Несомненно, что искусство применения живых цветов в декоративных целях, как и каллиграфическая живопись, как образы национального зодчества, оказывает воздействие на духовную жизнь японского народа, обогащая и углубляя его эстетическую восприимчивость, воспитывая в нем любовь к истинно прекрасному, совершенствуя его способность наслаждаться прекрасным в жизни и искусстве, в многообразных формах его проявления.

У японцев сложились самобытные взгляды на вещи, свои эстетические воззрения, свое ощущение прекрасного, свое понимание законов красоты. Скажем, симметрия, предполагающая такое расположение точек или частей предмета в пространстве, при котором одна половина является как бы зеркальным отражением другой, обычно ощущается нами как гармония и соразмерность; с точки зрения японцев, она представляет эстетическую ценность лишь в том случае, если обнаруживается не в простом и привычном, а в необычном, незакономерном, «неправильном» объекте. Такое понимание японцами симметрии наблюдается во многом, можно сказать — во всем: в расстановке и подборе цветов, декоративном оформлении жилища и других помещений и т. д. Следует напомнить, что эти принципы ощутимы и при постройке японского дома — в архитектурных решениях пространства, расположении плоскостей и контуров. Нам довелось видеть превосходные образцы их осуществления в эстетике японского жилища. Правда, далеко не всем жизнь позволяет им следовать, хотя каждый к этому и стремится.

То же можно сказать и о манере оформления японцами обряда принятия пищи, украшения блюд и сервировки стола. Если у европейцев обеденный или чайный сервиз состоит обычно из однотипных предметов, поскольку единообразие посуды на столе ощущается нами как один из важнейших элементов ее красоты, то на японском столе, напротив, можно заметить обратную картину: блюда и тарелки несходны по расцветке и выработке, неодинаковы по форме и типу. Такое смешение и разнобой, отсутствие единой нормы не только не претят вкусу японцев, но, наоборот, больше отвечают их эстетическому чувству, как свежее и колоритное проявление гармонии форм и линий, создающих своеобразный художественный порядок, свои особые соразмерности, неожиданные пропорции. Материал, фактура, декор посуды — все должно отвечать не только характеру, но и форме и размещению пищи, которая на этой посуде подается.

Высокое и прямое дерево или иное растение, ветви или листья которого расходятся равномерно во все стороны скудно или пышно, считается обычно стройным и красивым. Однако для цветочного украшения предпочтение отдается не прямому и ровному, а изогнутому и скрюченному растению с одной или двумя оторванными ветками, с частью удаленных листьев, и хотя при этом равновесие его формы как бы нарушено, а очертания могут поначалу показаться непривлекательными, это, однако, считается интересным и даже красивым

В каждом японском доме в одной из комнат, где обычно принимают гостей, устраивается так называемая «токонома» — нечто вроде ниши или алькова Токонома — самое главное и почетное место в доме. Тем не менее она находится не во фронтальной части помещения, обращенной во двор или сад, а в одном из углов, с тем чтобы две ее колонны или опоры, одна граненая, а другая круглая, были обращены друг к другу. По

мнению некоторых японских авторов, эта приверженность японцев к иррегулярности и асимметрии, к «неправильным» пропорциям или «неправильности» форм порождена их привязанностью к живой природе, их особой близостью к ней. Сторонники этой точки зрения объясняют некоторые особенности эстетических взглядов японцев тем, что они сложились под воздействием своеобразных природных условий страны. Многочисленные и едва ли не повсеместные горы, живописные долины и предгорья, бесконечная береговая линия с ее кружевными изгибами, поворотами, изломами, извивающиеся ленты горных рек — все это создает большое многообразие в мире живой природы, сложную и самобытную флору. В узких долинах или на открытых местах, где у растений нет естественной защиты или где они постоянно подвержены разрушительному воздействию стихий — свирепым морским ветрам, тайфунам, грозовым ливням и т. п.,— деревья растут не прямыми и стройными, а низкими, приземистыми, причудливо изогнутыми, со скрюченными, точно запутанная проволока, отростками и ветвями. Очертания и вид японских деревьев и растений непривычному глазу кажутся неприятными, уродливыми, неестественными; но для тех, кто вырос в каждодневном общении с растительным миром родного края,— для самих японцев такая необычность форм, неправильность линий представляются наиболее интересными, подлинно красивыми. И напротив, нередко случается, что растение правильных форм и линий выглядит в их глазах простой ординарностью и интереса не вызывает. При этом, разумеется, многое связано с субъективными особенностями людей, по-разному относящихся к вещам и явлениям, видящих их по-своему, находящих свежие, необычные черты предмета; определяет здесь индивидуальное видение действительности, собственное восприятие рассматриваемой вещи. Несомненно все же, что особенности художественных вкусов у японцев обусловлены не какими-либо умозрительными соображениями, не порывами фантазии, а своеобразием существующей реальности, многообразием и богатством форм живой природы, самой жизнью.

Было бы, однако, серьезной ошибкой утверждать, будто эстетика японского декоративного искусства принципиально отрицает красоту симметрии, правильных форм, ясных пропорций и признает художественную ценность лишь необычных, причудливых форм. Дело здесь вовсе не сводится к тому, что одно противопоставляется другому или одно исключает другое. Напротив, в действительности наблюдается сосуществование самых разных художественных взглядов, возникновение и формирование которых обусловливается сложностью явлений самой жизни. Японские источники отмечают, что формы правильной симметрии и пропорций играли в японском декоративном искусстве ведущую роль в дни далекого прошлого, приблизительно в период 1400—1600 гг. Что касается современного японского искусства цветочного украшения, то некоторые из многочисленных направлений и школ отдают предпочтение красоте «неправильных» форм, а другие занимают промежуточное положение между искусством правильных и неправильных пропорций.

Во время одной из встреч на большой выставке цветов наши японские собеседники рассказали нам о наиболее популярных стилях в искусстве икэбаны. Одно из направлений — они называли его «корю» — древний стиль. Он характеризуется строгостью вкуса, классической простотой, скромностью. Этот стиль не допускает никаких излишеств, диссонансов, кричащих контрастов. Другой стиль известен под названием «инэнобо» и отличается пышностью, вычурностью, фантазией. Существует также стиль своеобразного экспрессионизма. Вместо цветов приверженцы этого направления выставляют, например, грубое бревно или полено с каким-нибудь торчащим отростком или веткой. Цветов здесь уже нет. Они лишь подразумеваются, присутствуют лишь в воображении зрителя, хотя главной идеей этого искусства являются именно живые цветы, которые самостоятельно или в сочетании с другими предметами образуют художественную композицию.

Итак, токонома — как наиболее почетное место в каждом японском доме — предназначается для того, чтобы именно здесь, а не на стенах комнаты поместить художественную картину или свиток каллиграфической живописи, поставить красивую вазу, расположить предметы старины или антикварные вещи, украшение из живых цветов или растений. Токонома — зрительный фокус комнаты. Сюда должно быть обращено внимание всех — гостей и хозяев. Именно этим объясняется то, что стены японской комнаты, в отличие от европейских, как правило, лишены украшений, цвет стен и всей комнаты, которая вообще выглядит весьма просто, не бывает ярким, в комнате нет никакой мебели или предметов, которые могли бы отвлекать внимание людей от главного зрительного центра — токономы, олицетворяющей эстетический вкус хозяина дома, выражающей его художественные взгляды, в известном смысле мир его личных духовных идеалов. В японских источниках отмечается, однако, что первоначально токонома предназначалась не для художественно-эстетических целей, но для отправления религиозного обряда. Это был семейный алтарь, где ранее помещалось изображе-

ние Будды с цветами и благовонными курениями, а еще раньше алтарь синтоистских божеств, табличка с именами предков — «камидана» (в наши дни камидана, если она имеется, чаще отделена от токономы), перед которым каждое утро и вечер вся семья совершала моление. Таким образом, вид и назначение токономы существенно изменились.

Декоративное искусство в Японии помимо живых цветов часто использует простые ветви деревьев и сорные травы. Японские искусствоведы, и в частности Иссотэн Нисигава, склонны видеть причину этого в том, что в Японии большее значение придается формам, в которых проявляет себя природа, чем цвету, краскам. При этом подчеркивается, что уже с давних пор японцы научились видеть больше красоты в очертании или форме цветов, чем в их окраске. Быть может, объясняется это тем, что в Японии все же меньше ярких и сочных цветов, чем, например, в знойных тропических странах. Но даже такие заморские цветы, как розы и лилии, японцы предпочитают видеть в их натуральном обрамлении — с листьями и длинными стеблями, а не коротко обрезанными и с немногими листочками, как обычно делается в европейских странах.

Мне не раз приходилось посещать выставки цветов и состязания цветов. Это целый мир, который живет своими интересами и пристрастиями. Любопытными впечатлениями делится известный вьетнамский писатель Нгуен Туан, описывающий одно из таких состязаний: «Побеждал на них тот, чьи цветы раскрывались ближе к полуночи, отмечая смену времен. С тех пор я отношусь ко времени не как к абстракции, фиксируемой часовым механизмом. Я научился улавливать его в смене светил и созвездий, в чередовании времен года, в обновлении листвы и цветов. Где-то я прочитал, будто одному искусному садовнику удалось подобрать на своей клумбе цветы в такой последовательности, что они раскрывали и закрывали лепестки по мере движения солнца по небосводу, и человек этот мог узнавать время по цветам. Такие часы, по-моему, лучшие в мире, неудобно их только носить с собой...» [1]

[1] Нгуен Туан. Тени и отзвуки времени. М., Гослитиздат, 1977, стр. 8.

◆

К. СВОЛИНСКИ. Чехословакия. Рисунок

# Антирубрика

**Марк Твен на трибуне.**

**Карикатура Дж. Кепплера.**

# ВЕЧНО НОВЫЙ МАРК ТВЕН

*Публикация и перевод с английского В. ЛИМАНОВСКОЙ*

Никакой важный вопрос они не считают решенным, покуда его не обсудят со мной...

*Марк Твен*

*За свою долгую жизнь Сэмюэл Л. Клеменс (Марк Твен) дал великое множество интервью. Репортеры буквально атаковывали писателя, требуя, чтобы он высказывал мнение о политике, о событиях дня, литературе, короче — обо всем. Твен как-то шутливо заметил: «Нью-йоркские газеты давно уже поняли, что никакой важный вопрос они не считают решенным, покуда его не обсудят со мной. У них на этот счет уже создался обычай, и чуть что — посылают ко мне». Высказывания писателя подхватывали десятки газет в самых различных странах.*

*Американский литературовед Луис Дж. Бадд задался целью собрать менее известные интервью писателя, печатавшиеся в американской, канадской, британской, французской и индийской прессе, и издал их в 1977 году в иллюстрированном сборнике, озаглавленном «Беседы с Сэмюэлом Клеменсом». Марк Твен в глазах современной ему прессы и публики был главным образом объектом сенсации, «комиком», в то время как в его шутливых признаниях нередко содержались глубокие мысли о писательском творчестве, критика общественных порядков и ханжеской церкви.*

*Несколько «интервью» (а по существу репортажей) из этого сборника мы предлагаем читателям.*

© 1977 by The Department of English. The University of Texas at Arlington.

## ИНТЕРВЬЮ «ПРОСТАКА». МАРК ТВЕН — ГОСТЬ СЕНТ-ЛУИСА

Сэмюэл Л. Клеменс из Хартфорда, штат Коннектикут, расписался сегодня утром в книге для приезжих в гостинице «Южная». Поскольку он ни о чем не попросил, портье со свойственной ему небрежностью не удостоил гостя вниманием. Но тут подошел какой-то человек, прибывший из Нью-Йорка, и, заглянув в книгу, сказал:

— Ого, я вижу, у вас Марк Твен!

— Где?— Портье и его помощник сразу набросились на регистрационную книгу.

— Да вот же, смотрите,— указал им этот знаток.— Его собственноручная подпись: Сэм Клеменс.

— Так это он известный комик?— Портье Гарви Уиллард презрительно усмехнулся.— Ха-ха, даже я гораздо больше похож на шута, чем он!

Но это был именно Марк и, как обычно, в прекрасном расположении духа. Он не был в нашем городе с 1864 года, поэтому мало кто из жителей знает его в лицо. Представьте себе плотного мужчину среднего роста в простом сером костюме свободного покроя, в немодной широкополой шляпе, небрежно сдвинутой набекрень, из-под которой выбиваются длинные, пышные, с изрядной проседью волосы. У него серые глаза и холеное, гладкое лицо, которому придают несколько щеголеватый вид довольно лихие седые усы. Нет, Марк Твен не выглядит смешным, как это воображали служащие гостиницы; скорее он похож на серьезного, делового джентльмена, который не станет тратить время на разные там анекдоты и шуточки. Самое любопытное в Твене — походка вразвалку, ее он, вероятно, приобрел в ту пору, когда юным лоцманом расхаживал по верхней палубе «Мэри-Аманда-Джейн» в низовьях Миссисипи. Походка морского волка настолько пристала к нему, что человек впечатлительный, наблюдая, как он идет по коридору такой вполне земной гостиницы, как «Южная», тут же чувствует приступ морской болезни.

У Клеменса также своя, ему одному присущая, манера говорить, растягивая слова, которую, к его неудовольствию, газеты любят пародировать, меж тем как она-то и придает известную прелесть его речи. Репортер «Пост-Диспеч» представился ему на галерее «Южной» и был любезно встречен. Но стоило репортеру попросить у него интервью, как мистер Клеменс явно забеспокоился.

— Нет, я не располагаю временем,— сказал он.— Можете писать что хотите, но только от вашего собственного имени, меня же ни в коем случае не цитируйте. Меня всегда перевирают, если не ведут стенограмму, да и ту приходится проверять, не наврано ли там.

— Я вижу, вы не любитель давать интервью, мистер Клеменс?

— Угадали. Не любитель. Я еще не встречал такого репортера, который, взяв интервью, не изобразил бы меня потом в газете идиотом и сам не расписался бы в собственном идиотизме. Репортеры силятся подражать мне, но у них получается чепуха. Потому я предпочитаю избегать этого рода публику.

Читатель поймет положение репортера, которому суждено расписаться в собственном идиотизме, но ваш покорный слуга пообещал гостю, что не будет пытаться воспроизвести его манеру говорить. Мизерное недельное вознаграждение скромного репортера, строчащего полицейские отчеты, заметки о заседаниях комитета благоустройства и о назначениях школьных директоров, просто не дает ему права на подобную дерзость. Мистер Клеменс немного оттаял. Он сказал:

— Я не был в вашем городе, кажется, с 1864 года. Намеревался провести здесь несколько дней. Но я потерял столько времени в Новом Орлеане, ожидая прихода «Батон Руж», где служит капитаном мой старый наставник, что я вынужден уехать уже сегодня.

— Жаль, что вы так торопитесь нас покинуть. Мистер Клеменс, газеты пишут, что вы баснословно богаты и купаетесь в роскоши у себя в Хартфорде.

— Ну, это здорово преувеличено. Я действительно живу в Хартфорде, и, когда в этот раз уезжал, у меня еще был там дом. Но я пока не конкурирую с Вандербильтом, да и не рассчитываю в дальнейшем.

— А правда ли, что юмористика нынче не оплачивается так же щедро, как бывало?

— По-моему, и это выдумка. Должно быть, это плохая юмористика, если ее невыгодно печатать. Я говорю не о себе лично, но говорю со знанием дела: талантливые произведения любого жанра всегда хорошо оплачиваются.

— А как на этот счет у вас?

— Примите к сведению: никакие книги не приносят таких доходов, как Библия, да еще непристойные книги, вернее — прочие непристойные книги. Боюсь, святые отцы съедят меня с потрохами за такие слова, так что вы, пожалуйста, этого не записывайте.

— Само собой. Но все-таки скажите, урожай от ваших книг богатый?

— С какой стати я должен докладывать о своих доходах? Я не пишу финансового отчета. Я пишу новую книгу, и мой стенографист сопровождает меня в этой поездке.

— Можно спросить, о чем?

— Это будет серия очерков для «Атлантик мансли». Тема — Миссисипи. И мне захотелось освежить память живыми впечатлениями, ведь многое позабылось за эти годы.

— Это будет книга о вашей юности на Миссисипи?

— В основном да.

— И когда рассчитываете кончить?

— Месяцев через девять.

— И как собираетесь назвать?

— Меньше всего меня это заботит. Я никогда не думаю о заглавии, пока не кончу книгу, и даже тогда не знаю, как ее назвать. Обычно предлагаю издателю от пяти до тридцати вариантов, и он посмотрит опытным глазом и выбирает сам. Так у меня было с «Закаленными», да и, пожалуй, со всеми моими книгами.

— Мистер Клеменс, вы немного опоздали,— сказал репортер, желая переменить тему.— Вы обещали присутствовать на банкете Армии Теннесси [1].

— Я готов был вчера даже вскочить на поезд в Кейро, чтобы поспеть на это торжество. Хотя, как правило, я избегаю банкетов, если там ждут, что я выступлю. Меня всегда гложет чувство ответственности, и никакого удовольствия я не получаю, покуда не выдам эту проклятую речь. Но на вчерашнем банкете я собирался сказать кое-что важное. По вопросу, который меня занимает.

— Какой же это вопрос?— полюбопытствовал репортер.— Не скажете ли вы об этом? Генерал Шерман и другие военные — регулярные подписчики нашей «Пост-Диспеч». Так пусть они хотя бы в газете прочитают вашу речь.

— Я намеревался сказать об арктических экспедициях. Насколько я могу судить, мы тратим на них слишком много денег. И слишком много жизней принесено в жертву этой затее. А что толку, если в конце концов Северный полюс и будет достигнут? Займы там, что ли, Америка получит? Или, может быть, прославит полюс в качестве модного летнего курорта? Нет, я хочу предложить совсем иного рода экспедицию. Хочу, чтобы следующую партию исследователей снарядили в совершенно ином направлении. У нас до сих пор существуют разногласия, где именно находится АД, и мне хотелось на вчерашнем банкете предложить нашим храбрым воинам, правительству и американскому народу, чтобы следующая экспедиция направилась на поиски означенного места. Мы найдем ему практическое применение, пусть только его обнаружат! Я набросал даже план, пока только приблизительный, но полагаю, что он мог бы обрести реальные очертания под сильным воздействием паров шампанского.

— Вы могли бы назвать конкретных лиц, способных возглавить эту экспедицию?

— О, да! Я роздал бы все ответственные посты своим друзьям. Потребовал бы, например, начальником экспедиции сделать Талмеджа [2], доверив ему это дело полностью. Уж он-то, как никто другой, знает туда дорогу, можете мне поверить! И остальных начальников подобрать нетрудно.

— Допустим, что экспедиция собьется с курса и затеряется, не добравшись до места назначения — случается же такое на пути в Арктику,— будет ли в этом случае считаться, что задача выполнена?

Хитро улыбнувшись, мистер Клеменс заметил, что это частная беседа, а не интервью и он не намерен отвечать на наводящие вопросы. В этот момент появился личный секретарь мистера Клеменса с группой друзей. Наш гость надел пальто, сунул под мышку зонт и отправился осматривать город. Он уезжает сегодня в четыре часа в Ханнибал, собираясь там погостить; оттуда — вверх по Миссисипи пароходом до Сент-Пола и дальше — к себе на Восток. Он заявил, что больше никогда не решится уехать так далеко от дома.

Мистер Дж. Г. Картер (коммодор Роллингпин) — старый друг мистера Клеменса — встречал его вчера вечером на пристани, привез в гостиницу и сделал приятным его пребывание в нашем городе.

*«Пост-Диспеч», 1882 г.*

---

[1] Армия северян, нанесшая тяжелое поражение в 1862 году армии южан в Гражданской войне Севера и Юга на первой линии их защиты в штате Теннесси. *(Прим. перев.)*

[2] Томас Талмедж — бруклинский священник, которого М. Твен высмеивал за религиозное ханжество и презрительное отношение к рабочему люду. *(Прим. перев.)*

Марк Твен со своим импресарио, майором Пондом, выехал вчера утром из Портленда в северном направлении, где в Такоме его ожидают супруга и дочь. Он выступит в Такоме, в Олимпии, Сиэтле, Виктории и Ванкувере, а затем 16 августа отправится вместе с сопровождающими его лицами в Гонолулу.

Запланированное мистером Клеменсом кругосветное путешествие продлится минимум год, а может быть больше. На девять месяцев он отдал себя в распоряжение австралийского агента и выступит с лекциями в крупных городах Австралии, Новой Зеландии, Индии и Южной Африки. По окончании лекционного турне он уедет на Британские острова, где предполагает остаться надолго.

Вчера утром в Портленде Марк Твен стоял среди груды чемоданов, ожидая заказанный экипаж, который должен был отвезти его на вокзал. Синий морской картуз не покрывал всю его шевелюру — пепельно-серые буйные волосы выбивались по бокам и на затылке. Пышная шевелюра, пышные усы, пышные брови, прямой линией расчерчивающие его лицо, резкие черты, словно вырубленные рукой природы из куска гранита,— таков портрет живого Марка Твена, не менее колоритный, нежели тот, который мы видим на авантитуле его книг. А если к этой оригинальной внешности добавить полную необычность его поведения, простоту обращения, какое-то лениво-грубоватое добродушие, то любой человек, даже тот, кто впервые в жизни узнал о существовании Марка Твена, понимает, что познакомился с одним из самых интересных людей на свете.

Целая толпа окружала Марка Твена, над баррикадой из чемоданов каждый тянулся пожать ему руку. Многие пытались напомнить ему о старом знакомстве, и на лице писателя не раз мелькало смущенное выражение, когда ему рассказывали, что где-то встречались с ним в далеких местах при, наверное, забытых им обстоятельствах. Майор Дж. Б. Понд—учтивый, приветливый джентльмен — представлял мистеру Клеменсу собравшихся, попутно хлопоча по поводу разных дел, но экипаж так и не прибыл, и Марк с майором поехали на вокзал, погрузив весь багаж в городской омнибус.

— Портленд — неплохой городок,— говорил, привычно растягивая слова, автор «Тома Сойера», глядя из омнибуса на Шестую улицу.— Вот эта — довольно приятная улица, без ухабов. Но Портленду следовало бы раскошелиться и замостить также остальные. А потом — приобрести велосипеды и давать их гражданам напрокат. вот вам и окупилось бы благоустройство улиц. Что, плохо придумано? Возможно, портлендцы и поворчат насчет такой монополии, но ведь живем же мы всю свою жизнь под властью монополий! Знаете, в Европе очень многие отрасли городского хозяйства принадлежат государству, и оно, на мой взгляд, неплохо с этим справляется. А мы, американцы, почему-то боимся государственной монополии. Непонятно почему! У нас городские власти отдают частным компаниям прямо-таки задарма право владения трамвайными линиями, электростанциями и прочим. Диву даешься такой щедрости! Но американцы с философским безразличием несут на себе ярмо частных монополий, и я не понимаю, почему им протестовать, если какие-то области возьмет на себя государство?!

— Мистер Клеменс, расскажите о книге, которую вы рассчитываете писать во время предстоящего путешествия. Будет ли она в духе «Простаков за границей» или других ваших книг?

— Заранее скажу: описания мест, которые уже прежде фигурировали в моих книгах, в новой не найдете. И если кого-то интересует история, топография — он будет разочарован. Знаете, ленивый автор не носится как угорелый с записной книжкой, оказавшись на незнакомом берегу. Он неторопливо расхаживает по новым местам и, если обнаружит что-либо заслуживающее внимания, то, наверное, включит это в книгу. Мне рассказывал генерал Шерман, что, путешествуя за границей, он пользовался только моими старыми путевыми дневниками и описанные там места как раз-то и были для него самыми интересными. Обычные же путеводители, в которых толкуется обо всем понемногу, он выбросил за окно и постарался о них забыть. Отчего так сильно устаешь во время путешествий? Вечно боишься куда-то опоздать, что-то прозевать, недосмотреть, иначе говоря — не получить за свои денежки всего, что расхвалил путеводитель. Разве это удовольствие, если ты не в состоянии переварить столько зрелищ? И что за смысл превращать приятное путешествие в принудительные перебежки с места на место? Нет-нет, я не собираюсь писать путеводитель, зато если моя будущая книга поможет читателю мысленно попутешествовать со мной и получить удовольствие, то я сочту свою миссию успешно выполненной.

Пройдя вокзал, мистер Клеменс вошел в Олимпийский вагон и удобно расположился в кресле-курительного салона.

— Не понимаю,— произнес он,— почему такой красивый город, как Портленд, до сих пор не выстроил новый вокзал. Интересно, что мешает?

Ему объяснили: новый вокзал начали было строить, но обанкротились обе железнодорожные компании, и дело застопорилось.

— Майор Понд устроил мне такую дьявольскую жизнь,— продолжал Твен,— что я так и не познакомился с вашим городом. Теперь уезжаю. И может быть, никогда больше не увижу. Но даже то, что повидал мельком, мне понравилось.

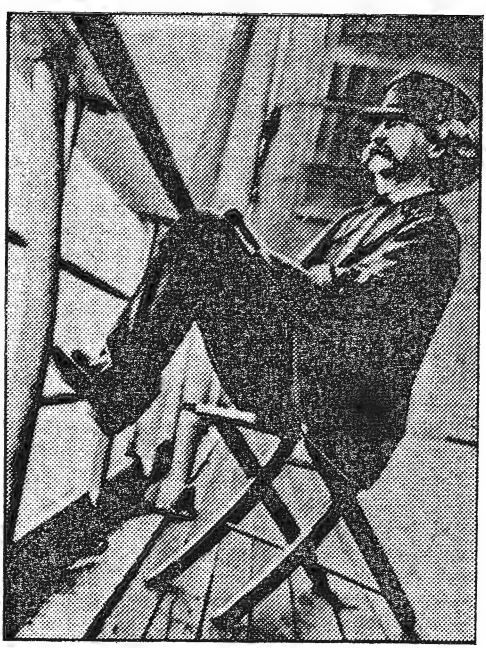
Кто-то из провожавших спросил, читал ли мистер Клеменс недавно заметку в одной сан-францисской газете о некоем трактирщике Томе Сойере. Трактирщик заявил, что познакомился с Твеном много лет назад на какой-то пирушке, после которой вся компания отправилась добавить горячительного, и Марк Твен как будто хлопнул этого Тома Сойера по спине и сказал: «Я напишу книгу о мальчишке, каким ты был, наверно, в детстве, и назову его твоим именем».

— В этом больше вранья, чем правды,— ответил мистер Клеменс.— Писатель так не копирует имена. Мне всегда бывает трудно подыскать имена своим героям, которые не резали бы ухо. Оба мои мальчугана — и Том Сойер, и Гекльберри Финн — имели прототипами живых ребят, но первого не звали Том Сойер, да и вообще я не знал никакого Тома Сойера. Этому мальчишке подходило рядовое имя и фамилия, потому я так его назвал. В литературных произведениях не бывает случайных имен. Второго мальчика звали Финн, а Гекльберри я ему придумал. Что-то в имени Финн подходило моему маленькому герою, особенно сочетание Гек Финн, это как-то характеризовало паренька и отличало по рангу и происхождению от Тома Сойера. А назови я Тома или Гека Артур Ван де Винтер Монтегю — разве это не звучало бы нелепо!

— Обе ваши книги, мистер Клеменс, всегда будут источником наслаждения для многих, многих ребят.

— Что ж, я и сам получал удовольствие, когда их писал. Мои персонажи не выдуманы. Я взял их из жизни. Я знал и того, и другого так близко, что без труда передал, что они делают и как говорят. Какие там они ни есть, а я их люблю. Я не верю, что на свете существовал когда-нибудь такой писатель — хороший, плохой или так себе, который выдумывал своих героев. Вольно или невольно писатель всегда изображает тех, кого он знал. Иногда это — обобщенный портрет нескольких человек, слитый воедино. Но и тогда, когда он хочет этого избежать и создать что-то независимое, память все равно ему диктует. Ну вот, к примеру, вы не можете увидеть далекую звезду даже в очень мощный телескоп, но укрепите фотоаппарат на несколько часов — и она запечатлеется на пленке;

«Простак» защищает авторские права. Карикатура Т. Нэста.



«Будешь благонамерен — окажешься одиноким». Твен на экваторе.

так и мозг наш не всегда подскажет забытого человека, линзы памяти сработают не сразу. Но вот писатель изобразил во всех подробностях какой-то персонаж и лишь потом сообразил, на кого похож его портрет, хотя тот человек, казалось, был давно и прочно им забыт. А бывает и так. Иной писатель предположил, что сотворил какой-то образ, а он, оказывается, списал его у другого. Прочел чужую книгу, и как ни старался переиначить все по-своему, а получилась копия. Простые смертные, мы не творим из ничего портрета, а только копируем. Одним это удается, другим нет.

Тут поезд тронулся, и Марк Твен простился с Портлендом. Многие наши граждане высказывают сожаление, что он не остался еще на один вечер и им не удалось послушать его лекцию.

*«Портленд орегониен», 1895 г.*

## МАРК ТВЕН И КИПЛИНГ

Нынче почти все уже знают, что думает Редьярд Киплинг о Марке Твене. Молодой писатель Старой Англии отдал дань восхищения изустно и в печати ветерану-юмористу Новой Англии. И многие люди, наверно, хотели бы знать, что думает Марк Твен о Редьярде Киплинге. Этот вопрос был затронут в беседе вашего корреспондента с писателем. Твен рассказал о своем отношении к Киплингу, а также поделился некоторыми взглядами на процесс творчества. Говорил с присущим ему блеском, что свидетельствует о неиссякаемом богатстве его интеллекта.

Мы спросили мистера Клеменса, понравилась ли ему статья Киплинга, в которой тот рассказывал, как он искал Марка Твена.

— Признаюсь, я этого не читал,— сказал мистер Клеменс с неподдельной искренностью человека, не успевающего читать воскресные газеты.— Не читал, и никто мне не рассказывал. Расскажите хотя бы вы, о чем он там пишет? Ругает меня или наоборот?

Мы стали пересказывать ему статью Киплинга — про то, как он кружил по Эльмире в наемном экипаже, как поднимался на гору и снова спускался в долину и лишь под конец обнаружил Твена в доме тещи. Мистер Клеменс поднял брови и дальше начал рассказывать сам:

— Верно, он застал меня в доме моей тещи, вот почему я оказался так негостеприимен. Было время второго завтрака, и вся моя семья находилась в столовой, а мы с приехавшим Киплингом курили и мирно беседовали. Дело в том, что я никогда не ем среди дня. Не чувствуя голода, я не думал о завтраке, а мои родные, зная мою привычку, не позвали нас. Мы с гостем продолжали приятно беседовать, и мне ни на миг не пришло в голову, что мистер Киплинг тоже привык в это время подкрепляться, тем более что, наверное, проголодался с дороги.

Но когда он уехал и я стал рассказывать о нем моей жене, она сразу напомнила мне о завтраке: «Как это ты не догадался пригласить к столу молодого человека, который пустился в такую даль познакомиться с тобой, да еще потратил столько времени на поиски?» И она воспользовалась случаем, чтобы упрекнуть меня: мол, я «не такой, как все мужчины», когда дело касается еды.

Мистер Клеменс опять пошевелил бровями, как бы улыбаясь, и продолжал:

— Тогда я понял разницу между естественным гостеприимством и отсутствием такового! На следующее утро я отправился с визитом к Киплингу в гостиницу, где он остановился, не сообразив предварительно узнать по телефону, там ли еще он. Оказалось, он уже уехал, так я его и не повидал. Вы спрашиваете, увижусь ли я с ним в Лондоне? В ближайшее время я туда не собираюсь, но уж когда буду, навещу его обязательно. Не стану ждать, когда он поедет на розыски моей персоны, нет, сам найду его, можете мне поверить!

Вот и все об эпизоде знакомства. Его очень живо описал сам Киплинг, хотя без упоминания того, что говорил мистер Клеменс, столь отягощенный чувством вины по поводу злополучного завтрака, что уж, наверное, сделает все возможное, чтобы ознаменовать их будущую встречу сверхрадушным приемом.

Не дожидаясь вопроса, мистер Клеменс сам заговорил о творчестве Киплинга:

— Даже если его рассказы были бы лишены содержания, их стоило бы читать ради одного только стиля. Но, как вы верно заметили, в его рассказах всегда есть содержание, и они, как правило, чрезвычайно интересны. Смотрите, как его читают, как о нем заговорили! И знаете, когда молодой человек, которому нет еще двадцати четырех, завоевывает такой успех, как нынче Киплинг, это доказывает, что читающая публика умеет отличать хорошее от плохого. Не так ли? Для меня особая прелесть в его порывистом языке, в том, как он по-своему распоряжается английским, как он бросает фразы. В этом, видимо, глав-

ный секрет его власти над читателем. Его язык великолепен — он прост и доступен.

— А сами вы не собираетесь порадовать новой книгой? — спросили мы.

— Пока похвастаться нечем,— ответил он.— Но у меня постоянно лежат неоконченные рукописи, если это вы имели в виду. Одну из них я начал семнадцать — дайте сосчитать... семьдесят третий, восемьдесят третий,— да, точно, семнадцать лет тому назад. Но написал только половину.

— И вы ее забросили или по-прежнему надеетесь окончить?

— Закончу обязательно, если (мистер Клеменс улыбнулся) проживу еще семнадцать лет. Надеюсь продержаться еще столько. Сколько мне сейчас? Пятьдесят четыре с половиной. Я начал писать «Дневник Хама в Ноевом ковчеге» (комичность названия в сочетании с серьезным тоном, каким это было сказано, вызвала у слушателей взрыв смеха) семнадцать лет назад и написал первые шесть глав в Эдинбурге, где возник у меня этот замысел. Тогда он сильно увлек меня, как, впрочем, увлекает до сих пор. Я много раз брался за эту вещь и бросал. Вы спрашиваете, в каком духе эта книга, похожа ли на то, что я писал в молодости, или на то, что сейчас? Видите ли, со времени Эдинбурга план книги претерпел значительные изменения. Возникли новые мысли, они разрослись, окрепли, и с ними изменился первоначальный замысел.

Как-то само собой получилось, что мистер Клеменс заговорил о своем творческом методе:

— Бывает так: обдумал идею, сюжет, действие будущей книги и приступил к работе, но спустя некоторое время вдруг почувствовал, что исписался. Накопленный мозгом материал использован весь, и произошла естественная пауза. В таком случае поступайте, как я. Отложите рукопись подальше и начните думать о чем-нибудь другом, займитесь другим делом.

Пройдет какой-то срок, возможно три-четыре месяца, а то и три-четыре года, и что-то вернет вас к прежней теме, возродит интерес к неоконченной рукописи, и вы почувствуете с удивлением — хотя сам-то я давно перестал такому удивляться!— что ваш запас мыслей и жизненных фактов обновился и вам уже не терпится писать. Новые мысли жгут ваше сознание и требуют быть излитыми на бумагу.

Что это, неосознанная работа мозга? Вероятно, да. Смело скажу: интереснейшая иллюстрация этого процесса. Пусть форма первоначального замысла сильно изменилась, но в мозгу сохранились прежние корни, и отсюда, независимо от сознания, выросло дерево со свежей, молодой листвой и раскидистыми ветвями.

А можно представить себе, что мозг подобен резервуару и этот резервуар вдруг высох. Но мало-помалу, пока ты был занят другим, туда просачивались новые идеи, случаи из жизни и разный вымысел, и вот уже резервуар наполнен до краев, и снова, предвкушая радость творчества, приникаешь к этому живительному источнику и продолжаешь то, что не сумел довести до конца.

Поле, с которого когда-то был снят урожай и припасен в закромах памяти, вновь дало всходы, и предстоит новая жатва. Мыслям в голове тесно. Кажется, будто это катится снежный ком, обрастая новым и новым снегом.

Итак, я приступаю с возрожденным интересом к «Дневнику Хама в Ноевом ковчеге» и надеюсь, не в последний раз. Возвращение к старой теме — не скучное дело: берешься с радостным трепетом за прерванную в прошлом работу.

Мы спросили мистера Клеменса, когда, по его мнению, закончится судебный процесс по поводу инсценировки «Принца и нищего». Он сделал печальное лицо.

— Мне думается, спор между мистером Хаузом и миссис Аббей Сейдж Ричардсон разрешится здесь, в Нью-Йорке, в октябре. Я подозреваю, что Хауз не имел намерения делать инсценировку моей книги, пока не узнал, что это сделала миссис Ричардсон. Он вел себя, как собака на сене. Вы спрашиваете, уверен ли я в справедливом решении суда? Я вам отвечу. Обстоятельства дела не вызывают у меня сомнений, также не вызывает сомнений, каким должен был бы быть справедливый приговор суда. Тем не менее я сильно сомневаюсь, что он будет таковым, зная расплывчатость наших законов. Кстати, судья вынес совершенно непонятное решение временно запретить спектакли. Это одно из чудес судопроизводства, о которых, вы метко заметили, человечество толкует с незапамятных времен. Почтенный судья заявил, что ввиду того, что мистер Хауз больной человек, прикованный к постели, у него оказалось достаточно времени хорошенько припомнить все факты, провентилировать их, так сказать, в мозгу, и, следовательно, он помнит всю историю лучше, чем я,— я, мол, такой занятой человек, у меня и без того много разных дел на уме. После этих слов судьи невольно подумаешь, как выгодно быть больным — надежное средство выиграть дело в суде!

*«Нью-Йорк уорлд», 1890 г.*

## МАРК ТВЕН В ЛОНДОНЕ

Марк Твен прибыл сегодня утром в Лондон из-за океана. Интересный случай произошел неожиданно на перроне вокзала. В это время там оказался мистер Джордж Бернард Шоу, встречавший тот же поезд из порта Тилбери, которым ехал Марк Твен. По просьбе репортера мистер Шоу поделился своим мнением о великом юмористе.

— Это безусловно самый крупный американский писатель,— заявил Дж. Б. Ш.— У Америки есть два великана в литературе: Эдгар Аллен По и Марк Твен. Я знаю, американцы не очень ценят Эдгара По. Но уж Марк Твен не позволяет себя игнорировать. Я говорю не о Твене-юмористе, а о Твене-социологе. Кстати, мы с ним находимся почти что в равном положении. Он пишет кое о чем так, что люди, которые хотели бы его повесить, делают вид, будто он шутит.

Когда поезд подошел к перрону, Дж. Б. Ш. поспешил навстречу профессору Арчибальду Гендерсону, который приехал в Англию писать его биографию.

А мистер Клеменс не успел ступить на перрон, как его окружила стайка дам. На писателе был красивый серый костюм, на голове котелок, и держался он весьма оживленно. Он сообщил репортеру, что прибыл получить в Оксфорде ученую степень. На просьбу прокомментировать состояние англо-американских отношений ответил отказом:

— Нового ничего не произошло. Отношения давно установились.
— Знаете ли вы, что здесь сейчас находится мистер Джордж Бернард Шоу?
— Да неужели? Я хотел бы повидать его.
— Вы с ним знакомы?
— Нет.
— Что бы вы могли сказать о нем?
— Ничего. Я никогда не высказываю мнения по вопросам, в которых не считаю себя компетентным. Если я высказываюсь о чем-нибудь, то лишь по собственному суждению, чужими я не пользуюсь.

Мистер Клеменс сказал, что намерен пробыть в Англии около двух недель. Ему интересно будет повидать предстоящую торжественную церемонию в Оксфорде.

— Ваше мнение о таких церемониях?
— Никогда не видел и не знаю.
— Ну а сама идея?
— Идея великолепная.
— У вас в Америке можно увидеть подобные зрелища?
— Еще бы! В 1876 году у нас широко праздновалось столетие Декларации независимости, и тогда, как и сейчас у вас, каждый город, каждая деревня, чья история каким-то образом связана с американской революцией, отмечали юбилей. Но у нас прошло только сто лет, а у вас-то тысячи! Знаете, это хорошо, что воскрешают исторические события и напоминают о них людям. Мы это делаем на скорую руку, событий было не так уж много, вам же труднее втиснуть историю тысячелетий в шесть праздничных дней.

Мистеру Клеменсу был задан вопрос, пишет ли он новую книгу.

— Нет,— ответил он.— Я уже два года ничего не пишу. Только диктую автобиографию по часу или по два ежедневно, пять раз в неделю. Мне это прибавляет сил и веселее гонит кровь по жилам.
— Когда вы думаете ее закончить?
— Когда пошлют за гробовщиком, ни единым днем раньше.
— Судя по вашему виду, это произойдет не скоро,— пошутил репортер.
— Как сказать.— Твен покачал головой.— Хироманты и гадалки мне предсказывают, что я умру. Однако не говорят, когда точно.

В это время подошел Джордж Бернард Шоу, и оба знаменитых писателя были представлены друг другу.

— Пока мы тут с репортерами ожидали поезда,— сказал Дж. Б. Ш.,— они расспрашивали меня, думаю ли я, что вы хотели сказать нечто серьезное в вашей «Скачущей лягушке».— Твен засмеялся. Дж. Б. Ш. тоже.— Я им за вас ответил. Кажется, ответил правильно.

Дж. Б. Ш. провел еще несколько минут с гостем. После его ухода интервью было продолжено. Твена попросили поделиться его впечатлениями об Англии.

— Будь у меня сильные впечатления, я бы не удержался и написал о них,— сказал он.— Я никогда ничего не пишу, пока не услышу в себе: огонь! Огонь! Огонь!— Он сделал вид, что стучит по дереву.— Каждый человек что-то может подметить, но я должен чувствовать, что мои наблюдения представляют интерес для многих. Только тогда я осмеливаюсь писать об этом. А банальные истины я не хочу провозглашать, чтобы не портить свою репутацию.

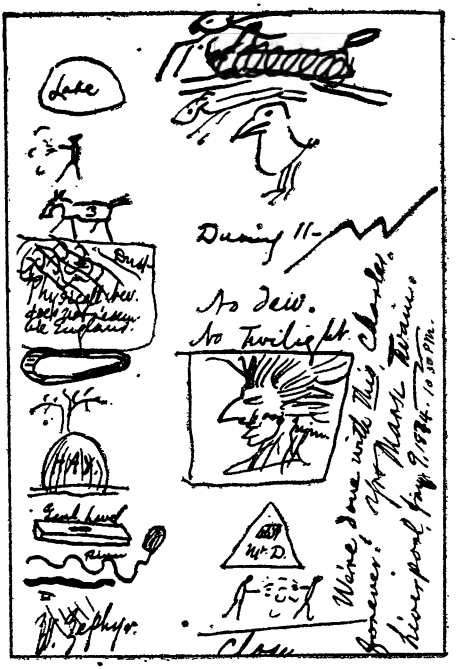
— А что вы думаете о хиромантах, которые предвещают вам смерть?

— Я их люблю, но я им не верю. Возможно, еще бы призадумался, назови они точную дату. Впрочем, надеюсь, страховая компания не даст мне умереть, ведь я застрахован!

Мистер Клеменс принял приглашение лорд-мэра Лондона присутствовать на банкете клуба Дикарей 29-го сего месяца.

*«Вестминстер газетт», 1907 г.*

**Совет писателям.**



**«Тезисы» Марка Твена к его лекции в Лондоне.**

■

*Обширный архив Марка Твена, включающий тысячи страниц неопубликованных рукописей, дочь писателя, Клара Клеменс Самосуд, завещала Калифорнийскому университету в Беркли. Несколько лет тому назад издательство университета приступило к изданию многотомного собрания неопубликованных повестей, рассказов, статей и разных других материалов великого сатирика, в том числе авторских вариантов известных произведений. К таким относятся три неоконченных варианта повести «Таинственный незнакомец», не увидевшей свет при жизни писателя, а составленной впоследствии его душеприказчиком Пейном и редактором Дунекой. Портрет священника Адольфа вместе с саркастической притчей о возведении моста, принадлежащей, пожалуй, к лучшим антиклерикальным страницам Марка Твена, являются частью одного из вариантов «Таинственного незнакомца» и были опубликованы в первом томе «Документов Марка Твена» издания Калифорнийского университета.*

## УМИРЕНИЕ САТАНЫ

...Недовольство жизнью едва не погубило вдову молочника Гретель Маркс, которая, имея собственную телегу и пару лошадей, возила в город на базар молоко. Некая гуситка по фамилии Адлер приехала к нам в Эзельдорф и начала тайно орудовать, завлекая по вечерам к себе в дом кое-каких глупых, невежественных жителей послушать, по ее выражению, «подлинное слово божье». Эта хитрая лиса выискивала тех немногих, кого считала у нас грамотными, и подкупала лестью: мол, они страсть какие умные и только таким доступно учение Яна Гуса.

Постепенно она собрала человек десять и каждый вечер отравляла их умы ядом своих еретических бесед. Кроме того, раздавала им напечатанные гуситские проповеди, убеждая, что вовсе не грех это читать.

Однажды отец Адольф застал вдову Маркс возле ее дома под тенью конского каштана за чтением этого яда. Отец Адольф был шумный, рьяный, энергичный служитель божий, очень ревностно пекущийся о своей репутации в надежде заработать сан епископа. Он вечно повсюду шпионил и держал в страхе не только свою паству, но и паству чужих приходов тоже. Это был злодей, развратник, богохульник, но по остальным понятиям — вполне порядочный человек. И был он несомненно даровит, обладал хорошо подвешенным языком, рассказывал очень забавные, уморительные истории, правда, подчас грубоватые,— впрочем, за это его осуждали только недруги, ибо остальные наши жители были в этом смысле не лучше. Он состоял членом деревенского совета, был там заправилой и всегда с ловкостью протаскивал все свои предложения, что, конечно, бесило остальных, и те в своей злобе называли отца Адольфа за глаза буйволом, хулиганом и разными другими кличками, и это неудивительно, ведь говорят же, что заниматься политикой — все равно что лезть с голым задом в осиное гнездо.

В прекрасном расположении духа, плотно закусив и выпив, отец Адольф шел, покачиваясь, по дороге, и оглушительным басом ревел «Чашу вина воспоем и румяную деву». Вдруг он заметил вдову с злополучной книжкой. Он остановился перед ней и, качаясь всем телом, скривив багровую жирную физиономию, выпучил рыбьи глаза.

— Что это, фрау Маркс? Что вы читаете?

Она показала. Отец Адольф поглядел и выбил книжку у нее из рук.

— Глупая женщина, сожги, сожги это немедленно! Не знаешь разве, что читать такие вещи грех? Хочешь навлечь на себя вечное проклятие? Откуда это у тебя?

Фрау Маркс рассказала.

— Я так и знал! Я займусь этой бабой, я ее выкурю отсюда! Ты посещаешь ее собрания? Чему она вас учит, велит ли молиться пресвятой деве?

— Нет, только единому богу.

— Я это подозревал. Смотри, угодишь в ад! Пресвятая дева тебя накажет, запомни мои слова!

Фрау Маркс охватил испуг, она хотела как-то оправдать свое поведение, но отец Адольф не давал ей вымолвить ни слова, продолжал бушевать и расписывать, какими муками покарает ее пресвятая дева, и довел бедную женщину почти до обморока. Объятая ужасом, она упала на колени и умоляла священника сказать, что ей делать, как заслужить прощение пресвятой девы. Отец Адольф наложил на нее суровую епитимью, изрядно еще поругал и пошел прочь, спотыкаясь, выделывая зигзаги и возобновив прерванную песню.

Между тем фрау Маркс не устояла против искушения и как-то вечером на той же неделе снова пошла на молитвенное собрание к фрау Адлер. И ровно через четыре дня обе ее лошади сдохли. Фрау Маркс побежала к отцу Адольфу и в горестном раскаянии плакала и причитала, что ей пришел конец — она умрет с голоду, раз не на чем стало возить молоко в город. Что теперь делать? Пусть он научит. Но он сказал:

— Я же предупреждал тебя, чертова перечница, что пресвятая дева накажет. Я же тебя предупреждал! Думала, я вру? В другой раз небось прислушаешься.

Все-таки он научил ее. Пусть она закажет портрет своих лошадей, и отправится с ним на богомолье в храм Покровительницы Всех Бессловесных Тварей, и повесит там этот портрет, и сотворит милостыню на церковь, а по возвращении домой пусть продаст лошадиные шкуры и купит лотерейный билет, на котором должен быть указан номер, совпадающий с месяцем и числом их гибели, а потом пусть терпеливо дожидается ответа пресвятой девы. И вот, когда фрау Маркс уже буквально погибала от горя, ответ пришел: ее билет выиграл тысячу пятьсот дукатов! Так пресвятая дева вознаграждает искренне раскаявшихся грешников. И женщина больше не поддавалась искушению. Благословляя свою спасительницу, она обошла всех участниц тайных встреч и, поведав о своем случае, доказала им, на какой глупый, греховный риск они себя обрекают, и тогда все они сожгли гуситские проповеди; покаялись и преданно вернулись в лоно католической церкви, а фрау Адлер ничего не оставалось, как перекочевать со своим ядом в другое место. Все это послужило весьма полезным уроком для нашей деревни. С тех пор у нас уже не позволяли ни одному гуситу сунуть нос в Эзельдорф, и в награду пресвятая дева лично опекала нашу деревню, ниспосылая жителям богатство и благодать.

Особо стоит вспомнить, как наш отец Адольф отправлял погребения. Это был его конек, тут он мог продемонстрировать все свои способности и добродетели, если, конечно, перед этим не хватил лишнего, а выпил как раз столько, чтобы со всей серьезностью отнестись к своим священным обязанностям. Он шествовал во главе похоронной процессии меж двух рядов стоявших на коленях

жителей: один глаз — на желтых язычках свечей, следя по колебанию пламени, ровно ли их несут псаломщики и строга ли их поступь, а другим глазом высматривая в толпе, не забыл ли какой зевака обнажить голову, когда мимо проносят просфору. А заметив кого-нибудь, отец Адольф подскакивал, срывал с придурка широкополую шляпу и, дав ему здоровенную затрещину, рычал сквозь зубы:

— Где ты воспитывался, скотина? Не видишь, что ли, тело господне?

Если бывал у нас случай самоубийства, тут наш отец Адольф проявлял особую энергию: спешил удостовериться, выполнили ли власти законный долг и выбросили ли на улицу родственников самоубийцы, конфисковав их жалкое имущество, не зажулив при этом доли, причитающейся церкви. И он был тут как тут, когда в полночь тело зарывали в яму на перекрестке дорог — не для отпевания, нет, это, конечно, запрещалось, а дабы лично убедиться, что осиновый кол забит по всем правилам, умело и навсегда.

А с какой пышностью он обставлял молебны во время чумы! Через деревню тогда проносили мощи нашего святого в гробу, украшенном драгоценностями, и отец Адольф собирал деньги на свечи и молитвы богородице, чтобы она в обмен уберегла дарующих от страшного мора.

Ежегодно 9 декабря, в День умирения Сатаны, отец Адольф занимал позицию перед мостом. Мост у нас был каменный, пятиарочный, массивный, простоявший семьсот лет. Его построил Сатана за одну ночь по заказу тогдашнего настоятеля монастыря, хотя пришлось долгое время его уламывать. Сатана жаловался, что построил много мостов в различных европейских странах по контрактам со священниками, но те вечно надували его, когда дело доходило до расплаты, и если на сей раз его тоже обманут, он уже никогда не будет верить ни одному христианину. Обычно Сатана требовал в качестве платы за свой труд первого пешехода, который перейдет мост, и все понимали, что он имеет в виду крещеную душу. Но сказать это открыто Сатана не осмеливался, и священники, пользуясь этим, посылали первым через мост осла, а то и курицу, иначе говоря, существо без души и так умудрялись лишать строителя обещанной платы. Зато на сей раз Сатана четко и ясно потребовал христианина и во избежание недоразумений вписал сей пункт в контракт. И это не легенда, а исторический факт: я много раз видел собственными глазами тот контракт — его всегда выносили в День умирения Сатаны, когда религиозное шествие направлялось к мосту, и каждый, кто уплатил десять грошей, мог повидать его вблизи и вдобавок получить отпущение тридцати трех грехов — сразу столько, — ибо жизнь в те времена была легче, чем теперь, и грехи были намного дешевле; лишь самый последний бедняк не мог себе позволить такую роскошь. Прошли те славные денечки и больше не вернутся, так говорят все.

Ну так вот, Сатана вписал свое условие в контракт, но настоятель монастыря сказал, что временно откладывает заказ на строительство, а день, когда оно должно начаться, сообщит Сатане вскорости, возможно через неделю. Дело в том, что у них был тяжко болен один старый монах и настоятель приставил к нему наблюдателей не спускать с него глаз и приказал, как только они заметят, что старик совсем уже плох, тут же дать ему знать. После полуночи 9 декабря ему было доложено это сообщение, он немедленно призвал Сатану, и мост был начат. В ту ночь настоятель и вся братия бодрствовали и молились о ниспослании умирающему сил — только немножко сил, лишь бы сумел подняться и на рассвете перейти мост. Молитва была услышана и вызвала великий переполох на небесах: наутро вся небесная рать поднялась чуть свет и полетела смотреть. Тучи и тучи ангелов парили в воздухе над мостом, по которому плелся умирающий монах. У него хватило сил добраться до конца моста, и только там он упал и испустил дух, и Сатана уже метнулся к нему, но его опередили ангелы, подхватили отлетевшую душу и взмыли с ней кверху, хохоча и насмехаясь над князем тьмы, которому достался бесполезный каркас.

Сатана просто кипел от ярости и называл настоятеля обманщиком.

— Это же не христианин! — возмущался он.

— Как нет? Христианин, только, правда, неживой, — возражал настоятель.

Потом он и его монахи окружили Сатану фальшивым почетом: чтобы для вида успокоить, умиротворить, а на деле — поиздеваться над ним, и это еще пуще разъярило Сатану. Он их всех подобающим образом проклял, а они лишь смеялись в ответ. Тогда он поднял черную бурю, пронзил небо молниями, потряс страшнейшим громом и, закружившись в вихре, покинул землю. Но, улетая, зацепился острым шипом хвоста за каменный столб и повалил его, и вот этот столб лежит уже много веков при входе на мост как памятник того исторического события. Я сам его видел тысячу раз. Такие вещи говорят нам больше, чем летописные документы: документ может лгать, а веры достойно лишь свидетельство церкви! Умирение Сатаны устраивается в нашей деревне и поныне каждый год в день 9 декабря, в память божественного озарения того настоятеля, что спасло одну христианскую душу от посягательства самого злейшего врага человечества.

◆

# Наши гости

## Костас Валетас

### ГРЕЦИЯ

Деятельность нашего гостя весьма многогранна. Костас Валетас — прозаик, драматург, литературный критик, переводчик Помимо этого он принимает активное участие в делах издательства «Валетас», организованного тридцать лет назад его отцом, заместителем председателя Общества дружбы «Греция — СССР», и публикующего современную художественную литературу Греции и других стран, выпускает два журнала — «Эолийская литература» и «Элиос». Наши читатели с Костасом Валетасом пока незнакомы, поэтому мы просим гостя рассказать о себе.

— *Пожалуй, прежде всего я чувствую себя писателем. Писать я начал в 1961 году, будучи студентом университета. Как и многие, начал я со стихов, опубликовал один сборник, но больше к стихам не возвращался. Стал писать рассказы. К сегодняшнему дню у меня вышло пять сборников, и один из них, «Китайская стена», удостоен Государственной премии. Но это было уже гораздо позже, в 1974 году. А тогда, в 1961-м, мы попытались организовать в Афинском университете журнал, но выпустить удалось только пять номеров...*

*Тогда же я начал изучать русский язык и интересоваться русской литературой и историей. Написал работу о Добролюбове. Ваши революционные демократы были замечательными людьми. И они любили Грецию. Не ту Древнюю Грецию, которой, в общем-то, все восторгаются, а революционную Грецию, боровшуюся за независимость. Я часто мечтаю вернуться к изучению русского языка. И тогда я сделаю антологию того, что писали в России о нашей Национально-освободительной революции 1821—1829 годов.*

*Но мы отвлеклись. Хоть я и написал много рассказов, настоящая известность пришла ко мне после романа «Эмиграция», вышедшего в свет в 1976 году. Жанр романа сейчас не очень популярен в Греции, скорее все-таки читаются рассказы. Но тема этого романа очень близка грекам. Действие происходит в ФРГ, персонажи романа — рабочие, и не только греки — итальянцы, испанцы... Одним словом, люди, которые стремятся найти работу и лучшую жизнь, а находят бесправие, унижение.*

*Фашисты во время войны пытались насильно вывозить греков на работу в Германию. Тогда весь наш народ сопротивлялся. А в шестидесятые годы многие сами вынуждены были покинуть Грецию. Одни просто искали работу, а некоторые поверили в миф о прекрасной жизни в Западной Германии. Мне очень хотелось рассказать обо всем этом правду. Роман уже вышел почти на десяти языках. После «Эмиграции» я написал еще один роман — «Избиение старцев». Мне хотелось в нем передать свои впечатления о том, что произошло в Греции во времена «полковников». Я продолжаю писать рассказы, а сейчас еще работаю и для театра.*

— Почему вы обратились к театру?

— *Знаете, у вас в Советском Союзе писатель имеет очень много возможностей непосредственно общаться с читателем. Мне удалось повидать такие встречи в Грузии, в Москве — в Политехническом музее и Литературном институте. Я и мои друзья, писатели молодого поколения, тоже ищем такие формы. Но у нас только театр дает ощущение непосредственного контакта. Одну из моих пьес, «Елена Негрин», молодежная экспериментальная труппа играла на фестивале коммунистической молодежи. Скоро группа молодых актеров покажет пьесу по роману «Эмиграция».*

— Мы говорили пока о вашей писательской деятельности, но ведь вы, кроме того, редактор и издатель...

— *Журналы «Эолийская литература» и «Элиос» приобрели большую популярность. Для Греции наш тираж — три тысячи эк-*

*земпляров — достаточно велик. Поэтому ваши тиражи нам представляются фантастическими. Даже в таких республиках, как Грузия и Армения, с которыми легче сравнивать.*

*Начали мы с отцом восемь лет назад с издания журнала «Эолийская литература». Мы печатали в нем новинки новогреческой литературы, статьи по истории, искусству. Но отдельные номера журнала были посвящены зарубежным писателям. И поскольку интерес к этим номерам был очень велик, тиражи достигали трех тысяч, я решил основать новый журнал. Вначале мы публиковали произведения писателей Балканских стран. Идея оказалась плодотворной. Постепенно мы расширяем географию. Например, один из номеров был посвящен Пабло Неруде. Печатали мы переводы Маяковского, Винокурова, других советских поэтов.*

*Интерес, проявленный нашими читателями к литературам социалистических стран, в первую очередь к советской литературе, побудил наше издательство начать выпуск антологий современной поэзии. Мы уже сделали антологии польской и чешской поэзии, а в этом году выходит первая книга советской поэзии. В ней будет представлено творчество 25 поэтов: Ахматова, Пастернак, Вознесенский, Винокуров... За этой книгой должны последовать и другие: антологии грузинской поэзии, армянской...*

*Но предстоит решить серьезные проблемы с переводами. Как это ни парадоксально, в Греции никогда не было прямых переводов с русского языка. Вот вы показывали мне переводы нашего великого поэта Кавафиса, сделанные с греческого. А ведь у нас даже Достоевского переводили с французского. И Маяковского тоже. Теперь мы пытаемся хотя бы подстрочники делать с русского. Тогда и качество переводов будет выше.*

*Что касается журнала, мы собираемся теперь публиковать не только ваши стихи и рассказы, но также критические статьи, обзоры советской литературы. На первых порах мне, я думаю, помогут двуязычные издания вашего издательства «Прогресс». Я увожу с собой много таких книг. А дальше... придется всерьез вернуться к изучению русского языка.*

*Сейчас же мне очень хочется написать о Грузии, о днях советской литературы в этой республике, о замечательной культуре грузинского народа. Уже в ближайшем номере журнала «Элиос» планирую опубликовать стихи советских поэтов, с которыми я здесь познакомился.*

*Я впервые в Советском Союзе. Никогда еще не видел, чтобы писателей, поэтов так встречали. Популярности наших хозяев — грузинских поэтов можно позавидовать. И конечно, тому, как у вас раскупают книги.*

**И. ЦИКОЛЬ**

◆

**ДЕ ТРИР МЁРХ**
**Дания.**
**Рисунок**

# Из нашей почты

**Среди читательских писем, оценивающих работу журнала, встречаются и такие, что несводимы лишь к беглым оценкам деятельности как нашего издания в целом, так и отдельных произведений, в нем печатаемых. Помимо суждений типа «понравилось — не понравилось» встречаются и развернутые отзывы, даже целые литературные разборы, тяготеющие к жанру критической рецензии. Примером такой «читательской критики» может служить обстоятельное письмо А. Потемкиной из Москвы, анализирующей некоторые стороны романа Кэндзабуро Оэ «Объяли меня воды до души моей...» («ИЛ», № 3, 4, 1978). Публикуемое в данном случае как документ читательской почты, оно могло бы найти себе место и в разделе «Возвращаясь к напечатанному».**

**В предисловии к публикации романа К. Оэ литературовед Т. Григорьева обращала внимание на важные аспекты его содержания и формы, подчеркивала, в частности, что «слепой, неистовый гнев» героев романа, подростков, есть отражение настроений бунта в молодом поколении, взрывов студенческого движения, потрясенным свидетелем которых стал японский писатель. Читательница А. Потемкина интересно рассматривает в своем письме другие особенности романа, пытается понять его на широком фоне литературно-философских скрещений и влияний, привлекает для обоснования своей мысли имена Г. Мелвилла и Ф. М. Достоевского.**

**Некоторые наблюдения и параллели, приведенные в развернутом отклике читательницы, могут быть оспорены или уточнены в своих формулировках. Но главное, что эти наблюдения и соображения показывают, как серьезен может быть уровень непосредственной читательской критики в тех случаях, когда достоинства свежего восприятия соединяются с солидным багажом знаний в области духовной культуры.**

Мне кажется, что роман Кэндзабуро Оэ «Объяли меня воды до души моей...» сложнее, чем об этом написано в предисловии к его публикации. Признаться, мне не понятны термины: антижизнь, антиразум, антилюбовь, антисправедливость... Вероятно, с точки зрения тех, кто живет «антижизнью», понятия о справедливости, любви, разуме противоположны нашим, и они в свою очередь могут употреблять приставки «анти» к нашим переживаниям и чувствам.

Правильнее все же назвать роман «Потоп подступает к нашим душам». В Библии, в «Книге пророка Ионы», фраза «Объяли меня воды до души моей» относится не к бедствиям вроде потопа, которые надвигаются на Землю, а характеризует наказание, которому Иона подвергся за то, что во время бури оставил без помощи корабельщиков, «спустился во внутренность корабля, лег и крепко заснул».

Книга Оэ написана в непривычном нам ключе, но коль скоро он отгадан, все становится на свои места.

Роман заслуживает того, чтобы на него обратили внимание читатели. В основе своей это произведение посвящено раскрытию человеческих страданий в мире, где ущемлена и унижена человеческая личность, то есть тому же, о чем писал Ф. М. Достоевский. Целый век прошел с того времени, как в героях Достоевского раскрылась трагедия «маленького человека», стало ясно, что подавление достоинства личности не только разрушает душу, раздваивает сознание, порождает чувство униженности, но и вызывает ярость, а стихийный людской протест как смерч уничтожает все на своем пути.

В романе Оэ прослеживаются обе формы протеста. Предельная подавленность

порождает стремление укрыться в недоступном убежище от жестокости «благополучного» преуспевания. С одной стороны — Исана с малолетним сыном Дзином. С другой стороны — подростки, выбравшие своим убежищем заброшенную киностудию... Подростки совершают набеги на преуспевающих сограждан, чьим имуществом и плодами труда они пользуются в меру своих надобностей. Вещи они крадут, людей — врача, радиста, военного инструктора — заманивают.

Вначале Исана и подростки испытывают страх друг перед другом. Затем подростки, поняв, что Исана не доносчик, принуждают его оказать им помощь, а оказанная помощь умаляет чувство страха Исана, делает его общительнее — помогает ему осознать, что сделанное другим добро поднимает его человеческое достоинство. В конце концов Исана и подростки становятся сообщниками. Исана назначен ими на должность «специалиста по словам» и должен облечь в слова идеал Союза свободных мореплавателей, в который объединены подростки.

С тех пор как Исана затворил себя и сына в никому не пригодившемся атомном убежище, он, оправдывая свой уход от «мирских» дел, объявил себя «поверенным китов и деревьев». Он, правда, ничего не сделал для их защиты, но рассчитывал, что когда человечество погибнет от атомной или иной катастрофы, Исана сможет объявить китам и деревьям, что они теперь свободны от своих врагов, то есть людей. Узнав, что Исана верит в души китов и деревьев, Такаки, предводитель свободных мореплавателей, привлек на свою сторону отшельника, поведав ему, что и он верит в Китовое дерево. На единоверии и возникло сообщество. Теперь надлежало создать вероучение, определить цель и обосновать догматы.

В убежище Исана захватил с собой две книги: Достоевского в английском переводе и «Моби Дика» Германа Мелвилла, книгу, которая вышла в Америке в 1851 году.

Было бы неправильным сказать, что оба эти автора оказали влияние на Кэндзабуро Оэ. Взаимосвязь здесь сложнее. Оэ размышляет о том же, о чем и Достоевский и Герман Мелвилл. Художественная канва романа вытканa в наши дни, и персонажи, вышитые по ней,— наши современники. И то и другое изображено автором реалистично, местами даже натуралистично.

Напоминать русскому читателю об идеях и идеалах Достоевского нет надобности. Но несколько слов о книге «Моби Дик» сказать необходимо — едва ли многие читали этот том в восемьсот страниц.

В прошлом веке китобойный промысел имел для цивилизованных стран примерно такое же значение, как в наш век нефть. Из китового жира делалось мыло и свечи, им пользовались для приготовления политуры и красок и при отделке кож и шерстяных тканей; газом, полученным из китового жира, освещались улицы; без китового уса нельзя было сшить женское платье... Китобои плавали во всех морях земного шара. Китов истребляли хищнически, и киты защищались как умели, нередко проявляли агрессию под руководством опытных, мудрых вожаков. Именно таким и был Моби Дик.

Капитан Ахав, которого Моби Дик искалечил, жаждет отмщения и посвящает жизнь погоне за своим врагом — этому поединку человека и могучего зверя и посвящена книга Мелвилла, ставшая классикой американской литературы. На фоне перипетий судьбы китобойного судна «Пекода» и его команды автор рассказывает о китах, их особенностях, правилах китобойного дела, перемежая эти трактаты изложением своих морально-философских и социальных взглядов. Он широко использует исторические, географические и литературные ассоциации, в том числе и библейские образы.

Оэ, как и Мелвилл, выбрал корабль, правда на суше, местопребыванием «свободных мореплавателей», подростков, мечтающих бороться со злом. Команда «Пекода» тоже состояла из отступников и отщепенцев, но капитан Ахав вел своих морских волков на борьбу с китами, точнее, с самым мудрым и сильным из них, главным воплощением всякого зла, «той темной, неуловимой силой, которая существует от века...» (Герман Мелвилл, «Моби Дик.». М., 1961, стр. 287).

Есть нечто общее в манере повествования у автора «Объяли меня воды до души моей...» с приемами Германа Мелвилла. Рассказ ведется от первого лица — в «Моби Дике» рассказывает Измаил, у Оэ — Исана. У обоих героев на земле не осталось ничего, что могло бы их удержать или заинтересовать... Обоим писателям свойственно пользоваться литературными ассоциациями более, чем другими приемами художественного слова.

Подростки устроили себе убежище в киностудии — невольно вспоминается, что на их миропонимание оказали влияние фильмы о жестокости преступников и сексуальном бесстыдстве. От смертельного страха Дзина спасает пение птиц, записанное на пленку,— по ассоциации с китами и деревьями думается о природе вообще. В бетонном полу убежища есть квадрат, в который можно поставить босые ноги и прикоснуться к обнаженной земле,— в минуты тяжелой депрессии Исана прибегает к этому способу успокоения. Антей?

Зло в романе о Белом ките в «представлении безумного Ахава стало видимым и доступным для мести в облике Моби Дика»; у Кэндзабуро Оэ Исана, «как поверенный китов», поставил своей задачей мстить людям «за содеянное зло» — так оба автора и оба произведения перекликаются через столетие.

Может быть, и Достоевский столь наглядно привлечен в роман Оэ с той же целью? Например, понять Коротыша, пожалуй наиболее сложный психологически персонаж, можно, лишь вспомнив роман «Идиот». Сам Коротыш характеризует себя так: «Я

просто хочу провести аналогию между отношением Рогожина и князя Мышкина к Настасье Филипповне и моим отношением к этой приятельнице. Десять лет назад я был для нее князем Мышкиным. А при новой встрече стал Рогожиным».

Кульминационная идея романа уясняется в свете исповеди старца Зосимы из «Братьев Карамазовых». Я позволю себе привести несколько цитат из нее и сопоставить с этим содержание романа Оэ.

Старец Зосима внушает Алеше Карамазову евангельскую истину: «Если пшеничное зерно, павши в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плодов. Запомни сие». Оэ не один раз подчеркивает: смерть каждого свободного мореплавателя и самого Исана — залог жизни их вероучения. «И верим не только мы. Начинает верить множество людей за стенами нашего убежища»,— говорит Такаки.

Старец Зосима говорит: «Благословляю восход солнца ежедневный, и сердце мое по-прежнему поет ему, но уже более люблю закат его, длинные косые лучи его»... «Наполненный звуками безлюдный пейзаж затопили лучи вечернего солнца. Исана почудилось, будто однажды он видел уже нечто подобное»... И старец Зосима и Исана видят закат солнца, приближаясь к смерти.

«Что за книга это Священное писание, какое чудо и какая сила, данные в ней человеку!» — восклицает Зосима. Кэндзабуро Оэ признается: «...я часто обращаюсь к Библии... Великий потоп, тот самый великий потоп, который означает конец света, достиг уже нашей груди».

В романе Оэ от грядущего всемирного потопа (или землетрясения, или атомной бомбы) рассчитывает спастись Исана, человек далеко не «праведный». Но он осознал, что всю предыдущую жизнь совершал поступки недостойные, почувствовал себя «нравственным банкротом» и был близок к самоубийству. Примерно то же состояние испытывал его маленький сын, болезнь которого заключалась в том, что он не хотел жить, лишен был инстинкта самосохранения. Спасается Исана с сыном в атомном убежище. «Только укрывшись здесь, я осознал себя поверенным деревьев и китов... Если начнется война и водородная бомба уничтожит все человечество, мы с Дзином в этом убежище погибнем последними, и я хотел в свой последний день сообщить всем китам и деревьям на земном шаре: слушайте, я ваш поверенный, поздравляю вас — человечество, пытавшееся вас уничтожить, погибло...»

И опять есть смысл вспомнить старца Зосиму. Он особо подчеркивает «чудное сказание о пророке Ионе во чреве китове». Три последние главы своего романа Оэ так и называет «Из чрева кита». Но из своего «чрева кита», то есть из атомного убежища, Исана не выходит живым, как пророк Иона. В последние минуты перед смертью Исана раскрывает основную идею автора: «Я провозгласил себя поверенным деревьев и китов, но я человек, и мне не уйти от ответственности перед вами, ибо я один из тех, кто рубил деревья и истреблял китов». Невольно хочется напомнить библейское предание об Ионе. После того как кит изверг Иону на сушу, тот отправился проповедовать в Ниневию: через сорок дней она будет разрушена. Выйдя из города, Иона сел в тени кущи, «чтобы увидеть, что будет с городом». Но Господь повелел, чтобы «червь подточил растение, и оно засохло». Солнце так палило голову Ионы, что он «сказал: лучше мне умереть, нежели жить». И сказал Бог Ионе: «Неужели так сильно огорчился ты за растение?» И Господь устыдил Иону: «Ты сожалеешь о растении, над которым ты не трудился и которого не растил... Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором более ста двадцати тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой, и множество скота?»

Не ясен ли смысл притчи? Исана тоже жалел китов и деревья, но ничего не сделал для того, чтобы научить людей беречь природу, именно поэтому он и Дзин были близки к смерти. «...Я, оставив все без ответа, превращусь в ничто...» Лишь смерть позволит ему обрести безграничную свободу, то есть избавит его от ответственности.

Исана неоднократно упрекает себя в пассивности, ведь все, что он делает, он делает «в силу необходимости»: уход в убежище, разрыв с женой, поход к тестю за деньгами, помощь свободным мореплавателям... Но именно эта помощь и зажгла в нем первые вспышки инициативности. Став «специалистом по словам» в компании этой молодежи и взяв на себя обязанность обучать их английскому языку, Исана в качестве первого текста берет выдержку из проповеди старца Зосимы. Некоторые фразы этого текста становятся буквально символом веры «психически неуравновешенных юнцов», как характеризует жена Исана взбунтовавшихся свободных мореплавателей. Следующие несколько строк повторяются в романе многократно: «Юноша, не забывай молитвы». Даже позывными радиостанции свободных мореплавателей стала фраза: «Юноша, не забывай молитвы!», произносимая по-английски.

Подростков «не интересовало, кому молиться». Молитва была нужна им «для их тела и души». Для них молиться в какой-то мере означало и трудиться. Так, например, Красномордый спрашивает Исана: «Тот, кто может на чем-нибудь сосредоточиться, ну хотя бы на вождении машины, совершает нечто похожее на prayer, правда?»

Я долго не могла понять, почему Оэ упорно называет свободных мореплавателей подростками — многие из них старше двадцати лет, а Коротыш и вовсе приближается к сорока. И поняла это так: по своему умственному развитию они находятся в подростковом возрасте. Сознание их не пробуждено и не воспитано. Они вышли из детского возраста, но зрелости не

достигли, действуют под влиянием эмоций, бессознательно, без контроля разума. А Коротыш все время «сжимается», мне думается, что он деградирует как нравственная личность. «Я первый оповещу мир о том, что человечество начало движение вспять и в теле каждого человека появились гены, направляющие его развитие и рост в обратную сторону»,— говорил он.

«У самого Исана в молодости не было другого объекта презрения или уважения, кроме человека»,— замечает автор по поводу того, что подростки «ненавидят» автомобиль, «издеваются» над ним. Фетишизм?

Все персонажи романа, за исключением Исана, не способны к рефлексии, они действуют под влиянием эмоций. Я даже сказала бы, весь роман — симфония эмоций: злость, ненависть, подозрение, ревность, недоверие, доверие, надежда, вера, любовь... Подростки мгновенно переходят от гнева к смеху, от слез к радости. Много раз автор говорит о чувстве, которое возникает при утолении голода, оно однажды спасло Исана от самоубийства.

На первых страницах чаще всего встречается слово «страх». И во сне и наяву страх довлеет над Исана с Дзином и над подростками. Познавая друг друга, они становятся добрее друг к другу. И хотя временами между двумя лагерями, Исана с Дзином и подростками, происходят столкновения, порожденные вспышками гнева, взаимопомощь приводит к раскованности, появляется искренность, уверенность друг в друге.

Возвращаясь из аптеки с лекарством для Боя, Исана почувствовал, что «он стал жить под чужими пристальными взглядами, на виду у окружающих. Они подступают к нему и требуют определить, с кем он, к какому лагерю примкнет. Разум его бьет тревогу...» Позднее приходит любовь не только к больному ребенку — близость с Инаго открыла обоим «ощущение родства двух людей». «Если бы мне удалось по-настоящему воскресить эту девчонку»,— взывал Исана к душам китов и деревьев. Теперь Исана страшится смерти.

Но именно теперь Исана приходит к самому высокому из человеческих чувств — любви к ближнему, к единомышленнику, такой любви, что готов отдать жизнь за их общие идеи. Вместе с подростками Исана учился сам. Его эгоистическое стремление спастись с сыном в момент гибели своих соотечественников уступило место вдохновению учителя. «Мне бы хотелось сделать достоянием общества некоторые выводы, в которых я утвердился в годы своего затворничества»,— объясняет он бывшей жене. «...Я встретился с компанией молодежи, их мысли во многом созвучны моим».

Затея с покупкой корабля для свободных мореплавателей оказалась тщетной. Так же, как тщетно и воплощение их идей в слове.

Обреченный на смерть в своем бункере, Исана гадает на Библии, принадлежащей Инаго. И находит «ясный ответ»: *«Теперь вы хотите убить меня, ибо слово мое не вошло в вас»*. «Он оказался не в состоянии истолковать слова, сотрясавшие его барабанные перепонки,— не смог объяснить песню китов и позволил ей безвозвратно утонуть в потоке времени».

Мне хочется привести полностью последние мысли Исана: «Я жаждал обличать жестокость людей, убивавших деревья и китов. Потому-то я и обязан теперь проявить присущую человеческой природе жестокость и доказать правоту тех мыслей, что лелеял долгие годы».

Понять философское значение романа нелегко, он трудно читается, многозначен и, конечно, очень интересен. Меня лично роман обогатил и заставил задуматься о многом — о тех духовных ценностях, которые раньше как-то выпадали из моего поля зрения и моих размышлений.

**А. ПОТЕМКИНА**

◆

# Среди книг

## Издано в СССР

### ЕСТЬ ТАКОЙ КЛАСС!

**Луи Ури. Пролетарии. Перевод с французского И. Варламовой и Л. Померанцевой. Послесловие В. Любимовой. Москва, «Прогресс», 1977.**

Надо полагать, что название романа «Пролетарии» потребовало от автора и от его французских издателей известного мужества. Оно не «котируется» со многих точек зрения. На протяжении последних десятилетий как справа, так и слева предпринимались и предпринимаются массированные усилия похоронить... целый класс. И не какой-нибудь, а прежде всего рабочий. Одни, анализируя его материальное положение (заметно улучшившееся в развитых капиталистических странах), его потребности, интересы, утверждают, что все современное общество, в том числе и пролетариат, медленно, но верно трансформируется в некий «средний» класс, становится «единым», «целостным», «сформированным» организмом; другие, именующие себя «левыми», да еще и «новыми», беря по существу на вооружение весьма правые рассуждения об обществе «всеобщего потребления», упирают на то, что если пролетариат и сохранился, то, развращенный, одурманенный самым низменным потреблением, растерял былые революционные потенции и представляет собой ныне силу косную, инертную, роль локомотива истории приходится поэтому брать на себя левой интеллигенции, революционному студенчеству. Третьи хоронят пролетариат на том основании, что число заводских рабочих, людей, занятых непосредственно производительным трудом, неуклонно сокращается в ходе научно-технического развития, зато разбухают неимоверно такие сферы, как обслуживание, торговля, наука, культура и т. д.

Стоит ли удивляться тому, что на долгие годы пролетарий превратился для литературы развитых стран Запада в «незнакомое существо»?

Знал ли об этом автор романа «Пролетарии» рабочий-котельщик Луи Ури? Думаю, что знал. Да, Луи Ури — рядовой рабочий, один из многомиллионной армии людей труда и ее представителей; своих товарищей по бригадам, по цеху, заводу и стройкам он рисует без всяких прикрас, такими, какие они есть. Но природный ум, живость, любознательность, полученное образование, главное, условия труда и борьбы, в которую герой втягивается логикой событий, даже вопреки своему характеру, воспитанию, первоначальным убеждениям,— все это постепенно пробуждает в нем потребности иного порядка, чем те, что приписывают современному рабочему буржуазные социологи. Он стремится, как это ни трудно, осознать себя как личность, осознать свое место, свою роль в окружающем его мире.

Луи — по принятой во Франции терминологии — РП, рабочий с профессией, у него работа, оставляющая простор для творчества, вдохновения, гордости своим трудом, и Луи — это хорошо показано в романе — поначалу пытается найти, проявить себя именно в деле. Он как специалист растет на наших глазах, но принятая система выжимания пота, эксплуатация и сверхэксплуатация скоро убивают искорки интереса, творческого отношения к труду. «Чтобы придать жизни смысл, человек должен прежде сформироваться как личность. Вот это и есть наше самое уязвимое место — попробуйте стать личностью, когда вы по десять часов в день только и заняты укрощением материи не в том, так в другом ее виде...»

В известном смысле Луи Ури и не мог назвать свой роман иначе: слишком многим он обязан пролетариату (и он не устает это подчеркивать), тому пути, что он избрал вместе с товарищами.

«Тут я, недоделанный пролетарий, вспоминаю про свое христианское воспитание и про любовь к ближнему, которую в меня так долго втемяшивали (вбивали? — *Б. А.*). Я, недоделанный пролетарий, новичок на

заводе, распознаю, почему понятие солидарности возведено профсоюзниками в ранг настоящей религии. И я, недоделанный пролетарий, постепенно осмысливаю свое социальное положение...»

В романе психологически достоверно показано, как Луи, семнадцатилетний паренек, окончивший профучилище, получивший по протекции (а так бы сколько еще ходил в безработных!) свое первое рабочее место, не просто сторонится, а прямо-таки шарахается от всего, что выходит сколько-нибудь за рамки представлений, внушенных кюре и школьным учителем ему, сыну полупролетария-полукрестьянина, едва сводящего концы с концами. Он и на завод-то в Сен-Назере сравнительно легко устраивается потому, что родом из местности, которая славится своей благонадежностью, веропослушанием; «своих» — молодежь промышленного центра — администрация предпочитает не принимать. Тоже политика, разделяй и властвуй — ей имя, и с плодами ее герою приходится сталкиваться с первых шагов самостоятельной жизни: он никак не может понять, почему так косо смотрят на него многие товарищи по работе, особенно его сверстники...

Медленно рушится стена недоверия и отчуждения, самые широкие бреши в ней пробивает длительная, ожесточенная борьба рабочих Сен-Назера за новый коллективный договор, этой борьбе — не раз дело доходило до баррикад, до рукопашных схваток с полицией и силами безопасности — без преувеличения посвящены лучшие страницы романа. Вот когда герой осознает себя личностью, частицей класса, которому принадлежит будущее.

Л. Ури — не коммунист, поначалу так даже и решительный, воинствующий антикоммунист — с ужасом отшатывается от своего напарника по работе, молодого парня, дравшегося с жандармами. «Бить жандармов! Я подозреваю, что он, несмотря на все его запирательства, заодно с бандами коммунистов, с этим хулиганьем, которое проповедует ненависть вместо любви к ближнему, с этими шайками, состоящими из отбросов общества, с этими вечно бастующими бездельниками...»

Но логика событий неумолимо приближает его к коммунизму, он изменяет своей сдержанной, даже суровой повествовательной манере, описывая празднование 14 июля в небольшом рабочем городке Фенэне, большинство жителей которого голосует за коммунистов. Попутно автор замечает, что 14 июля не отмечают ни в одном из селений Западной Франции, откуда он родом, но зато там не преминут устроить праздник по случаю приезда нового кюре.

А здесь, в Фенэне... И хотя героя все еще смущают развешанные повсюду красные флаги, смущают речи мэра-коммуниста, во всеуслышание бичующего язвы капитализма, однако, как он признается: «...горячие аплодисменты, вызванные его речью, роднят меня с этой толпой рабочих... Все мне кажется светлым, сияющим, прозрачным. Как в чистом источнике. Я не подвергался, если можно так сказать, влиянию коммунистов, не считая некоторых замечаний моих товарищей о положении рабочих. Наоборот... но, о господи! Именно в этот день я понял, что коммунизм — это самый верный способ осуществить твои десять заповедей Еще многое отделяет меня от коммунистов но в главном они правы. Именно в этот день я впервые по-настоящему участвовал в народном празднике вместе с простыми честными людьми, такими непосредственными в отличие от лицемеров и ретроградов, проповедующих антикоммунизм».

Луи Ури написал яркую и содержательную книгу о жизни, труде и борьбе современной трудовой Франции, и его рассказ не оставляет нас равнодушными.

**БОРИС АНАШЕНКОВ**

## «НЕ СТОРОНИТЬСЯ МИРА...»

**Станислав Лем. Насморк. Перевод с польского С. Ларина и В. Чепайтиса. «Знамя» № 4, 5, 1978.**

Авторитет научной фантастики в мире вырос за последние четверть века во многом благодаря творчеству С. Лема. Его книги, хорошо известные и советскому читателю, изданы на тридцати пяти языках и пользуются неослабевающей популярностью. Главная причина их успеха в том, что, по верному определению самого Лема, фантастика для него — не самоцель, а средство постижения человеческой натуры, понимания того, что происходит на земле сегодня, могущественная лупа, в которую рассматриваются тенденции развития — социальные, моральные, философские.

Лем называет себя реалистическим фантастом — его смелая фантазия, допускающая дерзкие научные и футурологические гипотезы, в то же время никогда не отрывается от реальных жизненных проблем. Ибо для Лема главная функция литературы — познавательная, а главное ее содержание — гуманизм. Литература, писал Лем, «должна не сторониться мира, не украшать или клеветать на него, а судить его или хотя бы наблюдать за ним, как умный свидетель». То, что это вполне возможно в рамках научно-фантастического жанра, Лем блестяще доказал своим творчеством. Моделируя развитие общества и стремясь предвидеть конфликтные ситуации, в которых может оказаться человек, Лем никогда не фетишизирует всемогущество техники и науки. Как бы высоко они ни были развиты, сами по себе они не предопределяют ни безоблачного и бесконфликтного существования человечества (один из распространенных вариантов произведений научной фантастики), ни неизбежного уничтожения или вырождения нашей цивилизации (ва-

риант фантастики, особенно модный на Западе). Природу или технику у Лема наполняет своим содержанием человек. В космосе или в будущем — местах действия произведений Лема — судьба человечества зависит от людей, от осознанности и целенаправленности их коллективных действий. Эпиграфом к творчеству Лема можно было бы поставить только по форме шутливый афоризм известного польского сатирика Станислава Ежи Леца: «Все в руках человека. Давайте же чаще мыть руки».

Этот ведущий этический мотив творчества Лема виртуозно разработан писателем в разнообразных формах и видах научной фантастики. Помимо «серьезной», не менее интересна и «смешная» фантастика Лема — его сказочные сатирические, гротескные, пародийные произведения, разоблачающие бездуховность машинизированного общества («Сказки роботов», «Звездные дневники Ийона Тихого», «Кибериада»), а также изобретенные писателем «фантастические» рецензии на несуществующие романы и предисловия к ним («Совершенный вакуум», «Мнимая величина»). Лем — в неустанном поиске новых средств, форм, приемов, служащих выражению актуальной моральной и философской проблематики.

В новом качестве предстает перед читателем Лем в романе «Насморк» (1976). Его действие происходит не в отдаленном будущем, как в большинстве произведений Лема, а в наши дни. Фантастический допуск в романе незначителен. Это упоминание об экспедиции на Марс, которая сегодня не выглядит такой уж невероятной, это описание изощренных устройств римского аэровокзала, которые должны защитить пассажиров от террористов и которые технически возможно соорудить и сегодня, а также ряд других деталей. Не выглядит фантастичным и допущение Лема о зловещем изобретении Дюнана, убийственно воздействующем на психику человека,— известно, что в западных странах активно разрабатываются новые виды химического оружия. Недавно были опубликованы сведения о создании химиками Пентагона нового отравляющего вещества — так называемого бинарного газа «У-х». В США, сообщалось в газете «Правда», только в 1976/77 финансовом году на изыскания в области химического оружия было израсходовано 65 миллионов долларов, значительно больше, чем в предыдущие годы. Элементы фантастики в романе Лема органически сплавлены с реальностью современного капиталистического мира и подчеркивают уродливость происходящих в нем процессов.

Остросюжетный роман Лема пародирует детектив. В нем, как в классическом детективе, расследуется таинственное преступление, приводятся аналитические рассуждения героя и его помощников, перебирающих возможные причины происшествия, даются ложные следы и, наконец, решение загадки. Загадка эта, правда, оказывается, по словам героя, «не столько детективной, сколько научной» и, добавим, социальной, но для читателя это становится ясным лишь в конце увлекательного чтения.

Читательский интерес постоянно поддерживается умело дозированной информацией об обстоятельствах поездки бывшего американского астронавта по следам некоего Адамса, погибшего при странных обстоятельствах. Напряжение достигает кульминации в сцене террористического акта в римском аэропорту. Как выясняется впоследствии, эта сцена не имеет прямого отношения к действию, но она важна не только для характеристики личных качеств героя, но и для характеристики общества, показанного в романе. Сцена в аэропорту — средоточие негативных, более того — патологических черт жизни западного общества потребления, общества «легализованного насилия», ответом на которое является процветание терроризма. В этом обществе научные открытия используются для создания новых средств уничтожения людей, ученые не останавливаются перед опаснейшими экспериментами на людях, а бесконтрольная деятельность предпринимателей, заботящихся лишь о наживе, приводит не только к нарушению среды обитания человека, но и к смерти людей.

На первый взгляд, в итоге расследования убийцей нескольких человек оказывается современная химия, точнее — косметическая промышленность и невероятное стечение обстоятельств. Но главный виновник — общество «здоровой конкуренции», бездумно использующее открытия в области химии. И пусть не найден конкретный преступник — ответственность, по словам Лема, «жива даже тогда, когда она распределена по этажам и колесам большой машины, хотя процент ее в личностях — колесиках этого аппарата — нелегко установить в каждом отдельном случае» («Философия случайности»). Ответственность за гибель людей в романе несет капиталистический строй в целом.

Роман Лема ставит и такую важную проблему, как вмешательство человека в его природное окружение. Открывая новые химические соединения и применяя их в медицинских целях, человек не всегда представляет себе их влияние на организм, что может привести к трагическому исходу. Разумеется, Лем не призывает отказаться от научных поисков и открытий. Всем своим творчеством он доказал, что является горячим сторонником научно-технического прогресса. Но он еще раз предупреждает об ответственности человека за свою деятельность.

Лем не был бы самим собой, если бы и в этом детективно-фантастическом романе не обратился к некоторым философским проблемам современного мира. В рассуждениях доктора Сосюра вырисовывается «статистическая» концепция мира, отрицающая необходимость активного действия. Вряд ли можно говорить о том, что сам автор разделяет эту «теорию». Мы имеем дело с одним из излюбленных приемов Лема: перед читателем ставятся труд-

ные вопросы, на которые не дается однозначного ответа. В романе нет прямой полемики со взглядами Сосюра. Однако решение загадки, как бы оно ни казалось случайным, стало возможным только в результате целеустремленных действий героя.

Наряду с блестящей научной эрудицией, которая всегда была присуща Лему, в «Насморке» проявилось и такое важное качество его прозы, как мастерство психологического анализа, что еще больше сближает роман с «обычной» реалистической литературой.

Героя — повествователя романа — определяют традиционные человеческие ценности: скромность, добросовестность, чувство долга, мужество, находчивость, здравый рассудок. При этом черты характера героя раскрываются не в описаниях, а в его поступках и размышлениях, часто с помощью броской реалистической детали. Общество конкуренции, описанное Лемом, наложило отпечаток и на облик этого овеянного романтикой профессии астронавта. Советский читатель не может согласиться с его рассуждениями о том, что «астронавт-дублер должен быть хоть капельку свиньей. Ведь что-то в нем ждет, чтобы первые споткнулись, а если не ждет, то он просто дурак». Весьма субъективны и мнения героя о космосе: «Мы не годимся для космоса, но именно поэтому не отказываемся от него»,— о невозможности приспособиться к невесомости. Опыт многочисленных полетов в космос советских космонавтов свидетельствует о другом. Кстати, многие советские космонавты с большим интересом относятся к творчеству С. Лема. Так, определение фантастики Лема, данное Г. Титовым, можно отнести и к роману «Насморк»: «Фантастика Лема учит читателя быть мыслящим современником, сознательным строителем светлого будущего».

Новый роман Лема не только предостерегает против стихийного развития технологии. Он заставляет думать о нравственных и социальных последствиях научно-технического прогресса. А это немало.

**В. ХОРЕВ**

## РЕАЛИЗМ ФАНТАЗИИ

**Рассказы о необычайном. Сборник дотанских новелл. Перевод с китайского. Составление и предисловие А. А. Тишкова. Москва, «Наука», 1971.**

Нет, пожалуй, ни одного жанра китайской литературы, в котором не обнаруживалось бы сильнейшее влияние устного народного рассказа. В философских трактатах Лецзы, Чжуанцзы, Мэнцзы истинность доводов подкреплялась ссылками на примеры из жизни, на притчи — единственный в то время аргумент доказательства по аналогии. Стихи Цюй Юаня, песни безымянных авторов, собранные «Музыкальной палатой» (юэфу), да и многие произведения более поздних эпох пронизаны мотивами преданий о горькой доле воинов, сражающихся вдали от родных мест и их бедствующих семейств, о несчастной любви. Новеллы и выросшие из них драмы и романы зачастую повторяли либо фиксировали на письме сюжеты, рожденные в народе за несколько веков до их появления в свет.

Особое место среди этих сюжетов занимали сказания о чудесах и волшебстве. Говоря об истоках сказок во всей мировой литературе, А. М. Горький подчеркивал: «...воображение создает то, что ему подсказывает действительность». «Благодаря элементам фантастики рассказы делаются увлекательными, и в них легко решаются такие вопросы, которые оказываются неразрешимыми в действительной жизни. Вмешательство чудесных сил помогает восстановить справедливость или наказать зло»,— пишет Н. Т. Федоренко о творчестве величайшего мастера китайской новеллы Пу Сун-лина, произведения которого теснейшим образом генетически связаны с народными преданиями.

Сборник «Рассказы о необычайном» позволяет нам познакомиться с пока еще малоизвестным у нас периодом развития китайской литературы дотанской эпохи расцвета новеллистического авторского творчества.

В предисловии А. А. Тишкова точно и лаконично рассказано о времени, когда создавались «Рассказы о необычайном». Китай III—VI веков представлял собой конгломерат взаимно враждовавших мелких царств, содрогавшихся под ударами кочевников. Простой народ, постоянно живший под угрозой смерти от голода, болезней, меча вражеского солдата или руки палача, не находил более утешения в официальной религии — конфуцианстве, с его призывами стать «совершенным мужем» и во всем подчиняться старшим по возрасту или рангу. Буддизм, пришедший в I в. н. э. из Индии, обещал людям бесконечную цепь перевоплощений, в которой все горести жизни были лишь кратким эпизодом вечного, но пассивного существования. Именно в те годы в народе возродился интерес к древней философии даосизма, который требовал вмешательства в жизнь, овладения законами природы, чтобы стать сильнее окружающих обстоятельств.

Искусство, чутко откликавшееся на чаяния народа, вызвало к жизни в ту эпоху обилие фантастических сюжетов. И вот на страницах «Рассказов о необычайном» мы встречаем некоего Чжан Дао-лина, «уроженца области Пэй», ставшего милосердным повелителем своих подданных, познавшего даоские тайны долгой жизни и щедро поделившегося ими с учениками. Волшебник Цзо Цы, «родом из Лунцзяна», сумел кусочком сушеного мяса накормить более десяти тысяч человек. Дун Фэн, ко-

торый «жил в Хоугуани во времена Да-ди», излечивал прокаженных, раскрывал двери темниц и в засуху вызывал дождь. Описания этих и еще многих чудес отражали мечты земледельцев о мире, справедливости, счастье. Но достичь этого — увы! — можно было лишь с помощью волшебства.

За несправедливость и притеснения правителей герои мстили тоже лишь с помощью волшебной силы. Купец Хун из области Цюйэ был казнен по приказу губернатора, желавшего выслужиться перед императором. Перед смертью осужденный проглотил бумажку, на которой было написано имя злодея-губернатора. И вскоре страшный призрак предстал перед обидчиком. В ужасных мучениях скончался и он, и все чиновники, виновные в вынесении несправедливого приговора.

Мораль этих рассказов в том, что никакое преступление, кто бы его ни совершил, пусть даже правитель, не должно остаться безнаказанным. Возможно даже, что апелляция к потусторонним силам в данном случае—лишь литературный прием, примененный ради обхода цензуры,— ведь рассказы собирались, записывались и распространялись под контролем властей предержащих. Вот один из персонажей новеллы «Пятнистый лис, живший у древней могилы» обращается к всесильному и «мудрому» правителю: «Ваша честь, вы мудры... Почему же вы гневаетесь, если встречаете образованного человека?.. Выходит, в Поднебесной нужно держать язык за зубами». Разумеется, это «крамольное» высказывание вкладывается в уста оборотня, которого тут же подвергают мучительной казни. Не случайно поэтому уже в XII веке в одном из трактатов говорилось: «В старые времена, когда авторы затрагивали в своих произведениях случаи из жизни, в которых нарушались устои, они переносили действие в царство духов либо изображали его во сне».

И еще целый цикл рассказов посвящен другой волшебной силе — любви. Они тоже считались «нарушающими устои», и поэтому их герои соединялись лишь после смерти. Особенно поэтичен рассказ «Торговка пудрой», сюжет которого не раз использовался в произведениях последующих эпох. Юноша, умерший от радости при встрече с возлюбленной, воскресает, когда девушка рыдает у его гроба. «Они стали мужем и женой, и у них было множество детей и внуков» — таков поистине сказочно счастливый финал новеллы.

Классическим примером этого жанра можно назвать рассказ Ван Ду «Волшебное зеркало» (в оригинале «древнее зеркало»). Эта реликвия, созданная, как гласит предание, при полумифическом императоре Хуан-ди в третьем тысячелетии до н. э., обладала способностью разоблачать оборотней, обнаруживать болезни, скрытые в теле человека, пресекать эпидемии, отпугивать хищников. Интересно здесь не столько описание множества чудес, сколько противопоставление «золотого века» древности и его реалий (а, по словам рассказчика, подобных волшебных предметов во времена Хуан-ди было изготовлено множество) смутам и несправедливостям «эпохи Да-е» (VII в. н. э.).

Подобный «историзм» является неотъемлемой и чрезвычайно интересной чертой китайской литературы. Читателям сборника, вероятно, бросилась в глаза точная датировка действия рассказов, указания на место, где происходило описываемое событие, и даже перечисление имен персонажей. Это должно было придать большую достоверность повествованию и, не в последнюю очередь, с помощью ссылок на иное место и время действия помочь избежать преследования со стороны светских и духовных властей.

Книга «Рассказы о необычайном», тщательно и вдумчиво подготовленная, интересна не только как собрание волшебных сказок. С точки зрения истории китайской и мировой литературы она дает срез целой эпохи, эпохи перехода от героя исторического, или «историзованного», к герою вымышленному, к типизации образов и художественному обобщению, к расцвету подлинного искусства.

**В. ЗАЙЦЕВ**

## *Издано за рубежом*

### О ПРОБЛЕМАХ СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

**Tóth Dezső. Élő hagyomány, élő irodalom. Budapest, Magvetö Könyvkiadó, 1977.**

**Дежё Тот. Живая традиция — живая литература. 1977.**

Выпускаемая будапештским издательством «Магветё» серия «Принципы и пути» в последнее время радует читателя очень интересными, вдумчивыми, высокохудожественными работами из самых различных областей литературы и искусства. Можно расценивать это как явный признак того, что в настоящее время в духовной и общественной жизни Венгрии наступает период теоретических выводов и обобщений.

Один из последних выпусков — сборник произведений Дежё Тота «Живая традиция — живая литература», отражающий без малого двадцатилетнюю деятельность автора в качестве критика и литературоведа. Анализировать творчество Дежё Тота — задача не из легких. Новая его работа привлекает читателя разнообразием тем, хронологической обширностью научного обзора, тонкостью и богатством методологии,

проявленными в подходе к предмету. Попытаемся наметить основные направления этого исследования. Прежде всего важно отметить, что для автора органической частью и даже более того — основой духовного багажа и круга его интересов являются прогрессивные национальные традиции, уходящие в глубокое прошлое. Это помогает ему постичь суть литературных процессов и уверенно ориентироваться в идейно-эстетических проблемах, источником которых служит «блестящий» период венгерской истории и литературы прошлого века, именно поэтому его излюбленная сфера исследований — так называемая эпоха реформ и революции 1848—1849 годов и освободительной борьбы.

Освещая основные особенности мировоззрения и творчества Йожефа Катоны, Йожефа Байзы, Михая Вёрёшмарти, Шандора Петефи и Яноша Араня, Дежё Тот с помощью точнейшего анализа намечает важнейшие вехи на пути идейно-исторического развития от сословного национализма к позиции буржуазного национального самосознания и даже более того — к позиции мышления в масштабах человечества, вскрывает противоречия этого пути и его трагедию.

О чем бы ни говорил автор: об установлении ли равновесия под девизом «родина и прогресс», об изменении ли роли понятия народности или о каких-то других вопросах — он с увлечением прослеживает формирование национального и общественного сознания вплоть до литературы наших дней, и читательский интерес не ослабевает, несмотря на то что анализ этот слагается из мозаичных зарисовок, а не проводится — к нашему сожалению — в рамках обобщающей монографии, к созданию которой у автора есть все необходимые предпосылки.

Произведения Д. Тота, затрагивающие важнейшие проблемы периода между двумя мировыми войнами, подводят нас и к другой сфере его интересов, а именно: к венгерской литературе, искусству в период после освобождения страны. Освещение различных направлений в поэзии, драматургии и прозе, характеристики многих выдающихся литературных произведений проводятся таким образом, что мы как бы чувствуем себя в мастерской критика. Филологическая точность, старание вскрыть подлинную ценность изучаемого и радость первооткрывателя, такт, способность учитывать потребности науки и просвещения, педагогический дар — все эти качества характеризуют работы сборника. Поистине девизом к ним могли бы послужить слова «вера и требовательность», то есть активная вера в силу влияния, которое социалистическая действительность оказывает на писательское самосознание, и проистекающее отсюда бережное отношение к таланту, но вместе с тем и художественный реализм, и идейность, и марксистская позиция — все эти принципы осуществляются на практике в деятельности Д. Тота — критика и литературоведа.

Существенно, что большое внимание автор уделяет проблемам творческо-методологическим и проблемам формы в условиях научно-технической революции и развитого социализма. Этот вопрос непрестанно встает во всех его работах, в какой бы период они ни были написаны. К размышлениям по поводу возникших в 50-е годы социографических жанров, репортажа, документальной драмы и гротеска он вновь возвращается на рубеже 60—70-х годов в связи с появлением новых произведений. Анализируя их, критик отмечает, что некоторые писатели подчас недостаточно подготовлены к тому, чтобы, вооружившись «стратегической точкой зрения», пониманием «переплетения взаимосвязей», философски верно и художественно убедительно обобщить подмеченные факты. Марксистское литературоведение ищет побудительные мотивы, влияющие на формирование художественных форм, и стремится проследить их истоки не только в развитии общества как такового, но и вплоть до момента, определяющего развитие общественного сознания,— до развития средств производства. Прочертить параболу, ведущую от материального базиса к традиционным художественным формам,— задача очень трудная и сложная; в музыкальных и изобразительных формах художественной жизни недавнего времени эти «художественно-технологические» последствия изменений базиса могут быть констатированы не столь косвенно.

Однако к этому явлению примыкает и еще один существенный момент. Очень важно, что среди основных принципов социалистического реализма Дежё Тот, наряду с партийностью, народностью, на первое место выдвигает и роль общественного самосознания. Свершившийся в нашем столетии качественный скачок в общем ходе истории наряду с другими формами сознания оказывает прямое влияние на искусство и его функции; и помимо традиционного (аристотеле-гегелевского) восприятия сути искусства наша действительность конкретной художественной продукцией подтверждает правомерность творческой практики, общественно-сознательной по содержанию и в то же время взыскательной в отношении художественного мастерства. И тут мы подходим к проблеме новых художественных форм отображения действительности, все более распространившихся за последнее время в венгерской и мировой литературе. Поистине поучительно то бережное отношение, которое Дежё Тот — ученый и деятель культурной политики — проявляет в этом вопросе.

Анализируя роман Тибора Дери «Господин А. Г. в городе Икс», лирику Шандора Вёреша или произведения мировой литературы (к примеру, романы Камю), Дежё Тот выявляет их идеологическую канву и дает оценку художественной формы анализируемого произведения.

В центре литературных идеалов автора прочно и незыблемо стоит реализм, а подлинным критерием современности является марксистско-ленинское мировоззрение. «Понастоящему значительное произведение, гармоническая жизнь, творческий взлет — все эстетически новое и подлинно непреходящее никогда не могло зародиться и окрепнуть иначе, нежели будучи поставленным на службу большим устремлениям, будучи сознательно избранным в качестве личного долга»,— провозглашает автор.

В то же время Дежё Тот обстоятельно исследует важную практическую, эстетическую и теоретическую проблему, а именно: какова идейная природа тех художественных произведений, которые были созданы современной отечественной и зарубежной буржуазно-гуманистической литературой под воздействием самого факта существования и упрочения социалистического общества, какое преломление получил этот исторический факт в художественном творчестве.

Надеемся, что даже выборочно данная характеристика книги позволит читателю почувствовать, что мы имеем дело с исследователем, тесно связанным с самыми волнующими проблемами живой современной литературы, чья деятельность способствует формированию идейной убежденности нашего общества.

**ЛАСЛО ИЛЛЕШ**

г. Будапешт

## ДАВНЯЯ ТРАДИЦИЯ

**Gunasena Vithane. Confessions of a Young Writer. Colombo, Pradeepa Publishers, 1978.**

**Гунасена Витана. Исповедь молодого писателя. 1978.**

У книги Гунасены Витаны почти полуторавековая предыстория.

«Вот старая, старая карта земного шара,— начинается у Бунина рассказ «Город Царя Царей».— Опять гляжу на нее,— в который раз в жизни и все еще жадно! — опять блуждаю глазами по великой пустоте Индийского океана, вижу черту экватора, останавливаюсь на том заветном месте немного выше его, где удлиненной каплей падает от треугольника Индостана, как бы от острия древесного листа, Цейлон, священный Львиный остров...» Но взирали на остров и другими глазами. На нынешних картах видно, как синяя паутина важнейших морских путей оплетает золотисто-зеленый овал. Ясно, что спокойной жизни тут не было. Белые колонизаторы буквально вырывали острова друг у друга. Однако менялись господа (португальцы — голландцы — англичане), но неизменным оставалось их высокомерно-презрительное отношение к местному населению, его культуре. Четыре столетия духовной тюрьмы. «Глубокое лицемерие и присущее буржуазной цивилизации варварство,— писал Маркс в статье «Будущие результаты британского владычества в Индии»,— предстают пред нашим взором в обнаженном виде, когда мы эту цивилизацию наблюдаем не у себя дома, где она принимает респектабельные формы, а в колониях, где она выступает без всяких покровов».

В этой статье (опубликованной в 1853 году в американской газете «Нью-Йорк дейли грибюн») Маркс ссылается на книгу русского путешественника, писателя и художника Алексея Дмитриевича Салтыкова, одного из первых представителей русской культуры, посетивших Цейлон.

Салтыков (недавно «Неделя» писала о нем как о «незаслуженно забытом») был на Цейлоне дважды — в 1841 и 1845 годах. В середине прошлого века и на русском языке, и в парижских изданиях (с великолепными рисунками автора) неоднократно печатались его «Письма об Индии», значительную часть которых составляли письма-новеллы о Цейлоне. Это были рассказы и рисунки человека доброжелательного, искренне и совершенно бескорыстно увлеченного исследованием нравов, обычаев, повседневной жизни цейлонского народа.

В 70-х годах прошлого века на Цейлоне побывал выдающийся русский востоковед Иван Павлович Минаев. Его очерки «Львиный остров. Письма с острова Цейлон» публиковались сначала в «Вестнике Европы»; затем, дополненные, они вышли отдельной книгой. Работы Минаева привлекли внимание Толстого, глубоко интересовавшегося проблемами духовной культуры народов Востока. В 1883 году писатель и ученый встретились для продолжительной беседы.

Очерки Минаева, как и «Письма» Салтыкова, исполнены глубокой симпатии к цейлонскому народу. И, подобно Салтыкову, не однажды затрагивает Минаев тему шовинистической фанаберии англичан — тогдашних «хозяев» острова. «Вообще они,— писал об англичанах Салтыков,— презирают все, что не укоренено в предрассудках их отечества, все, что не сходно с привычными их понятиями». А вот наблюдения Минаева: «Британская исключительность, сказывающаяся всюду резко, на Цейлоне... достигла крайнего предела. Здесь англичанин не только владыка, но человек избранной, высшей расы, и между ним и чернокожим нет и не может быть ничего общего».

Бунин провел на Цейлоне полмесяца в марте 1911 года. Цейлонская тема в его творчестве могла бы стать предметом особого исследования — настолько она значительна «Вдохновенную красоту» бунинских рассказов «Братья» и «Соотечественник» (оба из цейлонского цикла) отмечал Ромен Роллан. С возмущением писал Бунин и о расистских порядках, насаждаемых англичанами на острове. В раннем варианте его рассказа «Третий класс», озаглавленном «Записные книжки», читаем: «В Коломбо я глазам своим не верил, видя, как опасливо, все время начеку проходят англичане по

улицам, как они боятся осквернить себя нечаянным прикосновением к тамилу, к сингалезу и вообще ко всякому «цветному» человеку, ко всякому «презренному» (по их любимому выражению) дикарю».

В «Братьях» Бунин подробно рассказывает об отеле в центре Коломбо — неподалеку от памятника королеве Виктории. Речь идет о нынешней гостинице «Тапробана» [1] — прежде она называлась «Гранд Ориенталь». Гостиница эта примечательная: здесь в ноябре 1890 года, возвращаясь с Сахалина, останавливался Чехов. Здесь же, по его словам, был «зачат» рассказ «Гусев». Сейчас этот номер гостиницы — на третьем этаже — украшен портретом писателя.

В год столетнего чеховского юбилея крупнейший представитель современной шриланкской литературы Мартин Викрамасинге писал: «Гений Чехова вдохновляет наших лучших писателей. Более чем любой другой европейский новеллист, он популярен среди нашей интеллигенции. Это тем более удивительно в стране, интеллигенция которой на протяжении более чем столетия испытывала непрерывное воздействие английского языка и литературы... Подобно Шекспиру или Диккенсу, Чехов получил всеобщее признание. Но любовь народа Цейлона к Чехову интимнее и сильнее».

С именем Мартина Викрамасинге, выдающегося просветителя и гуманиста, видного общественного деятеля, связана одна из знаменательнейших страниц в истории культурных взаимоотношений наших стран. Через всю свою долгую творческую жизнь (писатель умер в 1976 году) пронес он любовь и глубокий интерес к русской литературе, к культуре нашей страны [2].

Еще в 1918 году (у нас этот факт, по-видимому, не отмечался) — в пору пробуждения национального самосознания и национальной литературы цейлонского народа — в крупнейшей ежедневной газете на сингальском языке «Динамина», занимавшей в то время антиимпериалистические позиции, печаталась в шести номерах статья Викрамасинге о Льве Толстом. Это была первая публикация о Толстом на сингальском языке. Возможно, первая статья о русской литературе вообще. И симптоматично, что, ломая стены изоляции, перекидывая мост между литературой своей страны и другими литературами мира, Мартин Викрамасинге прежде всего обращался к духовному богатству литературы русской...

Такова предыстория книги Гунасены Витаны «Исповедь молодого писателя».

Автор ее более двадцати лет был близким другом Мартина Викрамасинге. («Он был не только моим другом, но и учителем»,— уточняет Витана.) Родился писатель в 1931 году. Два романа, несколько сборников рассказов, стихов, очерков и критических статей, недавно завершенные пьеса и книга сказок для детей — таков творческий багаж Витаны. В 1971 году писатель был удостоен Национальной премии за сборник рассказов «Как и мой брат».

На русском языке известно стихотворение Витаны «Светоч новой жизни», посвященное В. И. Ленину. В нем есть строки, особенно характерные для писателей Азии и Африки, обретающих социальное зрение:

Веками тьма нам взоры затмевала.
Но светом пламенных своих идей
Ты озарил неторную дорогу...

*(Перевод В. Латова)*

— В Шри Ланке это стихотворение печаталось в специальном издании, посвященном столетию со дня рождения Ленина,— рассказывает писатель.— Интерес к личности Ленина, его работам у нас огромен. Приходилось мне также писать и о великом соратнике Ленина — Луначарском... И о многих писателях вашей страны. Однажды в Москве, лет пять назад, сочинил стихотворение «Разговор с Пушкиным»... К сожалению, читаю его стихи в английском переводе. А вот моя жена и дочь изучают русский и уже читают Пушкина в оригинале... Кстати, мы создали у нас в стране Пушкинский клуб — он становится одним из центров нашей культурной жизни...

— А кто из советских писателей вам наиболее близок?

— Горький, Маяковский, Эренбург, Шолохов, Айтматов... Особенно Горький. Его книги помогли мне найти свой путь...

Витана пишет на сингальском языке. Сборник рассказов «Исповедь молодого писателя» — первая книга автора, вышедшая в переводе на английский.

Рассказ «Исповедь молодого писателя», открывающий сборник,— это история заблуждений и мучительного перерождения художника, начавшего свой путь в литературе с подражания дешевым западным образцам и сразу же объявленного реакционной критикой великим писателем. Его эгоистичный, развращенный герой переходит из одного порнографического бестселлера в другой, все больше напоминая автопортрет самого молодого писателя. И напрасно предостерегают его друзья, что подобными книгами — сознательно или бессознательно — он служит врагам общества. Только поворот, произошедший в личной судьбе писателя, перенесенная им тяжелая болезнь, долгие скитания заставили его, наконец, осознать, в чем призвание и смысл творчества настоящего художника...

— Был ли у вашего «молодого писателя» прототип?

— Нет,— отвечает Витана.— Но вопрос о том, какую позицию должен занимать пи-

[1] Тапробана — старинное название Цейлона. Оно встречается у многих древних авторов, а также в «Утопии» Томаса Мора. Кампанелла поместил там свой Город Солнца.

[2] О его книге «Расцвет Страны Советов» см. «Иностранную литературу» № 8, 1963.

сатель, служит ли он делу общенародной борьбы — для нашей литературной жизни очень актуален...

Рассказ «Свобода жить» повествует о людях «дна» — взрослых и детях. Один из его персонажей — старый инвалид — вынужден зарабатывать на пропитание, демонстрируя прохожим гноящуюся рану на ноге. «Единственная моя кормилица»,— говорит он. Когда рана начинает слегка затягиваться, старика охватывает паника: «Если совсем заживет — мне конец...» Вся жизнь героя рассказа — двенадцатилетнего Чарли — проходит на тротуаре. Здесь он спит, здесь — с утра до вечера — обшаривает помойки и мусорные ящики: ведь он единственный мужчина в семье!

Рассказы «Звон колокола» и «Молодая пара и закон» тематически связаны с апрельскими событиями 1971 года — антиправительственным мятежом в стране. (Этим же событиям посвящен и недавно опубликованный в Шри Ланке роман Витаны «Бунтовщики революции»). Но есть у рассказов и своя, внутренняя, присущая всему сборнику тема: человек в сложных, критических, а порою и античеловеческих обстоятельствах. Всегда ли остается он человеком? Проблема эта стоит и перед учителем, несправедливо заключенным в тюрьму («Звон колокола»), и перед молодой парой, вынужденной признаться во время доверительной беседы с судьей в своем участии в мятеже, и перед самим судьей, который по закону, должен немедленно сообщить об этом полиции... Это по закону... А по-человечески?..

Новелла «Дом аристократов» — шриланкский вариант «Вишневого сада» — повествует о гибнущей помещичьей усадьбе, о нравственной деградации ее хозяев и о тех людях, которые противостоят миру собственников. Здесь яснее всего позиция самого автора — его пристальное внимание к судьбам «униженных и оскорбленных», его стремление своим творчеством как-то повлиять на их судьбу, изменить условия их жизни, изменить, наконец, их самих — пробудить гордость, осознание своей силы. Чтобы человек из раба превратился в борца. Как те спокойные, сильные люди — рабочий порта Гунапала, арендующий комнату в усадьбе, и его товарищи — с их песней «Вставай, проклятьем заклейменный!..»

— Русская литература научила нас очень многому,— замечает Витана.— Разве не Горький открыл нам, сколько душевной красоты и чувства собственного достоинства таится в самых простых людях? И ваша сегодняшняя литература протягивает нам руку дружбы. А что может быть сейчас важнее?.. И мы никогда не забудем, что именно русские писатели показали пример уважительного отношения к народу и культуре нашей страны. Причем задолго до того, как она перестала быть колонией. Традиция тут давняя — Чехов, Бунин... А может, и у них были предшественники?

**И. ПОПОВ**

## МОЦАРТ ВОЛЬФГАНГА ХИЛЬДЕСХАЙМЕРА

**Wolfgang Hildesheimer. Mozart. Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag, 1977.**
**Вольфганг Хильдесхаймер. Моцарт. 1977.**

Известно было, что западногерманский писатель Вольфганг Хильдесхаймер — меломан, что его небольшая квартира в Кёльне завалена пластинками не меньше, чем книгами. Однако о том, что он годами работает над книгой о Моцарте, никто не знал. И факт появления книги, и ее характер явились сюрпризом.

Это не романизированная биография, как можно было ожидать, и вообще не жизнеописание, хотя отдельные главки нанизываются в основном на последовательную летопись жизни и творчества великого композитора. Это и не музыковедческий спус, хотя в книге немало интерпретационных пассажей вполне профессиональной чеканки. Это книга-эссе, книга-размышление — о месте Моцарта в истории не только музыкальной, но и духовной культуры, о его прошлой, настоящей и будущей роли.

Полной неожиданностью явился антиавангардистский дух этой книги. Ведь Хильдесхаймер (род. в 1916 г.) снискал себе известность как мастер «литературной синтетики», экспериментально-умственных драматических и прозаических текстов (пьеса «Принцесса Турандот», 1955; романы «Тинсет», 1965 и «Масанте», 1972). Он был среди тех зачинателей западногерманской литературы, кто с первых же ее шагов пустился «догонять ушедший поезд», прилаживать к ней экспериментальные новинки, выработанные европейским авангардом за те годы (1933—1945), когда в Германии на формальный эксперимент был наложен запрет.

Моцарт для Хильдесхаймера — не просто один из выдающихся деятелей культуры прошлого, но. «вероятно, величайший человек в истории». Число сторонников такой точки зрения заметно растет. Естествен поэтому глубокий интерес к личности, к человеку Моцарту. Музыка Моцарта, показывает Хильдесхаймер, входит в современную жизнь как завет и надежда на воскрешение гармонии, и не эстетической только, но и общебытийной, собирающей, множащей созидательные силы наши в направлении преображения мира на началах добра и красоты. Автор не скупится на детали, свидетельствующие о том, что музыка Моцарта все прочнее утверждается в нашей жизни. Есть среди этих деталей и немного курьезные: сообщается, например, что в родильных домах одного шведского городка взят на вооружение домажорный концерт Моцарта. Неизвестно пока, чем порадует мир поколение, вступившее в него под звуки Моцарта, но роженицы, утверждают акушеры, переносят схватки значительно легче.

Моцарт как человек будущего — вот пафос книги. Русскому читателю это не может не напомнить известные слова Гоголя о Пушкине, о том, что Пушкин — это русский человек в развитии, каким он явится лет через двести. Пушкин вообще не выходит из головы, когда читаешь эту книгу. Он нигде не упомянут, автору, быть может, и не знакома маленькая трагедия, удивительным образом относящаяся к делу (ибо итог строжайше аргументированных размышлений — портрет Моцарта, в точности совпадающий с образом, который дал Пушкин). Но самый характер раздумий словно предполагает сопоставления и параллели из других видов творческой деятельности — живописи, литературы. Автор и сам не обходится без них, то и дело призывая тень великого немца для того, чтобы понять все значение австрийского композитора. Этот великий немец, разумеется, Гёте. А поскольку структурный смысл вершинных достижений отдельных национальных культур существенно схож, то, например, итальянцу естественно подставлять здесь на место Гёте Данте, испанцу — Сервантеса, англичанину — Шекспира и т. д. Русскому — конечно, Пушкина.

Причем, вероятно, с наибольшим основанием. Очень уж много тут материала, соблазнительного для сближений и в творческом, и в человеческом плане. И потому, что поэзия Пушкина — это тоже «райские песни», звук доселе неслыханной, небывалой гармонии. И потому, что поражает многократное сходство — судьбы, жизненного срока, внешнего облика, темперамента, даже привязанностей и привычек (вплоть до мелочей, как приверженность к рыцарским утехам верховой езды и упражнений в меткости руки). Раннее признание, нелегкое скитальчество, непростые отношения с отцом, горечь неудавшегося сватовства, необъяснимое и внезапное охлаждение публики в последние годы перед смертью, в которой потомки будут винить легкомыслие жены... О ком это? О Пушкине? О Моцарте? Все это равно относится к обоим. И как мы все завороженнее приглядываемся последние годы к жизни Пушкина, ища в ней уроков, тайных знаков для нас и указаний, так и Хильдесхаймер с той же целью разбирает жизнь Моцарта, пытаясь узнать тайну величайшего, посреди горестей и страданий, жизнеприятия и любви к человеку.

В отличие от многих опытов подобного жанра, старающихся в игривой беллетризации «приблизить» предмет, жест Хильдесхаймера скорее отодвигающий; автор чаще всего привлекает внимание к тому, чего мы доподлинно не знаем и никогда не узнаем, что надежно скрыли потемки времени. Но, странное дело, чем четче обрисовывает — Хильдесхаймер скупые границы достоверного знания о Моцарте, тем больше привычных, устоявшихся представлений отсылает он по ведомству мифов. Чем, казалось бы, меньше остается у нас на руках проверенных фактов, тем ближе подступает к нам «отодвинутый» Моцарт, ибо, освобожденный от ярлыков, он оживает, тайное в нем, как и положено живому человеку, остается тайным, не выданным плоской догадке. В самом деле, сколь часто, бессильные объяснить мотивы собственных поступков, мы почему-то думаем, что можем листать жизнь великого человека как открытую книгу.

Хильдесхаймер развенчивает наше, потомков, самомнение, всякого рода пустые восклицания типа: да как они могли не понимать, с кем им выпало счастье жить, дышать одним воздухом, соприсутствовать! Как они могли отравлять ему жизнь, вместо того чтобы холить его и лелеять! Да я бы, да мы бы... Ах, оставьте! — говорит своей книгой Хильдесхаймер. Если вы заездили обыкновенного своего мужа, то и с Моцартом, будьте покойны, вы поступили бы точно так же. Идеальные жены — такая же редкость, как и гениальные люди, а чтобы идеальная жена досталась гениальному человеку — против этого многое имеет возразить простая теория вероятности. Учитесь любви и терпимости у гениев — ведь «гений и злодейство две вещи несовместные». Учитесь деликатной предусмотрительности и заботливости Моцарта по его отношениям и к прижимистому педантуотцу, и, увы, к обыкновенной жене, которых он любил, прощал, выше которых себя не ставил. А чтобы не проглядеть и не погубить в будущем Моцарта, любите Моцарта в каждом посланном вам жизнью человеке — иного способа нет, секрет гениев так прост...

Но отчего же так часто проглядывают современники гениев — и отчего проглядели они Моцарта? И на это ответил Пушкин: «Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон...» Предки наши не были ни прозорливее, ни мудрее нас. И их сбивала с толку житейская обыкновенность великих, простецкие шуточки, слабости, дурашливые — для разрядки — ужимки. Ведь поза гения стала вырабатываться позднее — начиная с романтизма. И только романтический гений впервые вознесся над «толпой», гордый, непризнанный, одинокий, снедаемый втайне примером Наполеона, источающий въяве демоническое презрение к косной, не понимающей его толпе. Переходной фигурой здесь был уже Бетховен, которого девятнадцатый век дружно почитал выше Моцарта (оставляя Моцарту роль «предтечи», Хильдесхаймер восстанавливает справедливость, решительно разбирая залежи накопленных «романтическим» веком предубеждений). Вырытый романтизмом ров между героем-художником и негероическим его окружением углублялся последующими поколениями; все обязательнее и строже становилось распределение ролей: кому вдохновение и страдание (он), кому предрассудки и непонимание (они). Волна докатилась и до наших дней.

Вот пример для наглядности. В недавнем фильме о Бетховене Хорста Зееманна

есть сцена, где угрюмый, гордый маэстро прорезает толпу кавалеров и дам (всякой там светской черни), подходит к роялю, самозабвенно, отрешенно играет и, непонятый, уходит. Возможно, современник Наполеона Бетховен в чем-то и был таким, как были такими после него многие романтики — люди отнюдь не бездарные, часто высокоталантливые, но уж очень, Толстой бы сказал, «дерганые».

Этот тип творчества (невротический в современной терминологии) постепенно стал многим казаться главным, чуть ли не единственным. А все, что не укладывалось в предначертанные ему рамки, стыдливо прятalось и замалчивалось, дабы не повредить сияющему культу гения, гениального в каждом своем — и бытовом в том числе — проявлении. Хильдесхаймер показывает, как старательно вымарывала десятилетия спустя после смерти Моцарта его вдова те места из писем к ней, которые не отвечали новым, то есть романтическим, представлениям о гениальной личности, которые, как ей теперь казалось, «снижали» его образ, выставляя его то как подгулявшего бурша, то как скромного филистера — и то и другое равно мешало утверждению образа парящего над миром учителя человечества. А затем, показывает Хильдесхаймер, за дело взялись биографы, из лучших побуждений — от Германа Аберта до Аннеты Кольб — создававшие легенду о боговдохновенном жреце искусства, чуждом суетной жизни. Легенду о романтике Моцарте — прижившуюся, благо на нее работал его трагический конец. И попал Моцарт в знакомую схему: так опошленный Моцарт превратился в пушкинского Сальери. В то время как Моцарт действительный мог запросто брататься с нищими и так же запросто играть в салочки на скользком дворцовом паркете с принцессой Марией Антуанеттой, будущей королевой, которой суждено было взойти на плаху через год после того, как ему — сойти в общую могилу для бедных.

Попытавшись очистить образ композитора от вульгарных наслоений, Хильдесхаймер, думается, выполнил свою задачу — показать Моцарта как человека будущего. Пушкинский вопрос «куда ж нам плыть?» остро встал и перед западной культурой. Хильдесхаймер постарался ответить на него, написав умную, современную книгу о «величайшем в истории человеке».

**Ю. АРХИПОВ**

## КАРТИНА ДЛЯ РАМЫ

**Margaret Drabble. The Ice Age. London, Weidenfeld and Nicolson, 1977.**

**Маргарет Дрэббл. Ледяной век. 1977.**

Вряд ли можно утверждать, что женское начало доминирует в нынешней английской прозе,— временами такое случалось в ее истории. Однако несколько женских имен обязательно, когда речь заходит о тех писателях, которые эту прозу формируют и развивают. Прежде всего, конечно, это имена Айрис Мердок и Мюриэл Спарк. Заявившие о себе сразу после войны, теперь они уже писательницы, увы, старшего поколения, хотя и ничуть не утратившие молодой энергии и способности к неожиданным творческим поворотам. А в последнее десятилетие все чаще упоминают имена Сьюзен Хилл — советским читателям она хорошо известна [1] — и Маргарет Дрэббл, лишь одна, и не самая лучшая, книга которой вышла пока в русском переводе [2]. Обе они принадлежат к поколению, появившемуся на свет в начале второй мировой войны. Неискоренимая привычка вести самые различные наши отсчеты от этой глобальной даты имеет, конечно, свой смысл. Ведь по сути все, что пишется серьезными литераторами послевоенной эры (как и в 20-е годы — после первой мировой войны), тем или иным образом связано с ощущением полностью измененного мира, с памятью о прошлом и тревогой за будущее. К книгам Маргарет Дрэббл это относится в полной мере, хотя в своих предыдущих романах (да и в этом, несмотря на особый его замысел) она выступает по преимуществу как художник, обращенный к семейному интерьеру, изобразитель частных нравов, разных аспектов современного быта...

Родилась Маргарет Дрэббл в 1939 году в Йоркшире, в интеллигентной семье (мать — учительница, отец — судья), получила методистское воспитание, училась в Кембридже, вышла замуж за актера и сама была маленькой актрисой. Именно это обстоятельство — небольшая занятость в театре — и способствовало тому, что Дрэббл начала писать. В 1974 году она разошлась с мужем и с тех пор самостоятельно воспитывает своих детей — их трое. Эти биографические подробности имеют значение, потому что в романах Дрэббл есть и дети, и одинокие матери, и актерская жизнь, и начинающие писательницы. Она работает с натуры, очень внимательно относится к быту, и не случайно кроме семи романов, опубликованных между 1963 и 1977 годами, М. Дрэббл написала биографию Арнольда Беннета. Оба они — из северных английских провинций, и проза их, при всех поправках на время и индивидуальность, родственна по духу и плоти. Есть и другое крупное писательское имя, которое обычно возникает в критических статьях о М. Дрэббл,— Джордж Элиот. Очень неожиданное для нашей эпохи сопоставление, но вполне убедительное — опять же со всеми поправками. С прославленной в XIX веке реалисткой М. Дрэббл сближает глубокий интерес к социальным проблемам, увиденным сквозь призму частной жизни, и тот несколько морализаторский пафос, кото-

[1] См. «Иностранную литературу» № 1, 1976; № 1, 2, 1978.

[2] М. Дрэббл. Один летний сезон. М., «Прогресс», 1972.

рый особенно ощутим в ее новом произведении.

Заглавие его переводится как «Ледяной век», но в авторском толковании скорее звучит как «Замороженное время». Заглавие это, комментирует М. Дрэббл,— стенографический знак для понятия «экономическая депрессия». Заморожено все, в том числе и заработная плата.

Заметим, однако, с самого начала, что авторский замысел куда шире, смелее, чем констатация кризисных явлений в экономике сегодняшней Англии. Речь идет о судьбе страны вообще, о ее настоящем и грядущем. Именно об этом торжественно заявляют эпиграфы — строфы из «Ареопагитики» Мильтона и обращенных к Мильтону стихов Вордсворта. И, развивая эти эпиграфы, в которых поэты сокрушаются по поводу падения и горестей своей страны, ждут появления сильного человека — ее спасителя — и верят в то, что спасение это придет и Англия еще восстанет из руин,— автор «вписывает» в ход событий своего повествования собственные размышления гражданского, публицистического звучания. То, что представлены они размышлениями Элисон Мюррей, героини романа, дела не меняет,— перед нами, конечно, сама Маргарет Дрэббл.

«Ныне британский лев стал совсем маленьким львом — облезлым, потрепанным, безопасным, любой, кому только вздумается, может подергать его за хвост. И вот индийцы арестовывают учителей и литераторов, угандийцы грозятся казнить английских подданных, нарушивших законы Уганды, в Кении судят школьниц за валютные сделки, в Турции сажают в тюрьму мальчика за провоз наркотиков. Озлобление и правосудие объединились, преследуя нацию, некогда столь процветающую, столь мощную, империю, в пределах которой никогда не заходило солнце. Лишенная власти, уязвленная, гневная, бессильная, старая Англия, бормоча свои протесты, подставляет себя под насмешки. И, в общем-то, поделом ей, вынуждена была признать Элисон, все это заслуженно. Слишком долго англичане считали себя обладателями не только финансовой, но и моральной монополии. Кто же станет винить новые нации за то, что они пожелали взять реванш?.. Что же теперь остается делать Англии? Англии, соскальзывающей все ниже и ниже, обтрепанной, грязной, ленивой, нескладной, неумелой, окруженной опасностями, бьющейся в предсмертных судорогах и лишь временами пытающейся дать отпор?..»

В этой тираде заключен главный тезис — и пафос — романа, содержание же его призвано с полной наглядностью проиллюстрировать горестные мысли автора, перевести обобщение в план художественной конкретности. Самый факт, что нам удается с самого начала разделить эти пласты, или планы повествования, говорит не в пользу «Ледяного века» как художественного произведения. И все же не следует упрощать ситуации — книга создана писателем умным и талантливым, стремящимся, пусть не всегда с успехом, показать человеческие характеры, а не просто социально типические фигуры своих современников.

Энтони Китинг, центральный образ романа,— сорокалетний человек, в недавнем прошлом кинорежиссер-документалист, работавший на телевидении, а ныне делец, спекулирующий земельной собственностью. Китинг и два его компаньона образуют фирму, которая занимается скупкой и последующей перестройкой либо застройкой земельных участков в Лондоне и провинции. Одно время дела их шли успешно, что дало возможность Китингу приобрести два дома в Лондоне и старинную усадьбу Хай Рук Хауз недалеко от Лидса, где он намеревался поселиться с новой семьей (с прежней женой он в разводе). Однако сейчас положение героя довольно плачевно: экономический кризис сменил бум 60-х годов, Китинг весь в долгах, фирма — накануне краха, близкий приятель Лен Уинкобенк, богач-бизнесмен, пример которого оказался столь соблазнительным, сидит в тюрьме за подлог, а сам Энтони перенес тяжелый сердечный приступ. И вот он в одиночестве, медленно приходит в себя в своей — уже ставшей непозволительной роскошью — усадьбе; поздние дни ноября, на душе скверно, будущее неопределенно и не сулит ничего хорошего.

Тяжело складываются обстоятельства и в жизни бывшей актрисы Элисон Мюррей, возлюбленной Китинга, на которой он собирается жениться. Она оставила театр ради младшей дочери, родившейся с неизлечимой болезнью мозга. А старшая, восемнадцатилетняя Джейн, находится далеко от дома — в тюрьме Крусограда. Так называется второй по величине город в некоем, расположенном на Балканах, «коммунистическом государстве», не поддерживающем дипломатических отношений с Советским Союзом. Джейн арестована (как дает понять автор — с достаточными основаниями) в связи с автодорожным происшествием, стоившим жизни двум местным жителям. (Джейн совершала туристическую поездку вместе со своим приятелем.) Английский консул в этой стране вызвал Элисон, пытаясь облегчить положение ее дочери, а также пробить стену враждебного молчания, которой Джейн себя окружила. И то и другое оказывается тщетным, и Элисон возвращается в Англию, так как суд отложен до выяснения обстоятельств дела. Вот, собственно, главный фабульный узел романа — ему еще предстоит свое развитие (в конце концов Джейн будет освобождена и сможет вернуться в Англию). Но от основной истории расходятся другие, радиальные линии, почти не связанные с действием, однако необходимые автору для создания общей картины.

Итак, за событиями, непосредственно определяющими жизненные судьбы героев книги,— объективные закономерности жиз-

ни Англии середины 70-х годов. По словам М. Дрэббл, замысел романа возник у нее не без воздействия книги О. Мэрриота «Бум в недвижимости» — об огромных состояниях, нажитых множеством людей в 50—60-е годы. В этих «взлетах фортуны» было, говорит Дрэббл, нечто романтически-притягательное, но наступил час, когда стремительные обогащения обернулись катастрофой: банкротствами, самоубийствами, судебными процессами. Однако писательницу занимал и другой аспект этого явления — так сказать, «социально-архитектурный», связанный с перестройкой, модернизацией городских центров (например, в Бирмингеме, в Бристоле, Шеффилде). Далеко не всегда эта радикальная перепланировка шла на пользу — подчас искажался традиционный и своеобразный облик города, терпели неудобства его жители, с нуждами которых строители считались мало. Все это широко обсуждалось в печати — чувство некоторого ужаса, которое испытывает Элисон, попав в перестроенный центр вымышленного городка Нортэма, видимо, имеет реальные обоснования... И экскурс, совершаемый героями в сконструированную автором страну, тоже служит иллюстрацией мысли о плачевном — но, впрочем, естественном и заслуженном — падении престижа Англии за рубежом.

М. Дрэббл вовсе не скрывает, что все происходящее с ее героями должно тем или иным способом «доказать» истинность выводов, которые, несколько необычно, не завершают книгу, а заявлены с самого начала. Она не скрывает и своей отстраненной позиции — через все повествование проходят ремарки типа: «а теперь посмотрим, что делает такой-то или такая-то». Все это вполне ортодоксальный повествовательный прием сам по себе не исключающий эмоциональной вовлеченности читателя. Беда в том, что здесь этой вовлеченности не возникает: персонажи М. Дрэббл редко выходят из своей служебной роли «живых примеров», лишены самостоятельного существования. Об этом единодушно говорят критики — и английские и американские — в своих многочисленных рецензиях на роман. Интерес он вызвал немалый, и отношение к нему сложилось в высшей степени уважительное, однако формулировка «почетное поражение», не раз встречающаяся в прессе, представляется достаточно справедливой и точной. Это вовсе не значит, что М. Дрэббл *неинтересно* рассказывает о людях,— рассказывает она интересно, умно, наблюдательно. И некоторые фигуры запоминаются: Джейн, эта замкнутая, озлобленная «домашняя бунтарка» (истоки ее озлобленности — в давней ревности матери к младшей сестре); Бабс — первая жена Китинга; Морин — пробивная и морально не обремененная «секретарь-любовница» преуспевающих деловых людей. Очень правдиво и, пожалуй, наиболее эмоционально передала Дрэббл переживания Элиссон, ее беспомощность, ее попытки как-то «поделить себя» между несовместимыми чувствами и обязанностями. Но вот какими путями Энтони Китинг, потомственный интеллигент, литератор, добряк, человек, воспитанный в сугубо антимеркантильных традициях, «пришел» к азартному и сомнительному предпринимательству, чтобы обрести в финале религию и душевный покой,— это остается для нас непонятным, хотя автор рассказывает о его блужданиях подробно. М. Дрэббл вообще больше рассказывает, чем дает увидеть: ей свойственна известная рассудочность, интеллектуальный холодок, в ряде случаев вполне приятный; чем-чем, а склонностью к мелодраматичности она не грешит. Однако в этом романе — при том, что автор не скупится на детальное изображение бытовых мелочей и характерных черточек,— ощутима явная художественная «недостаточность». Массивная рама публицистического замысла основательно подавляет заключенную в ней картину. Вот почему эта серьезно и благородно задуманная книга обернулась «почетным поражением».

**И. ЛЕВИДОВА**

# Из месяца в месяц

АВСТРАЛИЯ

## ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВА АБОРИГЕНОВ

В городе Перт, штат Западная Австралия, прошел третий национальный фестиваль искусства аборигенов. Главное место в нем занимало исполнение народной музыки. Подобные фестивали проводятся с 1976 года Комитетом искусства аборигенов, который, начиная с 1973 года, развернул деятельность по выявлению талантов среди аборигенов, особенно музыкальных. На средства Комитета (его возглавляет поэт-абориген Уанджук Марика, недавно побывавший в СССР по приглашению Союза писателей) были приобретены музыкальные инструменты и другое оборудование.

Рецензент журнала «Абориджинал энд айлендер айдентики» отмечает возросший профессиональный уровень участников фестиваля по сравнению с первыми двумя. На фестивале было присуждено несколько поощрительных премий музыкальным коллективам и отдельным исполнителям.

АВСТРИЯ

## ПЕРВАЯ КНИГА СТИХОВ ИЛЬЗЫ АЙХИНГЕР

Ильза Айхингер приобрела известность тридцать лет назад, когда вышел в свет ее роман «Большие надежды». С тех пор она выпустила несколько сборников прозы и радиопьес. Однако никто до сих пор не знал ее как лирика. Вышедшая недавно в издательстве «Фишер» книга стихов «Подаренный совет» — дебют Ильзы Айхингер в поэзии, подтвердивший, пишет в еженедельнике «Вельтвохе» Гейнц Шафрот, мнение критики об этом разносторонне одаренном авторе как о «явлении исключительном в современной австрийской литературе».

Как стало ясно теперь, стихи Айхингер пишет давно. В сборник вошли работы, созданные между 1955 и 1978 годами. На протяжении этих долгих лет стиль ее поэзии изменился мало: писательница никогда не заботилась о том, чтобы быть «модной», не подлаживалась ни под какие «тенденции».

Однако это отнюдь не значит, будто писательница «далека от современности», замечает Гейнц Шафрот. Айхингер чутко реагирует на движение времени, но оно для нее связано прежде всего с личным опытом.

Австрийская писательница Хильда Шпиль пишет в газете «Франкфуртер альгемайне» о поэзии Ильзы Айхингер как о новом и важном этапе в ее творчестве. «Прозе Айхингер была присуща некоторая герметичность, усложненность,— отмечает она.— Однако в стихах мы не встретим ни длинных периодов, ни игры в метафорические загадки. Перед нами прекрасная, ясная работа, прозрачная до самого дна».

БЕЛЬГИЯ

## ЖЕНЩИНЫ О ЖЕНЩИНАХ

В издательстве «Рейнарт» в Целе вышла антология новелл, посвященная современной бельгийской женщине,— «Женщины Фландрии». Ее авторы — писательницы самых различных художественных направлений — поставили своей целью показать, как живут, к чему стремятся, о чем мечтают женщины различ-

ных классовых групп, из разных слоев общества, самых разнообразных профессий. Это «целый веер слов, мыслей, идей и художественных приемов», — пишет рецензент «Дитше Варанде эн Белфорт» Рита Буккерт Ческвир. В антологию входит 22 новеллы, каждая из них принадлежит перу одной писательницы.

Общий колорит книги, отмечает рецензент, очень мрачный. Безысходность, отсутствие перспектив для духовного развития современной женщины — такова главная тема рассказов. Большинство из них («Вглубь» Эжени Больце, «Ожидание телефонного звонка» Дж. Йоргенс и другие) проникнуты мотивами одиночества, отчужденности от мужа, а иногда и от родителей и детей. В рассказе «Реквием по женщине» героиня, талантливая девушка, мечтавшая об идеальной любви и духовных ценностях, выходит замуж за ограниченного обывателя, убежденного, что долг женщины лишь в том, чтобы производить на свет и воспитывать детей. Автор рассказа Жемина де Рон правдиво рисует страдания многодетной матери, все дни и ночи проводящей в детской комнате, ибо для мужа она уже давно не представляет никакого интереса. Умирая от болезни сердца, она завещает своей старшей дочери избрать иную судьбу. Но после смерти матери девушке не остается ничего иного, как заменить ее и стать нянькой своих сестер и братьев.

В новелле Л. Тиммерман «Гарнитур напоказ» очень живо и реалистически отображена косная, пассивная, бездуховная среда собственнического общества, в которой вырастают три героини-подруги. Привязанные к привычной обстановке догмами, предрассудками, обычаями, они в результате второй мировой войны оказались вырванными из нее и были вынуждены начать переоценку духовных ценностей того общества, которое считали незыблемым и справедливым.

Лучший рассказ сборника, по мнению рецензента, «Мезальянс» Дэзи Фербовен. Действие его развивается в небольшом городе и его окрестностях. Сын зажиточных, «респектабельных» родителей, Гюстав Дарсонвилль женится по любви на бедной девушке из фермерской семьи. Хотя они с Марией счастливы, живут в сельской местности, трудятся и не рассчитывают на наследство, их «неравный» брак вызывает возмущение близких и дальних родственников, считающих, что «отказ от наследства... выходит за рамки приличия». Оправдание своего брака Гюстав неожиданно находит у мальчика, племянника, всем сердцем потянувшегося к доброй, столь не похожей на других родственниц Марии. Когда же в результате катастрофы мальчик остался круглым сиротой, его взяла на воспитание именно презираемая всеми плебейка Мария, и в ее скромном домике ребенок находит ту теплоту, которой ему всегда не хватало в богатом особняке своих родителей.

## БОЛГАРИЯ

### «ПОЭМА О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ ДУХЕ»

Иван Давидков — один из наиболее известных болгарских поэтов и прозаиков, лауреат Димитровской премии («ИЛ» № 1, 1979). «Его лирические полотна,— пишет критик Лука Захариев в журнале «Септември»,— отличаются своим колоритом, свежестью, фантазией и пастельной мягкостью».

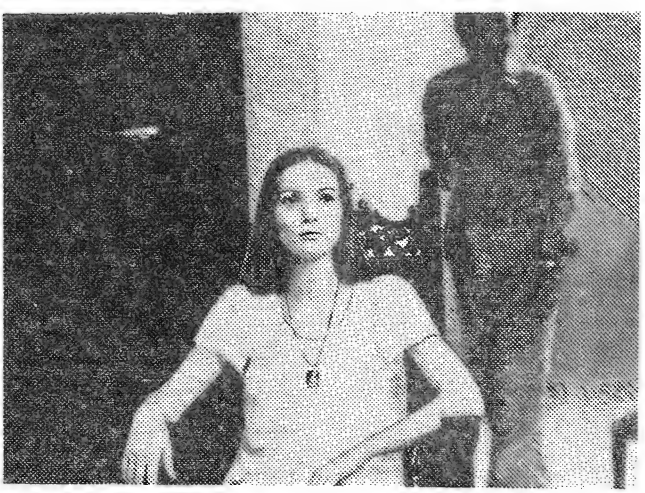
В последние годы, продолжает критик, в творчестве И. Давидкова наблюдается заметное тяготение к философской лирике.

Свидетельство тому — его новый сборник стихов «Молитвы о долоте и камне» (в сборнике пять разделов — «Мосты над Сеной», «Основы», «Записная книжка»,

---

Как сообщила газета «Народна култура», режиссер Христо Христов, известный по фильмам «Последнее лето», «Дерево без корня», «Циклон», закончил свою новую работу — экранизацию повести Павла Вежинова «Барьер», которая была опубликована в первом номере журнала «Иностранная литература» за 1978 год. Исполнители главных ролей — народный артист СССР, лауреат Ленинской премии Иннокентий Смоктуновский и Ваня Цветкова, студентка Софийского театрального училища. «Она очень молода,— сказал о ней Иннокентий Смоктуновский,— но, как мне кажется, болгарское кино может многого ожидать от нее в будущем».
На снимке: Ваня Цветкова и Иннокентий Смоктуновский в главных ролях в фильме «Барьер».

*(Журнал «Филмови новини»)*



«Молитвы о долоте и камне», «Прелюд и фуга»), насыщенный размышлениями о жизни и смерти, о тленном и вечном, о краткости бытия и вечности искусства. В стихотворении «Молитвы о долоте и камне», давшем название всему сборнику, решается главная проблема, волнующая поэта: «Что нужно человеку, чтобы быть счастливым?» Чтобы человек был счастлив, говорит поэт, в его жизни непременно должно присутствовать искусство, стремление к творчеству. Искусство — это бессмертие человека, его продолжение.

Тема смысла жизни и искусства раскрывается поэтом в таких стихотворениях, как «Основы», «Письмо Ван Гогу», «Зодиак» и др. Особенно характерен в этом отношении цикл «Прелюд и фуга».

Иван Давидков, подчеркивает Л. Захариев,— не только лирик, это, безусловно, поэт-гражданин, «только гражданственное начало в его стихах не обнажено, а органично вплетено в поэтическую ткань».

Книга, вобравшая в себя многие разнотемные стихи, предстает перед читателем «поэмой о неукрощенном человеческом духе, о вечном человеческом стремлении к красоте и совершенству».

Новая книга поэта, отмечает в заключение рецензент,— доказательство еще не раскрытых возможностей И. Давидкова и «возможностей вообще нашей современной поэзии».

## ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

### СНОВА БАРБАРА ПИМ

Открытие Барбары Пим произошло два года назад. Одним из первых, кто обратил внимание на самобытное творчество этой уже немолодой писательницы, был поэт Филип Ларкин. Именно с его статьи в «Таймс литерари сапплмент» началась слава Барбары Пим. Сейчас в Англии напечатаны все романы писательницы, которые еще десять лет назад дружно отвергались британскими издательствами, поэтому появление нового произведения Барбары Пим не осталось незамеченным прессой. Литературоведы полагают, что ее талант во многом близок таланту «несравненной» Джейн Остин, писательницы камерной, но обладающей верным и зорким взглядом, умеющей подметить самую суть в характере человека, увидеть психологическую особенность каждой человеческой личности.

Новый роман Барбары Пим называется «Голубка умирает». Он вышел в издательстве «Макмиллан». Рецензент «Таймс литерари сапплмент» пишет: «Пересказать содержание романа Барбары Пим также невозможно, как передать в нескольких словах историю жизни человека».

«Голубка умирает» — роман о житейских мелочах, бытовых неурядицах, причудах характера, которые в какой-то момент оказываются решающими в судьбах героев Барбары Пим. Подобно своей великой предшественнице Джейн Остин, Барбара Пим за незначительным видит социально значимое. Внешне камерная атмосфера ее романа, судьбы женщин средних лет и одиноких пожилых мужчин таят в себе лаконичную, правдивую историю современного среднего класса — одну из основных составных частей английского общества.

### САТИРА АЛАНА МЭССИ

В 1978 году шотландский критик, автор известной монографии о Мюриэл Спарк, Алан Мэсси вместе с группой других шотландских литераторов посетил редакцию журнала «Иностранная литература». Уже тогда в беседе он заметил, что работает над своим первым романом.

Сейчас в издательстве «Бодли хед» вышло первое большое художественное произведение Алана Мэсси. Роман называется «Перемены и запустение лишь вижу я вокруг себя». При чтении книги А. Мэсси, пишет В. Каннингхем в «Таймс литерари сапплмент», сразу чувствуется, что ее автор — известный литературный критик. Писателю при создании собственных персонажей мешало слишком хорошее знание творчества Т. С. Элиота, И. Во, Г. Грина, М. Спарк. Его сатирические герои — нередко мастерское производное от героев его любимых авторов.

В книге читатель попадает в мир макабра, в котором в каком-то калейдоскопическом порядке движутся персонажи: адвокаты, женщины сомнительной репутации, выходцы из Австралии, влюбленные девушки, шпионы, политические деятели и крайне правых и крайне левых убеждений.

Рецензент полагает, что Алан Мэсси стремился воссоздать мертвую, опустошенную землю, ту, что нарисована в одноименной поэме Т. С. Элиота; он хотел в трагических красках показать утрату людьми морали в широком понимании этого слова, изобразить то, что, по мнению писателя, является одним из основных нравственных недугов человечества.

## ВЕНГРИЯ

### «ТАК ЖИЛ ТИБОР САМУЭЛИ»

Имя Тибора Самуэли хорошо известно советским читателям: ветеран коммунистического движения Венгрии, боец-интернационалист, принимавший активное участие в Великой Октябрьской социалистической революции, видный журналист, общественный деятель Венгерской советской республики 1919 года — он и сегодня является примером бескорыстного служения родине, преданности подлинно революционным идеям. И не случайно, что именно молодежное изда-

Один из последних романов известного венгерского писателя Эмиля Граньер-Коложвари «Женщины и будни» лег в основу фильма, который снимает режиссер Шандор Салкаи. Эмиль Граньер-Коложвари считается писателем нравственной гемы. Нравственный конфликт лежит в центре романа «Женщины и будни», герои которого — молодые супруги Миши и Шарике — проходят испытание бытом и повседневностью. Роман выдержал с 1970 года уже восемь изданий.
На снимке — Ласло Маркуш и Нора Ковач в фильме «Женщины и будни».

*(Журнал «Фильм, синхаз, мюжика»)*

---

тельство имени Мора в Будапеште выпустило сейчас книгу писателя Андраша Шимора «Так жил Тибор Самуэли».

Андраш Шимор много лет занимается изучением жизни, деятельности и творческого наследия Тибора Самуэли. По его инициативе вышли две книги произведений Самуэли: «Избранные статьи» в издательстве «Танкёнивкиадо» и «Сборник статей и выступлений» в издательстве «Магветё».

Книга Андраша Шимора «Так жил Тибор Самуэли», говорится на страницах журнала «Тюкор», относится к лучшим, наиболее удачным по композиционному построению прозаическим произведениям писателя. Рецензент Карой Чала отмечает также, что это не первая книга А. Шимора о революционерах. Его перу принадлежит также книга о другом революционном деятеле Венгерской советской республики — Отто Корвине.

ГДР

**«САБИНА ВУЛЬФ»**

Так называется фильм ДЕФА, поставленный по роману Гейнца Крушеля «Разыскивается приветливый мир» (режиссер Эрвин Странка). Героиня фильма, 18-летняя девушка, отбыла срок в исправительной колонии. Она не хочет возвращаться к своим родителям, которые стали ей чужими, не хочет возвращаться в свою прежнюю среду, так как боится возврата к тому, от чего всеми силами хочет уйти. Ей предстоит начать все заново. Девушка поступает на обувную фабрику, где постепенно обретает новых друзей, любимую работу, новый смысл жизни.

Как отмечает рецензент газеты «Берлинер цайтунг», Странка не в первый раз обращается к современной тематике. Он хорошо знает среду, о которой рассказывает в своих фильмах. «Интересно и увлекательно показывает фильм эволюцию молодой девушки, выход из тупика изоляции, обретение новых жизненных сил, новых надежд,— пишет газета «Нойес Дойчланд».— Очень правдиво и искренне показаны люди, окружающие Сабину, проблемы, которые волнуют наших современников».

Рецензенты отмечают дебют молодой актрисы Карин Дювель, исполняющей роль Сабины, и хорошую игру всего актерского коллектива.

На снимке: Карин Дювель и Герхарт Бинерт в фильме «Сабина Вульф».

*(Газета «Нойес Дойчланд»)*

ГРЕЦИЯ

## ЮБИЛЕЙ «ЭПИТАФИИ»

Исполнилось двадцать лет с того времени, как известный греческий композитор Микис Теодоракис переложил на музыку поэму своего выдающегося соотечественника — Яниса Рицоса «Эпитафии». Многотысячная публика, собравшаяся на юбилейные концерты в Афинах и Салониках, восторженно приветствовала создателей композиции, ставшей за эти годы чрезвычайно популярным, подлинно народным произведением, выражающим сокровенные чаяния современной Греции.

Поэма Рицоса «Эпитафии» была написана в 1936 году под впечатлением расстрела рабочей демонстрации в Салониках. Коммунистическая газета «Ризоспастис» опубликовала тогда на первой

На снимке: Яннис Рицос.

*(Газета «Ризоспастис»)*

странице фотографию матери, склонившейся над убитым сыном. Рицос покупает эту газету и на двое суток запирается в своей комнате. На третий день поэма готова. Это причитания скорбящей матери, которая, однако, не сломлена горем и намерена занять осиротевшее место сына в рядах борьбы. Поэма была издана небывалым по тому времени тиражом — 10 000 экземпляров, из которых 9 750 было распродано, а оставшиеся 250 книг были сожжены возле колонн Зевса Олимпийского в Афинах, когда в Греции была установлена диктатура генерала Метаксаса. Второе издание состоялось лишь двадцать лет спустя, в 1956 году, а еще два года спустя началась новая замечательная жизнь поэмы в звуках музыки Теодоракиса, донесших слово Рицоса в самые отдаленные уголки Греции. «Эпитафии» стали подлинным достоянием и гордостью всего греческого народа.

ДАНИЯ

Спектакль «Гамлет», премьера которого состоялась в датском «Фиолетеатрет», получил высокую оценку критики. «Казалось бы, трудно найти новые повороты в решении столь традиционных классических спектаклей,— пишет театральный обозреватель газеты «Ланд ог фольк».— И тем не менее режиссеру Х. Кристиансену и актерскому ансамблю удалось в своей постановке прежде всего подчеркнуть актуальность нравственных и психологических коллизий шекспировской драмы. В немалой степени успех премьеры обязан новому сценическому переводу Я. Раша».

На снимке: сцена из спектакля, в роли Гамлета — Пьер Ренат, Офелии — Элизабет Бессритс.

*(Газета «Ланд ог фольк»)*

## ИНДИЯ

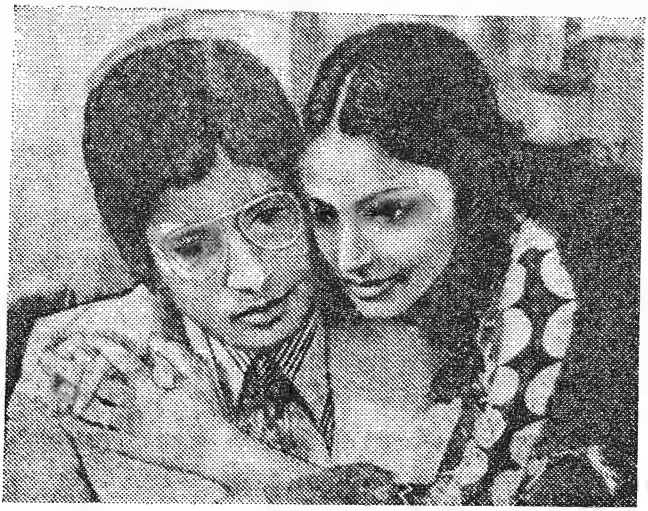
### «ЛЕПЕСТКИ РОЗ»

**Так называется новая книга видной тамильской писательницы Южной Индии, лауреата премии журнала «Совьет лэнд» Раджам Кришнан, автора первого в тамильской литературе романа о Советском Союзе «Материнская земля» (см. «ИЛ» № 9, 1977 г.).**

**Новый роман «Лепестки роз» привлек внимание общественности Юга Индии значительностью поставленных в нем проблем. Литературно-художественный журнал Тамилнада «Тамарей» отмечает, что Раджам Кришнан сумела правдиво показать на примере судьбы героини романа Миттирай, в каких драматических ситуациях оказываются люди, поверившие крикливым лозунгам лидеров мелкобуржуазных партий тамильского «движения за самоуважение» и дравидийского движения сепаратистов, прикрывающихся революционной фразой.**

**Юная героиня «Лепестков роз» полна стремления найти свой путь в жизни. Не выдержав удушливой атмосферы ортодоксальной брахманской семьи, низводящей женщину до положения существа второго сорта, она уходит из дому, становится членом сначала одной, потом другой мелкобуржуазной партии. Разочаровавшись в их возможностях искоренить социальное зло, Миттирай оказалась на грани отчаяния. Но, подобно своей сверстнице из древнетамильской поэмы «Манимехалей», она обретает мужество и всячески старается помогать униженным и обездоленным.**

**Рецензент «Тамарей» Л. Тодатри, отдавая должное важности поднятых в романе вопросов, высказывает справедливую мысль о том, что Раджам Кришнан в изображении своих современников приблизилась к уровню мастерства таких ведущих прозаиков Тамилнада, как Джеякантан, Ахилан и Джанакираман.**



На снимке: исполнители главных ролей в фильме «Клятвы, обещания...» Амитабха Баччана и Ракхи.

*(Газета «Джан юг»)*

**Роман «Лепестки роз», по мнению «Тамарей», представляет собой новую ступень в творчестве писательницы, правдиво показывающей, как молодые индийцы ищут пути к новой жизни и как труден этот поиск.**

### ФИЛЬМ О ГОРЬКОЙ ПРАВДЕ ЖИЗНИ

**Как сообщает газета «Джан юг», на экранах индийской столицы с успехом идет новый фильм «Клятвы, обещания...», поставленный режиссером Рамешем Бахлем на одной из бомбейских киностудий.**

**Картина Р. Бахля — это бесхитростный рассказ о красоте и благородстве чувства, связывающего двух людей — профессора Амита и его возлюбленную Суман. Но история Амита и Суман, переложенная на язык кино,— это не безоблачная идиллия, а кусочек горькой правды жизни, в которой рядом, бок о бок шествуют бескорыстие и эгоизм, возвышенный гуманизм и низкое коварство, сердечный порыв и хладнокровный расчет. В фильме поднимаются глубокие морально-этические проблемы: сценарист как бы задается вопросом, какую роль в жизни человека и общества играют такие нравственные категории, как честь, совесть, верность данному слову, преданность, отношение человека к своему долгу. И хотя картина заканчивается трагически — гибелью Амита, однако такой финал не порождает чувства безысходности, а, наоборот, порождает веру в нравственные силы человека.**

**Оценивая работу Р. Бахля в целом, рецензент пишет, что «картина «Клятвы, обещания...» создана в стороне от проторенной колеи коммерческих фильмов, которые обычно заполняют экран».**

**В рецензии особо отмечается тонкая, проникновенная игра исполнителей главных ролей — Амитабха Баччана (Амит) и артистки Ракхи (Суман).**

## ИНДОНЕЗИЯ

### ОСТРОВ БАЛИ В ИНДОНЕЗИЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

**«Суара карья» и другие индонезийские газеты сообщают, что на о. Бали в возрасте 70 лет скончался вид-**

ный индонезийский писатель Анак Агунг Панджи Тисна, более известный читателям под именем И Густи Ньёман Панджи Тисна.

Наследник десятого раджи Булеленга, он в свое время, как свидетельствуют некрологи, отказался занять трон отца Анака Агунга Путу Джелантика, предпочтя прислужничеству голландским колонизаторам высокое звание «пуджангги» — поэта. Панджи Тисна — первый балийский писатель, создававший свои произведения на языке национального единения Индонезии — индонезийском. По существу он был также первым из плеяды балийских литераторов, отказавшихся следовать устойчивым здесь и поныне традиционным литературным канонам и тематике, ограниченной сюжетами из «Рамаяны», «Махабхараты» и собственно балийских эпических сказаний, и обратился к изображению повседневной жизни «заповедного» острова.

Наибольшей известностью из пяти его книг, созданных между 1935 и 1957 годами и затем неоднократно переиздававшихся, пользуются историческое повествование «И Сваста: год в Бедахулу» и бытовой роман на современный сюжет «Сукрени — девушка с острова Бали». Воспринимавшиеся первоначально как произведения романтико-фантастического плана (уже в силу самой структуры отраженного в них экзотического быта), эти и другие романы Панджи Тисны в последнее время все отчетливее оцениваются критиками как реалистические произведения, правдиво рисующие необычную балийскую действительность. Такой переоценке немало способствует и творчество молодых писателей-балийцев, в частности крупного современного романиста и драматурга Путу Виджаи, продолживших традиции Анака Агунга Панджи Тисны, хотя и внесших в балийско-индонезийскую литературу несвойственный ее зачинателю психологизм и углубивших ее социальное звучание.

## ИТАЛИЯ

### ДАР ХУДОЖНИКОВ ФЕСТИВАЛЮ «УНИТЫ»

Фестивали коммунистической газеты «Унита», которые проводятся в Италии ежегодно, начиная с 1945 года,— важнейшее событие политической и культурной жизни страны. Выступления театральных трупп и музыкальных коллективов, кинопрограммы и продажа книг придают фестивалям «Унита» характер подлинно народных празднеств. Посвящают фестивалям свои работы и художники.

В этом году одним из ярких событий фестиваля стал альбом с репродукциями рисунков шести виднейших современных итальянских художников: Эннио Калабриа, Пьеро Гуччоне, Ренато Гуттузо, Джакомо Манцу, Альберто Суги и Серджо Вакки. Вошедшие в альбом рисунки — дар этих мастеров искусства фестивалю «Унита».

Искусствовед Дарио Микакки на страницах газеты «Унита» дает высокую оценку работам этих художников.

«Для жизни, для труда»— так назвал свой рисунок известный скульптор Джакомо Манцу. Вечный образ матери и ребенка здесь становится символом радости жизни и человеческой чистоты. Микакки видит в рисунке Манцу перекличку с Матиссом и Пикассо. Молодая, прекрасная женщина, изображенная с истинно греческой пластикой и одновременно с выражением тревоги на лице и во всем облике, в движениях всего тела, в повороте головы, смотрит на нас с рисунка Альберто Суги «Угроза» (о работах этого художника см. «ИЛ» № 7, 1977).

Различны художники, представленные в альбоме,

На снимке: рисунок Альберто Суги «Угроза» и Джакомо Манцу «Для жизни, для труда». *(Газета «Унита»)*

различны их творческие манеры. Роднит их одно — исследование и познание мира в его социальных и психологических связях, отражение тревог и надежд сегодняшнего дня.

КУБА

### «ЛИНИЯ ОГНЯ»

Так назвала свой вышедший на Кубе поэтический сборник никарагуанская поэтесса Джиоконда Бельи. Сборник был удостоен премии «Каса де лас Америкас» за 1978 год.

Сборник открывается разделом «Родина или смерть», посвященным борьбе никарагуанских патриотов—бойцов Фронта национального освобождения имени Сандино против режима диктатора Сомосы. Стихотворения второго раздела «Сталь» воскрешают эпизоды героической жизни команданте Маркоса, погибшего во имя свободы народа в ноябре 1976 года. В разделе «К Серхио» представлена лирика поэтессы.

Книга «Линия огня», отмечает рецензент газеты «Хувентуд ребельде», написана в лучших традициях революционной никарагуанской поэзии: она созвучна свободолюбивым идеям павших в борьбе поэтов Ригоберто Лопеса Переса, Эдвина Кастро, Рикардо Моралеса, Леонеля Ругамы и мятежной музе выдающегося поэта и одного из лидеров национально-освободительного движения Эрнесто Карденаля, поэтическое слово которого обрело разящую силу боевого оружия.

В поэзии Джиоконды Бельи, продолжает рецензент, соединились любовь к Родине и глубокая вера в победу народа с неподдельной, истинно человеческой влюбленностью в жизнь («Стальная орхидея», «Тебя упорно в будущем ищу», «Встреча», «Любовь моя, как многоводная река...»).

Ей чужды настроения созерцательного покоя, пассивной умиротворенности, уныния — все в ней исполнено поэтической энергии. Лишь порой возникают ноты печали и боли, мотивы одиночества, вызванные вынужденным изгнанием или скорбной вестью об очередном злодейском убийстве патриотов, но и эти самые мрачные стихи скрашивает свойственное поэтессе жизнелюбие.

Любовь к Родине («О, Никарагуа»), нежность к возлюбленному («Под радугой»), самоотверженность материнской любви («Мать») — в этих проникновенных строках, заключает рецензент, у Джиоконды Бельи постоянно ощутим порыв к действию, настойчиво звучит призыв к борьбе.

МОНГОЛИЯ

Исполнилось 15 лет Государственному монгольскому театру оперы и балета им. Д. Нацагдоржа. За эти годы театр достиг высокой профессиональной зрелости. Были созданы национальные оперы и балет, жанры искусства, доселе неизвестные в Монголии, такие, как опера Б. Дамдинсурена, написанная по мотивам драмы великого монгольского писателя, основоположника монгольской литературы Д. Нацагдоржа «У трех холмов». На его сцене было осуществлено также много интересных постановок классического репертуара.

На снимке: сцена из оперы «Мадам Баттерфляй» в Государственном монгольском театре оперы и балета.

*(Журнал «Монголия»)*

---

НАРОДНАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЙЕМЕН

### ИСКУССТВО — В МАССЫ

В отчетном докладе на III съезде профсоюзов Демократического Йемена генеральный секретарь Всеобщей конфедерации профессиональных союзов НДРЙ Султан ад-Душ остановился на успехах в развитии самодеятельного искусства. Как он отметил, при Всеобщей конфедерации профсоюзов в Адене действуют

теперь три центральных самодеятельных художественных коллектива — театральная группа, музыкальный ансамбль и ансамбль народной песни и танца. Подобные же художественные коллективы созданы при местных рабочих советах провинций Дала и Хадрамаута. Идет подготовка к созданию коллективов художественной самодеятельности также при рабочих советах других провинций.

На многих предприятиях страны и в сельской местности среди объединенных в кооперативы и госхозы феллахов и рыбаков существуют кружки художественной самодеятельности.

Профсоюзы НДРЙ намечают организацию смотров художественной самодеятельности по провинциям и в масштабе всей страны.

## НИДЕРЛАНДЫ

### «ВСЕМИРНЫЙ ПОТОП» ТОН ВАН РЕЙНА

«Мощной книгой» назвал этот сборник рассказов рецензент газеты «Де ваархейд». Автор ее, лимбургский писатель Тон ван Рейн, принадлежит к той группе молодых художников слова, которые в середине 60-х годов дали новое, реалистическое направление современной нидерландской литературе. Это «оздоровительное» движение было, однако, в начале 70-х годов перекрыто потоком так называемой «литературы для домашнего употребления», то есть мещанской беллетристикой с альковно-детективным уклоном. Под напором ее, поддерживаемым дорогостоящей рекламой и бешеными гонорарами, большинству писателей типа ван Рейна пришлось либо идти по линии наименьшего сопротивления, либо исчезнуть из литературы, либо взяться за формальные эксперименты, оперируя различными словесными трюками.

Писатель избрал иной путь. Его сборник рассказов «Всемирный потоп» — книга, по словам рецензента, «необычная», «иносказательная». Персонажи вошедших в нее коротких рассказов воплощают основные, противоборствующие принципы человеческого общения. Обращаясь к традициям средневековых фабльо, ван Рейн создает своеобразные маски, символизирующие, с одной стороны, принципы гуманизма: миролюбие, стремление к свободе, дружелюбие, любовь и защиту природы, а с другой — все, что им враждебно, что «характеризует неорганизованное, стихийное начало современного агрессивного западного общества со всеми присущими ему порочными чертами». Это общество, добавляет он, «враждебное всякому человеколюбию, всему гуманному, как правило, сокрушает, перемалывает все человеческое».

Конечно, по мнению рецензента, такая открытая символика имеет свои ограничительные черты, ибо она «не охватывает всей действительности в целом», зато дает возможность изобразить в иносказательной, но увеличенной, выпуклой форме основные контрасты «собственнического мира». Именно эти свойства художественной манеры помогли ван Рейну наглядно представить такие социальные противоречия капиталистического общества, как «агрессивность, грубое подавление свободолюбивых устремлений индивида, варварское опустошение природных богатств». Рассказы его, написанные в традиционной для «городской» литературы форме фабльо, выдвигают идеальные, гуманистические образы, «которым нет места в мире роботов». Картина, встающая со страниц книги «Всемирный потоп», в достаточной мере мрачна, но «такова участь всех хороших фабльо», заключает рецензент.

## ПОЛЬША

### НОВЫЙ ФИЛЬМ РОМАНА ЗАЛУССКОГО

Роман известного польского писателя Ежи Путрамента «Пуща», знакомый

На снимке: Марек Фрончковяк в роли Богдана в фильме «Убежище».

*(Журнал «Кино»)*

советскому читателю по переводу, вышедшему в издательстве «Прогресс», лег в основу сценария нового фильма режиссера Романа Залусского «Убежище» («ИЛ» № 7, 1978).

Герой фильма Богдан, бывший участник Варшавского восстания и партизанской войны в отрядах АК, после войны ищет для себя убежище на «всю жизнь». Скитаясь по стране, он попадает в покинутый дом лесника в самом центре Мазурской пущи. Он решает стать лесником и поселиться в этом доме. Но местные жители, как и местные власти, относятся к нему с недоверием, подозревая Богдана в связях с бандитами, укрывающимися в лесах. Богдану опостылела война, он хочет создать свой очаг и привозит к себе мать. На лесничество нападает банда и забирает у него все съестные припасы. Богдан с матерью обречены на голод. Наконец Богдану дают право на ношение оружия, и он решает защищаться сам. Когда банда появляется вновь, Богдан успешно обороняется, но случайная пуля убивает его мать, единственного близкого ему человека. В отчаянии Богдан разбивает винтовку.

Как пишет критик журнала «Кино» Антонина Майер, на судьбе Богдана можно проследить судьбы многих поляков, искалеченных

войной. Но главный герой фильма отказывается смириться со своей участью. Он хочет начать жизнь заново, и его поступки убеждают в этом. Он знает, что в жизни есть ценности, которые надо защищать: свою работу, честь, правдивость, верность сыновнему долгу.

### ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ П. ГОЯВИЧИНСКОЙ

В связи с пятнадцатой годовщиной со дня смерти известной польской писательницы Поли Гоявичинской издательство «Чительник» выпустило в свет ее избранные сочинения.

Главное место в творчестве П. Гоявичинской занимает неоднократно переиздававшийся роман «Девушки с Новолипок», за который она была удостоена литературной премии г. Варшавы и который получил свое второе рождение в послевоенном многосерийном телевизионном фильме, заслужившем широкое одобрение зрителей.

Воспоминания о детстве и нелегкой молодости, хорошо знакомые писательнице прообразы героинь романа четко определили характер этой отмеченной подлинностью и в то же время глубоко лирической книги. Фон и реалии ее типично варшавские — улицы Новолипки, Смоча, Дзельна, застроенные мелкими лавчонками, вросшими в землю кабаками, подвалами, в которых живут столяр или прачка. Здесь, на Новолипках, протекает жизнь героинь книги, молодых девушек. У каждой свой темперамент, каждая по-своему реагирует на добро и зло, несправедливость и бедность. По-разному сложится их жизнь, но у всех она будет трагической. Разошлись судьбы героинь, некоторые из них вернулись на страницы следующего романа Гоявичинской «Райская яблоня», любимой книги самой писательницы.

В своих романах (оба они изданы в нашей стране) П. Гоявичинская отображает духовное формирование женщины из ремесленного предместья Варшавы. Судьба ее, невозможность найти пути к счастью поставлены в прямую зависимость от политической ситуации в буржуазной Польше 20-х годов нашего века. Гоявичинская страстно осуждает лицемерие и эгоизм буржуазии, бесплодность ее филантропической деятельности.

В годы гитлеровской оккупации Гоявичинская была заключена в тюрьму Павяк, книги ее были конфискованы. Пережитое в тюрьме нашло позднее отражение в книге «Решетка». Вскоре после войны Поля Гоявичинская выпускает книгу «Столица»— о первых днях возрождения Варшавы.

Журнал «Нове ксёнжки» пишет: «Поля Гоявичинская занимает в нашей литературе достойное, почетное место. Ее произведения относятся к крупным достижениям общественно-бытового направления в польской прозе межвоенного периода».

## РУМЫНИЯ

### НОВЫЙ ЛАУРЕАТ БОЛЬШОЙ ПРЕМИИ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СРР

Старейшему писателю Румынии Джео Богзе вручена Большая премия Союза писателей СРР за 1978 год. В речи на церемонии вручения премии председатель Союза писателей СРР Джордже Маковеску говорил: «Джео Богза — поэт. Пятьдесят лет тому назад он начал издавать в провинциальном городке журнал «Урмуз». То был голос протеста, голос сопротивления. Мятежный поэт, ненавидевший буржуазный мир, Богза на протяжении полувека творил свою сотканную из страданий и радостей поэзию, отражая в ней красоту и уродства мира, его печали и надежды. И венцом его поэзии стал стихотворный сборник «Орион».

Джео Богза—прозаик. Он отец румынского репортажа. Если бы он создал одну только «Книгу Олта», и то имя его занимало бы почетное место в истории румынской литературы.

Джео Богза — журналист. Сборник «Годы сопротивления» — свидетельство его борьбы. Послевоенные репортажи, включая его последний сборник «Смотритель маяка»,— своеобразный дневник социалистического строительства в нашей стране...

Джео Богза — политический борец, антифашист. Он был и остался им — и будет до последнего дня жизни... Он сражался с фашизмом на страницах газет и журналов, на улице, на фронтах Испании...

Почтим же, друзья, в этот яркий час его жизни Джео Богзу, поэта, прозаика, политического борца-антифашиста, писателя, подарившего румынской литературе и культуре такие книги, как «Орион», «Книга Олта», «Годы сопротивления», «Смотритель маяка»...»

О месте полувекового творчества замечательного художника в литературе социалистической Румынии говорили поэт Шт. А. Дойнаш, критики О. Крохмэличану и Н. Манолеску. С проникновенными словами любви и уважения к лауреату выступили соратники и друзья — известные писа-

На снимке: Джео Богза во время получения премии.

*(Еженедельник «Ромыния литерарэ»)*

тели Мелиус Йожеф, Мария Бануш, Ал. Филиппиде и др.

## СИРИЯ

### НОВЫЕ КНИГИ СИРИЙСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

Как сообщает газета «Аль-Иттихад», издательством Союза арабских писателей в Дамаске выпущены две новые книги сирийских писателей.

Первая из них — роман «Болото»—представляет собой вторую часть автобиографической дилогии известного писателя Ханны Мины. (Его роман «Парус и буря» печатался в «ИЛ» № 4, 5 за 1971 г.) Первая часть дилогии — роман «Осколки образов», рисующий тяжелое детство мальчика из бедной сирийской семьи,— была тепло встречена арабской критикой.

Вторая книга, о которой сообщает газета,— сборник рассказов новеллиста и драматурга Валида Ихласи «Смерть улитки». В. Ихласи является представителем «нового», или авангардистского, направления в сирийской новеллистике, его рассказы близки стихотворениям в прозе.

## СУДАН

### НОВЫЙ РОМАН АТ-ТАЙИБА САЛИХА

Вышел в свет отдельной книгой роман известного суданского писателя Ат-Тайиба Салиха «Марьюд». До этого роман печатался по частям в журнале «Ад-Дауха», издающемся в Катаре (перевод романа Салиха «Сезон паломничества на Север» был опубликован в «ИЛ» № 9, 10 за 1975 г.).

Роман «Марьюд» представляет собой вторую часть дилогии Салиха и тесно связан с ее первой частью «Бендершах».

В «Марьюде» реальность переплетается с мифом. Как пишет в предисловии к роману известный критик Рага ан-Наккаш, «произведения Ат-Тайиба — это своего рода мечты, но мечты не отдельного человека, а всего нашего народа, нашего общества. Они откладывались в нашем сознании из поколения в поколение».

## США

### РАССКАЗЫ ДЖОНА ЧИВЕРА

Большой том новелл Чивера, вышедший в издательстве «Кнопф», стал одним из примечательных событий литературной жизни США последнего времени. В книгу включено более шестидесяти рассказов. Самые ранние из них относятся еще к военному времени, последние же помечены 1978 годом. Советским читателям рассказы Чивера известны по сборникам «Исполинское радио» и «Ангел на мосту».

Чивер принадлежит к числу крупнейших современных мастеров реалистической прозы на Западе. Для его рассказов характерны психологическая емкость, богатство проблематики, лаконизм и точность изобразительных средств. Говоря о своих литературных учителях, Чивер неизменно называет среди них Чехова.

В произведениях Чивера запечатлены будни представителей обеспеченных семей, добившихся солидного положения в обществе и живущих спокойной, на первый взгляд, жизнью, чью духовную ущербность и болезненность обнажает в своем повествовании писатель. Темой, возникающей во многих рассказах Чивера и таких его романах, как знакомый читателям «ИЛ» «Буллет-Парк», является нравственная опустошенность «благоденствующих» средних американцев. Остро ее ощущая, герои Чивера склоняются то к яростному, но бесперспективному «бунту» против бездуховной и уродливой повседневности, то к подмене истинной гуманности отношениями, построенными на признании безответственности едва ли не естественной нормой бытия.

Большинству персонажей Чивера свойственно смутное, но неодолимое стремление к простой и человечной жизни и тоске по безвозвратно ушедшим временам, когда в отношениях между людьми преобладали добросердечие и искренность. Они охвачены неясным чувством тревоги перед будущим, которое страшит их угрозой неожиданного потрясения, разрушающего десятилетиями налаживавшийся быт. Такие потрясения обычны в рассказах Чивера: семейный разлад, какое-нибудь мелкое бытовое происшествие резким толчком разрушают всю мнимую гармонию существования его героев, заставляя их мучительно искать объяснения и оправдания своей неудавшейся жизни.

Тональность многих рассказов Чивера — сдержанно драматичная, соединяющая иронию и лиризм, легкий гротеск и достоверность, простоту центрального события. Критик «Нью-Йорк ревью оф букс» Р. Тауэрс отмечает, что по своему восприятию мира Чивер похож на больших лирических поэтов прошлого. Высоко оценивая книгу рассказов, он пишет: «За очарованием и легкостью повествования здесь чувствуется глубокая боль и неудовлетворенность. Чивер далеко не циник, но и не моралист... Все беды мира он надеется исцелить одним и тем же лекарством: любовью, любовью, любовью...»

Иллюзии персонажей отчасти передаются и самому Чиверу. Однако в его творчестве преобладает объективность и глубина социального анализа и поиск непреходящих нравственных ценностей. Об этом сказал он сам в предисловии к книге своих рассказов: «Я копаюсь в этом лежалом реквизите лишь для того, чтобы показать, что человека никогда не покидает стремление к свету и решимость отыскать

моральный смысл своего пребывания на земле».

### ПОЭМЫ ПУШКИНА В АНГЛИЙСКОМ ПЕРЕВОДЕ

В журнале «Ньюсуик» помещена рецензия на недавно вышедший в издательстве «Викинг» английский перевод романа в стихах А. С. Пушкина «Евгений Онегин».

«Переводы — это внебрачные дети литературы,— пишет рецензент Питер Прескотт,— однако их неоспоримая незаконность не исключает того, что некоторые из них могут быть талантливыми и остроумными, даже вдохновенными». К таким работам Прескотт относит «Евгения Онегина» в переводе английского поэта и дипломата Чарльза Джонстона. Этот роман в стихах, отмечает Прескотт, до недавнего времени не поддавался переводу на английский. Владимир Набоков, «которого никто ни в чем не мог переубедить», считал, что перевести «Евгения Онегина» можно только прозой. Выполненный самим Набоковым прозаический перевод «схватывает строгую простоту оригинала, но не его яркость и глубину». Джонстона же отличает не только прекрасное владение формой и стилем Пушкина, но и умение донести великое произведение русской литературы до английской аудитории (чего, в сущности, не сумел достичь Набоков). При этом в стихотворном переводе Джонстона нет смысловых искажений, которыми, по мнению Прескотта, страдают все предыдущие стихотворные переводы с русского на английский.

### «СНЕЖНЫЙ ЛЕОПАРД» ПИТЕРА МАТТИССЕНА

За последние десять — пятнадцать лет в США довольно широкую популярность приобрели произведения, воссоздающие образ Америки прошлого. Причем особый интерес вызывает не столько сама история страны, сколько образ жизни, быт, нравы, психология различных эпох — от момента основания первых поселений на материке вплоть до начала XX века. По мнению критиков, такого рода беллетристика (например, романы Дж. Миченера, Ф. Мартина или «Рэгтайм» Э. Л. Доктороу — см. «ИЛ» № 9, 10 за 1978 г.) отражает ностальгию американцев по своему далекому или недавнему прошлому, по прошлому «доиндустриальной», а то и «доцивилизованной» Америки.

Среди «ностальгических» произведений немалый успех завоевывают романы и повести, в которых рассказывается о путешествиях по экзотическим странам земного шара, где до сих пор встречаются «оазисы дикости». Одним из признанных мастеров жанра «экзотического романа» в США является Питер Маттисен, успешно дебютировавший в 1972 году романом «Дерево, на котором родился человек». Маттиссен — не профессиональный писатель. Он биолог, путешественник, побывавший в самых потаенных уголках мира — в джунглях Африки, в Новой Гвинее, на берегах Амазонки и в труднодоступных районах Гималаев. Свое последнее путешествие — по Тибету — он совершил в 1973 году. Путевые впечатления легли в основу его недавно вышедшей книги «Снежный леопард» (издательство «Вайкинг»). Сюжетной основой книги является рассказ о поисках экспедицией Маттиссена редчайших видов млекопитающих, чудом избежавших участи многих животных, которые безжалостно уничтожались человеком на протяжении многих веков. Главная цель Маттиссена—увидеть снежного леопарда, о котором он знает лишь понаслышке: никто, даже коренные жители Тибета, никогда не видел это удивительное животное.

По мнению рецензента журнала «Сатердей ревью», история о поисках легендарного снежного леопарда повторяет известный сюжет рыцарских романов средневековья о поисках святого Грааля. Снежный леопард — это, считает рецензент, аллегорический образ всего того, что утрачено человечеством в процессе исторического развития. Снежный леопард — олицетворение первозданной девственности мира, навсегда потерянной для современного человека, живущего в «постиндустриальном обществе».

Свой собственный рассказ Маттиссен часто перемежает с длинными выписками из священных буддистских рукописей, с пересказом древних тибетских сказаний. Все это, отмечает рецензент, служит дидактическим целям Маттиссена, пытающегося заразить читателей своей ностальгией по «первобытной дикости».

Американские романтики XIX века — Г. Д. Торо, Г. Мелвилл — пытались уйти, скрыться от окружавшего их мира меркантилизма, бездуховности в экзотических лесах, на отдаленных островах, создать прекрасную иллюзию должной вневременной жизни, где действуют «естественные» законы. Аналогичный романтический мотив «бегства» от цивилизации видит рецензент «Сатердей ревью» и в книге Питера Маттиссена.

## ТУНИС

### НОВОЕ В ТУНИССКОЙ ПРОЗЕ

Журнал «ИБЛА» напечатал статью критика Ж. Фонтена «Тунисские новеллы и романы», в которой дается обзор прозы Туниса за истекшие два года. Как видно из обзора, за это время в тунисской прозе появилось несколько новых имен. Одновременно продолжали публиковаться писатели, выступившие впервые со своими произведениями в 60-х (таких большинство) и отчасти в 50-х годах.

Произведения писателей среднего поколения представлены в статье сборником рассказов известного новеллиста и романиста Рашеда Хамзави «Тарнанну», публиковавшихся начиная с 1959 года в журналах «Аль-Фикр» и «Ат-Тадждид». Герои рассказов Хамзави — в основном бедняки, люди, стоящие на низших ступе-

Большим успехом на родине и за рубежом пользуются выступления Тунисского ансамбля народного искусства (художественный руководитель Хаммади аль-Гарби). В своих оригинальных хореографических выступлениях ансамбль стремится отражать жизнь и обычаи населения различных районов Туниса, самобытное искусство феллахов и бедуинов.
На снимке: тунисский ансамбль во время выступления.

*(Газета «Багдад обсервер»)*

---

нях общественной лестницы. Они ведут борьбу за существование, будучи поставлены перед необходимостью выбора «между шатким положением в деревне и ослепляющими, но обманчивыми соблазнами города». Эти жертвы несправедливого общественного устройства питают, однако, неистощимые надежды и готовы отдать жизнь во имя солидарности с братьями по классу.

С первым сборником рассказов «Призраки моей деревни» выступил молодой поэт и эссеист Абдельмуним Юсеф. Его небольшая книжка адресована юному читателю — входящие в нее четыре рассказа напоминают то волшебные сказки, то утопии в духе Томаса Мора. Они проникнуты любовью к природе, мечтой о счастливой жизни.

В течение рассматриваемого периода в Тунисе на арабском языке было опубликовано шесть новых романов. Традиционное направление представлено произведениями Мохиэддина Бен Хелифы, выпустившего свой первый роман «Дерево» в начале 70-х годов. В новом романе «Пепел» он описывает обычаи и традиции области Сахель (восточное побережье Туниса). Больший интерес, по мнению критика, представляет другой его роман — «Собачий рынок», опубликованный вслед за «Пеплом».

Тему национально-освободительной борьбы продолжает в своих произведениях Абдеррахман Аммар — автор романа «Любовь и революция», вышедшего несколько лет назад. Действие его нового романа «Когда льют дожди» развертывается в начале 50-х годов. Описания перипетий политической борьбы против режима протектората чередуются в книге с лирическими и любовными сценами.

Наряду с романами традиционного направления в Тунисе вышло несколько произведений этого жанра, для которых характерны новые формы выражения. К ним относится роман молодого тунисского писателя и историка литературы Салиха аль-Джабри «Море выбрасывает обломки». Его действие происходят после обретения Тунисом независимости. Главный конфликт этой книги и схожих с ней произведений, по мнению Ж. Фонтена,— противоречие между духовными потребностями героев и тем, что могут они найти в современной им действительности.

К нетрадиционному направлению критик относит также первый роман писателя Абдеррахмана Абида «Осенние бури» и роман молодого писателя Хади Бен Салаха «В паутине».

Ж. Фонтен обращает внимание на одну особенность, присущую новым тунисским романам «нетрадиционного» направления,—на чрезвычайно важную роль, которую играет в них женщина. «Почти во всех случаях интимная связь становится основным стержнем, вокруг которого вращаются отношения между персонажами... Мы стоим на поворотном пункте тунисской литературы. Опасливый моралим уже пройден».

Обозрение новинок тунисской литературы автор заканчивает сообщением о трех романах на французском языке, опубликованных писательницами-дебютантками Жалилой Хафсией, Суад Геллюз и Аишей Шайби.

## ТУРЦИЯ

С большим успехом прошел в Турции фильм режиссера Атифа Илмаза, снятый по рассказу Чингиза Айтматова «Тополек мой в красной косынке». Режиссер, однако, перенес действие фильма на турецкую почву и придал действию некоторую мелодраматичность. Большой успех фильму принесла популярная турецкая актриса Тюркан Шорай, которая сейчас снимается в совместном турецко-советском фильме «Фархад и Ширин» («ИЛ» № 10, 1978 г.).
На снимке: кадр из фильма.

*(Журнал «Фильм»)*

## ФИНЛЯНДИЯ

На экраны Скандинавии вышел совместный финско-шведский фильм «Насилие невозможно» по одноименному роману финской писательницы М. Тикканен. Фильм посвящен проблемам современной молодежи.
Кадр из фильма: исполнительницы главных ролей—Анна Годениус и Тони Регнер.

*(Газета «Ланд ог фольк»)*

## ФРАНЦИЯ

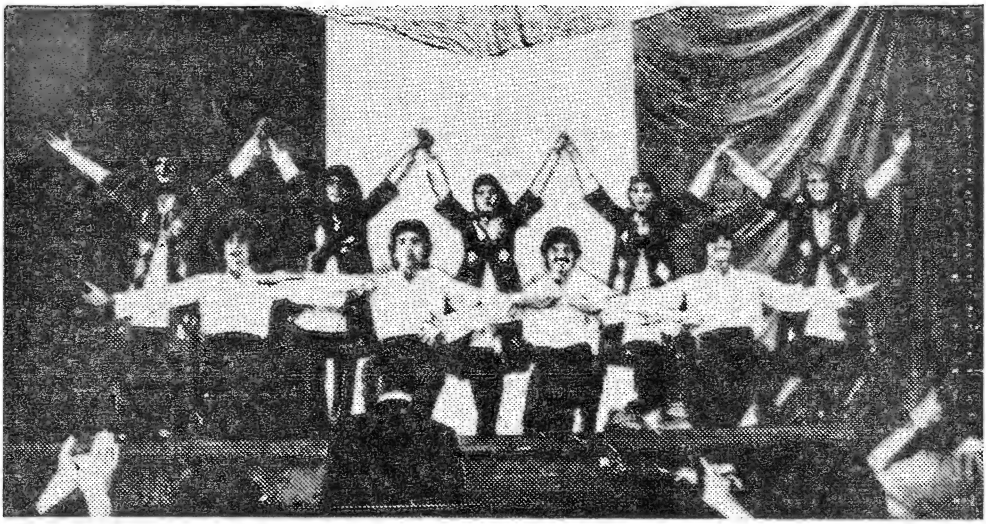
### ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ — ВРЕМЯ

**«Пьер Куртад был необыкновенным человеком, привлекавшим своим умом и чистотой. Став коммунистом в 1946 году, после участия в Сопротивлении, он ни разу не усомнился в своем выборе»,— пишет Мартина Моно в «Юманите диманш» в связи с переизданием романа Пьера Куртада «Красная площадь» (см. «ИЛ» № 6—8, 1962). Писатель и журналист (последние годы жизни он работал корреспондентом «Юманите» в Москве), Куртад оставил книгу, главным героем которой, по словам Мартины Моно, является «наше трудное, противоречивое и все-таки замечательное время». И хотя действие романа датировано 1935—1958 годами, затронутые в нем политические проблемы остаются актуальными и по сей день.**

**Злободневность романа подчеркивает и Андре Вюрмсер в «Юманите». Коммунисты, показанные Куртадом,— это не ходячие схемы, а живые люди, которые любят, страдают и борются, пишет критик. «Красная площадь» — роман моралиста, каким и должен быть всякий роман, написанный коммунистом, потому что коммунизм — единственный ответ на вопросы, поставленные веком»,— подчеркивает Вюрмсер.**

### РАЗГОВОР О ПОЭЗИИ

**«Что нового в современной французской поэзии? Какие изменения произошли в ней после майских событий 1968 года?» Эти вопросы вынес на обсуждение журнал «Магазин литтерер», посвятив специальный номер проблемам поэзии. В дискуссии приняли участие поэты и критики самых разных направлений, но почти все они признали, что после определенного периода застоя поэзия переживает сейчас явный подъем. Единодушно отмечено втор-**



На снимке: концерт в Париже Группы народного искусства палестинской революции.

*(Журнал «Жён Африк»)*

жение в поэзию политики и истории.

В статье, озаглавленной «Поэтический реализм», поэт Клод Мишель Клюни пишет, что материалом для творчества современного поэта должна служить сама повседневная реальность, люди и окружающий их мир. Поэт, прозаик и критик Ален Боске, подчеркивая бунтарский дух молодежной поэзии, протестующей против буржуазного общества потребления, считает, однако, что стихотворение должно быть не только политической листовкой, продиктованной злобой дня, но и произведением поэтического искусства.

Хотя и несколько противоречивую, но не лишенную интереса точку зрения высказал Мишель Бютор — один из основоположников школы «нового романа» (его роман «Изменение» опубликован в «ИЛ» № 8, 9, 1970). Говоря о системе жанров в современной литературе, Бютор заметил, что в 60-е годы было поставлено под вопрос традиционное деление на жанры. «Поэзию», «роман», «эссе» пытались подменить чем-то вмещающим в себя все эти три понятия. Однако очень скоро убедились, что традиционные жанры продолжают существовать и более того — процветать. И все же, по мнению Бютора, появляется все больше произведений, которые не поддаются общепринятой классификации: сказывается влияние средств массовой информации, да и самого стремительного ритма современной жизни. Значительное место в своих высказываниях Бютор уделил структуральному методу изучения поэтических произведений, представляющемуся ему плодотворным, однако, пытаясь выявить направления, по которым развивается поэзия, признал ее «открытость» (гораздо большую по сравнению с «новым романом» и его последователями), ее связь с другими литературными жанрами, явную обращенность к внешнему миру, политическую и социальную ангажированность.

### «ПАЛЕСТИНА ЖИВЕТ И БОРЕТСЯ»

Под таким девизом прошли в Париже выступления Группы народного искусства палестинской революции. Они были организованы Всеобщим союзом палестинских студентов и Франко-палестинской медицинской ассоциацией.

Палестинские студенты показали танцы своего народа. Перед парижанами выступил с патриотическими песнями певец Мустафа Курд, поэт Махмуд Дервиш прочитал свои стихи. Была открыта также выставка изделий палестинских мастеров прикладного искусства.

## ФРГ

### «СЕМЕЙНАЯ ХРОНИКА» ВАЛЬТЕРА КЕМПОВСКОГО

Цикл автобиографических романов западногерманского писателя Вальтера Кемповского — «Тадельлёзер унд Вольф», «У нас пока все прекрасно» и «Особая статья» — получил признание читателей и критики. Недавно в гамбургском издательстве «Кнаус» вышел четвертый его роман — «Из великого времени», представляющий собой как бы начало этой «семейной хроники».

Действие его происходит в 1900—1918 годах в семье

корабельного маклера Роберта Вильяма Кемповского, сын которого Карл семнадцатилетним юношей уходит на фронт первой мировой войны. Начальные главы романа рисуют картины безмятежного, размеренного буржуазного быта, идиллические сцены летнего отдыха на Балтийском побережье.

«Но это первое впечатление,— пишет в журнале «Шпигель» критик Рольф Беккер.— Чем дальше читаешь роман Кемповского, тем он становится серьезней, тем отчетливей выявляются... признаки неблагополучия. Бюргерская идиллия дает трещину. Гармония оказывается мнимой».

Уйдя на фронт, Карл поначалу пишет родителям восторженные письма: «Я участвую в величайшем сражении всех времен, это сознание наполняет меня чувством гордости и счастья». Как и многие его знакомые, он полагает, что в этой войне «идет борьба за культуру (в окопах напротив залегли зуавы)... за Гёте». Его отцу война вначале приносит небывало крупные прибыли. Не сразу приходит прозрение.

Критик считает важным достоинством романа то, что автору в нем удалось показать «ограниченность и бездумность немецких буржуа». Они видят демонстрацию рабочих, «детей, женщин, голодных, оборванных» и не понимают, чего нужно этим людям, не понимают, как это полиция не могла справиться с голодающими, которые разграбили булочную. «Даже проиграв войну, они не сумели сделать для себя выводов»,— пишет рецензент, называя хронику Кемповского «успешной попыткой... изобразить историю своей семьи как характерную историю немецкой буржуазии».

### «ГИБЕЛЬ «ТИТАНИКА»

15 апреля 1912 года затонул, столкнувшись с айсбергом, крупнейший по тому времени пароход «Титаник». Этой грандиозной катастрофе, которая унесла полторы тысячи жизней, посвятил свою новую поэму известный западногерманский поэт Ганс Магнус Энценсбергер.

«Титаник» считался одним из самых выдающихся технических достижений начала века. Его «непотопляемость» вошла в поговорку еще до первого его плавания. Для Энценсбергера этот корабль — своего рода символ технического прогресса с его самодовольством и неспособностью увидеть нарастающую опасность. «В его стальном корпусе уже трещина,— пишет рецензент журнала «Шпигель» Николас Борн,— но ни люди, ни мыши этого пока не замечают».

Свою поэму, состоящую из тридцати трех «песен», автор назвал «комедией». Это не обозначение жанра, ирония Энценсбергера относится к поразительной неспособности людей «заботиться о чем-либо, кроме сегодняшнего дня». Пассажиры «Титаника» веселятся, не предчувствуя близкой гибели, один из них

---

Мюнхенское телевидение поставило телефильм по известному роману рабочего-писателя Августа Кюна «Время восставать». Фильм воссоздает на экране хронику рабочей семьи, зарождение и становление пролетарского самосознания в Германии начала века.
На снимке: кадр из телевизионного фильма «Время восставать».

*(Журнал «Шпигель»)*

даже надрезает пилочкой для ногтей спасательный круг, чтобы показать своей жене, что там внутри. И те, кто остался в живых после катастрофы, вновь возвращаются к тому же беззаботному веселью, как будто ничего не произошло.

Тема Энценсбергера, замечает рецензент,— «кризис состояния как индивидуума, так и общества в целом. Место катастрофы — повсюду, и происходит она всегда».

Другой важный образ поэмы — айсберг, своего рода «воплощение природного зла», равнодушной, прекрасной, непобедимой силы. Поэт, однако, чувствует, что отношения между природой и человеком все больше меняются. Когда-то человеку надо было отвоевывать себе место для жизни, теперь природа должна защищаться — не мстит ли она людям?

«Гибель «Титаника» представляет собой «разветвленную и сложную систему ассоциаций,— пишет Николас Борн.— Здесь есть место и для вымысла, и для точной детали. Каждая новая песнь — это одновременно новая версия... Поэма пробуждает в читателе противоречивое ощущение беспокойства».

## ЧЕХОСЛОВАКИЯ

### «ВМЕСТЕ ВО ИМЯ ЖИЗНИ»

Так называется антология антифашистских рассказов чешских и словацких писателей, выпущенная издательством «Чехословенски списователь» в «Библиотечке Победы».

Построенная хронологически, она представляет собой своеобразную художественную летопись борьбы чехословацкого народа против фашизма, начиная со стихийных выступлений против Мюнхенского соглашения 1938 года и кончая освобождением страны от немецкой оккупации и Февральской победой трудящихся в 1948 году.

На снимке: обложка книги «Вместе во имя жизни», воспроизводящая известную картину Йосефа Чапека «Огонь», созданную им в 1938 году.

Книга открывается записками Ю. Фучика, относящимися к сентябрю 1938 года, и завершается рассказом Марии Майеровой «Красное знамя», посвященным победоносному Февралю.

Кроме Фучика и Майеровой в ней представлены произведения еще двадцати четырех писателей нескольких поколений: Вл. Минача, Й. Рыбака, Д. Шайнера, Л. Фукса, А. Плавки, Й. Марека и др.

### РОМАН-БИОГРАФИЯ, РОМАН-ИССЛЕДОВАНИЕ

В издательстве «Свобода» вышел в свет новый роман прозаика и драматурга Франтишека Кожика «Йозеф Манес». Образ этого знаменитого чешского художника-демократа давно занимает Кожика. Об этом свидетельствует и прошедший в 1976 году по всем киноэкранам Чехословакии поставленный по его сценарию фильм о Манесе «Палитра любви».

В отличие от фильма, в котором внимание и сценариста и режиссера (Йозефа Маха) было сосредоточено главным образом на истории создания художником прославленных медальонов «Двенадцать месяцев», украшающих пражские куранты на Староместской ратуше, роман прослеживает весь жизненный путь Манеса со дня его рождения в 1820 году до смерти, наступившей в 1871 году.

Показывая духовную и творческую эволюцию художника, автор говорит и о его социальном окружении, о дружбе с передовыми деятелями культуры того времени и об острых конфликтах с миром чванливого мещанства, отвергавшего демократическую направленность его творчества.

Подлинно проникновенные страницы книги посвящены творческому облику Манеса, его исканиям и принципам, опережающим свое время и чуждым буржуазно-аристократической верхушке общества. Ею были отвергнуты и осмеяны самые заветные мысли художника о сущности и назначении искусства.

«Своей главной наставницей я считаю природу,— говорил Манес.— А главным источником искусства — любовь к людям и стремление сделать их мир прекраснее».

Близость Манеса к природе, людям сельского труда проявилась в портретах крестьян, в бытовых зарисовках, но больше всего — в медальонах «Двенадцать месяцев», на которых с удивительным изяществом и любовью воспроизведены эпизоды из сельской жизни, связанные со сменой времен года.

Кожик приводит в романе и малоизвестные или вовсе не известные ранее подробности биографии художника. Он пишет, например, о его поездке в Россию в 1867 году, восторженных отзывах об Эрмитаже, увлечении старыми архитектурными памятниками Москвы и лихорадочной работе над эскизами, запечатлевающими увиденное.

Преодолевая все препятствия, Манес прокладывал новые пути в живописи. Художник-новатор, реалист,

На экране чехословацких кинотеатров с успехом прошел цветной фильм Вацлава Ворличека «Как пробуждаются принцессы». В основе сценария — сказка о спящей красавице. Как отмечают критики, авторам фильма удалось поэтически тонко раскрыть идею всесилия любви, побеждающей все препятствия. В роли принцессы с большим успехом дебютировала ученица пражской гимназии Мария Горакова. На снимке: Мария Горакова (принцесса) и Ян Краус (принц Иржи).

*(Газета «Руде право»)*

---

теснейшим образом связанный с трудовым народом,— таким предстает Манес в художественном воплощении писателя.

Высоко оценивая новый роман Ф. Кожика, «Руде право» отмечает, что ему удалось создать целостную картину, в которой «сливаются воедино реальная историческая действительность и поэтическое видение творчества художника».

### ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ ДРУЖБЫ

Книги с маркой «Лидове накладателстви» («Народное издательство») пользуются в ЧССР широкой популярностью. Знают и в нашей стране это крупнейшее за пределами Советского Союза издательство, специализирующееся на выпуске произведений русских и советских писателей.

Уже в 1945 году, вскоре после освобождения Чехословакии от фашистской оккупации, в Праге при журнале «Свет совету» («Мир советов») стала выходить библиотечка произведений советских писателей. На этой основе в 1948 году и возникло издательство, вначале носившее то же название.

«Лидове накладателстви» отметило 30-летие своего существования. К юбилейному году в активе издательства насчитывалось 2 300 наименований книг русских и советских авторов общим тиражом в 44 миллиона экземпляров.

Продукция издательства необычайно многообразна: политическая литература, литературоведческие исследования, художественная проза, поэзия, книги для детей и юношества, путевые очерки, произведения сатирического и юмористического характера.

С первых дней своего существования издательство стремилось широко знакомить своих читателей не только с русской классической советской литературой, но и с творчеством других народов, населяющих Советский Союз. Так, в 1948 году наряду с русскими авторами, начиная с М. Горького, были изданы книги украинского писателя А. Копыленко, казахского — М. Ауэзова. Именно «Лидове накладателстви» впервые представило чешской публике таких писателей национальных республик и областей СССР, как Ю. Рытхэу, Т. Чиладзе, Ч. Айтматов, П. Севак, Ю. Смуул, Р. Гамзатов. Ему же принадлежит первенство в ознакомлении читательских кругов ЧССР с творчеством Д. Гранина, Э. Казакевича, В. Тендрякова, В. Распутина и других советских писателей.

Большую популярность приобрели выпускаемые издательством библиотечки: «Новая советская библиотека» (новинки советской литературы), «Сатурн» (приключенческая литература), «Тройка» (книги из золотого фонда русской и советской классики) и ряд других.

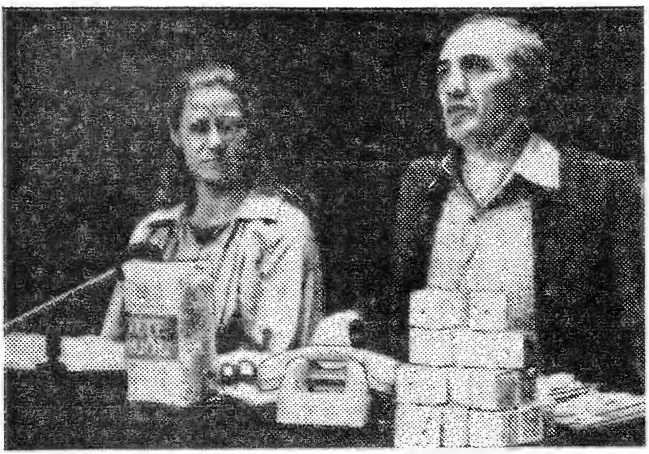
Помимо книг «Лидове накладателстви» издает журналы: «Свет социализму», «Чтени», «Прага — Москва», «Спутник», «Советская литература».

Все направление работы издательства подчинено главной задаче — углублять и развивать традиции взаимной дружбы и сотрудничества между чехословацким и советским народами. Итоги 30-летней работы издательства свидетельствуют о том, что эта задача успешно им выполняется.

## ШВЕЦИЯ

### ПИСАТЕЛИ — АВТОРЫ ИСТОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ

В издательстве «Ферфатарферлагет» вышли два тома «Истории шведской литературы». В предисловии к первой книге составители, известные шведские писатели и критики Ларс Ардениус и Гуннар Рюдстрем, пишут: «Сегодня мы с грустью констатируем: большинство наших писателей-классиков в той или иной степени забыты. Трудно доискаться до причин этого явления — несовершенство школьной системы преподавания литературы, недостаточное внима-



Большим успехом у шведских зрителей пользуется спектакль театра «Драматен» «Седьмой вопрос», поставленный по пьесе Карла Сета. Спектакль направлен против угрозы атомной войны, в нем использован большой документальный материал.
На снимке: Мод Викландер и Роланд Хедлунд — исполнители главных ролей.

*(Газета «Ню даг»)*

ние к классике со стороны наших литераторов и критиков или, наконец, стратегия книжных издателей, ориентирующихся лишь на коммерческие критерии в отборе публикаций? Мы надеемся, что история литературы, написанная писателями, оживит интерес к классике».

Замысел создания истории классической шведской литературы, пропущенной через призму современных прозаиков, поэтов, критиков, таких как Л. Юлленстен, Л. Густафссон, Т. Транстрёмер, С. Арнэр, П. К. Ершильд, Л. Форсель, оказался чрезвычайно интересным и плодотворным.

«История» написана в жанре литературных портретов, небольших критических этюдов, поэтических трактатов. Авторы книги, при всем различии своих идейно-эстетических взглядов и творческих приемов, стремились преодолеть сухость и «хрестоматийный глянец», которыми нередко грешат многие академические работы по истории литературы.

Большое место в книге уделено творчеству поэта-песенника XVIII века Карла Микаэля Бельмана — ему посвящены эссе П. Бергмана «Под сенью наших муз», «Поэтическое письмо» С. Шёдина, портретный эскиз Л. Гульдена «Бельман».

О влиянии на шведскую и в целом на скандинавскую литературу поэта-романтика XIX века Э. Тегнера, автора известного лирико-героического эпоса «Сага о Фритьофе», пишет Л. Арделиус в очерке «Эсайас Тегнер».

Свежий и увлекательный материал изложен в статье Л. Юлленстена о литературном наследии крупнейшего ученого - естествоиспытателя Карла фон Линнея.

История литературы, созданная писателями, охватывает широкий круг имен — здесь есть главы о творчестве поэта-сатирика XVIII века У. Далина, поэтов прошлого века К. Й. Альмквиста, шведоязычных финских поэтов-романтиков прошлого века Й. Ю. Векселя, Э. Сёдергран.

«К сожалению,— отмечает литературный обозреватель газеты «Ню даг».— авторы «Истории» уделили недостаточное внимание творчеству таких крупнейших писателей, как Август Стриндберг и Сельма Лагерлёф».

Некоторые материалы книги являют собой попытку выявить общие тенденции и перспективы развития литературного процесса. Таковы, например, статья Р. Амбьёрнссона «Пока лес зеленеет» о фольклорных традициях средневековья в шведской поэзии, обзор Б. Хольм «Тривиальный роман XIX века».

Задуманная в трех томах, история классической шведской литературы, увиденная современниками и великолепно изложенная, очевидно, вызовет огромный интерес в самых широких читательских кругах — задача, к которой и стремились инициаторы этого своеобразного издания.

## ЭФИОПИЯ

### ХУДОЖНИК ОСТАЕТСЯ СО СВОИМ НАРОДОМ

Журнал «Жён Африк» поместил в одном из своих номеров статью, посвящен-

На снимке: картина Афеверка Текле «Цветок маскаля».

*(Журнал «Жён Африк»)*

ную знаменитому эфиопскому художнику Афеверку Текле.

Афеверк Текле родился в 1932 году. Художественное образование он получил на факультете искусств Лондонского университета. Известен как создатель росписей в муниципалитете Аддис-Абебы, витражей, фресок и мозаик в соборе святого Георгия и витражей дворца «Африка» в столице Эфиопии, портрета Кваме Нкрумы, долгое время украшавшего зал парламента Ганы. Произведения Текле экспонировались в столицах многих стран мира, в том числе в Москве.

Автор статьи в журнале «Жён Африк» Абдельазиз Дахмани высказывает мнение, что сейчас художник переживает «ужасные времена». Журналист, судя по тону его статьи, не приемлет те прогрессивные перемены в жизни эфиопского народа, которые произошли после свержения в этой стране монархического режима. А. Дахмани сообщает, что народная власть конфисковала дом, построенный художником в аристократическом квартале Аддис-Абебы. Рассказывая о своей встрече с Афеверком Текле, он пишет, что спросил, почему художник не уезжает из страны, которая, по мнению Дахмани, «погрязла в несчастьях и неуверенности». Статья заканчивается ответом Афеверка Текле:

«Я хочу прочувствовать, пережить великую эпоху, начавшуюся в Эфиопии, которая переходит от безраздельного господства феодализма к наступающему социализму. Я, как художник, хочу пережить ее. Самый больший комфорт и самые высокие почести в Париже и Лондоне этого мне не дадут. Я хочу найти вдохновение в том, что происходит здесь, среди людей, чьи лица стали живыми, выразительными, тогда как раньше они были неподвижны, созерцательны, замкнуты. Присутствуя на народных собраниях, я проникаю в душу эфиопского народа, вижу, как у людей открываются глаза, как они загораются в мечтах о равноправном и справедливом обществе».

---

В Аддис-Абебе в драматическом театре молодым режиссером Сыбхатом Тесеммой поставлен спектакль «Ревизор». Текст знаменитой пьесы Н. В. Гоголя перевел на амхарский язык поэт Ассефа Гебре. По сообщениям эфиопской печати, спектакль пользуется большим успехом у зрителей.
На снимке: сцена из спектакля.

# Авторы этого номера

**ЮЗЕФ ОЗГА-МИХАЛЬСКИЙ — JÓZEF OZGA-MICHALSKI** (род. в 1919 г.).

Польский поэт, прозаик, публицист, государственный и общественный деятель. В годы оккупации был партизанским командиром. После войны — депутат польского сейма, член Государственного Совета ПНР. Первые сборники его стихов — «Свентокшиский оберек» («Oberek świętokrzyski», 1945), «Партизанские странички» («Kartki partyzanskie», 1958) и др. С тех пор опубликовал около двадцати поэтических книг, ряд повестей, сборники рассказов.

На русском языке издана книга «Полнолуние» (М., 1967), которая содержит избранные стихотворения и поэмы Озги-Михальского 1945—1965 гг. Отдельные стихи, циклы стихов, фрагменты поэм печатались в журналах, в том числе в «Иностранной литературе» (№ 10, 1966, № 11, 1977).

Публикуемые стихи взяты из книг: «Стерня» («Ściernisko», 1968), «Зеленый Везувий» («Zielony Wezuwiusz», 1968), «Чистилище» («Czyściec», 1970), «Райский чертополох» («Rajski oset», Warszawa, PIW, 1977).

**ХУЛИО РАМОН РИБЕЙРО — JULIO RAMÓN RIBEYRO** (род. в 1929 г.).

Перуанский писатель. Работает в посольстве Перу в Париже. Автор сборников рассказов «Случайные рассказы» («Cuentos de circunstancias», 1958), «Бутылки и люди» («Las botellas y los hombres», 1964), «Три возмутительные истории» («Tres historias sublevantes», 1964), романов «Хроника Сан-Габриэля» («Crónica de San-Gabriel», 1960), «Воскресные божки» («Los geniecilios dominicales», 1965), повести «Юные — на другом берегу» («La juventud está en otra rivera»).

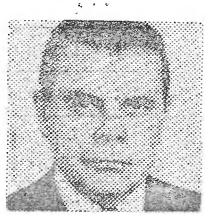
Некоторые его произведения переведены на иностранные языки. В нашем журнале (№ 10, 1971) напечатан ряд его рассказов.

Предлагаемые вниманию читателя рассказы взяты из сборника «Слово немого» («La palabra del mudo», Madrid, 1973).

**ДЖОН ФАУЛЗ — JOHN FOWLES** (род. в 1926 г.).

Английский писатель — романист, новеллист, эссеист. Окончил Оксфордский университет, служил в военно-морском флоте, работал учителем, преподавателем университета. Автор романов «Коллекционер» («The Collector», 1958), «Маг» («The Magus», 1965), «Женщина французского лейтенанта» («The French Lieutenant's Woman», 1969), «Даниел Мартин» («Daniel Martin», 1977). Лауреат литературных премий. Подробнее о нем см. послесловие Е. Гениевой.

Мы знакомим читателей с творчеством Джона Фаулза, публикуя в этом номере повесть «Башня из черного дерева» («The Ebony Tower». London, Jonathan Cape, 1974) из одноименного сборника его новелл.



**ЧУГУНОВ КОНСТАНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ** (род. в 1916 г.).

Советский переводчик, литературовед. Заслуженный работник культуры РСФСР. В его переводах читатели познакомились с романами и рассказами американских писателей Дж. О'Хары, Шерли Энн Грау, Ирвина Шоу, Р. Кента, Л. Лоренса, Дж. К.

Оутс, Б. Маламуда, Д. Халберстэма, а также К. Маркандайя (Индия), П. Видженаике (Шри Ланка), Р. Ривы, Алекса Ла Гумы (ЮАР), М. Мванге (Кения) и др.

■

**МАТЯШ НАТАЛИЯ АЛЕКСЕЕВНА.**

Советский литературовед, кандидат филологических наук. Автор статей об испанской и латиноамериканской драматургии наших дней.

■

**АТУКВЕЙ ОКАЙ — ATUKWAY (JOHN) OKAI** (род. в 1941 г.).

Ганский поэт. Переводы стихов Окая вошли в сборник «Поэты Ганы» (М., 1963); его стихи и поэмы публиковались также в «Иностранной литературе» (№ 9, 1964, № 8, 1967) и в других советских журналах.

Статья «День грядет...» — заметки о современной поэзии Ганы — получена от автора в рукописи.

■

**ДОЖООГИЙН ЦЭДЭВ** (род. в 1940 г.).

Монгольский поэт, прозаик и литературовед. Окончил Государственный университет в Улан-Баторе. Кандидат филологических наук. Его первые две книги — поэма «Сын Ундрал» (1965) и сборник рассказов «Добрый человек земли» (1970) — посвящены детям. Затем вышли сборник рассказов «Вкус кумыса» (1972), монография «Традиции и новаторство в монгольской поэзии» (1973), сборник статей «Мастерство писателя» (1978).

Переводил на монгольский язык стихотворения А. С. Пушкина, Р. Тагора, Н. Хикмета, Р. Гамзатова, К. Кулиева и др.

Статья «Время — человек — литература» получена от автора в рукописи.

◆

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
**Н. Т. ФЕДОРЕНКО**

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

**Н. А. АБАЛКИН, Л. А. ГВИШИАНИ, Ю. В. ДАШКЕВИЧ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, И. Ф. ЗОРИНА, Т. П. КАРПОВА, Е. Ф. КНИПОВИЧ, А. А. КОСОРУКОВ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, Е. Н. ПРАЛЬНИКОВ** (зам. главного редактора), **А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, М. Г. ФЕДОРОВ** (отв. секретарь), **К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ, Л. З. ЭЙДЛИН.**

Художественный редактор **Л. Б. Филиппова.** Технический редактор **Л. Д. Фарафонтова.**

Адрес редакции: 109017. Москва, Пятницкая ул., д. 41. Телефон 233-51-47.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР».
Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 4/I 1979 г. А03076. Подписано в печать 9/II 1979 г.
Бумага 70 × 108 1/16 = 9 бум. л. = 18 п. л. (25,2) усл. печ. л. Уч.-изд. л. 28,45.

Тираж 690.000 экз. (1-й завод: 1 — 375.000 экз.). Зак. 147.

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 80 коп. ИНДЕКС 70394